П. И. БИРЮКОВ

БИОГРАФИЯ ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО

ТОМ ПЕРВЫЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

П. И. БИРЮКОВ

БИОГРАФИЯ ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО

ТОМ ПЕРВЫЙ

С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ

ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ
исправленное и дополненное

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1923 ПЕТРОГРАД

Ш5(2=Р)
Б 649

1320581

Москва. Главлит № 11813
„Мосполиграф". 16-я типография, Трехпрудный, 9. 10.000 экз.

Дед Л. Н-ча со стороны отца, граф Илья Андреевич Толстой.

ОГЛАВЛЕНИЕ ПЕРВОГО ТОМА

БИОГРАФИИ ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО,

составленной **П. Бирюковым.**

Стр.

Оглавление III
Предисловие к третьему изданию 1-го тома VIII
Предисловие ко 2-му изданию IX
Введение к 1-му тому биографии Л. Н. Толстого X

Повод написания биографии. Собрание материала. Распределение источников по их важности на разряды. Переписка со Львом Николаевичем. Неблагоприятные обстоятельства работы. Конспект биографии по 7-летним периодам. Распределение всей биографии на три тома. Добавление.

Список использованных источников к I тому. XV
Введение Л. Н. Толстого к своим воспоминаниям. XVII

ЧАСТЬ I.

Происхождение Л. Н. Толстого.

Глава I. Предки Л. Н. Толстого со стороны его отца. 3

Графы Толстые: Индрис. Первый граф П. А. Толстой. Его возвышение, служебная деятельность и падение. Возвращение графского титула его внуку Андрею Ивановичу Толстому. Эпизод из жизни А. И.—Воспоминания Льва Николаевича о своих бабушке и деде. Мыльные пузыри. Сбор орехов. Сказочник Лев Степанович.

Родословная таблица. Важнейшие представители фамилии Толстых.

Глава II. Предки Льва Николаевича со стороны его матери. . 7

Князья Волконские: Происхождение рода. Важнейшие представители. Кн. Сергей Федорович Волконский. Легенда об образке. Воспоминания Льва Николаевича о своем деде Волконском. Предложение Потемкина. Воеводство в Архангельске. Николай Сергеевич как хозяин, помещик и человек. Семья Голицыных.

Княжна В. А. Волконская. Воспоминание о ней Льва Николаевича. Кн. Сергей Григорьевич Волконский—декабрист. Кн. Николай Григорьевич Волконский-Репнин.

Глава III. Родители Льва Николаевича 10

Сведения о матери в воспоминаниях Льва Николаевича. Ее нравственный облик. Подруги. Любовь к детям. Общий характер семьи при жизни матери. Дневник путешествия в Петербург. Воспоминания об отце. Военная служба, плен. Юношеская связь. Гражданская служба. Женитьба. Хозяйство. Общий характер и наружность отца.

Послужной список. Эпизод из жизни отца. Автобиографическое значение «Детства, отрочества и юности» и «Войны и мира».

ЧАСТЬ II.

Юные годы.

(1828—1850.)

Стр.

Глава IV. Детство 21

Ясная Поляна. Дом, где родился Лев Николаевич. Метрическая запись. Первые воспоминания Льва Николаевича: пеленанье, корыто. Бессознательность первого детства. Периоды бесконечности. Природа и ребенок—одно. Еремеевна. Федор Иванович и прачки. Игра в «милашки». Переход из женских в мужские руки.

Татьяна Александровна Ергольская. Воспоминания о ней Льва Николаевича. Муций Сцевола. Отношение Т. А. к отцу Л. Н-ча. Атмосфера любви, окружавшая Татьяну Алекс. Влияние Т. А. на Льва Николаевича. Другие лица, окружавшие в детстве Л. Н.—Ф. И. Мауер; юродивые; Дунечка Темяшева.

Воспоминания о прислуге. Прасковья Исаевна, Анна Ивановна, Татьяна Филипповна, ее брат Николай Филиппович, Василий Трубецкой.

Брат Николенька. Фанфаронова гора, муравейные братья, зеленая палочка, брат Сережа. Еще несколько детских воспоминаний. Поездка на Грумонд. Заключение (из повести «Детство»).

Глава V. Отрочество 37

Переезд в Москву. Смерть отца. Смерть бабушки. Prosper St. Thomas. Разделение семьи. Опекунша графиня А. И. Остен-Сакен. Воспоминание о ней Льва Н-ча. Ее несчастная судьба и высокий нравственный облик. Смерть А. И. в Оптиной пустыни. Эпизод с собачкой. Вторая опекунша, Пелагея Ильинична Юшкова. Переезд в Казань. Муж Пелагеи Ильиничны, Владимир Иванович Юшков. Воспоминания Скайлера об Юшковых.

Внутреннее развитие и характер Льва Николаевича в отрочестве. Философские опыты. Дружба с Нехлюдовым-Дьяковым. Обожание добродетели. Религиозное воспитание. Список литературных произведений, имевших влияние на Льва Н-ча. Несколько эпизодов из отрочества, по рассказам Льва Н-ча и его родных. Автобиографические рассказы из книг для чтения.

Глава VI. Юность 50

Казанский университет. Прохождение курса братьями Льва Н-ча. Поступление в университет Льва Н-ча. Неудачи. Казанское общество. Переход на другой факультет. Интерес, возбужденный беседами Фогеля и лекциями Мейера. Переход на второй курс. Наказание. Выход из университета. Аттестат, выданный университетом. Отъезд из Казани. Причины оставления университета.

Воспоминания о брате Дмитрии. Внешний облик. Особенности его. Раздражительность. Пренебрежение людским мнением. Религиозность. Товарищ Полубояринов. Любовь Сергеевна. Бессмертие Митеньки.

Очерк внутреннего развития Льва Н-ча за этот период. Критический возраст. Идеальные стремления. Любовь. Руководящий голос. Созерцание природы. Влияние литературы и среды. Университетская работа. Дневник. Мечты и философские опыты. Религиозное состояние его души. Церковная вера и неверие. Покаяние.

Начало хозяйства в деревне. Письмо к тетеньке. Неудача. Петербург. Проигрыш, долги. Кандидатский экзамен. Возвращение в Ясную Поляну. Бурный период. Дневник. Жизнь в Москве. Литературные опыты.

V

ЧАСТЬ III.

Военная служба.

(1851—1856.)

Стр.

Глава VII. Кавказ 73

Отъезд из Ясной. Москва. Казань. Волга. Астрахань. Исторические сведения о Кавказе. Станица Старогладовская. Аул Старый Юрт. Ночная молитва. Горы. В чем счастье? Любовь к казачке. Начало писательства. Поступление на службу. Тифлис. Отношение к Т. А-не. Эпизод с молитвой и проигрышем. Дружба с Садо. Возвращение в Старогладовскую. Мечты о семейной жизни. Три страсти: игра, сладострастие и тщеславие. Сознание своего призвания. Пятигорск. Мысли из дневника. Окончание «Детства» и отсылка его в «Современник». Возвращение в Старогладовскую.

Письма Некрасова. Впечатление, произведенное «Детством» на семейных и на кружок писателей. Отношение критиков. План «романа русского помещика». Неудачи по службе. Поход. Опасность 18 февраля 1853 года. Цензура. Опасность плена 13 июня 1853 года. Записи в дневник. Продолжение литературных занятий. Георгиевский крест. Воспоминания Янжула. Офицерский экзамен. Отъезд в Россию.

Глава VIII. Дунай и Севастополь 104

Краткий очерк политических событий. Отражение их на произведениях Л. Н. Отъезд Л. Н. в Дунайскую армию. Силистрия. Картинка из румынских воспоминаний.

Переход в Крымскую армию. Письмо к брату Сергею. Патриотическое настроение. Проект военно-популярного журнала. 4-й бастион. Письмо к брату Сергею с перечнем фактов военной жизни.

Пророчество о самом себе. Письмо к Некрасову о военных сотрудниках «Современника». Впечатление, произведенное на Александра II Севастопольскими рассказами. Цензурные нападки. Отзыв товарища по службе. Севастопольские песни. Воспоминания участника в составлении севастопольской песни. Отзывы литераторов о Севастопольских рассказах.

Сдача Севастополя. Отчет. Петербург. Воспоминания Н. А. Крылова.

Глава IX. Петербург 122

Переезд в Петербург. Кружок «Современника». Белинский и Толстой. Литературное воспитание Толстого. Руссо и Стендаль и др. Тургенев и Толстой. Оппозиция и скептицизм. Письма Тургенева к Толстому из Парижа. Письмо Боткина к Дружинину о «Короле Лире». Отзыв Дружинина о «Юности». Смерть брата Дмитрия. Воспоминание о нем Л. Н-ча. Паутина любви. Дела «Современника». Ясная Поляна. Выход в отставку. Неудовлетворение писательской средой. Воспоминание об этом из «Исповеди». Оценка Пушкина. Вера в прогресс.

Глава X. Роман 138

Значение этого события в жизни Л. Н-ча. Перечень подобных фактов из прежней жизни. Знакомство с семьей А. Увлечение и первое разочарование. Отъезд Л. Н-ча в Петербург для испытания силы чувства временем и расстоянием. Новое разочарование. Переписка Л. Н-ча с В. А. о будущем устройстве жизни.

Сомнения и колебания. Охлаждение. Перерыв в переписке. Отъезд Л. Н-ча за границу. Последнее письмо. Переписка Л. Н-ча с Т. А-ной Ергольской об его отношениях к В. А. Конец романа. Связь этого романа с «Семейным счастием».

ЧАСТЬ IV.

Литературная и общественная деятельность.

(1857—1862.)

Стр.

Глава XI. Первое заграничное путешествие. Московская жизнь. Медвежья охота 161

Отъезд за границу. Париж. Тургенев и Некрасов. Дижон. Смертная казнь. Переезд в Швейцарию. Женева, Пьемон, Кларан. Путешествие пешком в Шато д'Экс. Люцерн. История с музыкантом. Возвращение в Россию. Петербург. Некрасов. Ясная Поляна. Илиада и Евангелие. Молчание критиков. Москва. Светская жизнь и гимнастика. Поездка Л. Н-ча к княгине Волконской. Возвращение в Ясную. Основание музыкального общества в Москве. Посещение Фетами Ясной Поляны. Т. А. Ергольская. Воспоминание о ней Л. Н—ча. Увлечение хозяйством. Мнение тульского дворянства об освобождении крестьян. Медвежья охота. Рассказ Фета. Письмо Л. Н-ча к Т. А. Ергольской. Толстой у Тургенева в Спасском. Избрание Л. Н-ча в члены Московского общества любителей российской словесности. Речь Хомякова.

Глава XII. Второе заграничное путешествие. Смерть брата. . 178

Н. Н. Толстой. Отзыв о нем Фета и Тургенева. Отъезд Н. Н. Толстого за границу. Письма Дружинина к Толстому и Фету по поводу ослабления их литературной деятельности. Письма Н. Н. Толстого. Отъезд Л. Н-ча Толстого с сестрой и ее детьми за границу. Берлин. Саксонская Швейцария. Дрезден. Встреча с Ауэрбахом. Киссинген. Чтение философских произведений. Прогулки по окрестностям. Гарц, Тюринген, Вартбург. Л. Н. о Лютере. Письма Н. Н. Толстого. Л. Н. в Содене. Отъезд Толстых в Гиеру. Смерть Н. Н. Толстого. Письма Л. Н. и его отношение к смерти. Воспоминания Плаксина о жизни в Гиере со Л. Н-чем. Поездка в Италию. Марсель и его школы. Париж. Мнение Л. Н-ча о французских писателях того времени. Лондон. Посещение Герцена. Брюссель. Знакомство с Прудоном и Лелевелем. Л. Н. в Веймаре. Жилище Гёте. Фребелевские сады. Воспоминания школьного учителя. Иена, Гота, Дрезден. 2-е посещение Ауэрбаха. Берлин. Спор с Дистервегом о воспитании и образовании. Возвращение в Россию. Отношение Л. Н. к немецким педагогическим теориям.

Глава XIII. Толстой и Тургенев. Освобождение крестьян. Посредничество 198

Освобождение крестьян. Толстой и Тургенев у Фета. Ссора. Переписка Толстого с Тургеневым об удовлетворении. Попытки примирения. Л. Н.—мировой посредник. Интриги дворян. Характерные решения Л. Н-чем различных дел. Столкновение с съездом. Отставка. Рассказ управляющего об отношении Л. Н-ча к своим обязанностям. Воспоминания князя Оболенского.

Глава XIV. Педагогическая деятельность Л. Н-ча Толстого. Теории 208

О народном образовании. Журнал «Ясная Поляна». О методах обучения грамоте. Воспитание и образование. Отношение критиков. Возражение Маркова и ответ ему Л. Н-ча. Прогресс и определение образования. Критика министерского проекта. Заключение.

Глава XV. Устройство и практика яснополянской школы . . 216

Первые педагогические опыты в 1849 г. Возобновление школьных занятий в 1859—1860 году. Искание ответа на вопрос: чему учить? как учить? Проект общества народн. образования в письме к Е. П. Ковалевскому. Устройство яснополянской школы. Вечерняя прогулка. Урок сочинительства. «Ложкой кормит, стеблем глаз колет». Процесс творчества. Первый урок истории. Его несостоятельность. Второй урок истории. Рассказ Л. Н-ча о 12-м годе.

Несостоятельность этого метода. Преподавание музыки и рисования. Отъезд Л. Н-ча в Самару. Обыск в Ясной Поляне. Рассказ Маркова. Воспоминания кн. Оболенского. Письмо Л. Н-ча к гр. А. А. Толстой. Переписка двух министров о вредном направлении журнала «Ясная Поляна».

Глава XVI. Женитьба. Краткий обзор произведений 232

Неудовлетворение Л. Н-ча педагогической деятельностью. Проигрыш и продажа «Казаков». Семейство Берс. Отношение Л. Н-ча к этому семейству. Объяснение за ломберным столом. Предложение. Чтение дневника его невестой. Свадьба. Отъезд в Ясную. Новая жизнь. Обзор произведений: «Метель», «Записки маркера», «Два гусара», «Семейное счастие», «Поликушка». Отношение критиков.

Заключение. 236

Алфавитный список собственных имен, упоминаемых в первом томе . . 238

ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ 1-го ТОМА.

Настоящее, 3-е издание 1-го тома биографии Л. Н-ча Толстого несколько отличается от двух предшествовавших; главное изменение касается 10-й главы «Роман». Тогда как в первых двух изданиях были помещены некоторые отрывки из писем Л. Н-ча к Арсеньевой, его бывшей невесте, в настоящем издании письма эти помещены полностью. Я получил этот материал лично от Л. Н-ча, с разрешением использовать его для биографии. Но, согласно желанию Софьи Андреевны, я не должен был печатать эти письма при ее жизни. Поэтому я воспользовался изданием, выходящим после кончины Софьи Андреевны, чтобы включить в него этот ценный материал.

Кроме того в этом издании исправлены мною некоторые неточности, вкравшиеся в предыдущие издания.

П. Бирюков.

26. XI. 22.
Москва.

ПРЕДИСЛОВИЕ КО 2-му ИЗДАНИЮ.

Второе издание 1-го тома мне приходится уже делать после смерти великого старца, Льва Николаевича. Неизмеримое горе, еще недостаточно прочувствованное нами и в то же время торжественная, умиляющая радость от созерцания как бы луча небесного света, пробившегося сквозь грозные тучи нашего темного мира,—вот те волнующие меня чувства, на фоне которых кажется столь ничтожною моя работа. Но какая бы она ни была, я не считаю себя в праве бросать ее и буду продолжать по мере сил.

Пользуясь указаниями некоторых близких ко Льву Николаевичу лиц и некоторыми вновь вышедшими печатными и вновь найденными мною рукописными материалами, я немного поправил и дополнил 1-й том в этом новом издании.

Библиографический список 1-го тома пополнился интересным трудом Н. Г. Молоствова, ныне умершего, под названием: «Лев Толстой. Критико-биографическое исследование». В этом труде собраны некоторые новые, ценные материалы, как например письма матери Льва Николаевича. Есть несколько биографических черт, относящихся к раннему времени, в рассказах Тенеромо. Другие, вышедшие за это время, книги о Льве Николаевиче не дают материала для 1-го тома, и потому я не упоминаю о них в этом списке.

Некоторая спешность моей работы не позволила мне подвергнуть более основательной переработке мою книгу, к чему я уже ощущаю потребность, но что, по многим обстоятельствам, мне приходится отложить до другого раза.

Я должен сказать откровенно, что критики моей книги, а я, кажется, прочел все, что писалось о ней, дали мне очень мало. Дорогое для меня, снисходительное и благожелательное отношение к моей работе самого Льва Николаевича дало мне много силы и еще долго будет поддерживать меня во все трудные минуты, которые приходится переживать всякому серьезному работнику. Другое большое удовлетворение дает мне та мысль, что моя работа хоть несколькими правдивыми штрихами набросает дорогой образ и даст многим людям возможность благоговейно созерцать его.

П. Бирюков.

16 декабря 1910 г.
Кострома.

ВВЕДЕНИЕ

(к 1-му изданию).

С робостью и благоговением, с сознанием своей слабости приступил я к священному для меня делу, изображению жизни моего учителя, великого старца Льва Николаевича Толстого.

Несколько лет тому назад я был настолько далек от этого дела, что, живя большую часть времени в самом близком соседстве со Львом Николаевичем, проводя в его доме часы и даже целые дни, никогда не делал никаких заметок, никаких записей того, что мне приходилось слышать как от самого Льва Николаевича, так и от окружавших его лиц. Теперь, уже живя в ссылке [1]) за свои религиозные убеждения вне России и потому вдали от Льва Николаевича Толстого, я взялся за это важное дело.

Поводом к этому было предпринятое парижским издателем Стоком издание полного собрания сочинений Льва Николаевича на французском языке, для которого я получил предложение доставить проредактированный мною русский оригинал и написать к нему биографию.

Я знал хорошо, что писать биографию живого человека нельзя без согласия его самого и его семьи, и прежде, чем принять это предложение, я обратился к графине Софье Андреевне Толстой с просьбой сообщить мне, не будет ли она против того, чтобы я занялся составлением биографии Льва Николаевича, на что получил, ободривший меня, добрый ответ ее; я выписываю здесь из ее письма то, что относится к делу.

«...Конечно, хорошо бы *вам* заняться биографией; и сам бы Лев Николаевич мог бы еще ответить вам на многое, что вы запросите мне; только надо спешить. Чуть-чуть не угасла всем нам дорогая жизнь. Но теперь, слава Богу, Лев Николаевич хорошо поправляется и опять работает».

Письмо это помечено 19 июля 1901 года и написано тотчас после перенесенной Львом Николаевичем тяжкой болезни.

Не желая беспокоить самого Льва Николаевича и будучи вперед уверен в том, что он не окажет никакого препятствия моей работе, я после вышеприведенного письма дал согласие на сделанное мне предложение и принялся за работу.

Начавши знакомиться с материалом и вдумываться в сущность и программу предстоящей работы, я, с одной стороны, не раз ужасался громадности ее, а с другой стороны—все более и более увлекался ею, поглощался ее интересом и уже так сроднился с нею, что считаю ее теперь делом своей жизни, независимо от каких бы то ни было издательских соображений.

Предварительная работа моя состояла в собирании материала для биографии. Такие материалы или источники для составления биографии Л. Н. Толстого я разделяю на четыре разряда по их важности или достоинству.

---

[1]) См. P. S. к этому введению.

К первому разряду я причисляю, во-первых, личные автобиографические заметки самого Льва Николаевича, его письма к разным лицам и выписки из его дневников. Автобиографический материал представляет особенную важность при жизни автора его, так как всякое противоречие, встречающееся в нем, по сравнению со свидетельствами из других источников, может быть раз'яснено самим автором и факт восстановлен во всей его полноте.

Ко второму разряду я причисляю различные воспоминания и биографические очерки лиц, близко знавших Льва Николаевича: его родственников, знакомых, бывших в непосредственном сношении с ним. К этому второму разряду я отношу также различные официальные данные и архивные материалы, как например: послужные списки, метрические свидетельства, различные документы учебного начальства, копии с судебных и административных дел и т. д.

К третьему разряду я причисляю сочинения о Льве Николаевиче, составленные по другим источникам, а также те сочинения самого Льва Николаевича, к которым надо относиться весьма осторожно в смысле биографическом, так как реальные факты переплетаются в них с работой художественной фантазии.

Наконец, *к четвертому разряду* я причисляю различные мелкие статьи, а также и целые книги, или плохо, бестолково составленные, или такие, авторы которых не заслуживают доверия, но которые все-таки могут иметь некоторую относительную ценность, заполняя иногда пробелы других источников. Перечислять их я не считаю нужным.

Иностранная литература крайне бедна биографическими сведениями о Льве Николаевиче, особенно по отношению к первому периоду его жизни. Поэтому я не выделяю список иностранных источников в особый отдел, а включаю их в общий алфавит.

В конце этого введения приложен список по разрядам всех использованных мною источников на русском и иностранных языках первых трех разрядов.

Сделав первые шаги при разборке полученного мною материала, я почувствовал потребность войти по этому делу в непосредственное сношение с самим Львом Николаевичем, так как много неясных сторон, открывшихся мне, мог раз'яснить только он сам. Я долго колебался, стоит ли из-за этого тревожить его, но наконец решил написать ему, сказав, что решаюсь беспокоить его расспросами, зная, что он не отказывает художникам лепить и писать с него и фотографам-любителям делать с него снимки, хотя это и не может доставить ему удовольствия, а потому и я прошу его попозировать для меня, для моего словесного изображения его личности, которое я начал писать, и я получил на это его доброе согласие, которое он выразил в следующих словах в письме ко мне от 2 декабря 1901 г.:

«...очень рад позировать вам и буду категорически отвечать на ваши вопросы».

Другую важную поддержку оказал мне друг мой В. Г. Чертков, согласившийся открыть мне для работы свой богатый архив частной корреспонденции Льва Николаевича и выписок из его дневников.

Неблагоприятные условия моей работы состояли в том, что я, отрезанный от России каким-то нелепым административным распоряжением, лишен был возможности личного непосредственного общения с тем, жизнь кого я описываю, и лишен возможности работать в русских публичных библиотеках и архивах; это обстоятельство значительно затрудняло мою работу по выборкам из старых журналов, и только благодаря любезности некоторых частных владельцев русских библиотек за границей и благодаря богатству русского отдела в Британском музее, это препятствие было обойдено мною отчасти, но далеко не вполне. Я сделал все, что мог, по совести и разуму, чтобы превозмочь эти препятствия, даже подавал прошение министру внутренних дел о дозволении приехать мне на *два месяца* в Россию — и получил категорический отказ. Поэтому, конечно, я не могу считать свою задачу исчерпанной до конца.

Что касается до выпускаемого мною теперь первого тома, я должен сказать, что читатели найдут в нем нечто безусловно новое—это воспоминания Льва Ни-

колаевича о своем детстве и о своих родных, а также большое количество его частных писем.

Чтобы показать читателю, как трудно было Льву Николаевичу взяться за писание своих воспоминаний, и чтобы показать, как следует относиться к ним, я приведу несколько выдержек из моей переписки с ним по этому предмету.

Я несколько раз писал Льву Николаевичу и близко стоящим к нему людям с просьбой записать хотя словесные рассказы Льва Николаевича о своем детстве, что можно было бы сделать в простой вечерней беседе.

Наконец, я получил от Льва Николаевича следующее сообщение:

«... Сначала я думал, что не буду в состоянии помочь вам в моей биографии, несмотря на все мое желание сделать это. Боялся неискренности, свойственной всякой автобиографии, но теперь я как будто нашел форму, в которой могу исполнить ваше желание, указав на главный характер следовавших один за другим периодов моей жизни в детстве, юности и возмужалости. Как только оправлюсь настолько, что буду в состоянии писать, непременно посвящу на это несколько часов и постараюсь сделать это».

В одном из следующих писем он пишет мне следующее:

«... Боюсь, что я напрасно обнадежил вас обещанием писать свои воспоминания. Я пробовал думать об этом и увидал, какая страшная трудность избежать Харибды—самовосхваления (посредством умалчивания всего дурного) и Сциллы — цинической откровенности о всей мерзости своей жизни. Написать всю свою гадость, глупость, порочность, подлость—совсем правдиво, правдивее даже, чем Руссо,— это будет соблазнительная книга или статья. Люди скажут: вот человек, которого многие высоко ставят, а он вон какой был негодяй, так уж нам-то, простым людям, и Бог велел.

«Серьезно, когда я стал хорошенько вспоминать всю свою жизнь и увидал всю глупость (именно глупость) и мерзость ее, я подумал: что же другие люди, если я, хваленый многими, такая глупая гадина? А между тем, ведь это еще об'ясняется тем, что я хитрее других. Это все я вам говорю не для красоты слога, а совсем искренно. Я все это пережил».

Видя колебания Льва Николаевича и чувствуя всю важность этого дела, я продолжал настаивать и, чтобы дать, так сказать, канву, по которой он мог бы начать вышивать, я послал ему набросанную мною программу его биографии.

В этой программе я принял условную систему деления жизни человеческой на семилетние периоды. Это деление я слышал от самого Льва Николаевича, который когда-то в разговоре при мне высказал мысль, что ему кажется, что, соответственно семилетним периодам физической жизни человека, признаваемым некоторыми физиологами, можно установить и семилетние периоды в развитии духовной жизни человека, так что выйдет, что каждому семилетнему периоду соответствует особый духовный облик.

Резюмируя таким образом в кратких словах перечень фактов из жизни Льва Николаевича и расположив его по этим периодам, мы получаем следующую схему:

Года:	Лета Л. Н-ча:	Содержание периодов:
1) 1828—35 гг.	От рожд. до 7 л.	Младенчество.
2) 1835—42 „	7—14 лет.	Отрочество.
3) 1842—49 „	14—21 „	Юность, ученье, университет, начало хозяйства в деревне.
4) 1849—56 „	21—28 „	Начало писательства, военная служба: Кавказ, Севастополь, Петербург.
5) 1856—63 „	28—35 „	Отставка, путешествия, смерть брата, педагогическая деятельность, посредничество, женитьба.
6) 1863—70 „	35—42 „	Семейная жизнь. „Война и мир". Хозяйство.

Года:	Лета Л. Н-ча:	Содержание периодов:
7) 1870—77 г.г.	42—49 лет.	Самарский голод. „Анна Каренина“. Апогей литературной славы, семейного счастья и богатства.
8) 1877—84 „	49—56 „	Кризис. „Исповедь“. „Евангелие“. „В чем моя вера?“
9) 1884—91 „	56—63 „	Москва. „Так что же нам делать?“. Народная литература. „Посредник“. Распространение идей в обществе и народе. Критики.
10) 1891—98 „	63—70 „	Голод. „Царство Божие внутри вас“. Духоборы. Гонение на последователей этих идей.
11) 1898—905 „	70—77 „	„Воскресение“. Отлучение. Болезнь. Последний период. Обращение к военным, народу, духовенству и политическим деятелям. Война. Революционное и реформаторское движение в России.

При самом беглом обзоре этой схемы читатель невольно заметит духовную особенность каждого периода. И схема эта или канва не осталась без результата. Я получил вскоре от Льва Николаевича письмо, в котором он, между прочим, пишет следующее:

«... Про свою биографию скажу, что очень хочется помочь вам и написать хоть самое главное. Решил я, что могу написать, потому что понял, что интересно бы было и полезно, может быть, людям показать всю мерзость моей жизни до моего пробуждения и, без ложной скромности говоря, всю доброту (хотя бы в намерениях, не всегда по слабости выполненных) после пробуждения. В этом смысле мне и хотелось бы написать вам. Ваша программа семилетняя мне полезна и, действительно, наводит на мысли. Постараюсь заняться этим при первом окончании начатой работы».

Наконец, еще через несколько месяцев я получил драгоценные листки с воспоминаниями, набросанными начерно самим Львом Николаевичем. Я поспешил воспользоваться ими, заменив этими яркими красками бледные места уже начатой мною биографии и, при первом удобном случае, переслал Льву Николаевичу начало моей работы с просьбой высказать свое суждение о ней.

На это я получил письмо, в котором Лев Николаевич, между прочим, писал следующее:

«... Общее мое впечатление то, что вы очень хорошо пользуетесь моими записками, но я избегаю вникать в подробности, так как такое вникание может завлечь меня в работу исправления, которой я не хочу. Так что предоставляю все вам, присовокупляя только то, что в своей биографии, цитируя места из моих записок, прибавьте: *из доставленных мне и отданных в мое распоряжение черновых неисправленных записок*».

Я рассказал всю эту историю, чтобы оградить Льва Николаевича от всякой литературной ответственности, и, исполняя его просьбу, привожу эту подчеркнутую фразу, как в введении, так и при каждой цитате.

Вот при таких-то ободряющих обстоятельствах я продолжал свою работу.

Выпускаемый мною I том содержит в себе описание происхождения Льва Николаевича и первые периоды его жизни: детской, юношеской и возмужалой холостой жизни, и заключается его женитьбой.

Остановка на этом времени удобна в смысле содержания, так как сам Лев Николаевич считал этот момент началом новой для него жизни. Остановка на этом месте имеет и практическое значение в издательском смысле, так как содержание написанного по размеру составляет обыкновенный том французского издания.

Во втором периоде я надеюсь рассказать о периоде наибольшей литературной славы, семейного счастья и богатства Льва Николаевича о пережитом им после этого кризисе и рождении его к новой духовной жизни, т.-е. приблизительно года 1863—1884, соответствующие в жизни Льва Николаевича его летам 35—56.

И, наконец, в третьем томе, ту часть жизни, которой живет теперь Лев Николаевич и которая, надеюсь, на радость нам, не скоро еще кончится.

По справедливому замечанию одного биографа, жизнь Льва Николаевича подобна пирамиде, стоящей вершиной вниз и основанием кверху, продолжающей все расти и расширяться. Пропорционально этому располагается и биографический материал; ничтожное количество при его рождении, доходя до настоящего времени, оно возрастает до необ'ятности.

Имя Льва Николаевича Толстого избавляет меня от трудной и ответственной обязанности делать его общую характеристику, представлять его публике. Близость к натуре—вот моя единственная художественно-историческая задача.

П. И. Бирюков.

Villa Russe. Onex près Genève. Suisse.
15 октября 1904 г.

P. S. Я уже закончил составление первого тома, когда, вследствие временного ослабления русских репрессий, я получил разрешение вернуться в Россию. Я воспользовался этим разрешением, с'ездил туда и пополнил значительно биографический материал первого тома как посредством личного общения с Львом Николаевичем, так и чтением его дневников и переписки, за что приношу мою глубокую благодарность графине Софье Андреевне Толстой, открывшей мне доступ к ценным коллекциям биографического материала, собранного ею и сданного на хранение в московский Исторический музей, в комнату имени Льва Толстого.

Весьма вероятно, что работа моя, начатая при более благоприятных обстоятельствах, приняла бы иные более совершенные формы. Но я не имею возможности вернуться назад и начать сначала и потому оставляю ее такой, какой она есть, сделав только те перемены, которые требовал вновь собранный мною материал после моей поездки в Россию.

Оставляю также и мое введение в прежнем виде, так как оно верно изображает обстоятельства моей работы.

Еще два слова. Надеюсь, читатели поймут те особенные условия, в которых мне приходилось и приходится работать. Я пишу биографию не только живого, но еще бодро и энергично живущего человека, и потому я как биограф не могу сказать последнего слова, дать окончательной оценки этому, столь сильно бьющему жизненному потоку.

И потому я должен бы был скромно (и я делаю это вполне искренно) назвать свой труд лишь *сборником доступных мне материалов для биографии Льва Николаевича Толстого.*

Мне не хотелось задерживать выхода этого первого, более или менее законченного тома, так как я полагаю, что выпуск его в свет может указать обществу на тот центр, куда могли бы стекаться сведения, воспоминания и другие документы о жизни Льва Николаевича. Я буду искренно благодарен за всякую помощь и указания.

П. Б.

23 августа 1905 г.

Список использованных материалов к 1 тому.

I разряд.

1) Краткая биография, составленная самим Львом Николаевичем Толстым по просьбе Н. Страхова для издания Стасюлевича: „Русская библиотека", вып. IX. Гр. Л. Н. Толстой. Спб. 1879 г.

2) Исповедь Л. Н. Толстого. Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого, запрещенных в России. Т. I. Издание „Свободного Слова". Christchurch. Hants. England.

3) Первые воспоминания. Отрывок. Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого. Т. XIII, изд. 10-е. Москва. 1897 г. Впервые появились в сборнике И. Горбунова-Посадова „Русским матерям". Москва. 1892 г.

4) Доставленные мне и отданные в мое распоряжение черновые, неисправленные записки Л. Н. Толстого.

5) Частные письма Л. Н. Толстого к его родственникам и знакомым.

6) Дневник Л. Н. Толстого.

7) Материалы к биографии Л. Н. Толстого, записанные с его слов С. А. Толстой.

8) Автобиографические рассказы, помещенные в IV томе полн. собр. соч. Л. Н. Толстого. (Педагогические статьи.)

9) Мои воспоминания 1848—1889 гг. А. Фета. Москва. 1890 г. (Большое количество писем Л. Н. Толстого.)

10) Несколько слов по поводу книги „Война и мир". Статья Л. Н. Толстого. „Русский Архив" 1868 г. Вып. 3.

II разряд.

11) С. А. Берс. Воспоминания о гр. Л. Н. Толстом. Смоленск. 1894 года.

12) Paul Boyer. Chez Tolstoï. Trois jours à Iasnaia Poliana. „Le Temps" 27—29 Août 1901.

13) А. Е. Головачева-Панаева. Русские писатели и артисты. Воспоминания 1824—1870 гг. Спб. 1890 г. Изд. Губинского.

14) Д. В. Григорович. Литературные воспоминания. Полное собрание сочинений. Т. XII, стр. 326.

15) Г. П. Данилевский. Поездка в Ясную Поляну. „Исторический Вестник". Март 1886 г.

16) Из бумаг А. В. Дружинина: „XXV лет". Сборник, изданный обществом пособия нуждающимся литераторам и ученым. Спб. 1884 г.

17) Н. П. Загоскин. Гр. Л. Н. Толстой и его студенческие годы. „Исторический Вестник". Январь 1894 г.

18) Захарьин (Якунин) Ив. Графиня А. А. Толстая. Личные впечатления и воспоминания. „Вестник Европы". Июнь 1904 г.

19) Р. Лёвенфельд. Гр. Л. Н. Толстой, его жизнь и сочинения. Перевод с немецкого А. В. Перелыгиной (с примечаниями гр. С. А. Толстой). Москва. 1897 г.

20) R. Löwenfeld. Gespräche mit und über Tolstoi. Leipzig.

21) Евг. Марков. Живая душа в школе. Мысли и воспоминания старого педагога. „Вестник Европы". Февраль 1900 г.

22) М. О. Меньшиков. Первое произведение Л. Н. Толстого. Книжки „Недели", 1892 г. Октябрь.

23) Н. К. Михайловский. Литературные воспоминания и современная смута. Т. I. Изд. „Русского Богатства“. Спб. 1900 г.
24) Мнение 105 тульских дворян о наделе крестьян землею. „Современник“ 1858 г. Т. 72.
25) Н. Г. Молоствов. Лев Толстой. Критико-биографическое исследование. Под редакцией А. Волынского. Изд. Сойкина. Спб.
26) Н. А. Некрасов. Четыре письма к гр. Л. Н. Толстому. „Нива“, № 2, 1898 года.
27) Л. П. Никифоров. Биографический очерк. „Курьер“. Сентябрь 1902 г.
28) Кн. Д. Д Оболенский. Наброски и воспоминания. „Русский Архив“. 1894 год.
29) Ив. Ив. Панаев. Литературные воспоминания, с приложением писем. Спб. 1888 г. Изд. Мартынова.
30) С. Плаксин. Гр. Л. Н. Толстой среди детей. Москва. 1903 г.
31) В. А. Полторацкий. Воспоминания. „Исторический Вестник“. Июнь 1893 г.
32) А. Румянцев. Письмо к Д. И. Титову. „Полярная Звезда“, IV. Изд. Герцена. Лондон. 1857 г.
33) Севастопольская песня. Сообщил один из участников в составлении Севастопольской песни. „Русская Старина“. Февраль 1884 г.
34) П. А. Сергеенко. Как живет и работает Л. Н. Толстой. Москва. 1898 г.
35) Евг. Скайлер. Воспоминания о гр. Л. Н. Толстом. „Русская Старина“. Октябрь 1890 г. Пер. с английского. (Scribner Magasine 1889).
36) Тенеромо. Живые речи. Спб.
37) И. С. Тургенев. Первое собрание писем. 1840—1883 гг. Изд. Литературного Фонда. Спб. 1885 г.
38) Д. Успенский. Архивные материалы для биографии Л. Н. Толстого. „Русская Мысль“. Сентябрь 1903 г.
39) Частные письма родственников и знакомых Л. Н. Толстого о нем.
40) Н. К. Шильдер. Эпизод из Аустерлицкого боя. „Русская Старина“. Т. LXVIII. 1890 г.

III разряд.

41) Евг. Богословский. Тургенев о Льве Толстом. 75 отзывов. Тифлис. 1894 г.
42) Wilh. Bode. Tolstoi in Weimar. Der Säemann. Monatsschrift. Sept. 1905. Leipzig.
43) М. И. Венюков. Песня о Севастополе. „Русская Старина“. Февраль 1875 г.
44) Кн. Е. Г. Волконская. Род князей Волконских. Материалы, собранные и обработанные кн. Е. Г. Волконской. Спб. 1900 г.
45) Кн. С. Гр. Волконский (декабрист). Записки. Изд. М. С. Волконского.
46) Евг. Гаршин. Воспоминания об Ив. Серг. Тургеневе. „Исторический Вестник“. Ноябрь 1883 г
47) П. Д. Драганов. Гр. Л. Н. Толстой как писатель всемирный и распространение его произведений в России и за границей
48) А. Ф. Кони. Биографический очерк: „И. Ф. Горбунов“ (Предисловие к собранию сочинений).
49) В. Н. Ляскоский. Ал. Степ. Хомяков. Его биография и учение. „Русский Архив“. 11, 1896 г.
50) В. Н. Назарьев. Жизнь и люди былого времени. „Исторический Вестник“. 1900 г. Ноябрь.
51) Евг. Соловьев. Л. Н. Толстой, его жизнь и литературная деятельность. Изд. Павленкова.
52) М. А. Янжул. К биографии Л. Н. Толстого. „Русская Старина“. Февраль 1900 г.
А также многие газетные заметки и статьи.

Справочные книги.

53) Брокгауз и Ефрон. Энциклопедический словарь.
54) Юрий Битовт. Гр. Толстой в литературе и искусстве. Библиографический указатель. Изд. Сытина. Москва. 1903 г.
55) Русская словесность с XI по XIX столетие включительно. А. Мезьер.
56) В. Зелинский. Русская критическая литература о произведениях Л. Н. Толстого. Москва. 1896 г.

Введение Л. Н. Толстого к своим воспоминаниям.

Друг мой И. Б., взявшийся писать мою биографию для французского издания полного сочинения, просил меня сообщить ему некоторые биографические сведения.

Мне очень хотелось исполнить его желание, и я стал в воображении составлять свою биографию. Сначала я незаметно для себя самым естественным образом стал вспоминать только одно хорошее моей жизни, только, как тени на картине, присоединяя к этому хорошему мрачные, дурные стороны, поступки моей жизни. Но, вдумываясь более серьезно в события моей жизни, я увидал, что такая биография была бы хотя и не прямая ложь, но ложь вследствие неверного освещения и выставления хорошего и умолчания или сглаживания всего дурного. Когда же я подумал о том, чтобы написать всю истинную правду, не скрывая ничего дурного моей жизни, я ужаснулся перед тем впечатлением, которое должна бы была произвести такая биография. В это время я заболел. И во время невольной праздности—болезни—мысль моя все время обращалась к воспоминаниям, и эти воспоминания были ужасны.

Я с величайшей силой испытал то, что говорит Пушкин в своем стихотворении: «Воспоминание».

„Когда для смертного умолкнет шумный день
И на немые стогна града
Полупрозрачная наляжет ночи тень
И сон, дневных трудов награда,—
В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительнаго бденья.
В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток.
И, с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю".

В последней строке я только изменил бы так,—вместо «строк печальных»... поставил бы: «строк постыдных не смываю».

Под этим впечатлением я написал у себя в дневнике следующее:

6 января 1903 г.

«Я теперь испытываю муки ада: вспоминаю всю мерзость своей прежней жизни, и воспоминания эти не оставляют меня и отравляют жизнь. Обыкновенно жалеют о том, что личность не удерживает воспоминания после смерти. Какое счастье, что этого нет! Какое бы было мученье, если бы я в этой жизни помнил

все дурное, мучительное для совести, что я совершил в предшествующей жизни! А если помнить хорошее, то надо помнить и все дурное. Какое счастье, что воспоминание исчезает со смертью и остается одно сознанье, — сознанье, которое представляет как бы общий вывод из хорошего и дурного, как бы сложное уравнение, сведенное к самому простому его выражению: x=положительной или отрицательной, большой или малой величине!

«Да, великое счастье—уничтожение воспоминания; с ним нельзя бы жить радостно. Теперь же, с уничтожением воспоминаний, мы вступаем в жизнь с чистой, белой страницей, на которой можно писать вновь хорошее и дурное».

Правда, что не вся моя жизнь была так ужасно дурна,—таким был только 20-летний период ее; правда и то, что и в этот период жизнь моя не была сплошным злом, каким она представлялась мне во время болезни, и что и в этот период во мне пробуждались порывы к добру, хотя и недолго продолжавшиеся и скоро заглушаемые ничем не сдерживаемыми страстями. Но все-таки эта моя работа мысли, особенно во время болезни, ясно показала мне, что моя биография, как пишут обыкновенно биографии, с умолчанием о всей гадости и преступности моей жизни, была бы ложь, и что если писать биографию, то надо писать всю настоящую правду. Только такая биография, как ни стыдно мне будет писать ее, может иметь настоящий и плодотворный интерес для читателей. Вспоминая так свою жизнь, т.-е. рассматривая ее с точки зрения добра и зла, которые я делал, я увидал, что вся моя длинная жизнь распадается на четыре периода: тот чудный, в особенности в сравнении с последующим, невинный, радостный, поэтический период детства до 14 лет, потом второй—ужасные 20 лет, или период грубой распущенности, служение честолюбию, тщеславию и, главное, похоти, потом третий, 18-летний период, от женитьбы и моего духовного рождения, который с мирской точки зрения можно бы назвать нравственным, т.-е. в эти 18 лет я жил правильной, честной, семейной жизнью, не предаваясь никаким осуждаемым общественным мнением порокам, но все интересы которого ограничивались эгоистическими заботами о семье, об увеличении состояния, о приобретении литературного успеха и всякого рода удовольствиями.

И, наконец, четвертый, 20-летний период, в котором я живу теперь и в котором надеюсь умереть, и с точки зрения которого я вижу все значение прошедшей жизни, и которого я ни в чем не желал бы изменить, кроме как в тех привычках зла, которые усвоены мной в прошедшие периоды.

Такую историю жизни всех этих четырех периодов, совсем правдивую, я хотел бы написать, если Бог даст мне силы и жизни. Я думаю, что такая написанная мною биография, хотя бы и с большими недостатками, будет полезнее для людей, чем вся та художественная болтовня, которой наполнены мои 12 томов сочинений и которым люди нашего времени приписывают не заслуженное ими значение.

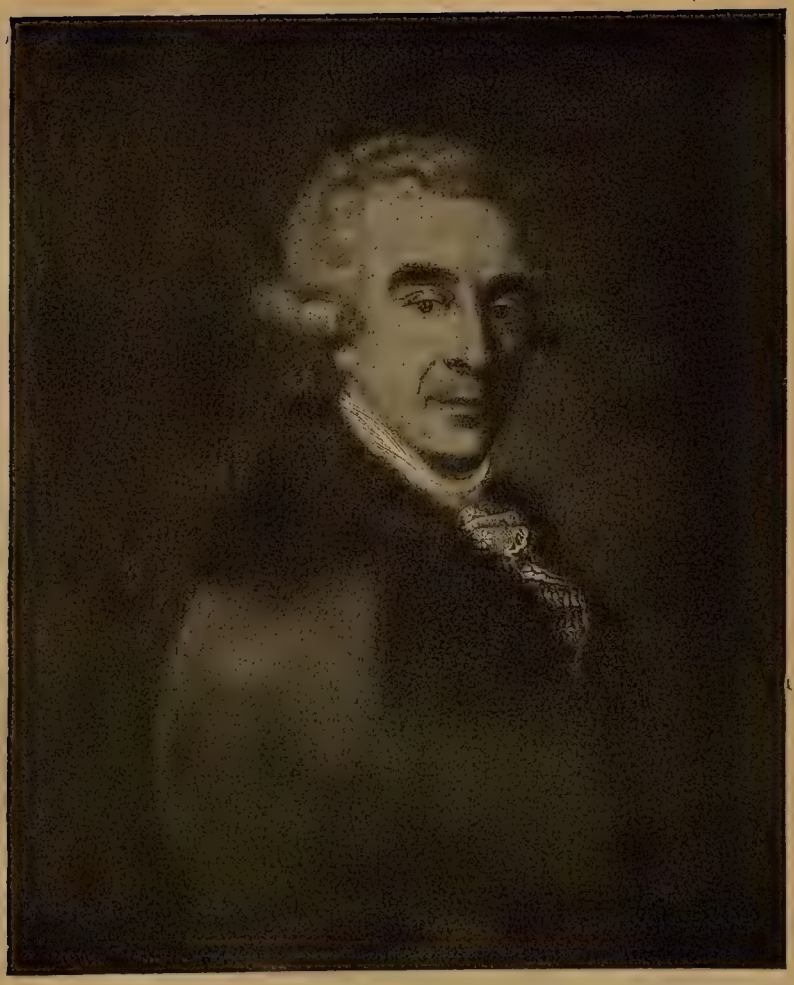
Теперь я и хочу сделать это. Расскажу сначала первый, радостный период детства, который особенно сильно манит меня; потом, как мне ни стыдно это будет, расскажу, не утаив ничего, и ужасные 20 лет последующего периода. Потом и третий период, который менее всех может быть интересен, и, наконец, последний период—моего пробужденья к истине, давшего мне высшее благо жизни и радостное спокойствие в виду приближающейся смерти.

Для того, чтобы не повторяться в описании детства, я перечел мое писание под этим заглавием и пожалел о том, что написал это: так нехорошо, литературно, неискренно написано. Оно и не могло быть иначе, во-первых, потому, что замысел мой был описать историю не свою, а моих приятелей детства, и оттого вышло нескладное смешение событий их и моего детства, а во-вторых, потому, что во время описания этого я был далеко не самостоятелен в формах выражения, а находился

под влиянием сильно подействовавших на меня тогда двух писателей: Stern'a (его Sentimental journey) и Töpfer'a (Bibliothèque de mon oncle).

В особенности же не понравились мне теперь последние две части: отрочество и юность, в которых, кроме нескладного смешения правды с выдумкой, есть и неискренность, желание выставить как хорошее и важное то, что я не считал тогда хорошим и важным,—мое демократическое направление. Надеюсь, что то, что я напишу теперь, будет лучше—главное, полезнее другим людям [1]).

[1]) Из доставленных мне и отданных в мое распоряжение черновых неисправленных записок Л. Н. Толстого.



Дед Л. Н-ча со стороны матери, князь Сергей Николаевич Волконский.

ЧАСТЬ I

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО

ГЛАВА I.

Предки Л. Н. Толстого со стороны его отца [1]).

Графы Толстые—старинный дворянский род, происходящий, по сказаниям родословцев, от мужа честна Индриса, выехавшего «из немец, из Цесарские земли» в Чернигов в 1353 году, с двумя сыновьями и с дружиной из трех тысяч человек; он крестился, получил имя Леонтия и был родоначальником нескольких дворянских фамилий. Его правнук, Андрей Харитонович, переселившийся из Чернигова в Москву и получивший от вел. кн. Василия Темного прозвище Толстого, был родоначальником Толстых (в графской отрасли рода Толстых граф Лев Николаевич числится от родоначальника Индриса в 20-м колене).

Один из потомков Индриса, Петр Андреевич Толстой, служил в 1683 году при дворе стольником и был одним из главных зачинщиков стрелецкого бунта. Падение царевны Софии заставило П. А. Толстого резко переменить фронт и перейти на сторону царя Петра, но последний долго относился к Толстому очень сдержанно, и вообще Петр Андреевич долго не пользовался доверием царя: рассказывают, что на веселых пирах Петр любил сдергивать большой парик с головы Петра Толстого и, ударяя по плеши, приговаривать: «Головушка, головушка, если бы ты не была так умна, то давно бы с телом разлучена была».

Недоверчивость царя не была поколеблена и военными заслугами П. А. Толстого во втором Азовском походе (1696 г.).

В 1697 году царь посылал «волонтеров» в заграничное ученье, и Толстой, будучи уже в зрелых летах, сам вызвался ехать туда для изучения морского дела. Два года, проведенные в Италии, сблизили Толстого с западно-европейской культурой. В конце 1701 года Толстой назначен был посланником в Константинополь—на пост важный, но трудный; во время осложнений 1710—1713 гг. Толстой дважды сидел в Семибашенном замке,—поэтому в гербе графов Толстых изображен этот замок.

В 1717 году П. А. Толстой оказал царю важную услугу, навсегда упрочившую его положение: посланный в Неаполь, близ которого в Кастель Сент-Эльмо в то время скрывался царевич Алексей со своей подругой Евфросиньей, Толстой, при содействии Евфросиньи, ловко обошел царевича и путем застращивания и ложных обещаний склонил его к возвращению в Россию. За деятельное участие в следствии, суде и тайной казни царевича, совершенной им по приказанию Петра в соучастии с Румянцевым, Ушаковым и Бутурлиным [2]), Толстой был награжден поместьями и поставлен во-главе Тайной Канцелярии, у которой в это время было особенно много работы вследствие толков и волнений, вызванных в народе судьбою царевича

---

[1]) Везде, где в изложении я буду дословно приводить слова Льва Николаевича из его воспоминаний и писем, я буду оговаривать это и ставить кавычки.

[2]) А. Румянцев. Письмо к Д. И. Титову. „Полярная Звезда“, IV, изд. Герцена. Лондон. 1857.

Алексея. С этих пор Толстой становится одним из самых близких и доверенных лиц государя. Дело царевича Алексея сблизило его с императрицей Екатериной, в день коронования которой—7-го мая 1724 года—он получил титул графа. После смерти Петра I. П. А. Толстой вместе с Меньшиковым энергично содействовал воцарению Екатерины, а потому и пользовался у ней большими милостями. Но с воцарением Петра II, сына казненного царевича Алексея, падение его было неминуемо. Несмотря на свой преклонный возраст—82 года, Петр Толстой был сослан в Соловецкий монастырь, где прожил недолго и умер в 1729 году.

Сохранился дневник заграничного путешествия Толстого в 1697—1699 годах,—характерный образчик тех впечатлений, какие выносили русские люди Петровского времени из своего знакомства с Западной Европой. Кроме того, Толстой составил в 1705 году обстоятельное описание Черного моря. Известны также его два перевода: «Метаморфозы Овидия» и «Управление Турецким государством».

У него был сын Иван Петрович, который в одно время с отцом был лишен занимаемой им должности (председателя суда) и также сослан в Соловецкий монастырь, где умер незадолго до отца.

Только 26 мая 1760 года, уже при императрице Елизавете Петровне, потомству Петра Андреевича было возвращено графское достоинство в лице внука его Андрея Ивановича, прадеда Льва Николаевича.

«Про Андрея Ивановича, женившегося очень молодым на княжне Щетининой, я слыхал от тетушки такой рассказ. Жена его по какому-то случаю без мужа должна была ехать на какой-то бал. От'ехав от дома, вероятно, в возке, из которого вынуто было сиденье, для того, чтобы крышка возка не повредила высокой прически, молодая графиня, вероятно, лет семнадцати, вспомнила дорогой, что она, уезжая, не простилась с мужем и вернулась домой.

«Когда она вошла в дом, она застала его в слезах. Он плакал о том, что жена перед от'ездом не зашла к нему проститься» [1]).

О деде и бабушке своей со стороны отца Лев Николаевич так рассказывает в своих воспоминаниях:

«Бабушка, Пелагея Николаевна, была дочь скопившего себе большое состояние слепого князя Николая Ивановича Горчакова. Сколько я могу составить себе понятие об ее характере, она была недалекая, малообразованная, — она, как все тогда, знала по-французски лучше, чем по-русски (и этим ограничивалось ее образование), и очень избалованная—сначала отцом, потом мужем, а потом, при мне уже, сыном—женщина. Кроме того, как дочь старшего в роде, она пользовалась большим уважением всех Горчаковых: бывшего военного министра Алексея Ивановича и Андрея Ивановича и сыновей вольнодумца Димитрия Петровича: Петра, Сергея и Михаила Севастопольского.

«Дед мой, Илья Андреевич, ее муж, был тоже, как я его понимал, человек ограниченный, очень мягкий, веселый и не только щедрый, но бестолково-мотоватый, а главное—доверчивый. В имении его, Белевского уезда, Полянах,—не Ясной Поляне, по Полянах,—шло долго не перестающее пиршество, театры, балы, обеды, катания, которые, в особенности при склонности деда играть по большой в ломбер и вист, не умея играть, и при готовности давать всем, кто просил и взаймы и без отдачи, а главное, затеваемыми аферами, откупами, кончились тем, что большое имение его жены все было так запутано в долгах, что жить было печем, и дед должен был выхлопотать и взять, что ему было легко при его связях, место губернатора в Казани.

«Дед, как мне рассказывали, не брал взяток, кроме как с откупщика, что было тогда общепринятым обычаем, и сердился, когда их предлагали ему. Но бабушка, как мне рассказывали, тайно от мужа брала приношения.

«В Казани бабушка выдала меньшую дочь, Пелагею, за Юшкова. Старшая же, Александра, еще в Петербурге была выдана за графа Остен-Сакен.

---

[1]) Вставка, сделанная Львом Николаевичем при просмотре рукописи. *Прим. П. Б.*

«После смерти мужа в Казани и женитьбы отца моя бабушка поселилась с моим отцом в Ясной Поляне, и тут я застал ее уже старухой и хорошо помню ее.

«Отца бабушка страстно любила и нас—внуков, забавляясь нами. Любила тетушек, но, мне кажется, не совсем любила мою мать, считая ее недостойной моего отца и ревнуя его к ней. С людьми, прислугой, она не могла быть требовательна, потому что все знали, что она первое лицо в доме, и старались угождать ей, но со своей горничной Гашей она отдавалась своим капризам и мучила ее, называя: «вы, моя милая»,—и требуя от нее того, чего она не спрашивала, и всячески мучая ее. И странное дело, Гаша, Агафья Михайловна [1]), которую я знал хорошо, заразилась манерой бабушки капризничать: и с своей девочкой, и с своей кошкой, и вообще с существами, с которыми могла быть требовательна, была так же капризна, как бабушка с ней.

«Самые ранние воспоминания мои о бабушке, до нашей поездки в Москву и жизни там, сводятся к трем сильным, связанным с ней, впечатлениям. Первое—это то, как бабушка умывалась и каким-то особенным мылом пускала на руках удивительные пузыри, которые, мне казалось, только она одна могла делать. Нас нарочно приводили к ней,—вероятно, наше восхищение и удивление перед ее мыльными пузырями забавляло ее,—чтобы видеть, как она умывалась. Помню, белая кофточка, юбка, белые старческие руки и огромные поднимающиеся на них пузыри, и ее довольное, улыбающееся белое лицо.

«Второе воспоминание—это было то, как ее без лошади, на руках вывезли камердинеры отца в желтом кабриолете с рессорами, в котором мы ездили кататься с гувернером Федором Ивановичем, в мелкий Заказ для сбора орехов, которых в этом году было особенно много. Помню чащу частого и густого орешника, в глубь которого, раздвигая и ломая ветки, Петруша и Матюша (дворовые камердинеры) ввезли желтый кабриолет с бабушкой, и как нагибали ей ветки с гроздями спелых, иногда высыпавшихся орехов, и как бабушка сама рвала их и клала в мешок, и как мы где сами гнули ветки, где Федор Иванович, и удивлял нас своей силой, нагибая нам толстые орешники, а мы обирали со всех сторон и все-таки видели, что еще оставались незамеченные нами орехи, когда Федор Иванович пускал их, и кусты, медленно цепляясь, расправлялись. Помню, как жарко было на полянах, как приятно прохладно в тени, как дышалось терпким запахом ореховой листвы, как щелкали со всех сторон, разгрызаемые девушками, которые были с нами, орехи, и как мы, не переставая, жевали свежие, полные белые ядра.

«Мы собирали в карманы, подолы и наш кабриолет, и бабушка принимала и хвалила нас. Как мы пришли домой, что было после, я ничего не помню, помню только, что бабушка, орешник, терпкий запах ореховой листвы, камердинеры, желтый кабриолет, солнце—соединились в одно радостное впечатление. Мне казалось, что как мыльные пузыри могли быть только у бабушки, так и лес, и орехи, и солнце, и те могли быть только при бабушке в желтом кабриолете, который везут Петруша и Матюша.

«Самое же сильное, связанное с бабушкой, воспоминание,—это ночь, проведенная в спальне бабушки, и Лев Степаныч. Лев Степаныч был слепой сказочник (он был уже стариком, когда я узнал его),—остаток старинного барства, барства деда. Он был куплен только для того, чтобы рассказывать сказки, которые он, вследствие свойственной слепым необыкновенной памяти, мог слово в слово рассказывать после того, как их раза два прочитывали ему.

«Он жил где-то в доме, и целый день его было не видно. По по вечерам он приходил наверх, в спальню бабушки (спальня эта была в низенькой комнатке, в которую входить надо было по двум ступеням), и садился на низенький подоконник, куда ему приносили ужин с господского стола. Тут он дожидался бабушку, которая без стыда могла делать свой ночной туалет при слепом человеке. В тот день, когда

[1]) Старушка Агафья Михайловна несколько лет тому назад умерла в Ясной Поляне, где она жила на покое уже много лет. *Прим. П. Б.*

был мой черед ночевать у бабушки, Лев Степаныч со своими белыми глазами, в синем длинном сюртуке с буфами на плечах сидел уже на подоконнике и ужинал. Не помню, как раздевалась бабушка, в этой ли комнате или в другой, и как меня уложили в постель, помню только ту минуту, когда свечу потушили, осталась одна лампадка перед золочеными иконами, бабушка, та самая удивительная бабушка, которая пускала эти необычайные мыльные пузыри, вся белая, в белом, на белом и покрытая белым, в своем белом чепце, высоко лежала на подушках, и с подоконника послышался ровный, спокойный голос Льва Степановича: «Продолжать прикажете?» Да, продолжайте.—«Любимая сестрица», сказала она,—заговорил Лев Степаныч тихим, ровным старческим голосом:—«расскажите нам одну из тех прелюбопытнейших сказок, которые вы так хорошо умеете рассказывать». «Охотно,—отвечала Шехеразада,—рассказала бы я замечательную историю принца Камаральзамана, если повелитель наш выразит на то свое согласие». Получив согласие султана, Шехеразада начала так: «у одного владетельного царя был единственный сын»... и, очевидно, слово в слово по книге начал Лев Степаныч историю Камаральзамана. Я не слушал, не понимал того, что он говорил, настолько был поглощен таинственным видом белой бабушки, ее колеблющейся тенью на стене и видом старика с белыми глазами, которого я не видал теперь, но которого помнил неподвижно сидевшего на подоконнике и медленным голосом говорившего какие-то странные, мне казавшиеся торжественными, слова, одиноко звучавшие среди темноты комнатки, освещенной дрожащим светом лампадки. Должно быть, я тотчас же заснул, потому что дальше ничего не помню, и только утром опять удивлялся и восхищался мыльными пузырями, которые, умываясь, делала на своих руках бабушка» [1]).

По воспоминаниям сестры Льва Николаевича, Марьи Николаевны, у слепого Льва Степановича был такой тонкий слух, что он ясно слышал, как бегают мыши, и знал, куда они бегут. Одним из лакомств для мышей в комнате бабушки было лампадное масло, которое они лизали. И вот ночью, во время равномерного рассказыванья сказки, Лев Степанович вдруг останавливался и таким же спокойным голосом заявлял: «А вот, ваше сиятельство, мышка побежала к лампадке масло лизать». И потом с той же равномерностью продолжал свой рассказ.

Нижеследующая генеалогическая табличка дает читателю наглядное представление о ближайших предках и родстве Льва Николаевича Толстого.

Счет поколений от Пндриса.

Графы Толстые:

15... Петр Андреевич, первый граф Толстой († 1729 г.).
16... Иван Петрович († 1728 г.).
17... Андрей Иванович († 1803 г.).
18... Илья Андреевич († 1820 г.). Казанский губернатор.

19...	Александра, в супружестве с графом Остен-Сакен.	Николай, († 1837 г.)	Пелагея в супружестве с В. И. Юшковым.	Илья, умер бездетным.
20...	Николай, род. 1823 г.,	Сергий, род. 1826 г.,	Дмитрий, род. 1827 г.,	Лев. род. 1828 г.,	Мария, род. 1830 г.[2]).

Графы Толстые известны на многих отраслях общественной деятельности; мы полагаем, что читателям интересно знать, в какой степени родства находятся некоторые из них по отношению к Льву Николаевичу. Мы упомянем здесь о *Федоре Петровиче Толстом,* известном художнике, медальере и вице-президенте императорской

---

[1]) Из доставленных мне и отданных в мое распоряжение черновых неисправленных записок Л. Н Толстого.

[2]) Граф Л. Н. Толстой и его студенческие годы. Н. Н. Загоскина. „Исторический Вестник". Январь 1894 года. Стр. 81.

Академии Художеств, приходившемся родным братом Константину Петровичу Толстому, отцу поэта *Алексея Константиновича Толстого,* который в свою очередь приходился троюродным братом Льву Николаевичу. Бывший министр, *Дмитрий Андреевич Толстой,* известный своими ретроградными реформами, принадлежал к более дальней родне Льва Николаевича и происходил от их общего предка Ивана Петровича Толстого, сына первого графа Толстого, Петра Андреевича, умершего с ним вместе в ссылке, в Соловецком монастыре [1]).

Надо упомянуть также об интересном человеке Федоре Толстом, прозванном американцем и известном своими эксцентрическими авантюрами. В комедии Грибоедова «Горе от ума» есть намек на него в словах: «в Камчатку сослан был, вернулся алеутом». О нем говорит и Лев Николаевич в воспоминаниях о своем детстве. Личность его послужила Льву Николаевичу отчасти материалом для создания в «Войне и мире» типа Долохова. Он приходился двоюродным дядей Льву Николаевичу.

ГЛАВА II.

Предки Льва Николаевича со стороны его матери.

Князья Волконские ведут свой род от Рюрика.

От времен деда, князя Волконского, в Ясной Поляне долго еще сохранялось генеалогическое дерево князей Волконских, написанное на полотне масляными красками. Родоначальник князей Волконских, святой Михаил, князь Черниговский, держит в руке дерево, разветвления которого содержат перечень его потомства [2]).

Князь Иван Юрьевич, в 13-м колене от Рюрика, в начале XIV столетия получил Волконский удел (по реке Волкопе, протекающей в теперешней Калужской и отчасти Тульской губ.), и оттого пошел род князей Волконских [3]).

Сын его, Федор Иванович, был убит в Мамаевом побоище в 1380 году.

Из дальнейших предков Льва Николаевича назовем его прадеда, князя Сергея Федоровича Волконского, личность которого окружена следующей легендой.

Князь Сергей Федорович Волконский участвовал в семилетней войне в чине ген.-майора. Во время похода жене его приснилось, что какой-то голос повелевает ей, написавши небольшую икону: с одной стороны Живоносного Источника, а с другой Николая Чудотворца, послать ее мужу. Она для того избрала дощечку, приказала написать на ней икону и через фельдмаршала Апраксина доставила князю Сергею. В тот же день курьер привез ему повеление—итти для поиска неприятеля. Сергей Федорович, призвав Бога на помощь, возложил на себя полученный образ. В кавалерийском деле неприятельская пуля попала ему в грудь, но ударила в самую икону и не причинила ему вреда; таким образом икона эта спасла ему жизнь; образ этот хранился после у младшего сына его, князя Николая Сергеевича. Князь Сергей Федорович умер 10 марта 1784 г. [4]).

Лев Николаевич, конечно, знал это предание и воспользовался им в «Войне и мире» для изображения религиозного настроения княжны Марии Болконской перед отправлением князя Андрея на войну. Читатели помнят, что княжна Мария упросила брата надеть образок; подавая его князю Андрею, она проговорила: «Что хочешь—думай, но для меня это сделай. Сделай, пожалуйста! Его еще отец моего отца, наш дедушка, носил во всех войнах...» [5]).

---

[1]) Сведения, доставленные Л. Н. Толстым. (См. также Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона Т. XXXIII, стр. 462).

[2]) К сожалению, по собранным справкам, картина эта оказалась уничтоженною.

[3]) Род князей Волконских. Стр. 7.

[4]) Род князей Волконских. Стр. 697.

[5]) См. „Война и мир". Т. I, стр. 167. Изд. десятое.

Мы видим, как художественная правда переплетается здесь с исторической, и если вторая дает первой характер достоверности, то первая влагает во вторую тот дух жизни, которым так живы все действующие лица «Войны и мира» и который так неотразимо заражает и нас своей жизненностью.

Младший сын Сергея Федоровича, Николай Сергеевич, был дедом Льва Николаевича со стороны матери. Вот что известно о нем из родословной:

Николай Сергеевич, генерал-от-инфантерии, младший сын князя Сергея Федоровича и княгини Марии Дмитриевны, рожденной Чаадаевой, родился в 1753 г., марта 30. В 1780 г. он находился в свите императрицы Екатерины II в Могилеве, где присутствовал при первом свидании ее с императором Иосифом II. В 1786 г. Николай Сергеевич провожал императрицу в Тавриду. В 1793 г. он назначен был чрезвычайным послом в Берлин по случаю бракосочетания наследного принца, впоследствии короля Фридриха-Вильгельма III. Он умер в 1821 г., февраля 3, в имении Ясная Поляна, где безвыездно прожил последние годы жизни и которое внук его обессмертил в романе «Война и мир» под названием «Лысых гор». Тело его лежит в Троицко-Сергиевской лавре [1]).

В своих воспоминаниях Лев Николаевич рассказывает нам о своем деде со стороны матери следующее:

«Про деда я знаю то, что, достигнув высоких чинов генерал-аншефа при Екатерине, он вдруг потерял свое положение вследствие отказа жениться на племяннице и любовнице Потемкина Вареньке Энгельгардт. На предложение Потемкина он отвечал: «С чего он взял, чтобы я женился на его б....»

«За этот ответ он не только остановился в своей служебной карьере, но был назначен воеводой в Архангельск [2]), где пробыл, кажется, до воцарения Павла, когда вышел в отставку и, женившись на княжне Екатерине Дмитриевне Трубецкой, поселился в полученном от своего отца Сергея Федоровича имении Ясной Поляне.

«Княгиня Екатерина Дмитриевна рано умерла, оставив моему деду единственную дочь Марию. С этой-то сильно любимой дочерью и ее компаньонкой-француженкой и прожил мой дед до своей смерти, около 1821 года. Дед мой считался очень строгим хозяином, но я никогда не слыхал рассказов об его жестокостях и наказаниях, столь обычных в то время. Я думаю, что они были, но восторженное уважение к его важности и разумности было так велико в дворовых и крестьянах его времени, которых я часто расспрашивал про него, что хотя я и слышал осуждения моего отца, я слышал только похвалы уму, хозяйственности и заботе о крестьянах и в особенности об огромной дворне моего деда. Он построил прекрасные помещения для дворовых и заботился о том, чтобы они были всегда не только сыты, но и хорошо одеты и веселились бы. По праздникам он устраивал для них увеселения, качели, хороводы.

Еще более он заботился, как всякий умный помещик того времени, о благосостоянии крестьян, и они благоденствовали, тем более, что высокое положение деда, внушая уважение становым, исправникам и заседателю, избавляло их от притеснения начальства.

«Вероятно, у него было очень тонкое эстетическое чувство. Все его постройки не только прочны и удобны, но чрезвычайно изящны. Таков же разбитый им парк перед домом. Вероятно, он также очень любил музыку, потому что только для себя и для матери держал свой хороший небольшой оркестр. Я еще застал огромный, в три обхвата вяз, росший в клину липовой аллеи, и вокруг которого были сделаны

---

[1]) Род князей Волконских. Стр. 707.

[2]) О воеводстве князя Николая Сергеевича Волконского в Архангельске свидетельствует интересный документ, хранящийся в Московском Историческом музее и заключающийся в приказе о принятии мер против ожидавшегося нападения французов на г. Архангельск в 1799 году. (Об этом ожидавшемся нападении, повидимому, секретно доносил сам князь Волконский.) Приказ подписан собственноручно императором Павлом I. *П. Б.*

скамьи и пюпитры для музыкантов. По утрам он гулял по аллее, слушая музыку. Охоты он терпеть не мог, а любил цветы и оранжерейные растения.

«Странная судьба и самым странным образом свела его с той самой Варенькой Энгельгардт, за отказ от которой он пострадал во время своей службы. Варенька эта вышла за князя Сергея Федоровича Голицына, получившего вследствие этого всякого рода чины, ордена и награды. С этим-то Сергеем Федоровичем и его семьей, следовательно и с Варварой Васильевной, сблизился мой дед до такой степени, что мать моя была с детства обручена одному из десяти сыновей Голицына и что оба старые князья разменялись портретными галлереями (разумеется, копиями, написанными крепостными живописцами). Все эти портреты Голицыных и теперь в нашем доме, с князем Сергеем Федоровичем в Андреевской ленте и рыжей, толстой Варварой Васильевной—кавалерственной дамой. Однако сближению этому не суждено было совершиться: жених моей матери, Лев Голицын [1]), умер от горячки перед свадьбой» [2]).

Просматривая родословную князей Волконских, я наткнулся еще на одну интересную личность, именно на двоюродную сестру матери Льва Николаевича, княжну Варвару Александровну Волконскую, свидетельницу многих событий, происходивших в доме деда Льва Николаевича. Вот что говорится о ней в родословной:

«Княжна Варвара Александровна Волконская (дочь князя Александра Сергеевича, т.-е. племянница деда Льва Николаевича) со смерти матери часто живала подолгу с отцом своим в доме родного брата его Николая Сергеевича. Тут она встречалась с лицами, о коих повествует граф Лев Толстой в своем романе «Война и мир». Подробности о них и о современных событиях живо сохранились в ее памяти до глубокой старости... Под конец жизни она переселилась в село Согалево, Клинского уезда, тоже бывшее вотчиной родителей ее, и тут построила себе домик около самой церкви, в котором жила с несколькими дворовыми старушками, которые не хотели расстаться с ней и с которыми она жила воспоминаниями о прошлом, читая и перечитывая «Войну и мир». Давно забытая всеми, старая княжна осталась предметом уважения и привязанности местных крестьян. Одному случайному заезжему к ней в 1876 году она с любовью рассказывала, как крестьяне деревень, давно проданных и уже перешедших в третьи руки, поднесли ей в день, когда ей стало 90 лет, куль муки и рубль серебром, как бабы подносили рубль, куриц и холста. Она это рассказывала не только с чувством благодарности, но и гордости, как свидетельство о памяти, оставленной ее родителями среди населения» [3]).

«Милую старушку, двоюродную сестру моей матери, я знал. Познакомился я с ней, когда в пятидесятых годах жил в Москве. Устав от рассеянной светской жизни, которую я вел тогда в Москве, я поехал к ней, в ее маленькое именьице Клинского уезда, и провел у нее несколько недель. Она шила в пяльцах, хозяйничала в своем маленьком хозяйстве, угощала меня кислой капустой, творогом, пастилой, какие только бывают у таких хозяек маленьких имений, и рассказывала мне про старину, мою мать, деда, про четыре коронации, на которых она присутствовала. Я же писал у нее «Три смерти».

«И это пребывание у нее осталось для меня одним из чистых и светлых воспоминаний моей жизни» [4]).

Наконец, назовем еще одно лицо из рода князей Волконских, хотя и не предка Льва Николаевича по прямой линии, но родственника его, князя Сергея Григорьевича

---

[1]) Тетушка рассказывала мне, что Голицына этого звали Львом, но это, очевидно, ошибка, так как у Сергея Федоровича Голицына не было сына Льва. И потому я думаю, что предание о том, что мать моя была обручена одному из Голицыных, справедливо, так же, как и то, что жених этот умер. То же, что мне дано имя Лев потому, что так звали жениха,—неверно. *Примечание Л. Н. Толстого.*

[2]) Из доставленных мне и отданных в мое распоряжение черновых неисправленных записок Л. Н. Толстого.

[3]) Род князей Волконских. Стр. 720.

[4]) Вставка, сделанная Львом Николаевичем при просмотре рукописи.

Волконского, декабриста. Князь Сергей Григорьевич приходился троюродным братом матери Льва Николаевича и внуком Семену Федоровичу Волконскому, родному брату князя Сергея Федоровича, о котором упоминали выше.

Князь Сергей Григорьевич Волконский родился в 1788 году, участвовал в кампании 12-го года и затем принадлежал к южному тайному обществу; за участие в заговоре декабристов был сослан в Восточную Сибирь, где и оставался 30 лет, пробыв первые годы в каторжных работах, в кандалах, а потом на поселении [1]).

Путешествие и прибытие жены его, княгини Марии Николаевны, описано в известной поэме Некрасова.

Брат его, Николай Григорьевич Волконский, по указу императора Александра I, в 1801 году принял фамилию Репнина, своего деда со стороны матери, род которого прекратился. «Да род князей Репниных,—как сказано в указе,—столь славно отечеству послуживших, с кончиною последнего в оном, не угаснет, но, обновясь, пребудет с именем и примером его в незабвенной памяти российского дворянства».

Князь Николай Григорьевич участвовал во всех походах против Бонапарта и в Отечественной войне. За битву под Аустерлицем награжден орденом св. Георгия четвертого класса. В этом сражении, командуя эскадроном, он участвовал в известной атаке кавалергардского полка, описанной в «Войне и мире», при чем был ранен пулей в голову и контужен. Французы подняли его с поля сражения и понесли на перевязочный пункт; узнав об этом, Бонапарт на другой день велел привести его в свою ставку и тут же предложил ему из уважения к его храбрости освободить не только его, но и всех офицеров, бывших под его командой, с условием не воевать в течение двух лет. Николай Григорьевич, поблагодарив за внимание, ответил, что «он присягнул служить своему государю до последней капли крови и потому предложения принять не может» [2]).

Вскоре затем, по возвращении из плена, вследствие ран князь был уволен в отставку.

В «Русской Старине» 1890 года, т. 68, стр. 209, помещено письмо самого князя Репнина к Михайловскому-Данилевскому (историку Отечественной войны); в этом письме князь Репнин подробно рассказывает эпизод, описанный в «Войне и мире», и приводит подлинные слова своего разговора с Наполеоном. Первая часть этого разговора с точностью воспроизведена в романе «Война и мир».

ГЛАВА III.

Родители Льва Николаевича.

В своих воспоминаниях Лев Николаевич, описывая своих родителей, следует хронологическому порядку в том смысле, что сначала описывает смутные черты своей матери, дополняя рассказами о ней других, переживших ее членов семьи, а затем уже приводит более точные позднейшие воспоминания об отце и тетках. Мы оставляем этот порядок, чтобы возможно менее менять порядок изложения Льва Николаевича. Из всего рассказа его о матери и отце исключен нами только рассказ о деде Волконском, который и вставлен в свое место, в главе о предках.

«Матери своей я совершенно не помню. Мне было 1½ года, когда она скончалась. По странной случайности не осталось ни одного ее портрета; так что, как реальное физическое существо,—я не могу себе представить ее. Я отчасти рад этому, потому что в представлении моем о ней есть только ее духовный облик, и все, что я знал о ней, все прекрасно, и я думаю не оттого только, что все говорившие мне

---

[1]) Записки С. Гр. Волконского (декабриста).
[2]) Род князей Волконских. Стр. 704, 714 и 715.

про мою мать старались говорить о ней только хорошее, но потому, что действительно в ней было очень много этого хорошего.

«Впрочем, не только моя мать, но и все окружавшие мое детство лица, от отца до кучеров, представляются мне исключительно хорошими людьми. Вероятно, мое чистое, любовное чувство, как яркий луч, открывало мне в людях (они всегда есть) лучшие их свойства, и то, что все люди эти казались мне исключительно хорошими, было гораздо ближе к правде, чем то, когда я видел одни их недостатки.

«Мать моя была нехороша собою, очень хорошо образована для своего времени. Она знала, кроме русского, на котором она, противно принятой тогда русской безграмотности, писала правильно,—четыре языка: французский, немецкий, английский и итальянский,—и должна была быть чутка к художеству; она хорошо играла на фортепиано, и сверстницы ее рассказывали мне, что она была большая мастерица рассказывать завлекательные сказки, выдумывая их по мере рассказа. Самое же дорогое качество было то, что она, по рассказам прислуги, была хотя и вспыльчива, но сдержанна. «Вся покраснеет, даже заплачет,—рассказывала мне ее горничная,—но никогда не скажет грубого слова». Она и не знала их.

«У меня осталось несколько писем ее к отцу и другим теткам и дневник поведения Николеньки (старшего брата), которому было 6 лет, когда она умерла, и который, я думаю, был более других похож на нее. У них обоих было очень мне милое свойство характера, которое я предполагаю по письмам матери, но которое я знал у брата: их равнодушие к суждениям людей и скромность, доходящая до того, что они старались скрыть те умственные, образовательные и нравственные преимущества, которые они имели перед другими людьми. Они как будто стыдились этих преимуществ.

«В брате,—про которого Тургенев очень верно сказал, что у него не было тех недостатков, которые нужны для того, чтобы быть большим писателем,—я хорошо знал это.

«Помню раз, как очень глупый и нехороший человек, ад'ютант губернатора, охотившийся вместе с братом, при мне подсмеивался над ним, и как брат, глядя на меня, добродушно улыбался, очевидно, находя в этом большое удовольствие.

«Ту же черту я замечал в письмах матери. Она, очевидно, духовно была выше отца и его семьи, за исключением разве Татьяны Александровны Ергольской, с которой я прожил половину своей жизни и которая была замечательная по нравственным качествам женщина.

«Кроме того, у обоих была еще другая черта, обусловливающая, я думаю, и их равнодушие к суждению людей,—это то, что они никогда никого, это я уже верно знаю про брата, с которым прожил половину жизни, никогда никого не осуждали. Наиболее резкое отрицательное отношение к человеку выражалось у брата топким, добродушным юмором и такою же улыбкой. То же самое я вижу по письмам моей матери и слышал от тех, которые знали ее.

«В житиях Дмитрия Ростовского есть одно, которое меня всегда очень трогало,—это коротенькое житие одного монаха, имевшего заведомо всей братии много недостатков и, несмотря на то, явившегося в сновидении старцу среди святых в самом лучшем месте рая. Удивленный старец спросил: чем заслужил этот невоздержанный во многом монах такую награду? Ему отвечали: он никогда не осудил никого.

«Если бы были такие награды, я думаю, что мой брат и моя мать получили бы их.

«Еще третья черта, выделявшая мать из ее среды, была правдивость и простота ее тона в письмах. В то время особенно были распространены в письмах выражения преувеличенных чувств: «несравненная, обожаемая, радость моей жизни, неоцененная» и т. д.—были самые распространенные эпитеты между близкими, и чем напыщеннее, тем были непискреннее.

«Эта черта, хотя и не в сильной степени, видна в письмах отца. Он пишет: «ma bien douce amie, je ne pense qu'au bonheur d'être auprès de toi»

Едва ли это было вполне искренно. Она же пишет в обращении всегда одинаково: «mon bon ami», и в одном из писем прямо говорит: «le temps me parait long sans toi quoiqu'a dire vrai, nous ne jouissons pas beaucoup de ta société quand tu es ici», и всегда подписывается одинаково: «ta devouée Marie».

«Детство свое мать прожила частью в Москве, частью в деревне с умным, гордым и даровитым человеком, моим дедом Волконским. Мне говорили, что маменька очень любила меня и называла: «mon petit Benjamin».

«Думаю, что любовь к умершему жениху, именно вследствие того, что она кончилась смертью, была той поэтической любовью, которую девушки испытывают только один раз. Брак ее с моим отцом был устроен родными ее и моего отца. Она была богатая, уже не первой молодости, сирота, отец же был веселый, блестящий молодой человек, с именем и связями, но с очень расстроенным (до такой степени расстроенным, что отец даже отказался от наследства) моим дедом Толстым состоянием. Думаю, что мать любила моего отца, но больше как мужа и, главное, отца своих детей, но не была влюблена в него. Настоящей же ее любви, как я понимаю, были три или четыре: любовь к умершему жениху, потом страстная дружба с француженкой m-lle Hénissienne, про которую я слышал от тетушек и которая кончилась, как кажется, разочарованием. M-lle Hénissienne эта вышла замуж за двоюродного брата матери, князя Михаила Александровича Волконского, деда теперешнего писателя Волконского. Вот что пишет моя мать про свою дружбу с этой m-lle Hénissienne.

«Пишет она про свою дружбу по случаю двух девиц, живших у нее в доме:

„Je m'arrange très bien avec toutes les deux, je fais de la musique, je ris et je folâtre avec l'une et je parle sentiment, je médis du monde frivole, avec l'autre, je suis aimée à la folie par toutes les deux, je suis la confidente de chacune, je les concilie, quand elles sont brouillées, car il n'y eut jamais d'amitié plus querelleuse et plus drôle à voir que la leur: ce sont des bouderies, des pleurs, des reconciliations, des injures et puis des transports d'amitié exaltée et romanesque. Enfin j'y vois comme dans un miroir l'amitié qui a animé et troublé ma vie pendant quelques années. Je les regarde avec un sentiment indéfinissable, quelquefois j'envie leurs illusions, que je n'ai plus, mais dont je connais la douceur; disons le franchement, le bonheur solide et réel de l'âge mûr vaut-il les charmantes illusions de la jeunesse, où tout est embelli par la toute-puissance de l'imagination? Et quelquefois je souris de leur enfantillage“ [1]).

«Третье сильное, едва ли не самое страстное чувство, была ее любовь к старшему моему брату Коко, журнал поведения которого она вела по-русски, в котором она записывала его проступки и читала ему. Из этого журнала видно страстное желание сделать всевозможное для наилучшего воспитания Коко и вместе с тем очень неясное представление о том, что нужно для этого. Так, например, она выговаривает ему за то, что он слишком чувствителен и плачет при виде страданий животных. Мужчине, по ее понятиям, надо быть твердым. Другой недостаток, который она старается исправлять в нем, это то, что он задумывается и вместо «bonsoir» или «bonjour» говорит бабушке: «je vous remercie».

---

[1]) „Я отлично лажу с обеими, я занимаюсь музыкой, смеюсь и дурачусь с одной, говорю о чувствах, пересуживаю пустоту света с другой, любима до безумия обеими, каждая делает мне свои признания, и я их мирю, когда они ссорятся; так как трудно себе представить дружбу более бурную и более странную, чем их няня. Постоянные неудовольствия, слезы, утешения, брань и вдруг порывы восторженной и романтической дружбы. Словом, вижу как в зеркале дружбу, которая оживляла меня и смущала мою жизнь в течение нескольких лет. Я смотрю на них с невыразимым чувством, иногда завидую их иллюзиям, которых у меня уже нет, но сладость которых я знаю. Говоря откровенно, счастье прочное и действительное зрелого возраста, стóит ли оно очаровательных иллюзий юности, когда все бывает украшено всесильным воображением? Иногда я улыбаюсь их ребячеству“.

«Четвертое сильное чувство, которое, может-быть, было, как мне говорили тетушки, и которое я так желал, чтобы было, была любовь ко мне, заменившая любовь ей к Коко, во время моего рожденья уже отлепившегося от матери и поступившего в мужские руки. Ей необходимо было любить не себя, и одна любовь сменялась другой.

«Таков был духовный облик моей матери в моем представлении.

«Она представлялась мне таким высоким, чистым, духовным существом, что часто в средний период моей жизни, во время борьбы с одолевавшими меня искушениями, я молился ее душе, прося ее помочь мне, и эта молитва всегда помогала много.

«Жизнь моей матери в семье отца, как я могу заключить по письмам и рассказам, была очень счастливая и хорошая.

«Семья отца состояла из бабушки, старушки—его матери, ее дочери—моей тетки, графини Александры Ильиничны Остен-Сакен, и ее воспитанницы Пашеньки; другой тетушки, как мы называли ее, хотя она была нам очень дальней родственницей, Татьяны Александровны Ергольской, воспитавшейся в доме дедушки и прожившей всю жизнь в нашем доме, моего отца, учителя Федора Ивановича Ресселя, описанного мною довольно верно в «Детстве». Детей нас было пятеро: Николай, Сергей, Дмитрий, я, меньшой, и меньшая сестра Машенька, вследствие родов которой и умерла моя мать. Замужняя очень короткая жизнь моей матери—кажется, не больше 9-ти лет—была счастливая и хорошая. Жизнь эта была очень полна и украшена любовью всех к ней и ее ко всем, жившим с ней. Судя по письмам, я вижу, что жила она тогда очень уединенно. Никто почти, кроме близких знакомых Огаревых и родственников, случайно проезжавших по большой дороге и заезжавших к нам, не посещали Ясной Поляны.

«Жизнь моей матери проходила вся за занятиями с детьми, в вечерних чтениях вслух романов для бабушки и серьезных чтениях, как Эмиль Руссо, и рассуждениях о читанном, в игре на фортепиано, в преподавании итальянского языка одной из теток, в прогулках и домашнем хозяйстве.

«Во всех семьях бывают периоды, когда болезни и смерти еще отсутствуют и члены семьи живут спокойно. Такой период, как мне думается, переживала мать в семье мужа до своей смерти. Никто не умирал, никто серьезно не болел, расстроенные дела отца поправлялись. Все были здоровы, веселы и дружны. Отец веселил всех своими рассказами и шутками. Я не застал этого времени. Когда я стал помнить себя, уже смерть матери положила свою печать на жизнь нашей семьи».

К этой яркой и вместе с тем нежной характеристике своей матери Львом Николаевичем мы должны еще прибавить несколько ценных черт, на которые дают указания некоторые оставшиеся после Марии Николаевны ее писания. Из них, кроме упоминаемых Л. Н—чем, мы укажем на дневник Марии Николаевны от 1810 г. об ее поездке с отцом из Москвы в Петербург.

Дневник этот является также чрезвычайно важным источником для понимания личности самой Марии Николаевны. Озаглавлен он: «Дневная запись для собственной памяти». Начинается же он так: «1810 г. июня 18 дня, выехала я с батюшкой из Москвы с сердцем, исполненным радости, но с тощим кошельком, в котором было только четыре рубли; и эта сумма должна была довести меня до Петербурга». Уже в этих немногих строках заключаются ценные штрихи для понимания молодой шестнадцатилетней княжны: она и до ребячливости наивна, и в то же время не по летам рассудительна и самостоятельна. Она наивна, когда думает о своем «тощем кошельке», который должен «довезти» ее до Петербурга, потому что ведь едет она с богатым отцом, но она рассудительна и самостоятельна, потому что, даже, «с сердцем, исполненным радости», способна не забывать житейскую прозу. Те же черты выступают перед нами и в дальнейших строках дневника. Так, приехав в деревню Давыдовку к брату Ник. Сергеевича, кн. Александру Сергеевичу, она записывает: «Сестра княжна Варвара показывала мне свои занятия: у нее восемь девок, которые прекрасно плетут кружева». Но эта бросающаяся в глаза склонность

молодой девушки обращать внимание на практическую сторону жизни, развитая в ней, очевидно, отцом, далеко не преобладающая в ней черта. Когда Марья Николаевна соприкасается с природой или с искусством, окружающая проза жизни всегда отступает для нее на задний план. В той же самой Давыдовке, осмотрев тамошние места, она делает в своем дневнике такую заметку: «со всех сторон открываются прелестные виды: в лесу есть натуральные гулянья, которые, кажется, будто сделаны искусством». Вообще, все красивое неизменно привлекает ее внимание. Некрасивая сама, она душой живет всегда в красоте, в каких-то мечтах о ней, никогда не забывая при этом полезной стороны наблюдаемых ею явлений. И в этой черте ее явно сказывается влияние отца, эстетическая натура которого не мешала ему быть очень практичным и дельным хозяином. В Твери Марья Николаевна записывает: «Сей город очень регулярно построен и имеет очень хорошие домы». А уезжая из Твери, она делает такое замечание: «Величественная Волга чрезвычайно украшает ее; и я долго любовалась на сию мать Российских рек, которая орошает столько Губерний». Про Новгород она говорит: «Я с удовольствием увидела сей древний город, который был некогда столицею России, часто противился Великим Князьям и участвовал в Ганзеатическом союзе, который играл тогда столь знатную ролю». Наконец, приехав уже в Петербург, она так отзывается о Царском Селе, через который лежал ее маршрут: «сие место привело меня в восхищенье, хотя я только поверхностно могла рассмотреть оное. Сей дворец, огромное и великолепное здание, которое я видела только с одной стороны; сии сады и рощи, в которых гуляла Екатерина, сии беседки, фонтаны на подобие развалин, и обложенные камнем горы, все сие прельщало меня» [1]).

Из этого дневника наглядно вырисовывается та серьезность и основательность, с какой воспитывал и развивал свою дочь князь Николай Сергеевич Волконский.

Продолжая свои воспоминания, Лев Николаевич переходит уже к другой эпохе и говорит:

«Все это я описываю по рассказам и письмам. Теперь же начинаю о том, что я пережил и помню. Не буду говорить о смутных, младенческих неясных воспоминаниях, в которых не можешь еще отличить действительности от сновидений. Начну с того, что я ясно помню: с того места и с тех лиц, которые окружали меня с первых лет. Первое место среди этих лиц занимает, хотя и не по влиянию на меня, но по моему чувству к нему, разумеется, мой отец.

«Отец мой с молодых лет оставался единственным сыном своих родителей. Младший брат его Иленька был ушиблен, стал горбатый и умер в детстве. В 12-м году отцу было 17 лет, и он, несмотря на ужас и страх и отговоры родителей, поступил в военную службу. В то время князь Алексей Иванович Горчаков, близкий родственник моей бабушки, княгини Горчаковой, был военным министром, а другой брат, Андрей Иванович, был генералом, командующий чем-то в действующей армии, и отца зачислили к нему в ад'ютанты. Он проделал походы 13, 14 годов и в 14 году где-то во Франции, будучи послан курьером, был французами взят в плен, от которого освободился только в 15 году, когда наши войска вошли в Париж.

«Отец в 20 лет уже был не невинным юношей, а еще до поступления на военную службу, стало-быть лет 16-ти, был соединен родителями, как думали тогда, для его здоровья, с дворовой девушкой. От этой связи был сын Мишенька, которого определили в почтальоны и который при жизни отца жил хорошо, но потом сбился с пути и часто уже к нам, взрослым братьям, обращался за помощью. Помню то странное чувство недоумения, которое я испытывал, когда этот, впавший в нищенство, брат мой, очень похожий (более всех нас) на отца, просил нас о помощи и был благодарен за 10, 15 рублей, которые давали ему.

«После кампании отец, разочаровавшись в военной службе,—это видно по письмам,—вышел в отставку и приехал в Казань, где, совсем уже разорившись,

[1]) П. Г. Молоствов. „Лев Толстой, критико-биографическое исследование". Вып. 1, стр. 18.

мой дед был губернатором, и в Казани же была сестра отца, Пелагея Ильинична, за Юшковым. Дед скоро умер в Казани же, и отец остался с наследством, которое не стоило и всех долгов, и с старой, привыкшей к роскоши, матерью, сестрой и кузиной на руках. В это время ему устроили женитьбу на моей матери, и он переехал в Ясную Поляну, где, прожив 9 лет с матерью, овдовел и где уже на моей памяти жил с нами.

«Отец был среднего роста, хорошо сложен, живой сангвиник с приятным лицом и с всегда грустными глазами. Жизнь его проходила в занятиях хозяйством, в котором он, кажется, не был большой знаток, но в котором он имел для того времени большое качество: он был не только не жесток, но скорее даже слаб. Так что и за его время я никогда не слыхал о телесных наказаниях. Вероятно, эти наказания производились. В то время трудно было себе представить управление без употребления этих наказаний; но они, вероятно, были так редки и отец так мало принимал в них участия, что нам, детям, никогда не удавалось слышать про это. Уже только после смерти отца я в первый раз узнал, что такие наказания совершались у нас.

«Мы, дети, с учителем возвращались с прогулки и подле гумна встретили толстого управляющего Андрея Ильина и шедшего за ним, с поразившим нас печальным видом, помощника кучера, Кривого Кузьму, человека женатого и уже не молодого. Кто-то из нас спросил Андрея Ильина, куда он идет, а он спокойно отвечал, что идет на гумно, где надо Кузьму наказать. Не могу описать ужасного чувства, которое произвели на меня эти слова и вид доброго и унылого Кузьмы. Вечером я рассказал это тетушке Татьяне Александровне, воспитавшей нас и ненавидевшей телесные наказания, никогда не допускавшей их для нас, а также для крепостных, там, где она могла иметь влияние. Она очень возмутилась тем, что я рассказал ей, и с упреком сказала: «Как же вы не остановили его?» Ее слова еще больше огорчили меня... Я никак не думал, чтобы мы могли вмешиваться в такое дело, а между тем, оказывалось, что мы могли. Но уже было поздно, и ужасное дело было совершено.

«Возвращаюсь к тому, что я знал про отца и как представляю себе его жизнь. Занятие его составляло хозяйство и, главное, процессы, которых тогда было очень много у всех и, кажется, особенно много у отца, которому надо было распутывать дела деда. Процессы эти заставляли отца часто уезжать из дома; кроме того, уезжал он часто и для охоты—и для ружейной и для псовой. Главным товарищем его по охоте был его приятель, старый холостяк и богач, Киреевский, и Языков, Глебов, Исленев. Отец разделял общее тогда свойство помещиков—пристрастие к некоторым любимцам из дворовых. Такими любимцами его были два брата: Петруша и Матюша, оба красивые, ловкие ребята и они же охотники. Дома отец, кроме занятий хозяйством и нами—детьми, еще много читал. Он собирал библиотеку, состоявшую по тому времени из французских классиков, исторических сочинений и естественно-исторических—Бюфон, Кювье. Тетушка говорила мне, что отец поставил себе за правило не покупать новых книг, пока не прочтет прежних. Но, хотя он и много читал, трудно верить, чтобы он одолел все эти «Histoires des Croisades» и «Des Papes» которые он приобретал в библиотеку.

«Сколько я могу судить, он не имел склонности к наукам, но был на уровне образованных людей своего времени. Как большая часть людей первого Александровского времени и походов 13, 14, 15 годов, он был не то, что теперь называется либералом, а просто, по чувству собственного своего достоинства, не считал для себя возможным служить ни при конце царствования Александра I, ни при Николае. Он не только не служил никогда, но даже все друзья его были такие же люди свободные, не служащие и немного фрондирующие правительство Николая Павловича.

«За все мое детство и даже юность наше семейство не имело близких сношений ни с одним чиновником. Разумеется, я ничего не понимал этого в детстве, но я понимал то, что отец никогда ни перед кем не унижался, не изменял своего бой-

кого, веселого и часто насмешливого тона. И это чувство собственного достоинства, которое я видел в нем, увеличивало мою любовь, мое восхищение перед ним.

«Помню его в его кабинете, куда мы приходили к нему прощаться, а иногда просто поиграть, где он с трубкой сидел на кожаном диване и ласкал нас, а иногда, к величайшей радости нашей, пускал к себе за спину на кожаный диван и продолжал читать или разговаривать с стоящим у притолоки двери приказчиком или с С. И. Языковым, моим крестным отцом, часто гостившим у нас. Помню, как он приходил к нам вниз и рисовал нам картинки, которые казались нам верхом совершенства. Помню, как он раз заставил меня прочесть ему полюбившиеся мне и выученные мною наизусть стихи Пушкина «К морю»: «Прощай, свободная стихия!» и Наполеону: «Чудесный жребий совершился, угас великий человек», и т. д. Его поразил, очевидно, тот пафос, с которым я произносил эти стихи, и он, прослушав меня, как-то значительно переглянулся с бывшим тут Языковым. Я понял, что он что-то хорошее видит в этом моем чтении, и был очень счастлив этим.

«Помню его веселые шутки и рассказы за обедом и ужином, как и бабушка, и тетушка, и мы, дети, смеялись, слушая его. Помню еще его поездки в город и тот удивительно красивый вид, который он имел, когда надевал сюртук и узкие панталоны. Но более всего я помню его в связи с псовой охотой. Помню его выезды на охоту. Мне всегда потом казалось, что Пушкин списал с него свой выезд на охоту мужа в графе Нулине. Помню, как мы с ним ходили гулять и как, увязавшись за ним, молодые борзые, разрезвившись по нескошенному лугу, на котором высокая трава подстегивала их и щекотала под брюхом, летали кругом с загнутыми на бок хвостами и как он любовался ими. Помню, как в день охотничьего праздника 1-го сентября мы все выехали в линейке к от'емному лесу, в который была посажена лисица, и как гоняли гончие ее и где-то—мы не видели—борзые поймали ее. Помню особенно ясно садку волка. Это было около самого дома. Мы все пешком вышли смотреть. На телеге вывезли большого соструненного, со связанными ногами серого волка. Он лежал смирно и только косился на подходивших к нему. Приехав на место за садом, волка вынули, прижали вилами к земле и развязали ноги. Он стал рваться и дергаться, злобно грызя струнку. Наконец развязали на затылке и струнку и кто-то крикнул: «пущай!» Вилы подняли, волк поднялся, постоял секунд десять, но на него крикнули и пустили собак. Волк, собаки, конные, верховые полетели вниз по полю. И волк ушел. Помню, отец что-то выговаривал и, сердито махая руками, возвращался домой.

«Самые же приятные мои воспоминания о нем—это его сиденье с бабушкой на диване и помогание ей раскладывания пасьянса. Отец со всеми бывал учтив и ласков, но с бабушкой он был всегда как-то особенно ласково подобострастен. Сидит, бывало, бабушка со своим длинным подбородком в чепце с рюшем и бантом на диване и раскладывает карты, понюхивая изредка из золотой табакерки. Рядом с диваном сидит на кресле тульская оружейница Петровна в своей куртушке с патронами, прядет и стукает клубком изредка по стене, в которой она, клубками этими, выбила уже ямку. Петровна эта—торговка, почему-то полюбилась бабушке, и она гостит часто у нас и всегда сидит рядом с бабушкой в гостиной около дивана. На креслах сидят тетушки, и одна из них читает вслух. На одном из кресел, продавив в нем себе ямку, лежит чернопегая Милка, любимая резвая собака отца, с прекрасными черными глазами. Мы приходим прощаться, а иногда сидим тут же. Прощаемся, всегда целуясь с бабушками и тетушками, целуясь рука в руку. Помню раз, в средине пасьянса и чтения, отец останавливает читающую тетушку, указывает в зеркало и шепчет что-то. Мы все смотрим туда же. Это официант Тихон, зная, что отец в гостиной, идет к нему в кабинет брать его табак из большой, складывающейся розанчиком, кожаной табачницы. Отец видит его в зеркало и смотрит на его, на цыпочках, осторожно шагающую, фигуру. Тетушки смеются. Бабушка долго не понимает, а когда понимает, радостно улыбается. Я восхищаюсь добротой отца и, прощаясь с ним, с особенной нежностью целую его белую, жи-

Отец Л. Н-ча, гр. Николай Ильич Толстой.

листую руку. Я очень любил отца, но не знал еще, как сильна была эта моя любовь к нему до тех пор, пока он не умер»[1]).

Эти сведения о родителях, сообщенные самим Львом Николаевичем, мы дополним только некоторыми внешними фактами и историческими документами, которые нам удалось собрать.

Граф Николай Ильич Толстой, отец Льва Николаевича, родился в 1797 году. В хранящемся в архиве Казанского университета деле о принятии в студенты Льва Толстого находится любопытный документ: аттестат о службе его отца Николая Ильича.

Мы приведем здесь существенную часть этого акта, датированного 29-го января 1825 года[2]).

«Пред'явитель сего подполковник, граф Николай Ильич, сын Толстой 3-й, который, как значится из формулярного его списка, 28 лет, имеет орден св. Владимира 4-й степени, из дворян; крестьян не имеет, в службу Его Императорского Величества вступил из губернских секретарей, корнетом, 1812 года июня 11-го в 3-й Иркутский казачий регулярный полк, из коего переведен в Иркутский гусарский полк 1812 года августа 18-го; произведен за отличие в поручики 1813 года апреля 27-го; в том же полку штаб-ротмистром 1813 года октября 7-го. Переведен за отличие в кавалергардский полк тем же чином 1814 года августа 8-го, из оного в гусарский принца Оранского полк, манором, 1817 года декабря 11-ого. Уволен по болезни в отставку с награждением подполковника 1819 года марта 14-го. Определен в Московское военно-сиротское отделение смотрительским помощником 1821 года декабря 15-го. Во время которой службы был в разных походах 1813 г. апреля 2-го и в действительных сражениях неоднократно находился, был в полону до взятия Парижа и за отличие в тех сражениях награжден чином вышеописанным поручиком, штаб-ротмистром и орденом св. Владимира 4-й степени с бантом».

Из того же документа узнаем, что граф Н. И. Толстой оставил службу в военно-сиротском отделении и вышел в окончательную отставку «по домашним обстоятельствам» 8-го января 1824 года.

Выйдя в отставку, граф Николай Ильич Толстой поселился в Ясной Поляне. В ту пору у них был лишь один ребенок, годовой сын Николай, родившийся в 1823 году. В 1826 году (17-го февраля) родился у них сын Сергей, а в 1827 году (23-го апреля)—Дмитрий, а 28 августа 1828 года родился сын Лев.

Непродолжительна была мирная и тихая сельская жизнь Толстых. В 1830 г., произведя на свет дочь Марию (родилась 7-го марта), графиня Толстая вскоре скончалась, оставив мужа с пятью детьми.

По смерти матери воспитанием детей занялась дальняя родственница, вышеупомянутая девица Татьяна Александровна Ергольская, выросшая и воспитанная в доме деда Л. Н—ча, графа Ильи Андреевича Толстого.

В семье Толстых сохранился интересный рассказ из жизни отца Льва Николаевича.

В 1813 году, после блокады города Эрфурта, отец Льва Николаевича был послан с депешами в Петербург; на возвратном пути, при местечке Сент-Оби, он был взят в плен вместе со своим крепостным денщиком, незаметно спрятавшим в сапог все золото своего барина. В течение нескольких месяцев, пока они были в плену, он ни разу не разувался, чтобы не выдать тайны. Он натер себе ногу до раны, но все время и вида не показывал, что ему больно. Зато по приезде в Париж Николай Ильич мог жить, ни в чем не нуждаясь. Он сохранил надолго добрую память о преданном денщике [3]).

---

[1]) Из доставленных мне и отданных в мое распоряжение черновых неисправленных записок Л. Н. Толстого.

[2]) „Гр. Л. Н. Толстой и его студенческие годы". П. П. Загоскин. „Исторический Вестник". Январь 1894 г.

[3]) Сергеенко. „Как живет и работает Л. Н. Толстой". Москва, 1898 г. стр. 40.

Прочитавши личные воспоминания Льва Николаевича, читатели поймут, что в повести «Детство» изображены родители не Льва Николаевича.

Действительно, насколько нам известно, в отце он изобразил Александра Михайловича Исленева, соседа по имению и приятеля своего действительного отца. Мать—лицо вымышленное.

Зато в «Войне и мире» нетрудно угадать полное художественное изображение его родителей в лице графа Николая Ильича Ростова и княжны Марии Болконской.

Начиная со старого графа Ильи Андреевича и кончая воспитанницей Соней, у многих членов семьи Ростовых есть соответствующие действительности типы в семейной хронике Толстых. Точно также ясны и обитатели «Лысых Гор». И потому чтение этого романа может дополнить сведения о быте и характере предков и родителей Льва Николаевича.

ЧАСТЬ II

ЮНЫЕ ГОДЫ

ГЛАВА IV.

Детство.

«Родился я и провел первое детство в деревне «Ясной Поляне».

Этими словами начинает Лев Николаевич свои воспоминанья, и мы считаем должным, приступая к описанию детства, сказать несколько слов об этом замечательном уголке земного шара, которому суждено было приобрести всемирную известность. Каких только гостей не видала у себя «Ясная Поляна»! Жители Малайского архипелага, австралийцы, японцы и американцы, сибирские бегуны и представители всех европейских наций посещали ее и разносили по всему свету описание ее, слова и мысли великого старца, ее обитателя.

«Ясная Поляна», родовое имение князей Волконских, находится в Крапивенском уезде, Тульской губ., почти на границе Тульского уезда, в 15 верстах к югу от Тулы. Близ нее переплетаются между собой три большие дороги трех разных эпох: заросшая травой старая Киевская дорога, новое Киевское шоссе и Московско-Курская железная дорога, ближайшая станция которой, Козлова-Засека (или просто Засека), находится от дома Льва Николаевича в 3½ верстах.

Красивая холмистая местность, окружающая «Ясную Поляну», перерезана с востока на запад длинной лентой казенного леса, носящего название «Засеки»; название это указывает на отдельные времена, когда в этом месте славянским племенам приходилось отражать нападения крымских татар и других монгольских племен и «засекать», т.-е. рубить лес и делать лесные завалы, естественное и непроходимое препятствие для вражеских орд.

Дома, в котором родился Лев Николаевич, в «Ясной Поляне» уже нет. Начатый еще дедом, князем Волконским, и достроенный отцом Льва Николаевича, он был продан на сруб соседнему помещику Горохову и находился в селе Долгом, верстах в 30-ти от «Ясной Поляны». В начале пятидесятых годов Лев Николаевич сильно нуждался в деньгах и поручил одному из своих родственников продать этот дом. Огромный барский дом с колоннами и балконами был продан за сравнительно ничтожную сумму, около 5000 рублей ассигнациями. По письму Льва Николаевича к его брату видно, что ему было очень трудно решиться на это, и он сделал это скрепя сердце по необходимости. В настоящее время в доме этом никто не живет. Он стоит запущенный, с заколоченными окнами [1]). Теперешние два яснополянские дома преобразованы из двух прежних флигелей, стоявших по обе стороны проданного большого дома. Место, где стоял большой старый дом, частью засажено деревьями, частью расчищено под крокет-граунд и площадку, заменяющую в хорошую погоду столовую.

Перед домами теперь цветник, и за ним раскинулся старинный сад с прудами и вековыми липовыми аллеями. Весь сад окружен канавой и валом. При въезде в этот сад стоят две круглые выбеленные кирпичные башни. Около них, по рассказам стариков, во времена деда, князя Волконского, стоял часовой.

От этих башен к дому ведет березовая аллея, так называемый проспект.

[1]) В последн. время дом этот, пришедш. в ветхость, разобран крестьянами на дрова

Ц 120581

К старинному саду примыкают более молодые фруктовые сады, саженые уже под руководством самого Льва Николаевича. И вся усадьба, расположенная на холме, тонет в густой роскошной зелени.

О рождении Льва Николаевича, к сожалению, неизвестно никаких интересных подробностей, кроме следующей выписки из метрических книг, приводимой в воспоминаниях Загоскина:

«1828 года, августа 28 дня, сельца «Ясной Поляны», у графа Николая Ильича Толстого родился сын Лев, крещен двадцать девятого числа священником Василием Можайским с дьяконом Архипом Ивановым, дьячком Александром Федоровым и пономарем Федором Григорьевым. При крещении восприемниками были: Белевского уезда помещик Семен Иванов Языков и графиня Пелагея Толстова [1]).

Эта графиня «Пелагея Толстова» была бабушка Льва Николаевича по отцу, Пелагея Николаевна Толстая.

Таковы скудные сведения, дошедшие до нас, о рождении Льва Николаевича. О первом же детстве его мы знаем уже много интересного.

Редко приходится биографу пользоваться столь ранними автобиографическими сведениями, как пишущему эти строки. В своих «Первых воспоминаниях» Лев Николаевич приводит смутные ощущения *пеленания*, т.-е. ощущения первого года жизни.

Мы приводим здесь эти воспоминания целиком:

«Вот первые мои воспоминания (которые я не умею поставить по порядку, не зная, что было прежде, что после; о некоторых даже не знаю, было ли то во сне или на яву). Вот они: я связан; мне хочется выпростать руки, и я не могу этого сделать, и я кричу и плачу, и мне самому неприятен мой крик; но я не могу остановиться. Надо мной стоит, нагнувшись, кто-то, я не помню кто. И все это в полутьме. Но я помню, что двое. Крик мой действует на них; они тревожатся от моего крика, но не развязывают меня, чего я хочу, и я кричу еще громче. Им кажется, что это нужно (т.-е. чтоб я был связан), тогда как я знаю, что это не нужно, и хочу доказать им это, и я заливаюсь криком, противным для самого себя, но неудержимым. Я чувствую несправедливость и жестокость не людей, потому что они жалеют меня, но судьбы, и жалость над самим собой. Я не знаю, и никогда не узнаю, что это такое было: пеленали ли меня, когда я был грудной, и я выдирал руку, или это пеленали меня уже, когда мне было больше года, чтобы я не расчесывал лишаи; собрал ли я в одно это воспоминание, как то бывает во сне, много впечатлений, но верно то, что это было первое и самое сильное мое впечатление жизни. И памятны мне не крик мой, не страдания, но сложность, противоречивость впечатления. Мне хочется свободы, она никому не мешает, и я, кому она нужна, я слаб, а они сильны.

«Другое впечатление—радостное. Я сижу в корыте, и меня окружает новый не неприятный запах какого-то вещества, которым трут мое маленькое тельце. Вероятно, это были отруби, и вероятно, в воде и корыте, но новизна впечатлений отрубей разбудила меня, и я в первый раз заметил и полюбил свое тельце, с видными мне ребрами на груди, и гладкое темное корыто, засученные руки няни, и теплую, парную, стращенную воду, и звук ее, и в особенности ощущение гладкости мокрых краев корыта, когда я водил по ним ручонками.

«Странно и страшно подумать, что от рождения моего и до трех лет, в то время, когда я кормился грудью, когда меня отняли от груди, когда я стал ползать, ходить, говорить, сколько бы я ни искал в своей памяти, я не могу найти ни одного впечатления, кроме этих двух. Когда же я начался? Когда начал жить? И почему мне радостно представлять себя тогда, а бывало страшно, как и теперь страшно многим, представлять себя тогда, когда я опять вступлю в то состояние смерти, от которого не будет воспоминаний, выразимых словами? Разве я не жил

[1]) Н. П. Загоскин „Гр. Л. Н. Толстой и его студенческие годы". „Исторический Вестник". Январь. 1894 г., стр. 87.

тогда, когда учился смотреть, слушать, понимать, говорить, когда спал, сосал грудь и целовал грудь и смеялся и радовал мою мать? Я жил и блаженно жил! Разве не тогда я приобретал все то, чем я теперь живу, и приобретал так много, так быстро, что во всю остальную жизнь я не приобрел и одной сотой того? От пятилетнего ребенка до меня — только шаг. От новорожденного до пятилетнего—страшное расстояние. От зародыша до новорожденного—пучина. А от несуществования до зародыша отделяет уже не пучина, а непостижимость. Мало того, что пространство, и время, и причина суть формы мышления, и что сущность жизни вне этих форм, но вся жизнь наша есть большее и большее подчинение себя этим формам и потом опять освобождение от них.

Следующие воспоминания мои относятся уже к четырем-пяти годам, но и тех очень немного, и ни одно из них не относится к жизни вне стен дома. Природа до пяти лет не существует для меня. Все, что я помню, все происходит в постельке, горнице. Ни травы, ни листьев, ни неба, ни солнца не существует для меня. Не может быть, чтобы не давали мне играть цветами, листьями, чтоб я не видал травы, чтоб не защищали меня от солнца, но лет до пяти, до шести нет ни одного воспоминания из того, что мы называем природой. Вероятно, надо уйти от нее, чтобы видеть ее, а я был природа.

Следующее за корытцем воспоминание есть воспоминание «Еремеевны» Еремеевна» было слово, которым нас, детей, пугали, но мое воспоминание о ней такое: я—в постельке и мне весело и хорошо, как и всегда, и я бы не помнил этого, но вдруг няня или кто-то из того, что составляет мою жизнь, что-то говорит новым для меня голосом и уходит, и мне делается, кроме того, что весело, еще и страшно. И я вспоминаю, что я не один, а кто-то еще такой же, как я. (Это вероятно, моя годом младшая сестра Машенька, с которой наши кровати стояли в одной комнате). И я вспоминаю, что есть положек у моей кровати, и мы вместе с сестрой радуемся и пугаемся тому необыкновенному, что случилось с нами, и я прячусь в подушку, и прячусь и выглядываю в дверь, из которой жду чего-то нового и веселого. И мы смеемся, и прячемся, и ждем. И вот является кто-то в платье и чепце, все так, как я никогда не видал, но я узнаю, что это та самая, кто всегда со мной (няня или тетка—я не знаю), и эта кто-то говорит грубым голосом, который я знаю, что-то страшное про дурных детей и про Еремеевну. Я визжу от страха и радости и точно ужасаюсь и вместе радуюсь, что мне страшно, и хочу, чтобы тот, кто меня пугает, не знал, что я узнал ее.

Мы затихаем, но потом опять нарочно начинаем перешептываться, чтобы вызвать опять Еремеевну.

«Подобное воспоминанию Еремеевны есть у меня другое, вероятно, позднейшее по времени, потому что более ясное, но всегда оставшееся для меня непонятным. В воспоминании этом играет главную роль немец Федор Иванович, наш учитель, но я знаю наверное, что еще я не нахожусь под его надзором, следовательно, это происходит до пяти лет. И это первое мое впечатление Федора Ивановича. И происходит это так рано, что я еще никого,—ни братьев, ни отца,—никого не помню. Если и есть у меня представление о каком-нибудь отдельном лице, то только о сестре, и то только потому, что она одинаково со мною боялась Еремеевны. С этим воспоминанием соединяется у меня тоже первое представление о том, что в доме у нас есть верхний этаж. Как я забрался туда,—сам ли зашел или кто меня занес,—я ничего не помню, но помню то, что нас много, мы все хороводим, держимся рука за руку, в числе держащихся есть чужие женщины (почему то мне памятно, что это прачки), и мы все начинаем вертеться и прыгать, и Федор Иванович прыгает, слишком высоко поднимая ноги, и слишком шумно и громко, и я в одно и то же мгновение чувствую, что это нехорошо, развратно, и замечаю его, и, кажется, начинаю плакать, и все кончается».

К этому времени следует еще отнести рассказ сестры Льва Николаевича, Марьи Николаевны, об их детских играх, переданный ею лично автору этой книги:

Мы спали втроем, в одной комнате: я, Лёвочка и Дунечка [1]), и часто играли между собой, составляя особую, меньшую партию, отдельную от старших братьев, живших внизу с гувернером.

«Одной из любимейших игр наших была игра в «Милашки». Один или одна из нас изображала «Милашку», т.-е. ребенка, которого другие особенно ласкали, укладывали спать, кормили, лечили и вообще всячески возились с ним. И этот Милашка должен был по условиям игры подчиняться охотно всем проделкам над ним и беспрекословно исполнять свою роль.

«Помню раз во время игры наше огорчение и досаду, когда наш Милашка, которым был большей частью Лев Николаевич, после усиленных баюканий его, действительно заснул. А по расписанию игры он должен был плакать и затем нужно было лечить его, давать лекарства, растирать и т. д.; а между тем сон его прекратил нашу игру, вызвав нас от иллюзии к действительности».

«Вот все,—продолжает Лев Николаевич,—что я помню до пятилетнего возраста. Ни своих нянь, теток, братьев, сестер, ни отца, ни комнат, ни игрушек,—я ничего не помню. Воспоминания более определенные начинаются у меня с того времени, как меня перевели вниз к Федору Ивановичу и к старшим мальчикам.

«При переводе меня вниз к Федору Ивановичу и мальчикам я испытывал в первый раз и потому сильнее, чем когда-либо после, то чувство, которое называют чувством долга, называют чувством креста, который призван нести каждый человек. Мне было жалко покидать привычное (привычное от вечности), грустно было, поэтически грустно расставаться не столько с людьми, с сестрой, с няней, с теткой, сколько с кроваткой, с положком, с подушкой, и страшна была та новая жизнь, в которую я вступал. Я старался находить веселое в той новой жизни, которая предстояла мне; я старался верить ласковым речам, которыми заманивал меня к себе Федор Иванович; старался не видеть того презрения, с которым мальчики принимали меня, меньшого, к себе; старался думать, что стыдно было жить большому мальчику с девочками, и что ничего хорошего не было в этой жизни наверху с няней: но на душе было страшно грустно, и я знал, что я безвозвратно терял невинность и счастье, и только чувство собственного достоинства, сознанье того, что я исполняю свой долг, поддерживало меня. Много раз потом в жизни мне приходилось переживать такие минуты на распутьях жизни, вступая на новые дороги. Я испытывал тихое горе о безвозвратности утраченного. Я все не верил, что это будет. Хотя мне и говорили про то, что меня переведут к мальчикам, но, помню, халат с подтяжкой, пришитой к спине, который на меня надели, как будто отрезал меня навсегда от верха, и я тут в первый раз заметил не всех тех, с кем я жил наверху, но главное лицо, с которым я жил и которое я не понимал прежде. Это была тетушка Татьяна Александровна. Помню невысокую, плотную, черноволосую, добрую, нежную, жалостливую. Она надевала на меня халат, обнимая подпоясывала и целовала, и я видел, что она чувствовала то самое, что и я, что жалко, ужасно жалко, но должно. В первый раз я почувствовал, что жизнь не игрушка, а трудное дело. Не то ли я почувствую, когда буду умирать: я пойму, что смерть или будущая жизнь не игрушка, а трудное дело?»

Об этой тетушке, Татьяне Александровне, Лев Николаевич дает следующие интересные сведения в своих воспоминаниях [2]).

«Третье, после отца и матери, самое важное в смысле влияния на мою жизнь была тетенька, как мы называли ее, Татьяна Александровна Ергольская. Она была очень дальняя по Горчаковым родственница бабушки. Она и сестра ее Лиза, вышедшая потом за графа Петра Ивановича Толстого, остались маленькими девочками, бедными сиротками от умерших родителей. Было еще несколько братьев, которых родные кое-как пристроили. Девочек же порешили взять на воспитание знаменитая

[1]) Воспитанница, см. о ней дальше, стр. 76.

[2]) „Первые воспоминания". (Из неизданных автобиографических записок). Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого, изд. 10-е, т. XIII, стр. 515.

своем кругу в Чернском уезде и в свое время властная и важная Тат. Сем. Куратова и моя бабушка; свернули билетики и положили под образа, помолившись вынули, и Лизанька досталась Тат. Сем., а черненькая—бабушке. Таничка, как ее звали у нас, была одних лет с отцом, родилась в 1795 году и воспитывалась совершенно наравне с моими тетками и была всеми нежно любима, как и нельзя было не любить ее за ее твердый, решительный, энергичный и, вместе с тем, самоотверженный характер. Очень рисует ее характер событие с линейкой, про которую она рассказывала нам, показывая большой, чуть не в ладонь, след обжога на руке между локтем и кистью. Они детьми читали историю Муция Сцеволы и заспорили о том, что никто из них не решился бы сделать то же. «Я сделаю», сказала она.—«Не сделаешь», сказал Языков, мой крестный отец, и, тоже характерно для него, разжег на свечке линейку так, что она обуглилась и вся дымилась. «Вот приложи это к руке»,—сказал он. Она вытянула голую руку,—тогда девочки ходили всегда декольте,—и Языков приложил обугленную линейку. Она нахмурилась, но не отдернула руки, застонала она только тогда, когда линейка с кожей отодралась от руки. Когда же большие увидали ее рану и стали спрашивать, как это сделалось, она сказала, что сама сделала это, хотела испытать то, что испытал Муций Сцевола.

«Такая она была во всем решительная и самоотверженная.

«Должно быть, она была очень привлекательная с своей жесткой черной, курчавой, огромной косой и агатово-черными глазами и оживленным, энергическим выражением. В. И. Юшков, муж тетки Пелагеи Ильиничны, большой волокита, часто уже стариком, с тем чувством, с которым говорят влюбленные про прежний предмет любви, вспоминал про нее: «Toinette, oh, elle était charmante!» [1])

«Когда я стал помнить ее, ей было уже за сорок, и я никогда не думал о том, красива или некрасива она. Я просто любил ее, любил ее глаза, улыбку, смуглую, широкую, маленькую руку с энергической поперечной жилкой.

«Должно быть, она любила отца и отец любил ее, но она не пошла за него в молодости для того, чтобы он мог жениться на богатой моей матери; впоследствии же она не пошла за него потому, что не хотела портить своих чистых, поэтических отношений с ним и с нами. В ее бумагах, в бисерном портфельчике, лежит следующая, написанная в 1836 году, 6 лет после смерти моей матери, записка:

«16 août 1836. Nicolas m'a fait aujourd'hui une étrange proposition,—celle de l'épouser, de servir de mère à ses enfants et de ne jamais les quitter. J'ai refusé la première proposition, j'ai promis de remplir l'autre tant que je vivrai» [2])

Так она записала; но никогда ни нам, никому не говорила об этом. После смерти отца она исполнила второе его желание: у нас были две родные тетки и бабушка, все они имели на нас больше прав, чем Татьяна Александровна, которую мы называли тетушкой только по привычке, так как родство наше было так далеко, что я никогда не мог запомнить его, но она, по праву любви к нам, как Будда с раненым лебедем, заняла в нашем воспитании первое место. И мы чувствовали это.

«У меня были вспышки восторженно-умиленной любви к ней. Помню, как раз на диване в гостиной, мне было лет пять, я завалился за нее; она, лаская, тронула меня рукой. Я ухватил эту руку и стал целовать ее и плакать от умиленной любви к ней.

«Она была воспитана барышней богатого дома, говорила и писала по-французски лучше, чем по-русски, прекрасно играла на фортепьяно, но лет 30 не дотрагивалась до него. Она стала играть только уже тогда, когда я взрослым учился играть,

[1]) Туанет, о, она была очаровательна!

[2]) 16 августа 1836. Николай сделал мне сегодня странное предложение,—выйти за него замуж, заменить мать его детям и никогда их более не оставлять. В первом предложении я отказала, второе я обещалась исполнять, пока я буду жива.

и иногда, играя в четыре руки, удивляла меня правильностью и изяществом своей игры. К прислуге она была добра, никогда сердито не говорила с нею, не могла переносить мысли о побоях или розгах, но считала, что крепостные—крепостные, и обращалась с ними, как барышня. Но, несмотря на то, ее отличали от других, любили все люди. Когда она скончалась и ее несли по деревне, из всех домов выходили крестьяне и заказывали панихиду. Главная черта ее была любовь, но как бы я не хотел, чтобы это так было—любовь к одному человеку—к моему отцу! Только уже исходя из этого центра, любовь ее разливалась на всех людей. Чувствовалось, что она и нас любила за него, через него и всех любила, потому что вся жизнь ее была любовь.

Она имела по своей любви к нам наибольшее право на нас, но родные тетушки, особенно Пелагея Ильинична, когда она нас увезла в Казань, имела внешние права, и она покорялась им, но любовь от этого не ослабевала. Она жила у сестры, гр. Е. А. Толстой, но жила душою с нами, и, как только можно было, возвращалась к нам. То, что она последние годы своей жизни, около 20 лет, прожила со мной в Ясной Поляне, было для меня большим счастьем. Но как мы не умели ценить нашего счастья, тем более, что истинное счастье всегда негромко и незаметно! Я ценил, но далеко не достаточно. Она любила у себя в комнате в разных посудинах держать сладенькое: винные ягоды, пряники, финики и любила покупать и угощать этим первого меня. Не могу забыть и без жестокого укора совести вспомнить, как я несколько раз отказывал ей в деньгах на эти сласти и как она, грустно вздыхая, умолкала. Правда, я был стеснен в деньгах, но теперь не могу вспомнить без ужаса, как я отказывал ей.

«Уже, когда я был женат и она начала слабеть, она раз, выждав время, когда я был в ее комнате, отвернувшись (я видел, что она готова заплакать), сказала мне: «Вот что, mes chers amis, комната моя очень хорошая и вам понадобится. А если я умру в ней,—сказала она дрожащим голосом,—вам будет неприятно воспоминание, так вы меня переведите, чтобы я умерла не здесь». Такая она была вся с первых времен моего детства, когда я еще не мог понимать...

«Комната ее была такая: в левом углу стояла шифоньерка с бесчисленными вещицами, ценными только для нее, в правом—киот с иконами и большим, в серебряной ризе, Спасителем, посредине диван, на котором она спала, перед ним стол. Направо дверь к ее горничной.

Я сказал, что тетенька Татьяна Александровна имела самое большое влияние на мою жизнь. Влияние это было, во-первых, в том, что еще в детстве она научила меня духовному наслаждению любви. Она не словами учила меня этому, а всем своим существом заражала меня любовью.

«Я видел, чувствовал, как хорошо ей было любить, и понял счастье любви. Это первое. Второе то, что она научила меня прелести неторопливой, одинокой жизни» [1]).

Об этом мы будем говорить в своем месте.

Мы уже упоминали в главе о родителях, что повести Льва Николаевича «Детство, отрочество и юность» нельзя считать автобиографическими. Но это замечание касается больше внешних фактов и образов, созданных автором для полноты написанной им картины.

Что же касается до изображения внутреннего состояния души ребенка—героя повести, то мы смело можем сказать, что в той или иной форме эти состояния души были пережиты самим автором, и потому мы считаем себя в праве пополнить ими нашу биографию.

Кроме того мы знаем, что некоторые типы, выведенные в этом произведении, списаны с натуры, и мы упоминаем здесь о них, чтобы пополнить группу лиц, окружавших Льва Николаевича в его раннем детстве.

[1]) Из доставленных мне и отданных в мое распоряжение черновых неисправленных записок Л. Н. Толстого.

Так, немец Карл Иванович Мауэр не кто иной, как Федор Иванович Россель, действительный учитель-немец, живший в доме Толстых. О нем же говорит сам Лев Николаевич в своих «Первых воспоминаниях». Эта личность должна была, несомненно, влиять на развитие души ребенка, и надо думать, что влияние это было хорошее, так как автор «Детства» с особенной любовью говорит о нем, изображая его честную, прямую, добродушную и любящую натуру.

Недаром Лев Николаевич начинает историю своего детства с изображения именно этого лица. Федор Иванович и умер в Ясной Поляне и похоронен на кладбище приходской церкви.

Другое лицо, описанное в «Детстве»,—юродивый Гриша, хотя и не действительное лицо, но несомненно, что многие черты его взяты из жизни; повидимому, он оставил глубокий след в детской душе. Ему Лев Николаевич посвящает следующие трогательные слова, рассказывая о подслушанной вечерней молитве юродивого:

«Слова его были нескладны, но трогательны. Он молился о всех благодетелях своих (так он называл тех, которые принимали его), в том числе о матушке, о нас; молился о себе; просил, чтобы бог простил ему его тяжкие грехи, и твердил: «боже, прости врагам моим!»

«Кряхтя, поднимался и, повторяя еще и еще те же слова, припадал к земле и опять поднимался, несмотря на тяжесть вериг, которые издавали сухой, разкий звук, ударяясь о землю...

«...Долго еще находился Гриша в этом положении религиозного восторга и импровизировал молитвы. То твердил он несколько раз сряду: «Господи, помилуй», но каждый раз с новой силой и выражением; то говорил он: «прости мя, Господи, научи мя, что творити . . . . . научи мя, что творити, Господи», с таким выражением, как будто ожидал сейчас же ответа на свои слова; то слышны были одни жалобные рыдания... Он приподнялся на колени, сложил руки на груди и замолк.

«—Да будет воля Твоя!»—вскричал он вдруг с неподражаемым выражением, упал лбом на землю и зарыдал как ребенок.

«Много воды утекло с тех пор, много воспоминаний о былом потеряли для меня значение и стали смутными мечтами, даже и странник Гриша давно окончил свое последнее странствование, но впечатление, которое он произвел на меня, и чувство, которое возбудил, никогда не умрут в моей памяти.

«О, великий христианин Гриша! Твоя вера была так сильна, что ты чувствовал близость Бога; твоя любовь так велика, что слова сами собой лились с уст твоих,—ты их не поверял рассудком... И какую высокую хвалу ты принес Его величию, когда, не находя слов, в слезах повалился на землю!» [1])

Не имеем ли мы права назвать этого человека первым учителем народной веры, которая овладела душой Толстого после бесплодных скитаний ее по дебрям теологии, философии и положительной науки и которую он, в свою очередь, просветил светом своего разумения, очищенного и закаленного в борьбе и страданиях, неизбежно сопровождающих всякое искание истины.

Некоторые указания на это мы находим в его воспоминаниях.

Юродивый Гриша,—говорит Лев Николаевич,—лицо вымышленное. Юродивых много разных бывало в нашем доме, и я—за что глубоко благодарен моим воспитателям—привык с великим уважением смотреть на них. Если и были среди них неискренние, были в их жизни времена слабости, неискренности, самая задача их жизни была, хотя и практически неленая, такая высокая, что я рад, что с детства бессознательно научился понимать высоту их подвига. Они делали то, про что говорит Марк Аврелий: «Нет ничего выше того, как то, чтобы сносить презрение за свою добрую жизнь». Так вреден, так неустраним соблазн славы людской, примешивающийся всегда к добрым делам, что нельзя не сочувствовать попыткам не только избавиться от похвалы, но вызвать презрение людей. Такой юродивой была

---

[1]) Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого. Т. I, стр. 50. Изд. 10-е. Москва, 1897 г.

и крестная мать сестры, Марья Герасимовна, и полудурачок Евдокимушка, и еще некоторые, бывшие в нашем доме.

«Подслушивали же мы, дети, молитву не юродивого, а дурачка, помощника садовника, Акима, действительно молившегося в большой зале летнего дома между двух оранжерей и действительно поразившего и глубоко тронувшего меня своей молитвой, в которой он говорил с Богом, как с живым лицом.

«Ты мой лекарь, Ты мой аптекарь», говорил он с внушительной доверчивостью. И потом пел стих о страшном суде, как бог отделил праведников от грешников и грешникам засыпал глаза желтым песком...»

Из других второстепенных лиц повести упомянем Мими и дочь ее, Катеньку «что-то в роде первой любви». Под именем Мими описана гувернантка соседей; а под именем Катеньки—воспитанница, жившая в семье Льва Николаевича, Дунечка Темяшева. Об этой Дунечке Лев Николаевич так рассказывает в своих воспоминаниях:

«Кроме братьев и сестры, с пятилетнего возраста с нами росла ровесница мне Дунечка Темяшева, и мне надо рассказать, кто она была и как попала к нам. В числе наших посетителей, памятных мне в детстве, мужа тетки Юшкова, странного для детей вида, с черными усами, бакенбардами и в очках (о нем придется много говорить), и моего крестного отца, С. И. Языкова, замечательно безобразного, пропахшего курительным табаком, с лишней кожей на большом лице, которую он передергивал в самые странные, беспрестанные гримасы, кроме этих и двух соседей, Огарева и Исленева, посещал нас еще дальний родственник по Горчаковым, богач-холостяк Темяшев, называвший отца братом и питавший к нему какую-то восторженную любовь. Он жил в сорока верстах от Ясной Поляны, в селе Пирогове, и привез раз оттуда поросят с закорюченными колечками хвостами, которых на большом подносе раскладывали на столе в официантской. Темяшев, Пирогово и поросята соединялись у меня в воображении в одно.

«Кроме того, Темяшев был нам, детям, памятен еще тем, что играл в зале на фортепьяно какой-то плясовой мотив (он только это и умел играть) и заставлял нас плясать под эту музыку; когда же мы спрашивали его, какой танец надо танцовать, он говорил, что можно все танцы танцовать под эту музыку. И мы любили пользоваться этим.

«Был зимний вечер, чай отпили, нас скоро должны были вести спать, и у меня уже глаза слипались, когда вдруг из официантской в гостиную, где все сидели и горели только две свечи и было полутемно, в открытую большую дверь скорым шагом мягких сапог вошел человек и, выйдя на середину гостиной, хлопнулся на колени. Зажженная трубка на длинном чубуке, которую он держал в руке, ударилась об пол, и искры рассыпались, освещая лицо стоявшего на коленях,—это был Темяшев. Что сказал Темяшев отцу, упав перед ним на колени, я не помню, да и не слышал, а только потом узнал, что это он упал на колени перед отцом потому, что привез с собой свою незаконную дочь Дунечку, про которую уже прежде говорил с отцом с тем, чтобы отец принял ее на воспитание с своими детьми. С тех пор у нас появилась широколицая девочка, моя ровесница, Дунечка, с своей няней Евпраксеей, высокой, сморщенной старухой, с висячим у подбородка, как у индюка, кадыком, в котором был шарик, который она нам давала ощупывать.

«Появление в нашем доме Дунечки связывалось с сложной имущественной сделкой между отцом и Темяшевым. Сделка эта была вот какая:

«Темяшев был очень богат. Законных детей у него не было. А было только две девочки: Дунечка и Верочка, горбатая девочка, от бывшей крепостной, отпущенной на волю девушки Марфуши. Наследницы Темяшева были его сестры. Он предоставлял им все остальные свои имения, а Пирогово, в котором он жил, желая передать отцу с тем, чтобы ценность имения—300,000 (про Пирогово всегда говорили, что это было золотое дно, и оно стоило гораздо больше) отец передал двум девочкам. Для того, чтобы устроить это дело, было придумано следующее: Темяшев делал запродажную запись, по которой он продавал отцу Пирогово за 300,000, отец

же давал вексель трем посторонним лицам: Исленеву, Языкову и Глебову по 100 тысяч каждый. В случае смерти Темяшева, отец получал именье и, об'яснив Глебову, Исленеву и Языкову, с какой целью были даны на их имя векселя, выплачивал 300,000, которые должны были итти двум девочкам.

«Может-быть, я ошибаюсь в описании всего плана, но знаю я несомненно то, что имение Ипрогово перешло к нам после смерти отца и что были три векселя на имена Исленева, Глебова и Языкова, и опека выплатила эти векселя и первые два передали по 100 тысяч девочкам. Языков же присвоил себе эти, не принадлежащие ему деньги, но об этом после.

«Дунечка жила у нас и была милая, простая, спокойная, но не умная девочка и большая плакса. Помню, как меня, обученного уже французской грамоте, заставили учить ее буквы. Сначала у нас дело шло хорошо (мне и ей было по пяти лет), но потом, вероятно, она устала и перестала называть правильно ту букву, которую я ей показывал. Я настаивал. Она заплакала. Я тоже. И когда к нам пришли, мы ничего не могли выговорить от отчаянных слез. Другое помню о ней, что когда оказалась похищенной одна слива с тарелки и не могли найти виновного, Федор Иванович с серьезным видом, не глядя на нас, сказал, что с'ел это ничего, а если косточку проглотил, то может умереть. Дунечка не вытерпела этого страха и сказала, что косточку она выплюнула. Еще помню ее отчаянные слезы, когда они с братом Митенькой затеяли игру, состоящую в том, чтобы плевать друг другу в рот маленькую медную цепочку, и она так сильно плюнула, и Митенька так широко открыл рот, что проглотил цепочку. Она плакала безутешно, пока не приехал доктор и не успокоил всех.

«Она была неумная, но хорошая, простая девочка, а главное, до такой степени неломудренная, что между нами, мальчиками, и ею никогда не было никаких, кроме братских отношений».

Чрезвычайно интересны те сведения, которые дает Лев Николаевич о прислуге, окружавшей его во время детства. Эти сведения служат дополнением того, что описано в повести «Детство». Мы заимствуем эти сведения также из его воспоминаний:

«Прасковью Исаевну я довольно верно описал в «Детстве» (под именем Натальи Саввишны). Все, что я о ней писал, было действительно. Прасковья Исаевна была почтенная особа—экономка, а между тем у нее, в ее маленькой комнатке, стояло наше детское судышко. Помню, одно из самых приятных впечатлений было после урока или в середине урока сесть в ее комнатке и разговаривать с ней и слушать. Вероятно, она любила видеть нас в эти времена особенно счастливой и умиленной откровенности. «Прасковья Исаевна, дедушка как воевал? Верхом?» кряхтя спросишь ее, чтобы только поговорить и послушать.

—Он всячески воевал, и на коне и пеший. Зато генерал-аншеф был,—ответит она и, открывая шкаф, достает смолку, которую она называла «очаковским куреньем». По ее словам выходило, что эту смолку дедушка привез из-под Очакова. Зажжет бумажку из лампадки у иконы и зажжет смолку, и она дымит приятным запахом.

«Кроме той обиды, которую она мне нанесла, побив меня мокрой скатертью, как я описал это в «Детстве», она еще другой раз обидела меня: в числе ее обязанностей было еще и то, чтобы, когда это нужно было, ставить нам клистиры. Раз утром, уже не в женской половине, а внизу, на половине Федора Ивановича, мы только-что встали и старшие братья уже оделись, а я замешкался и только-что собирался снимать свой халатик и одеваться, как быстрыми старушечьими шагами вошла Прасковья Исаевна со своими инструментами. Инструменты состояли из трубки, завернутой почему-то в салфетку так, что только желтоватая костяная трубочка виднелась из нее, и еще блюдечка с деревянным маслом, в которое обмакивалась костяная трубочка. Увидя меня, Прасковья Исаевна решила, что тот, над кем тетенька велела сделать операцию, был я. В сущности, это был Митенька, но случайно или из хитрости, зная, что ему угрожает операция, которую мы все

очень не любили, он поспешно оделся и ушел из спальни. И, несмотря, на мои клятвенные уверения, что не мне назначена операция, она исполнила ее надо мной.

«Кроме той преданности и честности ее, я особенно любил ее потому, что она со старушкой Анной Ивановной казалась мне представительницей таинственной стороны жизни дедушки с «очаковским куреньем».

«Анна Ивановна жила на покое, и раза два она была в доме, и я видел ее. Ей, говорили, что было 100 лет, и она помнила Пугачева. У ней были очень черные глаза и один зуб. Она была той старости, которая страшна детям.

«Няня Татьяна Филипповна, маленькая, смуглая, с пухлыми маленькими руками, была молодая няня, помощница старой няни Анпушки, которую я почти не помню, именно потому, что я сознавал себя не иначе, как с Анпушкой, и как я на себя не смотрел и не помнил себя, какой я был, так не помню и Анпушку.

«Так, вновь прибывшую няню Дунечки, Евпраксею, с ее шариком на шее, я помню прекрасно. Помню, как мы чередовались щупать ее шарик; как я, как нечто новое, понял то, что няня Анпушка не есть всеобщая принадлежность людей. А что вот у Дунечки совсем особенная своя няня из Пирогова.

«Няню Татьяну Филипповну я помню потому, что она потом была няней моих племянниц и моего старшего сына. Это было одно из тех трогательных существ из народа, которые так сживаются с семьями своих питомцев, что все свои интересы переносят в них и для своих семейных представляют только возможность выпрашивания и наследования нажитых денег. Всегда у них моты братья, мужья, сыновья. И такие же были, сколько помню, муж и сын Татьяны Филипповны. Помню, она тяжело, тихо и кротко умирала в нашем доме на том самом месте, на котором я теперь сижу и пишу эти воспоминания.

«Брат ее, Николай Филиппович, был кучер, которого мы не только любили, но к которому, как большей частью господские дети, питали великое уважение. У него были особенно толстые сапоги, пахло от него всегда приятно навозом, и голос у него был ласковый и звучный.

«Надо упомянуть и о буфетчике Василье Трубецком. Это был милый, ласковый человек, очевидно любивший детей и потому любивший нас, особенно Сережу, того самого, у которого он потом служил и помер. Помню добрую, кривую улыбку его бритого лица, которое с морщинами и шеей было близко видно, и тоже особенный запах, когда он брал нас на руки и сажал на подпос (это было одним из больших удовольствий: «и меня! теперь меня!») и носил по буфету, таинственному для нас месту, с каким-то подземным ходом. Одно из сильных воспоминаний, связанных с ним, был его от'езд в Щербачевку, курское имение, полученное отцом в наследство от Перовской. Это было (от'езд Василья Трубецкого) на святках, в то время как мы, дети, и несколько дворовых в зале играли в «пошел рублик».

«Про эти святочные увеселения надо тоже рассказать. Святочные увеселения происходили так: дворовые все, очень много, человек 30, наряжались, приходили в дом и играли в разные игры и плясали под игру старика Григорья, который только в эти времена и появлялся в доме. Это было очень весело. Ряженые были, как всегда, медведь с поводырем и козой, турки и турчанки, разбойники, крестьянки—мужчины и мужики—бабы. Помню, как казались мне красивы некоторые ряженые и как хороша была особенно Маша-турчанка. Иногда тетенька наряжала и нас. Был особенно желателен какой-то пояс с каменьями и кисейное полотенце, вышитое серебром и золотом, и очень я себе казался хорош с усами, наведенными жженой пробкой. Помню, как, глядя в зеркало на свое с черными усами и бровями лицо, я не мог удержать улыбки удовольствия, а надо было делать величественное лицо турки. Ходили по всем комнатам и угощались разными лакомствами.

«В один из святок, в моем первом детстве, приехали к нам все Исленевы ряженые: отец, дед моей жены, три его сына и три дочери. На всех были удивительные для нас костюмы: был туалет, был сапог, картонный паяц и еще что-то. Исленевы, приехав за 40 верст, переоделись на деревне, и, войдя в залу, Исленев сел за

фортепьяно и пропел сочиненные им стихи на голос, который я и теперь помню. Стихи были такие:

„С новым годом вас поздравить
Мы приехали сюда;
Коль удастся позабавить,
Будем счастливы тогда!"

«Это было все очень удивительно и, вероятно, хорошо для больших, но для нас, детей, самое лучшее были дворовые.

«Такие увеселения происходили первые дни Рождества и под Новый год, иногда и после, до Крещенья. Но после Нового года уже приходило мало народу, и увеселения шли вяло. Так это было в тот день, когда Василий уезжал в Щербачевку. Помню, в углу почти неосвещенной залы мы сидели кружком на домодельных, под красное дерево, с кожаными подушками деревянных стульях и играли в рублик. Один ходил и должен был найти рубль, а мы перепускали его из рук в руки, напевая: «пошел рублик, пошел рублик!» Помню, одна дворовая особенно приятным и верным голосом выводила все те же слова. Вдруг дверь буфета отворилась, и Василий, как-то особенно застегнутый, без подноса и посуды прошел через край залы в кабинет. Тут только я узнал, что Василий уезжает приказчиком в Щербачевку. Я помню, что это было повышением, и рад был за Василия, и вместе с тем мне не только жаль было расстаться с ним, знать, что его не будет в буфете, не будет уж он нас носить на подносе, но я даже не понимал, не верил, чтобы могло совершиться такое изменение. Мне стало ужасно таинственно-грустно, и напевы: «пошел рублик», сделались умильно-трогательны. Когда же Василий вернулся от тетеньки и с своей милой кривой улыбкой подошел к нам, целуя нас в плечи, я испытал в первый раз ужас и страх перед непостоянством жизни и жалость и любовь к милому Василию.

«Когда я после встречал Василия я видел в нем уже хорошего или дурного приказчика брата, человека, которого я подозревал, и следа уже не было прежнего, святого, братского, человечного чувства» [1]).

Какими-то таинственными, непостижимыми для человеческого разума путями сохраняются впечатления раннего детства и не только сохраняются, но, подобно семени, брошенному на благодатную почву, растут где-то там, в таинственной глубине душевных недр, и вдруг через много лет выбрасывают на свет божий ярко зеленый росток.

Таким посевом в раннем детстве были игры с младшими братьями старшего брата Николеньки, о сильном влиянии которого на свою жизнь не раз вспоминает Лев Николаевич. Мы знаем об этих играх из его воспоминаний о Фанфароновой горе, о муравейных братьях и о зеленой палочке.

«Да, Фанфаронова гора,—говорит Лев Николаевич,—это одно из самых далеких, и милых, и важных воспоминаний. Старший брат Николенька был на 6 лет старше меня. Ему было, стало-быть, 10—11, когда мне было 4 или 5, именно когда он водил нас на Фанфаронову гору. Мы в первой молодости, не знаю, как это случилось, говорили ему «вы». Он был удивительный мальчик и потом удивительный человек. Тургенев говорил про него очень верно, что он не имел только тех недостатков, которые нужны для того, чтобы быть писателем. Он не имел главного, нужного для этого недостатка: у него не было тщеславия, ему совершенно не интересно было, что о нем думают люди. Качества же писателя, которые у него были, были прежде всего тонкое, художественное чутье, крайнее чувство меры, добродушный, веселый юмор, необыкновенное, неистощимое воображение и правдивое, высоко-нравственное мировоззрение, и все это без малейшего самодовольства. Воображение у него было такое, что он мог рассказывать сказки или истории с привидениями или юмористические истории в духе мадам Рэдклиф без остановки целыми часами и с такой уверенностью в действительность рассказываемого, что забывалось, что это выдумка.

---

[1]) Из доставленных мне и отданных в мое распоряжение черновых неисправленных записок Л. Н. Толстого.

Когда он не рассказывал и не читал (он читал очень много), он рисовал. Рисовал он почти всегда чертей с рогами, закрученными усами, сцепляющихся в самых разнообразных позах между собой и занятых самыми разнообразными делами. Рисунки эти тоже были полны воображения и юмора.

«Так вот он-то, когда нам с братьями было мне 5, Митеньке 6, Сереже 7 лет, об'явил нам, что у него есть тайна, посредством которой, когда она откроется, все люди сделаются счастливыми, не будет ни болезни, никаких неприятностей, никто ни на кого не будет сердиться, и все будут любить друг друга, все сделаются *муравейными* братьями (вероятно, это были моравские братья, о которых он слышал или читал, но на нашем языке это были муравейные братья). Я помню, что слово муравейные» особенно нравилось, напоминая муравьев в кочке. Мы даже устроили игру в муравейные братья, которая состояла в том, что садились под стулья, загораживая их ящиками, завешивали платками и сидели там в темноте, прижимаясь друг к другу. Я, помню, испытывал особенное чувство любви и умиления и очень любил эту игру.

Муравейные братья» были открыты нам, но главная тайна о том, как сделать, чтобы все люди не знали никаких несчастий, никогда не ссорились и не сердились, а были бы постоянно счастливы, эта тайна была, как он нам говорил, написана им на зеленой палочке, и палочка эта зарыта у дороги, на краю оврага старого Заказа, в том месте, в котором я, так как надо же где-нибудь зарыть мой труп, просил в память Николеньки закопать меня.

«Кроме этой палочки, была еще какая-то Фанфаронова гора, на которую, он говорил, может ввести нас, если только мы исполним все положенные для того условия. Условия были, во-первых: стать в угол и не думать о белом медведе. Помню, как я становился в угол и старался, но никак не мог не думать о белом медведе. Второе условие: пройти, не оступившись, по щелке между половицами, и третье, легкое: в продолжение года не видать зайца,—все равно, живого или мертвого и даже жареного. Потом надо поклясться никому не открывать этих тайн.

Тот, кто исполнит эти условия и еще другие, более трудные, которые он откроет после, того одно желание, какое бы то ни было, будет исполнено. Мы должны были сказать наше желание. Сережа пожелал уметь ленить лошадей и кур из воска; Митенька пожелал уметь рисовать всякие вещи, как живописец, в большом виде. Я же ничего не мог придумать, кроме того, чтоб уметь рисовать в малом виде. Все это, как это бывает у детей, очень скоро забылось, и никто не вошел на Фанфаронову гору, но помню ту таинственную важность, с которой Николенька посвящал нас в эти тайны, и наше уважение и трепет перед теми удивительными вещами, которые нам открывались.

В особенности же оставило во мне сильное впечатление муравейное братство и таинственная зеленая палочка, связывавшаяся с ним и долженствующая осчастливить всех людей.

«Как теперь я думаю, Николенька, вероятно, прочел или наслушался о масонах, об их стремлении к осчастливлению человечества, о таинственных обрядах приема в их орден, верно слышал о моравских братьях и соединил все это в одно в своем живом воображении и любви к людям, к доброте, придумал все эти истории и сам радовался им и морочил ими нас.

«Идеал муравейных братьев, льнущих любовно друг к другу, только не под двумя креслами, завешенными платками, а под всем небесным сводом всех людей мира, остался для меня тот же. И как я тогда верил, что есть та зеленая палочка, на которой написано то, что должно уничтожить все зло в людях и дать им великое благо, так я верю и теперь, что есть эта истина и что будет она открыта людям и даст им то, что она обещает» [1]).

---

[1]) Ibid.

Единственный, сохранившийся портрет матери Л. Н-ча, когда ей было 9 лет.

Воспоминание о брате Дмитрии мы относим к юности, а здесь приведем еще отрывок неоконченных воспоминаний о брате Сергее, относящихся также к раннему детству.

«С Митенькой я был товарищем, Николеньку я уважал, но Сережей я восхищался и подражал ему, любил его, хотел быть им. Я восхищался его красивой наружностью, его пением,—он всегда пел,—его рисованием, его весельем и в особенности, как ни странно это сказать, непосредственностью его эгоизма. Я всегда себя помнил, себя сознавал, всегда чуял, ошибочно или нет, то, что думают обо мне и чувствуют ко мне другие, и это портило мне радости жизни. От этого, вероятно, я особенно любил в других противоположное этому, непосредственность эгоизма. И за это любил особенно Сережу — слово *любил* неверно: Николеньку я любил, а Сережей восхищался, как чем-то совсем мне чуждым, непонятным. Это была жизнь человеческая, очень красивая, но совершенно непонятная для меня, таинственная и потому особенно привлекательная.

«На-днях он умер, и в предсмертной болезни и умирая он был так же непостижим мне и так же дорог, как и в давнишние времена детства. В старости, в последнее время, он больше любил меня, дорожил моей привязанностью, гордился мной, желал быть со мной согласен, но не мог, и оставался таким, каким был: совсем особенным, самим собою, красивым, породистым, гордым и, главное, до такой степени правдивым и искренним человеком, какого я никогда не встречал. Он был, что был, ничего не скрывал и ничем не хотел казаться.

«С Николенькой мне хотелось быть, говорить, думать; с Сережей мне хотелось только подражать ему. С первого детства началось это подражание. Он завел кур, цыплят своих, и я завел таких же. Едва ли это было не первое мое вникновение в жизнь животных. Помню разной породы цыплят: серенькие, крапчатые с хохолками, как они бегали на наш зов, как мы кормили их и ненавидели большого голландского петуха, который обижал их. Сережа и завел этих цыплят, выпросив их себе; то же сделал и я, подражая ему. Сережа на длинной бумажке рисовал и красками расписывал (мне казалось, удивительно хорошо) под ряд разных цветов кур и петушков, и я делал то же, но хуже. (В этом-то я надеялся усовершенствоваться посредством Фанфароновой горы.) Сережа выдумал, когда вставлены были окна, кормить кур через ключевую дыру в двери посредством длинных соспсок из черного и белого хлеба—и я делал то же» [1]).

Прибавим еще сюда несколько отрывочных воспоминаний, переданных нам Львом Николаевичем, и которые, как и большую часть рассказов из его раннего детства, нет возможности поставить в хронологический порядок. Тем не менее было бы жаль упустить их, так как они дают еще несколько драгоценных бытовых черт для характеристики его детской жизни.

«Одно детское воспоминание о ничтожном событии оставило во мне сильное впечатление, это,—как теперь помню, на нашем детском верху сидел Темяшев и разговаривал с Федором Иваповичем. Не помню, почему разговор зашел о соблюдении постов, и Темяшев, добродушный Темяшев, очень просто сказал: «у меня повар (или лакей, не помню) вздумал есть скоромное постом. Я отдал его в солдаты». Потому и помню это теперь, что это тогда показалось мне чем-то страшным для меня, непонятным.

«Еще событие было—Перовское наследство [2]). Памятен обоз с лошадьми и высоко наложенными возами, который приехал из Неруча [3]), когда процесс о наследстве, благодаря Илье Митрофанычу, был выигран. Илья Митрофаныч был пьющий запоем, высокий с белыми волосами старик, бывший крепостной Перовской, великий

---

[1]) Ibid.

[2]) Перовское наследство состояло из двух имений: Щербачевка и Неруч—Курской губернии.

[3]) Имение это в 300 десятин, доставшееся нам по наследству от Перовской, было продано для прокормления голодающих мужиков во время большого голода 40-го года.

знаток, какие бывали в старину, всяких кляуз. Он руководил делом этого наследства, и за это он до смерти жил и содержался в Ясной Поляне.

Еще памятные впечатления: приезд Петра Ивановича Толстого, отца Валериана, мужа моей сестры, который входил в гостиную в халате,—мы не понимали, почему это, но потом узнали, что это было потому, что он был в последней степени чахотки. Другое—приезд его брата—знаменитого американца Федора Толстого. Помню, он под'ехал на почтовых в коляске, вошел к отцу в кабинет и потребовал, чтобы ему принесли его особенный сухой французский хлеб. Он другого не ел. В это время у брата Сергея сильно болели зубы. Он спросил, что́ у него, и, узнав, сказал, что он может прекратить боль магнетизмом. Он вошел в кабинет и запер за собою дверь. Через несколько минут он вышел оттуда с двумя батистовыми платками. Помню, на них была лиловая кайма узоров; дал тетушке платки и сказал: «Этот, когда он падепет, пройдет боль, а этот, чтобы он спал». Платки взяли, надели Сереже, и у нас осталось впечатление, что все совершилось, как он сказал.

Помню его прекрасное лицо: бронзовое, бритое, с густыми белыми бакенбардами до углов рта и такие же белые курчавые волосы. Много бы хотелось рассказать про этого необыкновенного, преступного и привлекательного человека.

«Третье впечатление—это было посещение какого-то, не знаю, двоюродного брата матери, гусара князя Волконского. Он хотел приласкать меня и посадил на колени, и, как часто это бывает, продолжая разговаривать со старшими, держал меня. Я рвался, но он только крепче придерживал меня. Это продолжалось минуты две. Но это чувство пленения, несвободы, насилия до такой степени возмутило меня, что я вдруг начал рваться, плакать и биться».

Далее мы приводим еще одну главу воспоминаний детства, написанную Л. Н—чем и переданную нам уже после отпечатания первого тома:

«В трех верстах от Ясной Поляны есть деревушка Грумонд (так названо это место дедом, бывшим воеводой в Архангельске, где есть остров Грумонд). Там был скотный двор и домик, построенный дедом для приезда летом. Как все, что строил дед, было изящно, и не пошло, и твердо, прочно, капитально. Такой же был и домик с погребом для молочного скопа. Деревянный с светлыми окнами и ставнями, большой прочной дверью, домик с диванчиком и столом, с большими ящиками, складывавшимся, как пакет, четырьмя сторонами внутрь и так же раскладывавшимся, поворачиваясь на среднем шкворне, так что отвороты эти ложились на углы и составляли большой, аршина в два квадратных, стол. Домик стоял за деревушкой в четыре или пять дворов, в месте, называемом садом, очень красивой, с видом на вьющуюся по долине в лугах Воронку (речку) с лесами по ту и другую сторону. В саду этом был лесок над оврагом, в котором был холодный и обильный ключ прекрасной воды. Оттуда возили каждый день воду в барский дом. Перед оврагом, как продолжение его, большой, глубокий, холодный проточный пруд с карпией, линями, лещами, окунями и даже стерлядями. Место было прелестное — и не столько пить там молоко и сливки с черным хлебом, холодные и густые, как сметана, и присутствовать при ловле рыбы, но просто побывать там и побегать на гору и под гору, к пруду и от пруда было великое наслаждение. Изредка летом, когда была хорошая погода, мы все ездили туда кататься. Тетушка, папенька и девочки в линейке, а мы четверо с Фед. Ив. в желтом дедушкином кабриолете с высокими крутыми рессорами и с желтыми подлокотниками (других и не было тогда).

«За обедом идет разговор о погоде и составляется план, как ехать. В два часа мы должны ехать, в четыре вернуться к чаю. Все готово, но лошадей медлят посылать закладывать: с запада из-за деревни и Заказа заходит туча. Мы все в волнении. Фед. Ив. старается делать строгий, спокойный вид, но мы возбуждаем и его, и он выходит на балкон, на ветер. Седые волосы его на затылке развеваются, в ту же сторону и фалды его фрака, и он значительно вглядывается через перилы. И мы ждем его решенья. «Это на Сатинка»,—говорит он, указывая на самую большую лиловую тучу. «А это пустой,—говорит он, указывая на другую, идущую с востока.—Ну, что? Wie glauben Sie? Muss varten.

«Но туча застилает все небо. Мы в горести. Послали-было запрягать, теперь посылают Мишу остановить. Накрапывает дождик. Мы в унынии и горести. По вот Сережа выбежал на балкон и кричит: «Расчищается, Фед. Ив.! Kommen Sie Blauer Himmel! Wo? Kommen Sie!»

«Действительно, между расползающейся тучей голубой кусочек то затягивается, то растягивается, вот еще, еще, но вот блеснуло солнце.

«—Тетенька! разгулялось! Правда, ей-богу, посмотрите! Федор Иванович сказал. Зовут Фед. Ив.; он нерешительно, но подтверждает. Колебание на небе и у тетеньки. Тетенька Т. А. улыбается и говорит: «Je crois, Alexandrine, en effét, qu'il ne pleuvera plus! Смотрите!»

«—Тетенька, голубушка, велите запрягать! Пожалуйста, тетенька, голубушка!—кричит больше всех Сережа и я, и помогают нам девочки. И вот решено опять закладывать. Сам Тихон делает антраша и бежит. И вот мы топчем ножонками на крыльце, ожидая сначала лошадей, потом тетушек. Под'езжает линейка с балдахином и фартуком. Николай Филиппыч правит. Запряжены перучинская гнедая, левая светло-гнедая широкая и правая темная, костлявая, «с крепотцей», как говорит Николай Филиппыч. За линейкой большая гнедая в желтом кабриолете.

«Тетенька и девочки усаживаются по-своему. Наши же распределены места раз навсегда определенно. Федор Иванович садится с правой стороны и правит, рядом с ним Сережа и Николенька; кабриолет так глубок, что за ними садимся мы, я и Митенька, спинами врозь, к бокам ногами вместе. Вся дорога мимо гумна по Заказу: справа старый, слева молодой Заказ,—одно наслаждение. Но вот под'езжаем к горе, круто спускающейся к реке и мосту. «Halten Sie sich, Kinder», говорит Ф. П., торжественно нахмуриваясь, перехватывает вожжи, и вот мы спускаемся, спускаемся, но в последний момент, шагов 30, Фед. Ив. пускает лошадь, и мы летим, как нам кажется, с ужасной быстротой. Мы ждем этого момента, и вперед уже замирает сердце. Переезжая мост, едем вдоль реки и поднимаемся в гору, на деревню, и в'езжаем в ворота, в сад и к домику. Лошадей привязывают. Они топчут траву и пахнут по́том так, как никогда уже после не пахли лошади. Кучера стоят в тени дерев. Свет и тени бегают по их лицам, добрым, веселым, счастливым лицам. Прибегает Матрена-скотница, в затрапезном платье, говорит, что она давно ждала нас, и радуется, что мы приехали, и я не только верю, но не могу не верить, что все на свете только и делают, что радуются. Радуется Матрене тетенька, расспрашивая ее с участием об ее дочерях, радуются собаки, окружившие Ф. П. (Берфа, лягавая Шарло), прибежавшие за нами, радуются куры, петухи, крестьянские дети, радуются лошади, телята, рыбы в пруду, птицы в лесу. Матрена и ее дочь приносят большой, толстый кусок черного хлеба, раскрывают удивительный, необыкновенный стол и ставят мягкий сочный творог с отпечатками салфетки, сливки, как сметана, и крынки с свежим цельным молоком. Мы пьем, едим, бегаем к ключу, пьем там воду, бегаем вокруг пруда, где Ф. П. пускает удочки, и, побыв полчаса-часок на Грумонде, возвращаемся таким же путем, такие же счастливые. Помню, один раз только наша радость была нарушена случаем, от которого мы,—по крайней мере я и Митенька,—горько плакали. Берфа, милая, коричневая, с прекрасными глазами и мягкой курчавой шерстью собака Фед. Ив., бежала, как всегда, то сзади, то впереди кабриолета. Один раз при выезде из Грумондского сада крестьянские собаки бросились за ней. Она бросилась к кабриолету. Фед. Ив. не сдержал лошади, переехал ей лапу. Когда мы вернулись домой и несчастная Берфа добежала на трех ногах, Фед. Ив. с Ник. Дм., нашим дядькой, тоже охотником, осмотрели ее и решили, что нога переломлена, собака испорчена, никогда не будет годиться для охоты. Я слушал, что говорил Фед. Ив. с Ник. Дм. в маленькой комнате наверху, и не верил своим ушам, когда услыхал слова Фед. Ив., который каким-то молодецким решительным тоном сказал: «Не годится. Повесить его. Один конец».

«Собака страдает, больна, и ее повесить за это. Я чувствовал, что это дурно, что этого не надо было делать, но тон и Фед. Ив. и Ник. Дм., одобрившего это

решение, был таким решительным, что я так же, как и тогда, когда Кузьму вели сечь, когда Темяшев рассказывал, что он отдал в солдаты человека за то, что он в посту ел скоромное, почувствовал что-то дурное, но в виду несомненных решений людей старших и уважаемых не смел верить своему чувству.

«Перебирать все мои радостные детские воспоминания не стану, потому что этому не будет конца и потому что мне они дороги и важны, а передать их так, чтобы они показались важны посторонним, я не сумею.

«Расскажу только про одно душевное состояние, которое я испытал несколько раз в первом детстве и которое, я думаю, было важно, важнее многих и многих чувств, испытанных после. Важно оно было потому, что это состояние было первым опытом любви, не любви к кому нибудь, а любви к любви, любви к Богу, чувство, которое я впоследствии только редко испытывал, редко, но все-таки испытывал, благодаря тому, я думаю, что след этот был проложен в первом детстве. Выражалось это чувство вот как: мы, в особенности я с Митенькой и девочками, садились под стулья, как можно теснее друг к другу. Стулья эти завешивали платками, загораживали подушками и говорили, что мы «муравейные братья», и при этом испытывали особенную нежность друг к другу. Иногда эта нежность переходила в ласку, гладить друг друга, прижиматься друг к другу, но это было редко, и мы сами чувствовали, что это не то, и тотчас же останавливались. Быть муравейными братьями, как мы называли это (вероятно, это какие-нибудь рассказы о моравских братьях, дошедшие до нас через Николенькину Фанфаронову гору), значило только завеситься от всех, отделиться от всех и всего и любить друг друга.

«Иногда мы под стульями разговаривали о том, что и кого кто любит, что нужно для счастья, как мы будем жить и всех любить.

«Началось это, как помнится, от игры в дорогу. Садились на стулья, запрягали стулья, устраивали карету или кабриолет, и вот сидевшие-то в карете переходили из путешественников в муравейные братья. К ним присоединялись и остальные. Очень, очень хорошо это было, и я благодарю Бога за то, что мог играть в это. Мы называли это игрой, а между тем все на свете игра, кроме этого» [1]).

Это новое упоминание Львом Николаевичем о муравейных братьях показывает нам, какое большое значение он придавал этой игре, полной глубокого общечеловеческого смысла.

Заключим эту главу «Детства» поэтическим воспоминанием Льва Николаевича из его повести:

«Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений...

«... После молитвы завернешься, бывало, в одеяльце, на душе легко, светло и отрадно; одни мечты гонят другие—но о чем они? Они неуловимы, но исполнены чистой любви и надежд на чистое счастье. Вспомнишь, бывало, о Карле Ивановиче и его горькой участи—единственном человеке, которого я знал несчастным, и так жалко станет, так полюбишь его, что слезы потекут из глаз, и думаешь: дай Бог ему счастья; дай мне возможность помочь ему, облегчить его горе; я всем готов для него пожертвовать. Потом любимую фарфоровую игрушку—зайчика или собачку—уткнешь в угол пуховой подушки и любуешься, как хорошо, тепло и уютно ей там лежать. Еще помолишься о том, чтобы Бог дал счастья всем, чтобы все были довольны и чтобы завтра была хорошая погода для гуляньи, повернешься на другой бок, мысли и мечты перепутаются, смешаются, и уснешь тихо, спокойно, еще с мокрым от слез лицом.

«Вернутся ли когда-нибудь та свежесть, беззаботность, потребность любви и сила веры, которыми обладаешь в детстве? Какое время может быть лучше того,

---

[1]) Из доставленных мне и отданных в мое распоряжение черновых, неисправленных записок Л. Н. Толстого.

когда две лучшие добродетели—невинная веселость и беспредельная потребность любви—были единственными побуждениями к жизни?

«Где те горячие молитвы? Где лучший дар—те чистые слезы умиления? Прилетал ангел-утешитель, с улыбкой утирал слезы эти и навевал сладкие грезы неиспорченному детскому воображению.

«Неужели жизнь оставила такие тяжелые следы в моем сердце, что навеки отомили от меня слезы и восторги эти? Неужели остались одни воспоминания?» [1])

ГЛАВА V.

Отрочество.

К началу отрочества Льва Николаевича пришло время более серьезного учения старших братьев его, Николая и Сергея, и с этой целью семья Толстых осенью 1836 года переехала в Москву и поселилась на Плющихе, в доме Щербачева. Этот дом еще существует и теперь и находится против церкви Смоленской божьей матери; он стоит во дворе, и фасад его составляет острый угол с направлением улицы.

В этом доме они прожили зиму 36 и 37 годов и остались там жить и летом, после смерти отца.

Как-то раз летом, 1837 года, отец Льва Николаевича уехал по делам в Тулу, и, идя по улице к приятелю своему Темяшеву, он вдруг зашатался, упал и умер ударом; другие предполагают, что его отравил камердинер, так как деньги у него пропали, а именные билеты принесла уже в Москве к Толстым какая-то таинственная нищая.

Когда умер Николай Ильич, тело его из Тулы привезли в Ясную Поляну, и хоронили его сестра Александра Ильинична и старший сын его Николай.

Смерть отца была одним из самых сильных впечатлений детства Льва Николаевича. Лев Николаевич говорил, что смерть эта в первый раз вызвала в нем чувство религиозного ужаса перед вопросами жизни и смерти. Так как отец умер не при нем, он долго не мог верить тому, что его уже нет. Долго после этого, глядя на незнакомых людей на улицах Москвы, ему не только казалось, но он почти был уверен, что вот-вот он встретит живого отца. И это чувство надежды и неверия в смерть вызывало в нем особенное чувство умиления. После смерти отца Толстые оставались лето в Москве, и здесь Лев Николаевич в первый раз, да едва ли и не в последний, жил лето в городе. Сильное впечатление оставили в нем их поездки за город на четверне гнедых, запрягавшихся для этих поездок в ряд без форейтора, красота окрестностей Кунцева, Нескучного и вместе с этим отвратительные запахи от фабричных производств, которые еще тогда портили окрестности Москвы.

Смерть сына совсем убила бабушку, Пелагею Николаевну; она все плакала, всегда по вечерам велела отворять дверь в соседнюю комнату и говорила, что видит там сына и разговаривает с ним. А иногда спрашивала с ужасом дочерей: «неужели, неужели это правда, и его нет?» Она умерла через 9 месяцев от тоски и горя.

Смерть бабушки была для Льва Николаевича новым напоминанием о религиозном значении жизни и смерти. Разумеется, бессознательно, но влияние это было, и очень сильное. Бабушка страдала, под конец у нее сделалась водяная, и Лев Николаевич помнит тот ужас, который он испытал, когда его ввели к ней, чтобы проститься, и она, лежа на высокой белой постели, вся в белом, с трудом оглянулась на вошедших внуков и неподвижно предоставила им целовать свою белую, как подушку распухшую, руку. Но как всегда у детей, чувство страха и жалости перед смертью сменялось детскими резвостью, глупостью и шалостями.

---

[1]) Полн. собр. сочинений Л. Н. Толстого. Т. I, стр. 62.

«В один праздник,—вспоминает Л. Н—ч,—пришел, как всегда, к нам приятель и сверстник, маленький Милютин, Владимир, тот самый, который открыл нам, будучи в гимназии, ту необыкновенную новость, что Бога нет (новость, не произведшую большого впечатления). Перед обедом в детской шло веселье, самое дикое и странное, в котором принимали участие Сергей, Дмитрий и я. Милютин и Николай, как более разумные, не участвовали. Веселье состояло в том, чтобы за перегородкой, где стояла ночная посуда, зажигать бумагу в горшках. Трудно себе представить, почему это было весело, но несомненно было чрезвычайно весело. И вдруг среди этого веселья быстрыми шагами входит энергичный и белокурый, мускулистый, маленький гувернер St.-Thomas (описанный в «Отрочестве» под именем St. Jérom'a) и, не обращая внимания на наше занятие, не браня нас за него, с дрожащей нижней челюстью бледного лица говорит нам: «Votre grandmère est morte» [1])!

«Помню потом,—рассказывал Лев Николаевич,—как всем нам сшили новые курточки черного казинета, обшитые белыми тесемками плерез. Страшно было видеть и гробовщиков, сновавших около дома, и потом принесенный гроб с глазетовой крышкой, и строгое лицо бабушки с горбатым носом в белом чепце и белой косынкой на шее, высоко лежащей в гробу на столе, и жалко было видеть слезы тетушек и Пашеньки, но вместе с этим и радовали новые казинетовые курточки с плерезами и соболезнующее отношение к нам окружающих. Не помню почему, нас перевели во флигель во время похорон, и помню, как мне приятно было подслушать разговоры каких-то чужих кумушек о нас, говоривших: «Круглые сироты,—только отец умер, а теперь и бабушка».

О гувернере французе Prosper St.-Thomas, о котором мы только-что упомянули, у Льва Николаевича сохранилось какое-то смешанное воспоминание доброго и дурного.

«Не помню уже за что,— говорит Лев Николаевич в своих воспоминаниях,— но за что-то самое незаслуживающее наказания St.-Thomas, во-первых, запер меня в комнате, а потом угрожал розгой. И я испытал ужасное чувство негодования и возмущения, и отвращения не только к Thomas, но и к тому насилию, которое он хотел употребить надо мной. Едва ли этот случай не был причиною того ужаса и отвращения перед всякого рода насилием, которое испытываю всю свою жизнь» [2]).

Тем не менее, гувернер St.-Thomas относился внимательно к проявлению способностей своего маленького питомца. Он, вероятно, замечал в нем что-нибудь особенное, потому что он говорил про него: «Ce petit a une tête, c'est un petit Molière!» [3]).

После смерти бабушки, вследствие запутанности дел по опеке и потому необходимости уменьшить расходы, часть семейства опять переехала в деревню, а именно меньшие: Дмитрий, Лев и Мария с теткой Татьяной Александровной Ергольской, где учителями детей были переменявшиеся немцы-гувернеры и русские семинаристы. Опекуншей же над детьми была графиня Александра Ильинична Остен-Сакен.

Об этой замечательной личности Лев Николаевич так рассказывает в своих воспоминаниях:

«Тетушка Александра Ильинична очень рано в Петербурге была выдана за остзейского богатого графа Остен-Сакен. Партия казалась очень блестящая, но кончившаяся в смысле супружества очень печально для тетушки, хотя, может-быть, последствия этого брака были благотворны для ее души. Тетушка Aline, как ее звали в семье, была, должно быть, очень привлекательна с своими большими голубыми глазами и кротким выражением белого лица, какою она 16-летней девушкой изображена на очень хорошем портрете. Вскоре после свадьбы Остен-Сакен уехал с молодой женой в свое большое остзейское имение, и там все больше и больше стала

---

[1]) Ваша бабушка умерла.

[2]) Вставка, сделанная Львом Николаевичем при просмотре рукописи.

[3]) „У этого мальчика—голова! Это маленький Мольер!“ Из записок гр. С. А. Толстой.

проявляться его душевная болезнь, выражавшаяся сначала только очень заметной беспричинной ревностью. На первом же году своей женитьбы, когда тетушка была уже на сносях беременна, болезнь эта так усилилась, что на него стали находить минуты полного сумасшествия, во время которого ему казалось, что враги его, желающие отнять у него его жену, окружили его, и единственное спасение для него состоит в том, чтобы бежать от них. Это было летом. Вставши рано утром, он об'явил жене, что единственное средство спасения состоит в том, чтобы бежать, что он велел закладывать коляску и они сейчас едут, чтобы она готовилась. Действительно, подали коляску, он посадил в нее тетушку и велел ехать как можно скорее. На пути он достал из ящика два пистолета, взвел курок и, дав один тетушке, сказал ей, что если только враги узнают про его побег, они догонят его, и тогда они погибли, и единственное, что им остается сделать, это убить друг друга. Испуганная, ошеломленная тетушка взяла пистолет и хотела уговорить мужа, но он не слушал ее и только поворачивался назад, ожидая погоню, и гнал кучера. На беду, по просслочной дороге, выходившей на большую, показался экипаж; он вскрикнул, что все погибло, и велел ей стрелять в себя, а сам выстрелил в упор в грудь тетушки. Должно быть, увидав, что он сделал, и то, что напугавший его экипаж проехал в другую сторону, он остановился, вынес раненую, окровавленную тетушку из экипажа, положил на дорогу и ускакал. На счастье тетушки, скоро на нее наехали крестьяне, подняли ее и свезли к пастору, который, как умел, перевязал ей рану и послал за доктором. Рана была в правой стороне груди навылет (тетушка показывала мне оставшийся след) и была нетяжелая [1]).

«В то время, как она выздоравливала, все еще беременная, лежа у пастора, муж ее, опомнившийся, прибежал к ней и, рассказав пастору историю о том, как она несчастно была ранена, попросил свидания с ней. Свидание это было ужасно: он—хитрый, как все душевнобольные, притворился раскаивающимся в своем поступке и только озабоченным ее здоровьем. Посидев с ней довольно долго, совершенно разумно обо всем разговаривая, он воспользовался той минутой, когда они остались одни, чтобы попытаться исполнить свое намерение. Как бы заботясь об ее здоровье, он попросил ее показать ему язык и, когда она высунула его, схватился одной рукой за язык, а другой выхватил приготовленную бритву с намерением отрезать его. Произошла борьба; она вырвалась у него, закричала; вбежали люди, остановили и увели его.

«С тех пор сумасшествие его совершенно определилось, и он долго жил в каком-то заведении для душевно-больных, не имея никаких сношений с тетушкой. Вскоре после этого тетушку перевезли в родительский дом в Петербург, и там она родила уже мертвого ребенка. Боясь последствий огорчений от смерти ребенка, ей сказали, что ребенок ее жив, и взяли родившуюся в то же время у знакомой прислуги, жены придворного повара, девочку. Эта девочка Пашенька, которая жила у нас, была уже взрослой девушкой, когда я стал помнить себя. Не знаю, когда была открыта Па-

[1]) Покушение на жизнь Александры Ильиничны, произведенное ее мужем, произошло, по словам сестры Льва Николаевича, Марии Николаевны, слышавшей рассказ от самой тетушки, несколько иначе, чем рассказывает об этом Лев Николаевич в своих воспоминаниях:

Раз вечером, когда взошла луна (они жили в своем замке в Прибалтийском крае), граф предложил Александре Ильиничне сделать ночную прогулку по лесу в экипаже. Александра Ильинична сперва отказалась от такого странного предложения, но муж, в своей болезненной нервности, был так настойчив, прельщая ее красотою ночи и наконец тем, что он уже распорядился и лошади поданы, что она должна была согласиться.

Ночь была, действительно, чудная. Они въехали в лес; граф велел остановиться и предложил Александре Ильиничне пройтись с ним по лесу пешком. Она повиновалась, не видя возможности сопротивляться, и они пошли в глубь леса. Когда не стало видно экипажа и кучера, граф вынул револьвер и выстрелил в упор в жену. Совершив это преступление, граф побежал за кучером и вместе с ним перенес раненую в экипаж. Они доехали до дома ближайшего пастора и там положили ее и подали первую помощь.

Остальной рассказ тот же, как и у Льва Николаевича.

шеньке история ее рождения, но когда я знал ее, она уже знала, что она не была дочь тетушки. Тетушка Александра Ильинична, после случившегося с нею, жила у своих родителей, потом у моего отца и потом, после смерти отца, была нашей опекуншей, а когда мне было 12 лет, умерла в Оптиной пустыне.

«Тетушка эта была истинно религиозная женщина. Любимые ее занятия были чтения житий святых, беседа с странниками, юродивыми, монахами, монашенками, из которых некоторые всегда жили в нашем доме, а некоторые только посещали тетушку. В числе почти постоянно живших у нас была монахиня Мария Герасимовна, крестная мать моей сестры, ходившая в молодости странствовать под видом юродивого Иванушки. Крестною матерью сестры Мария Герасимовна была потому, что мать обещала взять ее кумою, если она вымолит у Бога дочь, которую матери очень хотелось иметь после четырех сыновей. Дочь родилась, и Мария Герасимовна была ее крестною матерью и жила частью в Тульском женском монастыре, частью у нас в доме.

«Тетушка Александра Ильинична не только была внешне религиозна, соблюдала посты, много молилась, общалась с людьми святой жизни, каков был в ее время старец Леонид в Оптиной пустыне, но сама жила истинно христианской жизнью, стараясь не только избегать всякой роскоши и услуг, но стараясь, сколько возможно, служить другим. Денег у нее никогда не было, потому что она раздавала просящим все, что у нее было.

«Горничная Гаша, после смерти бабушки перешедшая к тетушке Александре Ильиничне, рассказывала мне, как она во время московской жизни, шедши к заутрене, старательно на цыпочках проходила мимо спящей горничной и сама делала все то, что по принятому обычаю делалось горничной. В пище, в одежде она была так проста и нетребовательна, как только можно себе представить. Как мне ни неприятно это сказать, я с детства помню особенно кислый запах тетушки Александры Ильиничны, вероятно, происходивший от неряшества в ее туалете. И это была та грациозная, с прекрасными голубыми глазами поэтическая Aline, любившая читать и списывать французские стихи, игравшая на арфе и всегда имевшая большой успех на самых больших балах! Помню, как она была всегда одинаково ласкова и добра точно так же со всеми важными мужчинами и дамами, как и с монахинями, странниками и странницами. Помню, как зять ее Юшков любил шутить над ней и как раз из Казани прислал большой ящик, посылку на ее имя. В ящике оказался другой ящик, в том еще третий и т. д. до маленькой коробочки, в которой в вате лежал фарфоровый монах. Помню, как отец добродушно смеялся, показывая тетушке эту посылку. Помню еще, как за обедом отец рассказывал, как она, будто, вместе с своей кузиной Молчановой, ловила в церкви уважаемого ими священника, чтобы получить от него благословение.

«Отец рассказывал это в виде травли, как будто бы Молчанова отхватила священника от царских дверей, он бросился в северные. Молчанова дала угонку, пронеслась, и тут-то Aline захватила его. Помню ее милый, добродушный смех и сияющее удовольствием лицо. То религиозное чувство, которое наполняло ее душу, очевидно, было так важно для нее, было до такой степени выше всего остального, что она не могла сердиться, огорчаться чем-нибудь, не могла приписывать мирским делам ту важность,которая им обыкновенно приписывается. Она заботилась о нас, когда была нашей опекуншей, но все, что она делала, не поглощало ее душу, все было подчинено служению Богу, как она понимала это служение» [1]).

Как сказано было выше, меньшие, т.-е. Дмитрий, Мария и Лев, с тетушкой Татьяной Александровной жили после смерти бабушки в деревне, а старшие, Николай и Сергей, с опекуншей Александрой Ильиничной оставались в Москве. На лето вся семья соединялась в Ясной. Так прошли 38 и 39 года и наступил 40-й голодный год; урожай был так плох, что Толстым пришлось покупать хлеб для прокормления своих

[1]) Из доставленных мне и отданных в мое распоряжение черновых неисправленных записок Л. Н. Толстого.

крепостных крестьян, и средства на это были взяты от продажи имения Неруч, доставшегося им по наследству.

Лошадям был уменьшен корм и прекращена выдача овса. Лев Николаевич помнит, как им, детям, было жалко своих любимых лошадок, и как они бегали потихоньку в крестьянское овсяное поле и, совершенно не сознавая совершаемого ими преступления, обшмыгивали стебли овса, набирали полные подолы зерен и скармливали их своим лошадкам.

Осенью 40-го года вся семья перебралась в Москву, где и провела зиму 40—41 года, на лето же снова вернулась в Ясную. Осенью 41-го года скончалась и их опекунша, гр. А. И. Остен-Сакен.

Александра Ильинична умерла в Оптиной пустыни. В то время, как она была там, дети оставались в Ясной с Т. А. Ергольской. Но когда пришло известие, что Александра Ильинична умирает, Татьяна Александровна уехала туда же. Это время особенно памятно было почти всем детям. Они остались с учителем Федором Ивановичем и со странницей Марьей Герасимовной, полу-юродивой. Была у них тогда собака, черная моська, с которой они играли. Сделали ей трон и сажали ее на этот высокий трон, с которого она все прыгала. Но раз прыгнула и вдруг завизжала и поползла под стул. Ее осмотрели, и оказалось, что у ней сломана лапа. Отчаяние было ужасно, все плакали навзрыд. Впоследствии это впечатление слилось с воспоминанием об уединении, с монотонным чтением каких-то псалмов Марьи Герасимовны и с известием о смерти любимой тетеньки Александры Ильиничны.

По смерти Александры Ильиничны ее сестра Пелагея Ильинична, бывшая замужем за казанским помещиком В. И. Юшковым, приехала из Казани в Москву. Туда же осенью переехали и все дети с тетушкой Татьяной Александровной. Старший брат Льва Николаевича, Николай Николаевич, который уже был в это время студентом 1-го курса, обратился к тетеньке со словами: «ne nous abandonnez pas, chère tante, il ne nous reste que vous au monde». Она прослезилась и задалась мыслью «se sacrifier». Что она под этим подразумевала — неизвестно, только она сейчас же стала собираться в Казань и для этого вперед заказала барки, которые нагрузили всем, что только можно было вывезти из Ясной Поляны. Дворню тоже всю повезли: столяров, портных, слесарей, поваров, обойщиков и проч. Кроме того, к каждому из братьев Толстых был приставлен крепостной человек в виде слуги, почти одного возраста с ними. Один из этих был Ванюша, сопровождавший потом Льва Николаевича на Кавказ и теперь еще доживающий свой век на покое у своей дочери в Туле.

Льву Николаевичу в это время было 13 лет. Господа с прислугой двинулись в многочисленных каретах и других экипажах и потянулись осенью из Тулы в Казань. Дорогой шла целая жизнь. Останавливались иногда в поле, в лесу, собирали грибы, купались, гуляли. Большое горе было при расставании с тетенькой Татьяной Александровной, которая была в недружелюбных отношениях с тетушкой Пелагеей Ильиничной и уехала после смерти Александры Ильиничны к своей сестре Елизавете Александровне Толстой, в село Покровское. Неприятности между Татьяной Александровной и Пелагеей Ильиничной происходили от того, что муж Пелагеи Ильиничны в молодости был влюблен в Татьяну Александровну и делал ей предложение, но она ему отказала. Пелагея Ильинична никогда не простила любовь ее мужа к Т. А—не и за это ее ненавидела, хотя на вид у них были самые внешне-дружественные отношения.

Отставной гусарский полковник В. П. Юшков оставил по себе в Казани память образованного, остроумного и добродушного человека, но вместе с тем большой руки шутника и балагура, каким он и остался до самой своей смерти. С женой он не ладил, и они не раз живали врозь.

Пелагея Ильинична также оставила по себе в Казани память крайне доброй, хотя и не большого ума женщины. Она была очень набожна и после кончины в 1869 году своего мужа удалилась в монастырь, Оптину пустынь. Затем она жила в Туль-

ском женском монастыре, потом совсем переехала в Ясную Поляну, где уже в глубокой старости заболела и умерла.

В продолжение всей своей долгой жизни она строго соблюдала обряды православной церкви; но на восьмидесятом году, перед смертью, боясь ее, она не хотела причаститься и сердилась на всех за свои страдания, доставляемые ей предчувствием кончины.

Американский писатель Евгений Скайлер, путешествовавший по России в 1868 году и посетивший Льва Николаевича, так рассказывает в своих воспоминаниях о своем знакомстве с семьею Юшковых. Мы приводим эти воспоминания здесь, чтобы потом уже не возвращаться более к этим лицам.

С самим Юшковым он познакомился в Казани.

«Я был принят,—говорит Скайлер,—в весьма хорошем и зажиточном доме, и подал мою визитную карточку и рекомендательное письмо слуге, который, возвратившись, просил меня немного подождать. Пока я ждал, я заметил, что письмо, еще не распечатанное, положено на стул. Наконец, вошел генерал, старый, но крепкого сложения и с выражением большой доброты и симпатии. Он просил меня сесть, сам сел, и после нескольких слов сказал:

«—Вы привезли мне, я полагаю, письмо от моего племянника Льва? Где оно?

«— Я думаю, что вы на нем сидите.

«Он встал, нашел письмо и, протягивая его мне, сказал:

«—Будьте так добры прочесть мне его. Я совершенно слеп.

«Положение было неловкое, но этому нельзя было помочь; хотя письмо было весьма лестно и благосклонно ко мне, я счел долгом пропустить целый параграф. Теперь я сожалею, что вместо того, чтобы отдать его старику, я не положил в карман и не сохранил на память. В другой комнате было два фортепиано, и, в ответ на некоторые вопросы, генерал сказал мне, что он всегда был страстный любитель музыки, но что теперь он стар и слеп. Я уговорил его сыграть что-нибудь на память из Бетховена и Моцарта; потом мы пошли в сад и сидели на солнце, и в течение двух часов, проведенных мною у него, он рассказал мне много интересного, но не то, что мне было нужно».

Возвратившись из своей поездки по России, Скайлер в Ясной Поляне познакомился и с самой Пелагеей Ильиничной Юшковой. Вот как он рассказывает об этом:

«На следующее утро, в 4 часа, после передачи мною Толстому рассказа о знакомстве с Юшковым, я был разбужен каким-то шумом в коридоре, когда внезапно дверь моей спальни отворилась, и полагая, что по какой-то необъяснимой причине слуга вошел, чтобы разбудить меня, я крикнул: «Что такое?» Дверь заперлась, и я услышал голос по-французски: «В кровати моей человек». Дверь вновь отворилась, и какой-то господин появился со свечой в руке и спросил: «Сережа, это ты?».— «Нет,—отвечал я,—я—гость в этом доме». Он засмеялся, извинился и ушел; чуткость моя тогда была так сильна, что я слышал распоряжение, что «она не пойдет в гостиную и будет спать на диване, покуда семейство наверху; она пока может лечь на диване в кабинете графа». Я немедленно сообразил, в чем вся сущность. Я занимал комнату г-жи Юшковой, тетки графа, и был приглашен оставаться там около недели, до ее возвращения. Она вернулась нечаянно, не предварив о том, и привезла с собою подругу. Так как двери в русских деревенских домах редко запираются на ночь, они приехали, не подозревая, что разбудят кого-либо другого.

«Я узнал истину, когда Иван принес мне утренний чай, и я тотчас же уложил свои вещи, чтобы быть готовым уехать в тот же день. Когда я сошел вниз в 11 часов к утреннему кофе, я нашел в гостиной г-жу Юшкову одну и должен был представиться сам. Очевидно, ей рассказали,—может-быть, для об'яснения случившегося,—мою историю прошедшей ночи, потому что она улыбнулась и сказала:

«Так вы были в Казани прошедшей весной и видели моего мужа, который вам говорил, что он совсем слеп. Уверяю вас, что в этом нет ни слова правды. Он видит так же хорошо, как вы и я. Это только одна из его привычек казаться интересным».

«Я утверждал, что, по моему мнению, он действительно слеп, но не мог убедить ее. Гр. Толстой впоследствии говорил мне, что хотя она давно уже в разлуке с мужем и не видала его несколько лет, но находится с ним в самых дружеских отношениях» [1]).

Укажем теперь на некоторые моменты душевного развития ребенка, изображение которых мы находим в повестях Льва Николаевича, посвященных этому периоду, и которые по нашему мнению, носят несомненный автобиографический характер.

Одно из свойств ребенка, так часто встречающееся, а может-быть особенно развитое в Льве Николаевиче, была самолюбивая застенчивость.

Часто люди разделяют эти два свойства: самолюбие и застенчивость, порицают одно и хвалят другое и наоборот, а между тем это лишь оборотные стороны одной и той же медали; эти два свойства взаимно поддерживают друг друга и относятся друг к другу, как причина к следствию. Человек бывает застенчив от того, что он самолюбив, и застенчивость увеличивает и укрепляет в нем самолюбие. И это проявляется сначала по самому ничтожному поводу, например, при воспоминании о недостатках своей наружности.

Вот как говорит об этом Лев Николаевич про себя—«Николеньку»:

«Я имел странные понятия о красоте,—даже Карла Ивановича считал первым красавцем в мире; но очень хорошо знал, что я нехорош собою, и в этом нисколько не ошибался; поэтому каждый намек на мою наружность больно оскорблял меня.

«... На меня часто находили минуты отчаяния, я воображал, что нет счастья на земле для человека с таким широким носом, толстыми губами и маленькими серыми глазами, как я; я просил Бога сделать чудо—превратить меня в красавца, и все, что имел в настоящем, все, что мог иметь в будущем, я все отдал бы за красивое лицо» [2]).

Как только человек обратит взоры на самого себя, в нем поднимается борьба самых разнородных чувств. Если он человек разумный и нравственный, он должен почувствовать неудовлетворение, это чувство должно вызвать стремление к совершенствованию, как с внешней, так и с внутренней стороны. Так как первое не в нашей власти (например, сделать нос тоньше), то, обращая на это свое внимание, человек чувствует невыразимые страдания. Но если его разум силен, он выведет его на путь совершенствования внутреннего и откроет ему путь бесконечного блага.

Вот именно эту борьбу чувств и мыслей мы и можем проследить в ребенке, отроке и юноше, которых изображает Лев Николаевич под видом Николеньки Иртенева, в которого он вкладывает свой богатый и глубокий внутренний мир, рисуя нам его развитие.

Первые годы юности Льва Николаевича проходили под влиянием и в попытках подражать брату Сереже, которого он особенно любил и восхищался. Следующая же, более зрелая часть юности прошла под влиянием брата Николая, которого он очень любил, хотя и не так страстно, как брата Сергея, но более уважал.

Просматривая повесть «Детство», мы находим изображение подобного чувства в описании любви Николеньки Иртенева к Сереже Ивину. Вот в каких ярких красках Лев Николаевич изображает эту любовь:

«Я почувствовал к нему непреодолимое влечение. Видеть его было достаточно для моего счастья; и одно время все силы души моей были сосредоточены в этом желании: когда мне случалось провести дня три или четыре, не видав его, я начинал скучать и мне становилось грустно до слез. Все мечты мои во сне и наяву были о нем; ложась спать, я желал, чтобы он мне приснился; закрывая глаза, я видел его пред

---

[1]) Евгений Скайлер. „Воспоминания о гр. Льве Николаевиче Толстом". „Русская Старина". Октябрь 1890 г. Пер. с англ.

[2]) Полное собрание сочинений Льва Николаевича Толстого. Изд. 10-е. Т. I, стр. 76. Москва. 1897 г.

собою и лелеял этот призрак, как лучшее наслаждение. Никому в мире я не решился бы поверить этого чувства, так много я дорожил им. Может-быть, потому, что ему надоело чувствовать беспрестанно устремленные на него мои беспокойные глаза, или, просто, не чувствуя ко мне никакой симпатии, он заметно больше любил играть и говорить с Володей, чем со мною; но я все-таки был доволен, ничего не желал, ничего не требовал и всем готов был для него пожертвовать» [1]).

Под фамилией Ивиных, по утверждению Льва Николаевича, он описывал мальчиков графов Пушкиных, из которых на-днях умер Александр, тот самый, который так нравился ему мальчиком в детстве. Любимая игра у них была игра в солдаты.

Вот как изображает Лев Николаевич поворотный пункт в своем развитии, переход от детства к отрочеству.

«Случалось ли вам, читатель, в известную пору жизни, вдруг замечать, что ваш взгляд на вещи совершенно изменяется, как будто все предметы, которые вы видели до тех пор, вдруг повернулись к вам другою, неизвестною еще стороною? Такого рода моральная перемена произошла во мне в первый раз во время нашего путешествия, с которого я считаю начало моего отрочества.

«Мне в первый раз пришла в голову ясная мысль о том, что не мы одни, т.-е. наше семейство, живем на свете, что не все интересы вертятся около нас, а что существует другая жизнь людей, ничего не имеющая общего с нами, не заботящихся о нас и даже не имеющих понятия о нашем существовании. Без сомнения, я и прежде знал все это, но знал не так, как я это узнал теперь, не сознавал, не чувствовал...» [2])

Рано являются в ребенке философские рассуждения, уже в отрочестве намечающие путь, по которому впоследствии разовьется этот огромный ум и увлечет за собой многих людей:

«Едва ли мне поверят,—говорит Лев Николаевич от имени Николеньки,—какие были любимейшие и постояннейшие предметы моих размышлений во время моего отрочества,—так они были несообразны с моим возрастом и положением. Но, по моему мнению, несообразность между положением человека и его моральной деятельностью есть вернейший признак истины.

«Раз мне пришла мысль, что счастье не зависит от внешних причин, а от нашего отношения к ним, что человек, привыкший переносить страдания, не может быть несчастлив, и, чтобы приучить себя к труду, я, несмотря на страшную боль, держал по пяти минут в вытянутых руках лексиконы Татищева или уходил в чулан и веревкой стегал себя по голой спине так больно, что слезы невольно выступали на глазах.

«Другой раз, вспомнив вдруг, что смерть ожидает меня каждый час, каждую минуту, я решил, не понимая, как не поняли того до сих пор люди, что человек не может быть иначе счастлив, как пользуясь настоящим и не помышляя о будущем,— и я три дня, под влиянием этой мысли, бросил уроки и занимался только тем, что, лежа в постели, наслаждался чтением какого-нибудь романа и едою пряников с кроповским медом, которые я покупал на последние деньги.

«То раз, стоя перед черной доской и рисуя на ней мелом разные фигуры, я вдруг был поражен мыслью: почему симметрия приятна для глаз? Что такое симметрия? Это врожденное чувство,—отвечал я сам себе. На чем же оно основано? Разве во всем в жизни симметрия? Напротив, вот жизнь,—и я нарисовал на доске овальную фигуру. После жизни душа переходит в вечность; вот вечность—и я провел с одной стороны овальной фигуры черту до самого края доски. Отчего же с другой стороны нет такой же черты? Да и в самом деле, какая же может быть вечность с одной стороны? Мы, верно, существовали прежде этой жизни, хотя и потеряли о том воспоминание.

---

[1]) Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого. Т. I, стр. 83. Изд. 10-е. Москва 1897 г.

[2]) Там же, стр. 158.

«Но ни одним из всех философских направлений,—продолжает свой рассказ Лев Николаевич, я не увлекался так, как скептицизмом, который одно время довел меня до состояния, близкого к сумасшествию. Я воображал, что кроме меня, никого и ничего не существует во всем мире, что предметы — не предметы, а образы, являющиеся тогда, когда я на них обращаю внимание, и что, как скоро я перестану думать о них, образы эти тотчас же исчезают. Одним словом, я сошелся с Шеллингом в убеждении, что существуют не предметы, а мое отношение к ним. Были минуты, что я под влиянием этой постоянной идеи доходил до такой степени сумасбродства, что иногда быстро оглядывался в противоположную сторону, надеясь врасплох застать пустоту (néant) там, где меня не было [1]).

«Отрочество» кончается изображением дружбы Николеньки Иртенева с Нехлюдовым [2]).

И самое заключение этой повести в нескольких словах выражает тот идеал человека, которому Лев Николаевич, не переставая, служил в течение всей своей жизни и служит теперь, на закате дней своих:

«Само собой разумеется, что под влиянием Нехлюдова я невольно усвоил и его направление, сущность которого составляло восторженное обожание идеала добродетели и убеждение в назначении человека постоянно совершенствоваться. Тогда исправить все человечество, уничтожить все пороки и несчастия людские казалось удобоисполнимою вещью,—очень легко и просто казалось исправить самого себя, усвоить все добродетели и быть счастливым»... [3])

Несомненно, что эта наклонность к отвлеченным суждениям, эта робость и застенчивость, это стремление к идеалу,—все эти качества, проявлявшиеся в ребенке, были только простыми элементами, из которых постепенно слагалась гармоническая душа художника-мыслителя. И мы видим теперь лишь полный расцвет этих духовных ростков, заложенных в Льве Николаевиче еще во времена его отрочества.

Воспитанный в патриархально-аристократической и по-своему религиозной среде, Лев Николаевич в детстве своем воспринял своей отзывчивой душой все, что мог, лучшего, из окружающей его среды и был искренно религиозен. Намеки на это мы видим в «Детстве». Но эта «привычная» религиозность слетела с него при первом дуновении рационализма.

В своей «Исповеди» он так рассказывает о своем религиозном воспитании, соответствующем этому времени:

«Я был крещен и воспитан в православной христианской вере. Меня учили ей с детства и во все время моего отрочества и юности.

«Но, когда в 18 лет я вышел со второго курса университета, я не верил уже ни во что из того, чему меня учили.

«Судя по некоторым воспоминаниям, я никогда не верил серьезно, а имел только доверие к тому, что исповедывали передо мной большие, но доверие это было очень шатко.

«Помню, что когда мне было лет одиннадцать, один мальчик, давно умерший, Володенька М., учившийся в гимназии, придя к нам на воскресенье, как последнюю новинку, об'явил нам открытие, сделанное в гимназии. Открытие состояло в том, что Бога нет и что все, чему нас учат, одни выдумки (это было в 1838 году). Помню, как старшие братья заинтересовались новостью, позвали и меня на совет, и мы все, помню, очень оживились и приняли это известие как что-то очень занимательное и весьма возможное» [4]).

---

[1]) Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого. Т. I, стр. 216.

[2]) „Материал для этого описания дружбы дала мне позднейшая дружба с Дьяковым в первый год моего студенчества в Казани".

Примеч. Л. Н. Толстого.

[3]) Полное собр. соч. Л. Н. Толстого. Т. I, изд. 10-е. Стр. 244.

[4]) „Исповедь". Л. Н. Толстого. Изд. „Своб. Слова". Стр. 1.

Но, конечно, эта рационалистическая критика не могла тронуть основ души его. Эти основы выдержали страшные житейские бури и вывели его на истинный путь.

Интересно свидетельство самого Льва Николаевича о тех литературных произведениях, которые, насколько он помнит, оказали большое влияние на его духовное развитие в период его детства и отрочества, т.-е. до 14 лет приблизительно. Вот список этих произведений:

Название литературнаго произведения:	Степень их влияния:
История Иосифа из Библии.	Огромное.
Сказки 1001 ночи: 40 разбойников, Принц Камаральзаман.	Большое.
„Черная курица" Погорельского.	Очень большое.
Русские былины: Добрыня Никитич, Илья Муромец, Алеша Попович.	Огромное.
Народные сказки.	Огромное.
Стихи Пушкина: Наполеон.	Большое.

Приведем теперь несколько эпизодов из отроческой жизни Льва Николаевича, частью записанных нами с его слов, частью слышанных от его родственников и, наконец, заимствованных из других источников, уже появлявшихся в печати, и к которым мы отнеслись критически, сделав выбор, соответствующий имевшимся в наших руках достоверным указаниям. Рассказы эти нет возможности поставить в хронологический порядок.

«Еще в начале московской жизни при отце,—вспоминал раз Лев Николаевич,—у нас была пара своего завода вороных очень горячих лошадей. Кучером у отца был Митька Копылов. Он же был стремянным отца, ловкий ездок, охотник и прекрасный кучер и, главное, неоценимый форейтор. Неоценимый форейтор потому, что, при горячих лошадях, мальчик не мог управляться с ними, старый же человек был тяжел и неприличен для форейтора, так что Митька соединял редкие качества, нужные для форейтора. Качества эти были: малый рост, легкость, сила и ловкость. Помню, раз отцу подали фаэтон, и лошади подхватили, пронесясь из ворот. Кто-то крикнул: «понесли графские лошади!» С Пашенькой сделалась дурнота, тетушки бросились к бабушке успокаивать ее, но оказалось, что отец еще не садился, и Митька ловко удержал лошадей и вернулся во двор.

«Вот этот самый Митька, после уменьшения расходов, был отпущен на оброк. Богатые купцы на перебой приглашали его к себе и взяли бы на большое жалованье, так как Дмитрий уже щеголял в шелковых рубашках и бархатных поддевках. Случилось, что брат его по очереди должен был быть отдан в солдаты, а отец его, уже старый, вызвал его к себе на барщинскую работу. И этот маленький ростом щеголь Дмитрий через месяц преобразился в серого мужика в лаптях, правящего барщину и обрабатывающего свои два надела, косящего, пашущего и вообще несущего все тяжелое тягло тогдашнего времени. И все это без малейшего ропота, с сознанием, что это так должно быть и не может быть иначе».

Это было одно из событий, которое много способствовало тому уважению и любви к народу, которое смолоду начал испытывать Лев Николаевич.

Вот два эпизода, рассказанные мне Львом Николаевичем, которые, по его словам, бросили в его молодую душу семена сомнения, неудовлетворенности, недоумения перед несправедливостью и жестокостью людей, тогда еще для него бывших «старшими», «большими», и потому неизбежно служившими известного рода авторитетами. И эти авторитеты уже тогда были поколеблены.

Еще будучи ребенком, он испытал на себе то неравенство, поклонение внешности и презрение ко всему скромному и невидному, которое бывает так чувствительно в детстве и особенно тогда наводит на серьезные мысли и дает толчок душевному развитию.

Одним из таких случаев была елка у Шиповых, куда дети Толстые были приглашены по каким-то отдаленным родственным связям. Они только-что лиши-

лись отца и бабушки и были сиротами на попечении тетки в довольно трудном материальном положении, и потому представляли мало привлекательного и значительного для светского общества.

На ту же елку были приглашены племянники кн. Горчакова, бывшего военного министра, и Толстые с горечью должны были заметить ту разницу, которая была сделана в выборе подарков для них и для тех, более почетных гостей. Толстым были подарены дрянные дешевые вещички, а тем—роскошные дорогие игрушки.

Другой случай произошел также в Москве.

Раз они пошли гулять по Москве с гувернером-немцем. Из детей были он, Лев Николаевич (9—10 лет), его братья и девочка Юзенька, дочь гувернантки, француженки, живших у их соседей Исленевых. Девочка эта была очень красивой, привлекательной наружности. Идя по Большой Бронной, они подошли к калитке сада, прилегающего к дому Полякова. Калитка не была заперта, и они вошли, сами робея и не зная, что из этого выйдет. Сад показался им необыкновенной красоты. Там был пруд с лодками, флагами, цветы, мостики, дорожки, беседки и т. д.; они шли, как очарованные, по этому саду. Их встретил какой-то господин, оказавшийся владельцем этого сада, Асташевым. Он любезно поздоровался с ними и пригласил их гулять, катал их на лодке и был так любезен, что им показалось, что они доставляют хозяину сада большое удовольствие своим присутствием. Ободренные этим успехом, они решились через несколько дней опять посетить этот сад. Когда они вошли в калитку, их остановил старик и спросил, кого им угодно. Они назвали свою фамилию и просили доложить хозяину. Юзеньки с ними не было. Старик принес ответ, что этот сад частного лица и посторонней публике вход запрещен. Они удалились с грустью и зародившимся в их душах недоумением, почему хорошенькое личико их подруги может иметь такое сильное влияние на отношение к ним посторонних людей.

А вот несколько рассказов, указывающих на оригинальность, даже эксцентричность его отроческого характера:

«Мы собрались раз к обеду,—рассказывала мне сестра Льва Николаевича, Мария Николаевна,—это было в Москве, еще при жизни бабушки, когда соблюдался этикет и все должны были являться во-время, еще до прихода бабушки, и дожидаться ее. И потому все были удивлены, что Левочки не было. Когда сели за стол, бабушка, заметившая отсутствие его, спросила гувернера St.-Thomas, что это значит, не наказан ли Léon; но тот смущенно заявил, что он не знает, но что уверен, что Léon сию минуту явится, что он, вероятно, задержался в своей комнате, приготовляясь к обеду. Бабушка успокоилась, но во время обеда подошел наш дядька, шепнул что-то St.-Thomas, и тот сейчас же вскочил и выбежал из-за стола. Это было столь необычно при соблюдаемом этикете обеда, что все поняли, что случилось какое-нибудь большое несчастье, и так как Левочка отсутствовал, то все были уверены, что несчастье случилось с ним, и с замиранием сердца ждали развязки.

«Вскоре дело раз'яснилось, и мы узнали следующее:

«Левочка, неизвестно по какой причине (как он сам теперь говорит, только для того, чтобы сделать что-нибудь необыкновенное и удивить других), задумал выпрыгнуть в окошко из второго этажа, с высоты нескольких сажен. И нарочно для этого, чтобы никто не помешал, остался один в комнате, когда все пошли обедать. Влез на отворенное окно мезонина и выпрыгнул на двор. В нижнем подвальном этаже была кухня, и кухарка как раз стояла у окна, когда Левочка шлепнулся на землю. Не поняв сразу, в чем дело, она сообщила дворецкому, и когда вышли на двор, то нашли Левочку лежащим на дворе и потерявшим сознание. К счастью, он ничего себе не сломал, и все ограничилось только легким сотрясением мозга; бессознательное состояние перешло в сон, он проспал под ряд 18 часов и проснулся совсем здоровым. Можно себе представить беспокойство и страх, в которое поверг всех домашних этот необдуманный поступок маленького чудака.

«Раз ему пришла фантазия остричь себе брови, что он и исполнил, обезобразив этим свое лицо, никогда не отличавшееся особой красотой, что не мало сокрушало самого юношу.

«Другой раз,—рассказывала Мария Николаевна,—ехали мы на тройке из Пирогова в Ясную. Во время одной из остановок экипажа Левочка слез и пошел пешком. Когда экипаж тронулся, его хватились, но его нигде не было. Кучер с козел увидал впереди на дороге его удаляющуюся фигуру; поехали, полагая, что он пошел вперед, чтобы сесть, когда тройка его догонит, но не тут-то было. С приближением тройки он ускорил шаг, и когда тройка пошла рысью, он пустился бегом, видимо, не желая садиться. Тройка поехала очень быстро, и он побежал во всю мочь, пробежав так около трех верст, пока, наконец, не обессилел и не сдался. Его посадили в карету; он задыхался, был весь в поту и изнемогал от усталости».

Супруга Льва Николаевича, графиня Софья Андреевна, не раз принималась записывать материалы о жизни Льва Николаевича, расспрашивая его об его детстве и слушая рассказы его родственников, которых она застала еще в живых. К сожалению, записки эти неполны и не окончены, но, тем не менее, чрезвычайно ценны. Мы делаем из них несколько выписок, пользуясь любезным разрешением их автора:

«Судя по рассказам старых тетушек, которые мне рассказывали кое-что о детстве моего мужа, и также по словам моего деда Исленева, который был очень дружен с Николаем Ильичем, отцом Льва Николаевича, маленький Левочка был очень оригинальный ребенок и чудак. Он, например, входил в залу и кланялся всем задом, откидывая голову назад и шаркая.

«Когда я спрашивала других и самого Льва Николаевича, хорошо ли он учился, то всегда получала ответ, что «нет».

Шурин Льва Николаевича, С. А. Берс, рассказывает в своих воспоминаниях следующее:

«По свидетельству покойной тетушки Льва Николаевича, Пелагеи Ильиничны Юшковой, в детстве он был очень шаловлив, а отроком отличался странностью, а иногда и неожиданностью поступков, живостью характера и прекрасным сердцем.

«Моя покойная матушка рассказывала мне, что, описывая свою первую любовь в произведении «Детство», он умолчал о том, как из ревности столкнул с балкона предмет своей любви, которая и была моя матушка девяти лет от роду и которая после этого долго хромала. Он сделал это за то, что она разговаривала не с ним, а с другим. Впоследствии она, смеясь, говорила ему: «Видно, ты меня для того в детстве столкнул с террасы, чтобы потом жениться на моей дочери» [1]).

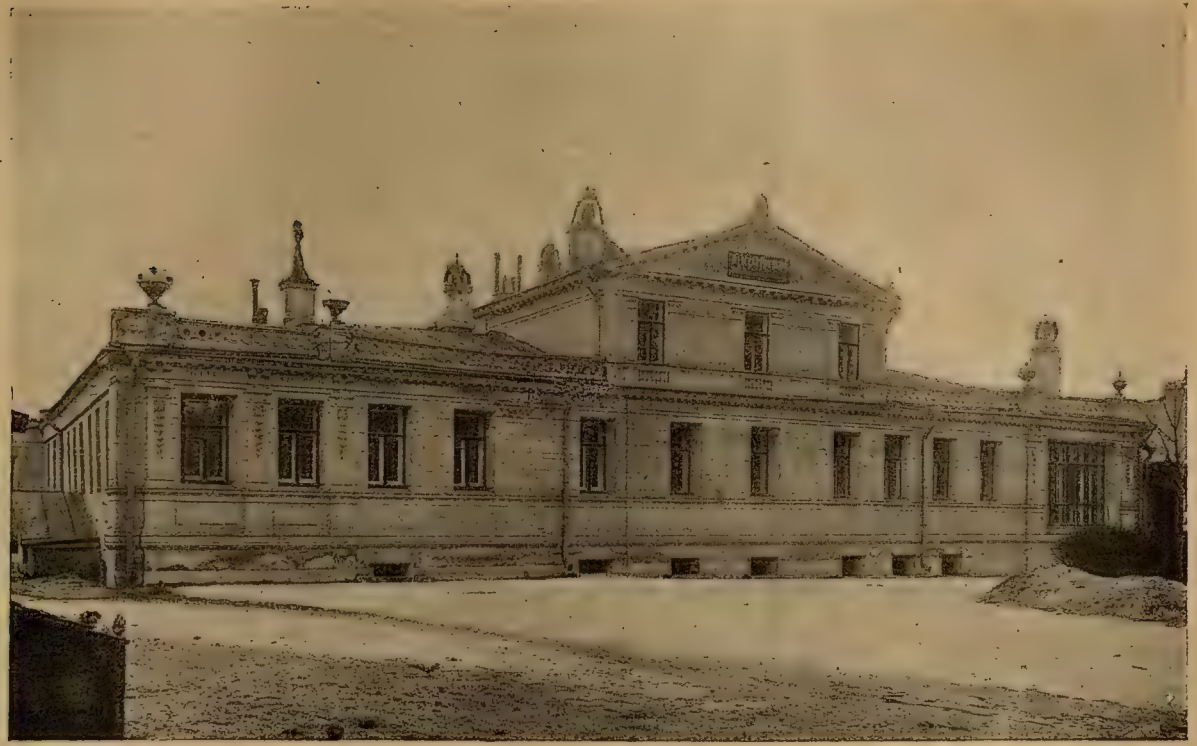
Сам Лев Николаевич рассказывал при мне в семейном кругу, что в детстве, лет 7 или 8, он имел страшное желание полетать в воздухе. Он вообразил, что это вполне возможно, если сесть на корточки и обнять свои колени, при этом, чем сильнее сжимать колени, тем выше можно полететь.

Несколько автобиографических рассказов Льва Николаевича можно найти в его «книжках для чтения». Мы заимствуем из них некоторые характерные черты.

В рассказе «Старая лошадь» Лев Николаевич говорит о том, как раз им, четырем братьям, позволили покататься верхом. Им давали кататься только на одной смирной старой лошади, которую звали Воронком. Трое старших братьев, вволю натешившись ездой, измучили лошадь, и в таком виде она досталась ему.

«Когда пришел мой черед,—рассказывает Лев Николаевич,—я хотел удивить братьев и показать им, как я хорошо езжу,—стал погонять Воронка изо всех сил, но Воронок не хотел итти от конюшни. И сколько я ни колотил его, он не хотел скакать, а только трусил и заворачивал все назад. Я злился на лошадь, из всех сил бил ее хлыстом и ногами. Я старался бить ее в те места, где ей больнее, сломал хлыст и остатком хлыста стал бить по голове. Но Воронок все не хотел скакать.

[1]) С. А. Берс. „Воспоминания о гр. Льве Николаевиче Толстом“.



Дом на Плющихе, бывший Щербачева, где жила семья Толстых, когда Льву Николаевичу было 9 лет.

Тогда я поворотил назад, под'ехал к дядьке и попросил хлыстика покрепче. Но дядька сказал мне:

— Будет вам ездить, сударь, слезайте. Что лошадь мучить!

Я обиделся и сказал:

— Как же, я совсем не ездил. Посмотри, как я сейчас прокачу. Дай, пожалуйста, мне хлыст покрепче. Я его разожгу.

Тогда дядька покачал головой и сказал:

— Ах, сударь, жалости в вас нет: что его разжигать? Ведь ему 20 лет. Лошадь измучена, насилу дышит, да и стара. Ведь она такая старая, все равно, как Нимен Тимофеич[1]). Вы бы сели на Тимофеича, да так-то через силу погоняли его хлыстом,—что же, вам не жалко бы было?

Я вспомнил про Нимена и послушал дядьки. Я слез с лошади, и когда я посмотрел, как она носила потными боками, тяжело дышала ноздрями и помахивала облезшим хвостиком, я понял, что лошади было трудно. Мне так стало жалко Воронка, что я стал целовать его в потную шею и просить у него прощенья за то, что я его бил».

В рассказе: «Как я выучился ездить верхом» Лев Николаевич вспоминает, как он отправился с братьями учиться верховой езде в Москве.

Берейтор был очень удивлен его малым ростом, но видя его решимость, согласился его учить. «Привели маленькую лошадку. Она была рыжая, и хвост у нее был обрезан. Ее звали Червончик. Берейтор засмеялся и сказал мне: «Ну, кавалер, садитесь». Я и радовался и боялся, старался так сделать, чтобы никто этого не заметил. Я долго старался попасть ногою в стремя, но никак не мог, потому, что я был слишком мал. Тогда берейтор поднял меня на руки и посадил. Он сказал: «Не тяжел барин—фунта два, больше не будет».

«Он сначала держал меня за руку, но я видел, что братьев не держали, и просил, чтобы меня пустили. Он сказал: «А не боитесь?» Я очень боялся, но сказал, что не боюсь. Боялся я больше того, что Червончик все поджимал уши. Я думал, что он на меня сердится. Берейтор сказал: «Ну, смотрите ж, не падайте», и пустил меня. Сначала Червончик ходил шагом, и я держался прямо. Но седло было скользкое, и я боялся свернуться. Берейтор меня спросил: «Ну, что, утвердились?» Я ему сказал: «Утвердился».—«Ну, теперь рысцой».—и берейтор защелкал языком.

«Червончик побежал маленькой рысью, и меня стало подкидывать. Но я все молчал и старался не свернуться на бок. Берейтор меня похвалил: «Ай да кавалер, хорошо!» Я был очень этому рад.

«В это время к берейтору подошел его товарищ и стал с ним разговаривать, и берейтор перестал смотреть на меня.

«Только вдруг я почувствовал, что я свернулся немножко на бок седла. Я хотел поправиться, но никак не мог. Я хотел закричать берейтору, чтобы он остановил, но думал, что будет стыдно, если я это сделаю, и молчал. Берейтор не смотрел на меня. Червончик все бежал рысью, и я еще больше сбился на бок. Я посмотрел на берейтора и думал, что он поможет мне; а он все разговаривал с своим товарищем и, не глядя на меня, приговаривал: «Молодец, кавалер». Я уже совсем был на боку и очень испугался. Я думал, что я пропал. Но кричать мне было стыдно. Червончик тряхнул меня еще раз,—я совсем соскользнул и упал на землю. Тогда Червончик остановился; берейтор оглянулся и увидал, что на Червончике меня нет. Он сказал: «Вот-те на, свалился кавалер мой!» и подошел ко мне. Когда я ему сказал, что не ушибся, он засмеялся и сказал: «Детское тело мягкое». А мне хотелось плакать. Я попросил, чтобы меня опять посадили, и меня посадили. И я уже больше не падал» [2]).

---

[1]) 90-летний, сгорбленный старец, живший на дворне.

[2]) Полное собрание сочинений Льва Николаевича Толстого. Изд. 10-е Москва. 1897 г. Т. IV, стр. 498

Таким-то образом рос этот замечательный ребенок, вдумчивый, впечатлительный, застенчивый, детски влюбчивый и, в сущности, одинокий по той огромной силе внутреннего анализа, которая таилась в нем и не находила отклика в окружавшей его среде.

ГЛАВА VI.

Юность.

Пять лет прожили Толстые в Казани. Каждое лето все семейство, сопровождаемое Пелагеей Ильиничной, отправлялось в Ясную Поляну, каждую осень возвращалось в Казань.

В доме Юшковой протекла большая половина юности Льва Николаевича.

Братья Толстые переехали в Казань в 1841 году. Старший брат Николай, перешедший из Московского университета в Казанский, уже в 1841—42 учебном году слушал курс в Казанском университете и был уже на втором курсе второго отделения философского факультета; по этому факультету он благополучно и окончил курс в 1844 году с званием действительного студента. Двое следующих братьев, Сергей и Дмитрий, избрали тот же факультет и то же его отделение, соответствующее современному нам математическому факультету.

Оба брата были приняты в студенты в 1843 году и весною 1847 года одновременно окончили действительными студентами.

Лев Николаевич избрал факультет восточных языков, имея, как кажется, в виду дипломатическую карьеру, и к поступлению на этот факультет усиленно готовился в течение 1842—44 г.г. Занятия были не легкие, так как для вступительного экзамена нужно было иметь подготовку в арабском и турецко-татарском языках, преподававшихся в то время в первой казанской гимназии. Трудности эти были Львом Николаевичем благополучно превзойдены.

В архивах Казанского университета сохранились все документы, свидетельствующие о поступлении, пребывании и выходе Льва Николаевича из Казанского университета.

Все эти документы тщательно собраны и напечатаны в воспоминаниях Загоскина [1]). Мы приводим наиболее интересные из них.

Лев Николаевич подал прошение о поступлении в университет. Вследствие этого прошения он был допущен к приемному экзамену, который прошел для него не совсем благополучно, как это видно из приводимой ниже экзаменационной ведомости.

Вот отметки, полученные графом Львом Толстым на вступительном экзамене:

Закон Божий	4	
История общая и русская	1	(„Ничего не знал".) Прим. Л. Н. Толстого.
Статистика и география	1	(„Еще меньше. Помню, вопрос был: Франция. Присутствовал Пушкин, попечитель, и спрашивал меня. Он был знакомый нашего дома и, очевидно, хотел выручить: „Ну, скажите, какие приморские города во Франции?" Я ни одного не мог назвать".) Прим. Л. Н. Толстого.
Математика	4	
Русская словесность	4	
Логика	4	
Латинский язык	2	
Французский язык	5+	
Немецкий язык	5	
Арабский	5	
Турецко-татарский	5	
Английский язык	4	

[1]) „Граф Лев Николаевич Толстой и его студенческие годы". Н. П. Загоскина. „Исторический Вестник". Январь. 1894 г.

А в деле о приеме Льва Николаевича в студенты сделана заключительная резолюция в виде журнального постановления о том, что граф Лев Толстой «экзаменован по отделению восточной словесности, но принятия в университет не удостоен.» Тут же приписано определение: «Акты возвратить».

Это происходило весной 1844 года. Лев Николаевич решил просить осенью переэкзаменовки по предметам, отметки за которые были неудовлетворительны.

И вот, в начале августа того же года снова поступает на имя ректора университета следующее прошение, писанное Львом Николаевичем собственноручно:

Его Превосходительству господину ректору Императорского Казанского университета, заслуженному профессору, действительному статскому советнику Николаю Ивановичу Лобачевскому от Льва Николаевича графа Толстого.

ПРОШЕНИЕ.

В мае месяце текущаго года я вместе с учениками первой и второй казанской гимназии подвергался испытанию, с целью поступить в число студентов Казанского университета, разряда арабско-турецкой словесности. Но как на этом испытании не оказал надлежащих сведений в истории, статистике, то и прошу покорнейше, Ваше Превосходительство, дозволить мне ныне снова экзаменоваться в этих предметах. При сем имею честь представить следующие документы: 1) метрическое свидетельство из тульской консистории 2) копия с постановления тульскаго дворянского депутатского собрания. Августа 3-го дня 1844 года. К сему прошению означенный выше проситель граф Лев Николаевич руку приложил.

На прошении отметка:

„Под 4 авг. 1844 г. Допустить к дополнительному испытанию. 4 августа 1844 года Ректор Лобачевский.

Когда именно и с каким успехом держал Лев Николаевич этот дополнительный экзамен,—неизвестно. Во всяком случае на этот раз дело обошлось благополучно, так как внизу прошения Льва Николаевича подписано определение:

„Толстого принять в университет студентом своекоштного содержания, по разряду арабско-турецкой словесности".

Итак, Лев Николаевич в университете. Но там проводит он лишь учебное время, живет же он в доме своей тетки Юшковой и вращается в кругу ее знакомых. Что же это была за среда и как могла она влиять на юношу?

В воспоминаниях Загоскина о студенческой жизни Льва Николаевича Толстого говорится, что среда, в которой вращался в Казани Лев Николаевич, была средой развращающей, и что Лев Николаевич должен был инстинктивно чувствовать протест, но по замечанию, сделанному Львом Николаевичем при просмотре этой рукописи, дело было не так:

«Никакого протеста,—говорит он,—я не чувствовал, а очень любил веселиться в казанском, тогда очень хорошем, обществе [1]).

Перечисляя далее в своей статье различные неблагоприятные обстоятельства жизни Льва Николаевича, Загоскин выражает удивление нравственной силе Льва Николаевича, сумевшей устоять против всех этих соблазнов. На это Лев Николаевич делает следующее замечание:

«Напротив, очень благодарен судьбе за то, что первую молодость провел в среде, где можно было смолоду быть молодым, не затрогивая непосильных вопросов и живя хоть и праздной, роскошной, но не злой жизнью» [2]).

Зимний сезон 1844—45 гг., когда Лев Николаевич Толстой в качестве «молодого человека» стал уже выезжать в свет, был еще более шумен. Балы то у

[1]) Замечание Льва Николаевича, сделанное им при просмотре рукописи.
[2]) Тоже.

губернатора, то у предводителя, то в женском Родионовском институте, где с особенной любовью культивировала их начальница, Е. Д. Загоскина, частные танцовальные вечера, маскарады в дворянском собрании, спектакли, живые картины, концерты беспрерывною цепью следовали одни за другими. В качестве родовитого, титулованного молодого человека, с хорошими местными связями, внука бывшего губернатора и выгодного жениха в ближайшем будущем, Лев Николаевич был везде желанным гостем. Казанские старожилы помнят его на всех балах, вечерах и великосветских собраниях, всюду приглашаемым, всегда танцующим, но далеко не светским дамским угодником, какими были другие его сверстники «студенты-аристократы»; в нем всегда наблюдали какую-то странную угловатость, застенчивость; он, видимо, стеснялся тою ролью, которую его заставляли играть и к которой volens-nolens обязывала его пошлая обстановка его казанской жизни» [1]).

Все это, конечно, дурно влияло на учебные занятия, и первые полугодичные испытания оказались не вполне удачными, как о том свидетельствует экзаменационная ведомость, приводимая Загоскиным:

	Успехи.	Прилежание.
Церковная библейская история	3	2
История общей литературы	не явился	
Арабский язык	2	2
Французский язык	5	3

Эта неудача не изменила образа жизни Льва Николаевича, и он, продолжая веселую светскую жизнь, участвует на масленице вместе с братом своим Сергеем в двух любительских спектаклях с благотворительной целью и исполняет свою роль с большим успехом.

В «Казанских Губернских Ведомостях» 1845 года есть заметка о том, что упомянутый спектакль «прошел так отчетисто, так прелестно, что во многих местах зрители забывали, что перед ними искусство сценическое, а не сама жизнь».

Казанская газетная хроника увековечила и другое выступление Л. Н—ча в 1846 году. Он принимал участие в живых картинах, поставленных в актовом зале Казанского университета в пользу двух бедных воспитанниц местного Родионовского института. В № 18 «Казанских Губернских Ведомостей» за 1846 г. мы читаем: ...«Стечение публики было самое многочисленное, невиданное доселе; ни один концерт, даже волшебный смычок Серве, не привлекал столько посетителей, и обширная университетская зала не могла вместить в себе всех зрителей». Л. Н. Толстой фигурировал в одной из 19 живых картин. Картина называлась «Предложение жениха». Вот как передает ее содержание газетный хроникер: «Оркестр играет: «Ну, Карлуша, не робей!..» Старик-рыбак поймал в свои сети молодца и представляет его своей дочери. Простак-детина (граф Л. Н. Толстой) почтительно вытянулся, закинув руки за спину: он рисуется... Отец взял его за подбородок и с простодушно-хитрою улыбкой посматривает на дочку, которая в смущении потупила свои взоры». «Эффект этой картины был необычайный», добавляет описание. Раза три требовали ее повторения, и долго не умолкал гром рукоплесканий. Лучше всех был в этой картине А. А. де-Планьи (лектор французского языка); чрезвычайно наивен был также и жених, граф Л. Н. Толстой».

Результатом всего этого было то, что Лев Николаевич не выдержал переходного экзамена, и ему бы пришлось остаться на второй год на том же курсе. Сам он так рассказывает об этом несчастном экзамене:

«Первый год я был не перепущен из первого на второй курс профессором русской истории Ивановым, поссорившимся перед тем с моими домашними, несмотря на то, что я не пропустил ни одной лекции и знал русскую историю; кроме того,

---

[1]) „Граф Л. Н. Толстой и его студенческие годы". Н. П. Загоскина. „Истор. Вестн". Январь 1894 г.

за единицу в немецком языке, поставленную тем же профессором, несмотря на то, что я знал немецкий язык несравненно лучше всех студентов нашего курса» [1]).

Но Лев Николаевич не захотел остаться на второй год на том же курсе и подал прошение о переводе его на другой факультет, а именно на юридический, что и было исполнено.

Зимний сезон 1845—46 годов открылся празднеством по случаю двухдневного (14—16 октября) пребывания в Казани герцога Максимилиана Лейхтенбергского, которому здесь устроен был восторженный прием.

Львом Николаевичем сделана здесь такая заметка: «В конце этого года я в первый раз стал серьезно заниматься и нашел в этом даже некоторое удовольствие. Сверх факультетских предметов, из которых энциклопедия права и уголовное право заинтересовали меня (немец профессор Фогель на лекциях устраивал собеседования, и, помню, очень заинтересовавшее меня, о смертной казни); сверх факультетских предметов Меер, профессор гражданского права, задал мне работу: сравнить «Esprit des lois» Montesquieu [2]) с «Наказом» Екатерины, и эта работа очень заняла меня» [3]).

Переходные майские экзамены 1846 г. сданы были Львом Николаевичем удовлетворительно. Он получил на этих экзаменах одну пятерку из логики и психологии, три четверки: из энциклопедии права, истории римского права и латинского языка, и четыре тройки: из всеобщей и русской истории, теории красноречия и немецкого языка, три пятерки за поведение. Средний вывод получился три, и Лев Николаевич был удостоен перевода на второй курс.

В этом же году Льва Николаевича постигла административная кара. Он был посажен в карцер за непосещение лекций истории. Эпизод этот описан в воспоминаниях Назарьева, его товарища по университету, но весьма неточно, хотя разговор, описанный Назарьевым, и соответствует действительности. Пользуясь замечаниями Льва Николаевича, восстановляем этот эпизод в более правдивом виде.

Лев Николаевич был посажен в карцер и сидел не в аудитории, как пишет Назарьев, а в карцере со сводами и железными решетками. Вместе со Львом Николаевичем сидел его товарищ. Лев Николаевич принес с собою в карцер спрятанную в голенище сапога свечку и подсвечник, и они провели очень приятно день или два.

Кучер, рысак, лакей и т. д.—все это надо отнести к воображению Назарьева. Разговор же, переданный им, правдоподобен, и мы приводим его из статьи Назарьева:

«Помню,—говорит Назарьев,—заметив, что я читаю «Демона» Лермонтова, Толстой иронически отнесся к стихам вообще, а потом, обратившись к лежащей возле меня истории Карамзина, напустился на историю как на самый скучный и чуть ли не бесполезный предмет.

«— История,—рубил он с плеча,—это не что иное, как собрание басен и бесполезных мелочей, пересыпанных массой ненужных цифр и собственных имен. Смерть Игоря, змея, ужалившая Олега,—что же это, как не сказки, и кому нужно знать, что второй брак Иоанна на дочери Темрюка совершился 21 августа 1562 года, а четвертый, на Анне Алексеевне Колтовской, в 1572 году, а ведь от меня требуют, чтобы я задолбил все это, а не знаю, так ставят единицу. А как пишется история? Все пригоняется к известной мерке, измышленной историком. Грозный царь, о котором в настоящее время читает профессор Иванов, вдруг с 1560 года из добродетельного и мудрого превращается в бессмысленного, свирепого тирана. Как и почему, об этом уже не спрашивайте...—приблизительно в таком роде рассуждал мой собеседник. Меня сильно озадачила такая резкость суждений, тем более, что я считал историю своим любимым предметом».

---

[1]) Полн. собр. сочинений Л. Н. Толстого. Т. IV, стр. 14. Изд. 10-е. Москва. 1897 г.
[2]) „Дух законов", Монтескье.
[3]) Вставка, сделанная Львом Николаевичем при просмотре рукописи.

«Затем вся неотразимая для меня сила сомнений Толстого обрушилась на университет и университетскую науку вообще. «Храм наук» уже не сходил с его языка. Оставаясь неизменно серьезным, он в таком смешном виде рисовал портреты наших профессоров, что при всем желании остаться равнодушным я хохотал, как помешанный.

« — А между тем,—заключил Толстой,—мы с вами в праве ожидать, что выйдем из этого храма полезными, знающими людьми. А что вынесем мы из университета? Подумайте и отвечайте по совести. Что вынесем мы из этого святилища, возвратившись во-свояси, в деревню? На что будем пригодны, кому нужны?—настойчиво допрашивал Толстой.

«В этих разговорах провели всю ночь.

«Едва забрезжилось утро, как дверь отворилась,—вошел вахмистр и, раскланявшись, об'явил, что мы свободны и можем расходиться по домам.

Толстой нахлобучил фуражку на глаза, завернулся в шинель с бобрами, слегка кивнул мне головой, еще раз ругнул «храм» и скрылся в сопровождении своего слуги и вахмистра. Я тоже поспешил выбраться и вздохнул во всю грудь, отделавшись от своего собеседника и очутившись на морозе, среди безлюдной, только-что просыпавшейся улицы.

«Отяжелевшая, точно после угара, голова была переполнена никогда еще не забиравшимися в нее сомнениями и вопросами, навеянными странным, решительно непонятным для меня, товарищем по заключению» [1]).

Начало 1846—47 учебного года внесло изменения в условия внешней жизни братьев Сергея, Дмитрия и Льва Толстых. Оставив дом своей тетушки Пелагеи Ильиничны Юшковой, они стали жить на частной квартире, в доме, бывшем тогда Петонди, а ныне принадлежащем Ложкинской городской общественной богадельне. Здесь они занимали пять комнат в верхнем этаже каменного флигеля, до сих пор находящегося во дворе этого дома и в настоящее время занимаемого одним из отделений богадельни.

В январе 1847 года Лев Николаевич еще раз явился на полугодичные экзамены, но не держал всех и, видимо, относился к ним как к пустой формальности. Вероятно, в голове его уже создался план оставления университета. И вскоре, тотчас после пасхальных каникул, он подал прошение об увольнении его из университета.

Вот содержание этого прошения, приводимого в воспоминаниях Загоскина:

„Его Превосходительству г. ректору Императорского Казанского университета, действительному статскому советнику и кавалеру Ивану Михайловичу Симонову.

своекоштного студента 2-го курса юридического факультета графа Льва Николаевича Толстого

ПРОШЕНИЕ.

По расстроенному здоровью и домашним обстоятельствам, не желая более продолжать курса наук в университете, покорнейше прошу Ваше Превосходительство сделать зависящее от вас распоряжение об исключении меня из числа студентов и о выдаче мне всех моих документов. К сему прошению руку приложил студент граф Лев Толстой. Апреля 12-го дня 1847 года".

Вслед за этим состоялось определение правления: «Толстого из списков студентов исключить и составить о бытности в университете свидетельство».

В делах университетского архива сохранился и дубликат самого свидетельства, выданного графу Льву Николаевичу Толстому. Это свидетельство любопытно в том отношении, что в нем тонко обойдены университетские неудачи Льва Николаевича и совершенно замолчены причины, вследствие которых он был оставлен на первом курсе восточного отделения. Вот что гласит это свидетельство:

---

[1]) В. Н. Назарьев. „Жизнь и люди былого времени". „Истор. Вестн.". 1890 г. Ноябрь.

„Объявитель сего, граф Лев Николаевич сын Толстой, получив первоначально домашнее образование и выдержав в предметах полного гимназического курса подлежащий экзамен, принят был в студенты Казанского университета по разряду арабско-турецкой словесности, в первый курс, но с какими успехами в оном курсе обучался—неизвестно, потому что на годичные испытания не явился, почему и оставлен был в том же курсе, и на основании разрешения г. управляющего казанским учебным округом от 13-го сентября 1845 года, № 3919, из разряда арабско-турецкой словесности перемещен в первый курс юридическаго факультета, в коем обучался с успехами: по логике и психологии—отличными; энциклопедии права, истории римскаго права и латинскому языку—хорошими; всеобщей и русской истории, теории красноречия и немецкому языку—достаточными; переведен был во второй курс, но с какими успехами обучался в оном курсе—неизвестно, потому что годичных испытаний еще не было Поведения он, Толстой, во время бытности в университете был отличного. Ныне же, согласно прошению, поданному 12-го текущего апреля, по разстроенному здоровью и текущим обстоятельствам, из университета уволен, почему он, г. Толстой, как не окончивший полнаго курса университетских наук, не может пользоваться правами, присвоенными действительным студентам, а на основании 590 ст. III тома Свода Законов (изд. 1842 года) при поступлении в гражданскую службу сравнивается в преимуществах по чинопроизводству с лицами, получившими образование в средних учебных заведениях, и принадлежит ко второму разряду гражданских чиновников. В удостоверение чего и дано ему, графу Льву Толстому, сие свидетельство из правления Казанскаго университета, за надлежащим подписанием и приложением казенной печати, на основании высочайше дарованной Казанскому университету грамоты на простой бумаге".

«Лев Николаевич спешил выездом из Казани,—пишет в своих воспоминаниях Загоскин,—и не стал даже дожидаться окончания его братьями Сергеем и Дмитрием выпускных университетских экзаменов. Наступил день отъезда Льва Николаевича в Москву, через которую он должен был ехать в свою Ясную Поляну. В квартиру графов Толстых, во флигеле дома Петопди, собралась небольшая кучка студентов, желавших проводить Льва Николаевича в далекий и трудный, по условиям сообщения того времени, путь; один из провожавших, рассказывавший мне об этом, до сих пор здравствует в Казани. Как водится, за отъезжающего выпили, насказав ему всякого рода пожеланий. Товарищи проводили Льва Николаевича до перевоза через Казанку, которая находилась в полном разливе, и здесь в последний раз отдали ему прощальное целование» [1]).

Мало осталось следа в Казанском университете о пребывании там Льва Николаевича Толстого.

Недавно посетивший этот университет князь Дм. Дм. Оболенский сообщил мне, что в аудитории, где Лев Николаевич слушал лекции, на железной доске осталась надпись: «Граф Лев Николаевич Толстой», несомненно, нацарапанная самим Львом Николаевичем, во время слушания лекций на месте, где он сидел всегда. Нацарапана или гвоздем или ножом. Кажется, это единственный памятник о Льве Николаевиче в Казанском университете.

Немецкий биограф Льва Николаевича, Лёвенфельд, спросил у него, будучи в Ясной Поляне, почему он, при его всегда присущей ему неутомимой жажде знания, оставил университет.

« — Да в этом-то,—отвечал граф,—может-быть, и заключается самая главная причина моего выхода из университета. Меня мало интересовало, что читали наши учителя в Казани. Сначала я с год занимался восточными языками, но очень мало успел. Я горячо отдавался всему, читал бесконечное количество книг, но все в одном и том же направлении. Когда меня заинтересовывал какой-нибудь вопрос, то я не уклонялся от него ни вправо, ни влево и старался познакомиться со всем, что могло бросить свет именно на этот один вопрос. Так было со мной и в Казани» [2]).

То же высказал Лев Николаевич и в следующем замечании:

---

[1]) Н. П. Загоскин. „Гр. Л. Н. Толстой и его студенческие годы". „Историч. Вестник". Январь 1894 г. Стр. 123.

[2]) R. Lövenfeld. „Gespräche mit und über Tolstoj. Leipzig.

«Причин выхода моего из университета было две: 1) что брат кончил курс и уезжал; 2) как это ни странно сказать, работа с «Наказом» и «Esprit des lois» [1]) (она и теперь есть у меня) открыла мне новую область умственного самостоятельного труда, а университет с своими требованиями не только не содействовал такой работе, но мешал ей» [2]).

Как выше было сказано, одновременно со Львом Николаевичем слушали университетский курс и старшие его братья: Николай, Сергей и Дмитрий. О первых двух Лев Николаевич вспоминает, рассказывая события из своей детской жизни, помещенные нами в своем месте. Воспоминания же о брате Дмитрии, характер которого более резко проявился в пору его студенчества, мы помещаем здесь, так как в них Лев Николаевич дает нам несколько драгоценных черт того времени:

«Митенька—годом старше меня. Большие черные, строгие глаза. Почти не помню его маленьким. Знаю только по рассказам, что он в детстве был очень капризен; рассказывали, что на него находили такие капризы, что он сердился и плакал за то, что няня не смотрит на него; потом также злился и кричал, что няня смотрит на него. Знаю по рассказам, что маменька очень мучилась с ним. Он был ближе мне по возрасту и мы больше играли с ним, но я не так любил его, как любил Сережу и как любил и уважал Николеньку. Мы жили с ним дружно, не помню, чтобы ссорились. Вероятно, ссорились и даже дрались, но, как это бывает у детей, эти драки не оставили ни малейшего следа, и я любил его простой, ровной, естественной любовью и потому не замечал ее и не помню ее. Я думаю, даже знаю, потому что испытал это, особенно в детстве, что любовь к людям есть естественное состояние души или, скорее, естественное отношение ко всем людям, и когда оно такое, его не замечаешь. Оно замечается только тогда, когда не любишь (не не любишь, а боишься кого-нибудь. Так я боялся нищих, боялся одного Волконского, который щипал меня; больше, кажется, никого), и тогда, когда особенно любишь, как я любил тетеньку Татьяну Александровну, брата Сережу, Николеньку, Василия, няню Исаевну, Пашеньку. Ребенком я ничего особенного, кроме детского веселья, не помню о нем. Особенности его проявились и памятны мне уже в Казани, куда мы переехали в 40-м году, и ему было 13 лет. До этого в Москве, я помню, что он не влюблялся, как я и Сережа, не любил особенно ни танцев, ни военных зрелищ, о которых расскажу я после, и учился хорошо, усердно. Помню, учитель, студент Поплонский, дававший нам уроки, определял по отношению к учению нас трех братьев так: Сергей—и хочет и может, Дмитрий—хочет, но не может (это была неправда) и Лев—и не хочет и не может. Я думаю, что это была совершенная правда.

«Так что настоящие воспоминания мои о Митеньке начинаются с Казани. В Казани я, подражавший всегда Сереже, начал развращаться (тоже после расскажу). Не только с Казани, но и еще прежде я занимался своей наружностью: старался быть светским, comme il faut. Ничего этого не было и следа в Митеньке; кажется, он никогда не страдал обычными отроческими пороками. Он всегда был серьезен, вдумчив, чист, решителен, вспыльчив, и то, что делал, доводил до пределов своих сил. Когда с ним случилось, что он проглотил цепочку, он, сколько помню, не особенно беспокоился о последствиях этого, тогда как про себя помню, какой я испытал ужас, когда проглотил косточку французского чернослива, который дала мне тетенька, и как я торжественно, как бы перед смертью, об'явил ей об этом несчастьи. Помню еще, как мы катались маленькими на салазках с крутой горы мимо закут (как весело было!) и какой-то проезжий, вместо того, чтобы ехать по дороге, поехал на своей тройке на эту гору. Кажется, Сережа с деревенским мальчиком раскатился

---

[1]) „Дух законов“.

[2]) Вставка, сделанная Л. Н. Толстым при просмотре рукописи.

и, не удержав салазки, попал под лошадей. Ребята выкарабкались без ушибов. Тройка в'ехала на гору. Мы все были заняты происшествием: как вылез из-под пристяжной, как коренная испугалась и т. п. Митенька же (мальчик лет 9) подошел к проезжему и начал бранить его. Я помню, как меня удивило и не понравилось то, что он сказал, что за это, чтобы не смели ездить, где нет дороги, стоит на конюшню отправить; на языке того времени значило—высечь.

«В Казани начались его особенности. Учился он хорошо, ровно, писал стихи очень легко; помню, прекрасно перевел Шиллера «Der Jüngling am Bache» [1]), но не предавался этому занятию. Мало общался с нами, всегда был спокоен, серьезен и задумчив. Помню, как он раз рассмеялся и как девочки пришли в восторг от этого, и мне стало завидно, и я подумал, что это от того, что он всегда серьезен. И я тоже хотел в этом подражать ему. Очень глупая была мысль у оцекунши-тетушки дать нам каждому по мальчику с тем, чтобы потом это был наш преданный слуга. Митеньке дан был Ванюша. (Ванюша этот и теперь жив.) Митенька часто дурно обращался с ним, кажется, даже бил. Я говорю: кажется, потому что не помню этого, а помню только его покаяния за что-то перед Ванюшей и униженные просьбы о прощении.

«Так он рос незаметно, мало общаясь с людьми, всегда, кроме как в минуты гнева, тихий, серьезный, с задумчивыми, строгими, большими карими глазами. Он был велик ростом, худ довольно, силен не очень, с длинными большими руками и сутуловатой спиной. Особенности его начались со времени вступления в университет. Он был годом моложе Сергея, но поступил в университет с ним вместе на математический факультет только потому, что старший брат был математиком. Не знаю, как и что навело его так рано на религиозную жизнь, но с первого же года университетской жизни это началось. Религиозные стремления, естественно, направили его на церковную жизнь, и он предался ей, как он все делал, до конца. Он стал есть постное, ходить на все церковные службы и еще строже стал к себе в жизни.

«В Митеньке, должно быть, была та драгоценная черта характера, которую я предполагал в матери и которую знал в Николеньке и которой я был совершенно лишен,—черта совершенного равнодушия к мнению о себе людей. Я всегда до самого последнего времени не мог отделаться от заботы о мнении людском, у Митеньки же этого совершенно не было. Никогда не помню на его лице той сдерживаемой улыбки, которая невольно выступает, когда вас хвалят. Всегда помню его серьезные, спокойные, грустные, иногда недобрые, миндалеобразные, большие карие глаза. С Казани только мы стали обращать на него внимание и то только потому, что, тогда как мы с Сережей приписывали большое значение comme il faut, внешности, он же был неряшлив и грязен, и мы осуждали его за это. Он не танцовал и не хотел этому учиться, студентом не ездил в свет, носил один студенческий сюртук с узким галстуком, и смолоду уже у него появился тик: он подергивал головой, как бы освобождаясь от узости галстука.

«Особенность его первая проявилась во время первого говения. Он говел не в модной университетской церкви, а в казематской церкви. Мы жили в доме Горталова, против острога. В остроге тогда был особенно набожный и строгий священник, который, как нечто непривычное, делал то, что на Страстной неделе вычитывал все евангелия, как это полагалось, и службы от этого продолжались особенно долго. Митенька выстаивал их и свел знакомство со священником. Церковь острожная была так устроена, что отделялась только стеклянной перегородкой с дверью от места, где стояли колодники. Один раз один из колодников что-то хотел передать причетникам: свечу или деньги на свечи; никто из бывших в церкви не захотел взять на себя это поручение, но Митенька тотчас с своим серьезным лицом взял и передал.

---

[1]) „Юноша у ручья".

Оказалось, что это было запрещено, и ему сделали выговор; но он, считая, что так надобно, продолжал делать то же самое.

«Мы, главное Сережа, водили знакомство с аристократическими товарищами и молодыми людьми; Митенька, напротив, из всех товарищей выбрал жалкого, бедного, оборванного студента, Полубояринова (которого наш приятель-шутник называл Полубезобедовым, и мы, жалкие ребята, находили это забавным и смеялись над Митенькой). Он только с Полубояриновым дружил и с ним готовился к экзаменам.

«Помню один такой случай. Жили мы тогда уже на другой квартире, на углу Арского поля, в доме Киселевского, наверху. Верх разделялся хорами надвое. В первой части верха, до хор, жил Митенька, в комнате за хорами жили Сережа и я. Мы, я и Сережа, любили вещицы, убирали свои столики, как у больших, и нам давали и дарили для этого вещицы. Митенька никаких вещей не имел. Одну он взял из отцовских вещей,—это минералы. Он распределил их, надписал и разложил их под стеклами в ящик. Так как мы, братья, да и тетушка с некоторым презрением смотрели на Митеньку за его низкие вкусы и знакомства, то этот взгляд усвоили себе и наши легкомысленные приятели. Один из таких, очень недалекий человек (инженер Ес., не столько по нашему выбору наш приятель, но потому, что он лип к нам), раз, проходя через комнату Митеньки, обратил внимание на минералы и спросил Митеньку; Ес. был несимпатичен, ненатурален. Митенька ответил неохотно. Ес. двинул ящик и потряс их; Митенька сказал: «Оставьте!» Ес. не послушался и что-то подшутил; кажется, назвал его Ноем. Митенька взбесился и своей огромной рукой ударил по лицу Ес. Ес. бросился бежать, Митенька за ним; когда они прибежали в наши владения, мы заперли двери. Но Митенька об'явил нам, что он исколотит его, когда он пойдет назад. Сережа и, кажется, Шувалов пошли усовещивать Митеньку, чтобы пропустил Ес. Но он взял половую щетку и об'явил, что непременно исколотит его. Не знаю, что бы было, если бы Ес. пошел через его комнату, но он сам просил как-нибудь провести его, и мы провели его, кое-где почти ползком, через пыльный чердак.

«Таков был Митенька в свои минуты злобы. Но вот каким он был, когда ничто не выводило его из себя. К нашему семейству как-то пристроилась, взята была из жалости, самое странное и жалкое существо, некто Любовь Сергеевна, девушка; не знаю, какую ей дали фамилию. Любовь Сергеевна была плод кровосмешения Протасова (из тех Протасовых, от которых Жуковский). Как она попала к нам, не знаю. Слышал, что ее жалели, ласкали, хотели пристроить даже, выдать замуж за Федора Ивановича, но все это не удалось. Она жила сначала у нас,—я этого не помню; а потом ее взяла тетенька Пелагея Ильинична в Казань, и она жила у нее. Так что узнал я ее в Казани. Это было жалкое, кроткое, забитое существо. У нее была комнатка, и девочка ей прислуживала. Когда я узнал ее, она была не только жалка, но отвратительна. Не знаю, какая была у нее болезнь, но лицо ее было все распухлое так, как бывают запухлые лица, искусанные пчелами. Глаза виднелись в узеньких щелках между двумя запухшими, глянцевитыми, без бровей подушками. Также распухшие, глянцевитые, желтые были щеки, нос, губы, рот. И говорила она с трудом, так как и во рту, вероятно, была та же опухоль. Летом на лицо ее садились мухи, и она не чувствовала их, и это было особенно неприятно видеть. Волоса у ней были еще черные, но редкие, не скрывавшие голый череп. Василий Иванович Юшков, муж тетеньки, не добрый шутник, не скрывал своего отвращения к ней. От нее всегда дурно пахло. А в комнате ее, где никогда не открывались окна и форточки, был удушливый запах. Вот эта-то Любовь Сергеевна сделалась другом Митеньки. Он стал ходить к ней, слушать ее, говорить с ней, читать ей. И, удивительное дело, мы так были нравственно тупы, что только смеялись над этим; Митенька же был так нравственно высок, так независим от заботы о людском мнении, что никогда ни словом, ни намеком не показал, что он считает хорошим то, что делает. Он только делал. И это был не порыв, а это продолжалось все время, пока мы жили в Казани.

«Как мне ясно теперь, что смерть Митеньки не уничтожила его, что он был прежде, чем я узнал его, прежде, чем родился, и есть теперь, после того, как умер!» [1]).

Взглянем теперь на внутренний мир Льва Николаевича того времени, насколько он нам доступен.

Критический возраст человека—юность—вводит его в пучину страстей. Для обыкновенного человека это период увлечения всевозможными чувствами и страстями, искания идеала, период мечтаний и ожиданий и большею частью несбыточных надежд. Можно себе представить те внутренние волнения, которые переживала такая сильная во всех отношениях натура, каким и был и есть Толстой. В каких противоречиях металась его душа! К каким недосягаемым высотам мысли возносила его крылатая мечта, и с какой стремительностью мог он падать, срываясь с этой высоты, увлеченный страстями своей сильной животной природы!

Указания на эту бурную внутреннюю жизнь юношеского периода мы встречаем в двух сочинениях Льва Николаевича: в «Юности» и в «Исповеди». В первом произведении среди размышлений Николеньки Иртенева мы несомненно встречаем автобиографические черты. Мысли, заимствуемые нами из «Юности», большею частью идеального характера и выражены в прекрасной поэтической форме. Мы приводим здесь только важнейшие:

«Я сказал, что дружба моя с Дмитрием открыла мне новый взгляд на жизнь, ее цель и отношения. Сущность этого взгляда состояла в убеждении, что назначение человека есть стремление к нравственному совершенствованию, и что усовершенствование это легко, возможно и вечно...

«Пришло время, когда эти мысли с такой свежей силой морального открытия пришли мне в голову, что я испугался, подумав о том, сколько времени я потерял даром, и тотчас же, ту же секунду, захотел прилагать эти мысли к жизни, с твердым намерением никогда уже не изменять им. И с этого времени я считаю начало юности.

«Мне было в то время шестнадцатый год в исходе. Учителя продолжали ходить ко мне, и я поневоле и неохотно готовился к университету.

В этот период времени, который я считаю пределом отрочества и началом юности, основой моих мечтаний были четыре чувства. Любовь к «ней», к воображаемой женщине, о которой я всегда мечтал в одном и том же смысле и которую всякую минуту ожидал где-нибудь встретить. Второе чувство было любовь любви. Мне хотелось, чтобы меня все знали и любили. Мне хотелось сказать свое имя... и чтобы все были поражены этим известием, обступили меня и благодарили бы за что-нибудь. Третье чувство была надежда на необыкновенное тщеславное счастье, — такая сильная и твердая, что она переходила в сумасшествие. Четвертое и главное чувство было отвращение к самому себе и раскаяние, но раскаяние до такой степени слитое с надеждой на счастье, что оно не имело в себе ничего печального. Я даже наслаждался в отвращении к прошедшему и старался видеть его мрачнее, чем оно было. Чем чернее был круг воспоминаний прошедшего, тем чище и светлее выдавалась из него светлая, чистая точка настоящего и разливались радужные цвета будущего. Этот-то голос раскаяния и страстного желания совершенства и был главным новым душевным ощущением в ту эпоху моего развития, и он-то положил новые начала моему взгляду на себя, на людей и на мир божий. Благой, отрадный голос, сколько раз с тех пор, в те грустные времена, когда душа молча покорялась власти жизненной лжи и разврата, вдруг смело восставший против всякой неправды, злостно обличавший прошедшее, указывавший, заставляя любить ее, ясную точку настоящего, и обещавший

---

[1]) Из доставленных мне и отданных в мое распоряжение черновых, неисправленных записок Л. Н. Толстого.

добро и счастье в будущем,—благой отрадный голос! Неужели ты перестанешь звучать когда-нибудь? [1]).

Мы знаем, что, к счастью для самого Льва Николаевича и для всех нас, голос этот в нем не замолкал ни на минуту, и до сих пор этот благой голос зовет его и нас и движет нами, направляя нас к светлому, бесконечному идеалу.

Временами мечты эти ярко выражали начала того идеалистического натурализма, который лег едва ли не в основу большей части произведений Толстого.

«Но луна все выше и выше, светлее и светлее стояла на небе, пышный блеск пруда, равномерно усиливающийся как звук, становился яснее и яснее, тени становились чернее и чернее, свет прозрачнее и прозрачнее, и, вглядываясь и вслушиваясь во все это, что-то говорило мне, что «она», с обнаженными руками и пылкими об'ятиями, еще далеко-далеко не все счастье, что и любовь к ней далеко-далеко еще не все благо, и чем больше я смотрел на высокий, полный месяц, тем истинная красота и благо казались выше и выше, чище и чище, и ближе и ближе к нему, к источнику всего прекрасного и благого, и слезы какой-то неудовлетворенной, но волнующей радости навертывались мне на глаза.

«И все я был один, и все казалось, что таинственно-величавая природа, притягивавший к себе светлый круг месяца, остановившийся зачем-то на одном высоком неопределенном месте бледно-голубого неба и вместе стоящий везде и как будто наполняющий собой все необ'ятное пространство, и я, ничтожный червяк, уже оскверненный всеми мелкими бедными людскими страстями, но со всей необ'ятной могучей силой любви, мне все казалось в эти минуты, что как будто природа, и луна, и я—мы были одно и то же» [2]).

Интересно взглянуть на список литературных произведений, имевших влияние на Льва Николаевича за период его юности, т.-е. приблизительно от 14—21 года, и способствовавших выработке подобного миросозерцания.

Вот этот список, служащий продолжением уже приведенного в главе «Отрочество»:

Название произведений.	Степень влияния.
Евангелие Матфея. Нагорная проповедь	Огромное.
Стерна. Sentimental Journey. (Сантиментальное путешествие.)	Очень большое.
Руссо. Confession. (Исповедь.)	Огромное.
„ Emile. (Эмиль.)	Огромное.
„ Nouvelle Héloise. (Новая Элоиза.)	Очень большое.
Пушкин. Евгений Онегин.	Очень большое.
Шиллер. Разбойники.	Очень большое
Гоголь. Шинель, Ив. Ив. и Ив. Ник., Невский проспект, Вий.	Большое.
„ Мертвые души.	Очень большое.
Тургенев. Записки охотника.	Очень большое.
Дружинин. Полинька Сакс.	Очень большое.
Григорович Антон Горемыка.	Очень большое.
Диккенс. Давид Копперфильд.	Огромное.
Лермонтов Герой нашего времени. Тамань.	Очень большое.
Прескотт. Завоевание Мексики.	Большое.

Рядом с этим Лев Николаевич испытывал на себе и тяжелое влияние тех условностей, которым подчинена была его барская жизнь. Одним из таких влияний было так называемое «comme il faut» [3]). Он посвящает описанию этого влияния целую главу своей «Юности». Мы берем из нее только самое существенное.

«Чувствую необходимость,—говорит Лев Николаевич,—посвятить целую главу этому понятию, которое в моей жизни было одним из самых пагубных, ложных понятий, привитых мне воспитанием и обществом.

---

[1]) Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого. Т. I, стр. 247.
[2]) Полн. собр соч. Л. Н. Толстого. Т. I, стр. 391.
[3]) „Как должно".

«Мое любимое и главное подразделение людей в то время, о котором я пишу, было на людей comme il faut и на comme ii ne faut pas. Второй род подразделяется еще на людей собственно не comme il faut и простой народ. Людей comme il faut я уважал и считал достойными иметь со мной равные отношения; вторых—притворялся, что презираю, но, в сущности, ненавидел их, питая к ним какое-то оскорбленное чувство личности; третьи для меня не существовали—я их презирал совершенно. Мое comme il faut состояло, первое и главное, в отличном французском языке и особенно в выговоре. Человек, дурно выговаривавший по-французски, тотчас же возбуждал во мне чувство ненависти. «Для чего же ты хочешь говорить как мы, когда не умеешь?» с ядовитою насмешкой спрашивал я его мысленно.

«Второе условие comme il faut были ногти длинные, отчищенные и чистые; третье было уменье кланяться, танцовать и разговаривать; четвертое, и очень важное, было равнодушие ко всему и постоянное выражение некоторой изящной, презрительной скуки.

«Страшно вспомнить, сколько бесценного, лучшего в жизни шестнадцатилетнего времени я потратил на приобретение этого качества. Но ни потеря золотого времени, употребленного на постоянную заботу о соблюдении всех трудных для меня условий comme il faut, исключающих всякое серьезное увлечение, ни ненависть и презрение к девяти десятым рода человеческого, ни отсутствие внимания ко всему прекрасному, совершающемуся вне круга comme il faut,—все это еще было не главное зло, которое мне причиняло это понятие. Главное зло состояло в том убеждении, что comme il faut есть самостоятельное положение в обществе, что человеку не нужно стараться быть ни чиновником, ни каретником, ни солдатом, ни ученым, когда он comme il faut: что, достигнув этого положения, он уже исполняет свое назначение и даже становится выше большей части людей.

«В известную пору молодости, после многих ошибок и увлечений, каждый человек обыкновенно становится в необходимость деятельного участия в общественной жизни, избирает какую-нибудь отрасль труда и посвящает себя ей; но с человеком comme il faut это редко случается. Я знал и знаю очень, очень много людей старых, гордых, самоуверенных, резких в суждениях, которые на вопрос, если такой задастся им на том свете: кто ты такой? и что ты там делал?—не будут в состоянии ответить иначе, как: «je fus un homme très comme il faut» [1]).

«Эта участь ожидала меня» [2]).

Как сказал Лев Николаевич в разговоре с немецким биографом Лёвенфельдом, рядом с учебными университетскими занятиями, вообще мало интересовавшими его, в нем развился интерес к самостоятельной умственной работе, вызванный данной ему темой сравнения «Esprit des lois» Montesquieu с «Наказом» Екатерины.

Дневники Льва Николаевича того времени полны мыслями, заметками и комментариями к этой работе, и рядом с этой работой толпится целый рой мыслей, как будто рассудок, прежде спавший и вдруг пробужденный, принялся за деятельную работу во всех областях своих.

В марте 1847 года Лев Николаевич лежал в казанской клинике по какому-то нездоровью. Досуг болезни, больничное одиночество наводили его на размышления о значении разума.

«Общество есть часть мира. Надо Разум согласовать с миром, с целым, познавая законы его, и тогда можно стать независимым от части, от общества».

Мы видим из этой заметки, что 18-летний юноша уже носил в себе зачатки будущего анархизма.

Замечая в себе проявление страсти к знанию, Лев Николаевич сейчас же спохватывается и, опасаясь уйти в теорию, задает себе вопросы о приложении знания к практике, а главное, к выработке в себе нравственного идеала и нравственного поведения.

---

[1]) „Я был человеком очень комильфотным“.
[2]) Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого. Т. I, Изд. 10-е. стр. 381. Москва.

Так, он записывает между прочим в своем дневнике того времени (март 1847 г.):

«Я много переменился, но все еще не достиг той степени совершенства (в занятиях), которого бы мне хотелось достигнуть. Я не исполняю того, что себе предписываю; что исполняю, то исполняю не хорошо, не изощряю памяти. Для этого пишу здесь некоторые правила, которые, как мне кажется, много мне помогут, ежели я буду им следовать:

1) Что назначено непременно исполнить, то исполняй, несмотря ни на что.

2) Что исполняешь, исполняй хорошо.

3) Никогда не справляйся в книге, что забыл, а постарайся сам припомнить.

4) Заставляй постоянно ум твой действовать со всею ему возможною силою.

5) Читай и думай всегда громко.

6) Не стыдись говорить людям, которые тебе мешают, что они мешают; сначала дай почувствовать, а ежели они не понимают (что они мешают), то извинись и скажи им это».

По поводу своей университетской работы он приходит к тому заключению, что в «Наказе» Екатерины проявляются два начала: революционные идеи современной Европы и деспотизм самой Екатерины и тщеславие ее; последнее начало преобладает. Республиканские идеи заимствованы ею из Монтескье. В заключение Лев Николаевич приходит к тому выводу, что «Наказ» принес больше славы Екатерине, чем пользы России.

Решившись оставить университет и переехать в деревню, Лев Николаевич дает себе обещание заниматься английским и латинским языком и римским правом, вероятно, чувствуя по этим предметам пробелы в своем знании.

Но по мере того, как приближалось время от'езда, планы и мечты о новой жизни расширялись, и, наконец, 17-го апреля 1847 года он записывает в своем дневнике:

Перемена в образе жизни должна произойти; но нужно, чтобы эта перемена не была произведением внешних обстоятельств, но произведением души», и далее:

«Цель жизни есть сознательное стремление к всестороннему развитию всего существующего».

Цель жизни в деревне в продолжение двух лет:

1) «Изучить весь курс юридических наук, нужных для окончательного экзамена в университет. 2) Изучить практическую медицину и часть теоретической. 3) Изучить языки: французский, русский, немецкий, английский, итальянский и латинский. 4) Изучить сельское хозяйство, как теоретически, так и практически. 5) Изучить историю, географию и статистику. 6) Изучить математику — гимназический курс. 7) Написать диссертацию. 8) Достигнуть высшей степени совершенства в музыке и живописи. 9) Написать правила и 10) получить некоторые познания в естественных науках. 11) Составить сочинения из всех предметов, которые буду изучать».

Вся последующая жизнь Льва Николаевича в деревне исполнена таких мечтаний, благих начинаний и серьезной искренней борьбы над самим собой в стремлении к совершенствованию.

С неподражаемою искренностью записывает он всякое уклонение от постановленного правила, всякое падение и снова собирается с силами на новую борьбу.

Отношение к женщинам уже тогда беспокоит его, и вот какой интересный совет дает он себе:

Смотри на общество женщин как на необходимую неприятность жизни общественной и, сколько можно, удаляйся от них.

«В самом деле: от кого получаем мы сластолюбие, изнеженность, легкомыслие во всем и множество других пороков, как не от женщин? Кто виноват в том, что мы лишаемся врожденных в нас чувств: смелости, твердости, рассудительности, справедливости и других—как не женщины? Женщина восприимчивее мужчины, поэтому в века добродетели женщины были лучше нас; в теперешний же развратный, порочный век—они хуже нас».

Опять мы видим зачатки позднейших взглядов на жизнь.

К этому же периоду относятся также и первые философские опыты Льва Николаевича.

Читая Руссо, Лев Николаевич пишет комментарии к его «Discours».

Затем сохранилась его самостоятельная философская статья, написанная в 1846—47 году, т.-е. когда ему было 18 лет. Статья эта носит название: «О цели философии». При чем философии дается такое определение:

«Человек стремится, т.-е. человек деятелен. Куда направлена его деятельность? Каким образом сделать эту деятельность свободной? В этом заключается цель философии в ее истинном значении. Другими словами: *«философия есть наука жизни»*.

Кроме того, есть наброски на разные темы, как, например: «О рассуждении касательно будущей жизни», «Определение времени, пространства и числа», «Методы», «Разделение философии» и т. д.

К этому времени относится также следующий эпизод, записанный графиней С. А. Толстой:

«Во время студенчества Лев Николаевич раз задумался о том, что такое симметрия, и написал сам на это философскую статью в виде рассуждения. Статья эта лежала на столе в его комнате, когда в комнату вошел товарищ братьев Толстых Шувалов с бутылками во всех карманах, собираясь пить. Он случайно увидал на столе эту статью и прочел ее. Его заинтересовала эта статья, и он спросил, откуда Лев Николаевич списал ее. Лев Николаевич робко ответил, что он ее сам сочинил. Шувалов засмеялся и сказал, что это он врет, что не может этого быть: слишком показалось глубоко и умно для такого юноши. Так и не поверил, с тем и ушел» [1]).

Уже этот небольшой рассказ показывает нам, насколько уровень развития Льва Николаевича не соответствовал окружающей его среде и превышал ее.

«Исповедь» Льва Николаевича раскрывает нам его внутренний мир того времени еще с другой стороны—религиозной.

«Помню,—говорит Лев Николаевич,—что, когда старший брат мой Дмитрий, будучи в университете, вдруг со свойственной его натуре страстностью предался вере и стал ходить ко всем службам, поститься, вести чистую, нравственную жизнь, то мы все и даже старшие, не переставая, поднимали его на смех и прозвали почему-то Ноем. Помню, Мусин-Пушкин, бывший тогда попечителем Казанского университета, звавший нас к себе танцовать, насмешливо уговаривал отказывающегося брата тем, что и Давид плясал перед ковчегом. Я сочувствовал тогда этим шуткам старших и выводил из них заключение о том, что учить катехизис надо, ходить в церковь надо, но слишком серьезно всего этого не надо принимать. Помню еще, что я очень молодым читал Вольтера, и насмешки его не только не возмущали, но очень веселили меня.

«Отпадение мое от веры произошло во мне так же, как оно происходило и происходит теперь в людях нашего склада образования. Оно, как мне кажется, происходит в большинстве случаев так: люди живут так, как все живут, а все живут на основании начал, не только не имеющих ничего общего с вероучением, но большею частью противоположных ему; вероучение не участвует в жизни, а в сношениях с другими людьми никогда не приходится сталкиваться с ним и самому в собственной жизни никогда не приходится справляться с ним; вероучение это исповедуется где-то там вдали от жизни и независимо от нее; если сталкиваешься с ним, то только как с внешним, не связанным с жизнью явлением.

«Сообщенное мне с детства вероучение исчезло во мне так же, как и в других, с той только разницей, что так как я с 15-ти лет стал читать философские сочинения, то мое отречение от вероучения очень рано стало сознательным. Я с 16-ти лет перестал становиться на молитву и перестал по собственному побуждению ходить в церковь и говеть. Я не верил в то, что мне было сообщено с детства, но я верил во что-то. Во что я верил, я никак бы не мог сказать. Верил я и в Бога, или, скорее,

---

[1]) Записки графини С. А. Толстой.

я не отрицал Бога, но какого Бога, я бы не мог сказать. Не отрицал я и Христа и Его учение, но в чем было Его учение, я тоже не мог бы сказать.

«Теперь, вспоминая то время, я вижу ясно, что вера моя—то, что, кроме животных инстинктов, двигало моею жизнью,—единственная истинная вера моя в то время была вера в совершенствование. Но в чем было совершенствование и какая была цель его, я бы не мог сказать. Я старался совершенствовать свою волю,—составлял себе правила, которым старался следовать; совершенствовал себя физически всякими упражнениями изощряя силу и ловкость и всякими лишениями приучая себя к выносливости и терпению. И все это я считал совершенствованием. Началом всего было, разумеется, нравственное совершенствование, но скоро оно подменилось совершенствованием вообще, т.-е. желанием быть лучше не перед самим собой или перед Богом, а желанием быть лучше перед другими людьми. И очень скоро это стремление быть лучше пред людьми подменилось желанием быть сильнее других людей, т.-е. славнее, важнее, богаче других».

И далее начинается то страшное покаяние, которое, обличая грехи Льва Николаевича, в то же время обличает и нашу душу, в большинстве случаев прошедшую через эти дебри разврата, быть-может, совершавшегося нами не с такими исполинскими размахами и не со столь искренним сознанием своей неправоты.

«Когда-нибудь я расскажу историю моей жизни—и трогательную и поучительную в эти десять лет моей молодости. Думаю, что многие и многие испытали то же. Я всей душой желал быть хорошим; но я был молод, у меня были страсти, я был один, совершенно один, когда искал хорошего. Всякий раз, когда я пытался высказывать то, что составляло самые задушевные мои желания, то, что я хочу быть нравственно хорошим, я встречал презрение и насмешки; а как только я предавался гадким страстям, меня хвалили и поощряли.

«Честолюбие, властолюбие, корыстолюбие, любострастие, гордость, гнев, месть—все это уважалось. Отдаваясь этим страстям, я становился похож на большого, и я чувствовал, что мною довольны. Добрая тетушка моя, чистейшее существо, с которой я жил, всегда говорила мне, что она ничего не желала бы так для меня, как того, чтобы я имел связь с замужнею женщиной: rien ne forme un jeune homme, comme une liaison avec une femme comme il faut [1]); еще другого счастья она желала мне, того, чтобы я был ад'ютантом, и лучше всего у государя; и самого большого счастия—того, чтоб я женился на очень богатой девушке и чтоб у меня, вследствие этой женитьбы, было как можно больше рабов.

«Без ужаса, омерзения и боли сердечной не могу вспомнить об этих годах. Я убивал людей на войне, вызывал на дуэли, чтобы убить, проигрывал в карты, проедал труды мужиков, казнил их, блудил, обманывал. Ложь, воровство, любодеяние всех родов, пьянство, насилие, убийство... Не было преступления, которого бы я не совершал, и за все это меня хвалили, считали и считают мои сверстники сравнительно нравственным человеком.

«Так я жил десять лет» [2]).

Начало этого бурного десятилетнего периода застает Льва Николаевича в деревне.

К этому времени следует отнести попытки Льва Николаевича хозяйствовать на новых началах, а главное—попытки установления правильных разумно-дружелюбных отношений с крестьянами, которые окончились так неудачно и неудача которых так ярко изображена в рассказе: «Утро помещика». В этом рассказе так много, если не фактически, то психологически автобиографического материала, что его можно поставить нам как главу биографии.

Заимствуем оттуда письмо кн. Нехлюдова к своей тетушке:

---

[1]) „Ничто так не образовывает мужчину, как связь с порядочной женщиной".
[2]) „Исповедь". Изд. „Своб. Слова". Стр. 2 и след.

Казанский университет, где Л. Н. Толстой слушал лекции в течение 1846—48 годов.

«Милая тетушка!

«Я принял решение, от которого должна зависеть участь всей моей жизни. Я выхожу из университета, чтобы посвятить себя жизни в деревне, потому что чувствую, что рожден для нее. Ради Бога, милая тетушка, не смейтесь надо мной. Вы скажете, что я молод; может-быть, точно, я еще ребенок, но это не мешает мне чувствовать мое призвание, желать делать добро и любить его.

«Как я вам писал уже, я нашел дела в неописанном расстройстве. Желая их привести в порядок и вникнув в них, я открыл, что главное зло заключается в самом жалком, бедственном положении мужиков, и зло такое, которое можно исправить только трудом и терпением. Если бы вы только могли видеть двух моих мужиков, Давыда и Ивана, и жизнь, которую они ведут с своими семействами, я уверен, что один вид этих двух несчастных убедил бы вас больше, чем все то, что я могу сказать вам, чтобы об'яснить мое намерение. Не моя ли священная и прямая обязанность заботиться о счастии этих семисот человек, за которых я должен буду отвечать Богу? Не грех ли покидать их на произвол грубых старост и управляющих из-за планов наслаждения или честолюбия? И зачем искать в другой сфере случаев быть полезным и делать добро, когда мне открывается такая благородная, блестящая и ближайшая обязанность? Я чувствую себя способным быть хорошим хозяином; а для того, чтобы быть им, как я разумею это слово, не нужно ни кандидатского диплома, ни чинов, которых вы так желаете для меня. Милая тетушка, не делайте за меня честолюбивых планов, привыкните к мысли, что я пошел по совершенно особенной дороге, но которая хороша и, я чувствую, приведет меня к счастью. Я много и много передумал о своей будущей обязанности, написал себе правила действий, и если только Бог даст мне жизни и сил, я успею в своем предприятии...» [1]).

Если Лев Николаевич и не писал в действительности этого письма, то, несомненно, подобные мысли и желания обуревали его молодую душу и давали направление его жизни.

Как мы знаем из этого рассказа, попытка Льва Николаевича кончилась неудачей. И оно не могло быть иначе. Искренность Льва Николаевича не могла вынести положения благотворителя своих рабов, т.-е. людей, уязвленных в самом ценном для этих людей—их духовном достоинстве.

Лев Николаевич не вынес этого противоречия (а быть «холодным и строгим человеком», как советовала тетушка в своем ответном письме, он не мог), и, воспользовавшись первым удобным случаем, он круто изменил свою жизнь.

Прожив лето в Ясной Поляне, Лев Николаевич осенью того же 47-го года отправился в Петербург, где в начале 48-го года начал держать кандидатский экзамен:

«В 48-м году,—говорит он в своей статье о воспитании и образовании,—я держал экзамен на кандидата в Петербургском университете и буквально ничего не знал и буквально начал готовиться за неделю до экзамена. Я не спал ночи и получил кандидатские баллы из гражданского и уголовного права, готовясь из каждого предмета не более недели» [2]).

Лёвенфельду Лев Николаевич так рассказывает об этом времени:

«Мне очень было приятно жить в деревне с тетушкой Ергольской, но неопределенная жажда знания снова увлекла меня в даль. Это было в 1848 году, я все еще не знал, что мне предпринять. В Петербурге мне открывались две дороги. Я мог вступить в армию, чтобы принять участие в венгерском походе, и мог закончить мои университетские занятия, чтобы получить себе потом место чиновника. Но моя жажда знания победила мое честолюбие, и я снова принялся за занятия. Я выдержал даже два экзамена по уголовному праву, но затем все мои благие намерения рухнули. Наступила весна, и прелесть деревенской жизни снова потянула меня в имение» [3]).

---

[1]) Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого. Т. 2-й, стр. 5—6.
[2]) Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого. Изд. 10-е. Москва. 1897 г. Т. IV, стр. 143
[3]) R. Löwenfeld. „Gespräche mit und über Tolstoj." S. 87.

Этот период петербургской жизни мы можем более подробно проследить по письмам Льва Николаевича к своему брату Сергею, из которых мы приводим выдержки, имеющие общий интерес.

13 февраля 1848 года он писал брату:

«Я пишу тебе это письмо из Петербурга, где я и намерен остаться *навеки*... Я решился здесь остаться держать экзамен и потом служить; ежели же не выдержу (все может случиться), то и с 14-го класса начну служить; я много знаю чиновников 2-го разряда, которые не хуже и вас, перворазрядных, служат. Короче тебе скажу, что петербургская жизнь на меня имеет большое и доброе влияние: она меня приучает к деятельности и заменяет для меня невольно расписание; как-то нельзя ничего не делать, все заняты, все хлопочут, да и не найдешь человека, с которым бы можно было вести беспутную жизнь,—одному нельзя же.

«Я знаю, что ты никак не поверишь, чтобы я переменился, скажешь: «это уж в 20-й раз, и все из тебя пути нет», «самый пустяшный малый»,—нет, я теперь совсем иначе переменился, чем прежде менялся; прежде я скажу себе: «дай-ка я переменюсь», а теперь я вижу, что я переменился, и говорю: «я переменился».

«Главное то, что я вполне убежден теперь, что умозрением и философией жить нельзя, а надо жить положительно, т.-е. быть практическим человеком. Это большой шаг и большая перемена; еще этого со мной ни разу не было. Ежели же кто хочет жить и молод, то в России нет другого места, как Петербург; какое бы направление кто ни имел, всему можно удовлетворить, все можно развить, и легко, без всякого труда. Что же касается до средств к жизни, то для холостого жизнь здесь вовсе не дорогая и, напротив, дешевле и лучше московской, исключая квартир.

«Всем нашим передай, что *я всех целую и кланяюсь*, и что летом в деревне, может, буду, может, нет: мне хочется летом взять отпуск и поездить по окрестностям Петербурга, в Гельсингфорс и в Ревель тоже хочу с'ездить. Напиши мне, ради Бога, хоть раз в жизни; мне хочется знать, как ты и все наши эту новость примут; проси и их от меня писать, я же писать к ним боюсь,—так давно не писал я к ним, что они, верно, сердятся, особенно перед тетенькой Татьяной Александровной мне совестно; попроси у нее от меня прощения».

Увы! этим благим намерениям не сразу суждено было осуществиться. Как ни странно писать это теперь про Льва Николаевича, но тогда брат его с некоторым правом называл его «пустяшный малый», в чем Лев Николаевич и сам ему признавался.

Так, в письме от 1-го мая 1848 года он пишет брату:

«Сережа! Ты, я думаю, уже говоришь, что я «самый пустяшный малый», и говоришь правду. Бог знает, что я наделал. Поехал без всякой причины в Петербург, ничего там нужного не сделал, только прожил пропасть денег и задолжал. Глупо! Невыносимо глупо! Ты не поверишь, как это меня мучает. Главное, *долги*, которые мне *нужно* заплатить и *как можно скорее;* потому что, ежели я их заплачу не скоро, то я сверх денег потеряю и репутацию. Мне до нового дохода необходимо 3500 руб. сер.: 1200 в Опекунский Совет, 1600 заплатить долги, 700 руб. на прожиток. Я знаю, ты будешь ахать, но что же делать? Глупость делают раз в жизни. Надо мне было поплатиться за свою свободу (некому было сечь, это главное несчастие) и философию, вот я и поплатился. Сделай милость, похлопочи, чтобы вывести меня из фальшивого и гадкого положения, в котором я теперь,—без гроша денег и кругом должен.

«Ты знаешь, верно, что наши войска все идут в поход и что часть (2 корпуса) перешли границу и, говорят, уже в Вене.

«Я начал-было держать экзамен на кандидата и выдержал два хорошо, но теперь переменил намерение и хочу вступить юнкером в конно-гвардейский полк. Мне совестно писать это тебе, потому что я знаю, что ты меня любишь, и тебя огорчат все мои глупости и безосновательность. Я даже несколько раз вставал и краснел от этого письма, что и ты будешь делать, читая его; но что делать, прошедшего не переменишь, а будущее зависит от меня.

«Бог даст, и я исправлюсь и сделаюсь когда-нибудь порядочным человеком; больше всего я надеюсь на юнкерскую службу: она меня приучит к практической жизни, и volens-nolens мне надо будет служить до офицерского чина. С счастьем, т.-е. ежели гвардия будет в деле, я могу быть произведен и прежде 2-летнего срока. Гвардия идет в поход в конце мая. Я теперь ничего не могу делать, потому что, во-первых, нет денег, которых мне нужно немного (все, кажется), а во-вторых, два метрические свидетельства в Ясной; вели их прислать как можно скорее. Не сердись на меня, пожалуйста, а то я теперь слишком чувствую свое ничтожество, и исполни поскорей мои поручения. Прощай, не показывай письма этого тетеньке,— я не хочу ее огорчать».

Вскоре и эти планы были оставлены. В одном из следующих писем к брату Лев Николаевич пишет:

«В последнем письме моем писал тебе разные глупости, из которых главная та, что я был намерен вступить в конно-гвардию; теперь же я этот план оставляю только в том случае, ежели экзамена не выдержу и война будет серьезная».

Вероятно, он не нашел войну достаточно «серьезною», потому что в военную службу не поступил.

Весною он возвращается в Ясную Поляну и везет с собою из Петербурга ныющего талантливого немца-музыканта, с которым он познакомился у друзей своих Перфильевых, и страстно отдается музыке. Этого немца звали Рудольфом.

Затем, до своего от'езда на Кавказ в 1851 году, Лев Николаевич проводит время частью в Москве, частью в Ясной Поляне. Вот тут то период аскетизма, а потом кутежей, охоты, карт, цыган.

За три года жизни Лев Николаевич действительно перепробовал все, что может быть доступно сильной, страстной, даровитой молодой натуре.

За это время он не писал дневника. Ему было некогда. Только с половины 1850 г. он снова берется за него, и начинает он его, конечно, покаянием и самообличением и выражает желание откровенно записать свои воспоминания об этих «бесцутно проведенных 3-х годах своей жизни».

Желая начать правильную жизнь, он составляет себе распределение дня с утра до вечера: хозяйство, купанье, дневник, музыка, еда, отдых, чтение, купанье, хозяйство.

Но, разумеется, эти расписания и правила не выполняются, и в дневнике снова отмечается недовольство собой.

Этот период борьбы с самим собой продолжается целые месяцы, и вдруг прорывается волна бурной страсти, сламывающей все внешние преграды.

Как утопающий хватается за соломинку, так и он, увлекаемый страстями, хватался за разные чувства, которые могли бы его удержать от гибели. Одним из таких чувств было самолюбие.

«Люди, которых я считаю нравственно ниже себя, делают дурные дела лучше меня», писал он в своем дневнике, и потому эти дурные дела становились ему противны, и он бросал их.

Спокойная жизнь в деревне часто помогала ему, утишая его страсти.

Замечательно, что нравственная, благородная струнка звучала в нем даже в таких пошлых занятиях, как в картежной игре. Это была едва ли не одна из самых сильных страстей его. Но и тут он сдерживает себя правилом чести: «играть только с богатыми», т.-е. чтобы выигрыш не мог нанести материального ущерба, унизить, разорить игрока.

Часто не в силах будучи совладать с собой, он приходил в отчаяние, но потом снова ободрялся и записывал в дневнике:

«Живу совершенно скотски, хотя и не совсем беспутно; занятия свои почти все оставил и духом очень упал».

Будучи стесненным в деньгах, он замышлял даже торговое предприятие: хотел снять почтовую станцию в Туле. Это было в конце 1850 года. К счастью, дело это не состоялось, и он избежал таким образом многих бедствий, которые причинило бы

ему столь несвойственное ему занятие. Размышляя о своих неудачах, он раз записал в своем дневнике:

«Вот причины многих ошибок:

1) Нерешительность, т.-е. недостаток энергии. 2) обманывание самого себя, 3) торопливость, 4) fausse honte, 5) дурное расположение духа, 6) сбивчивость, 7) подражание, 8) непостоянство, 9) необдуманность».

Зиму 1850—51 года он проводит больную часть в Москве, откуда часто пишет своей тетке в Ясную, рассказывая различные подробности своей жизни. В одном письме он так описывает свою квартиру и вообще внешнюю обстановку жизни.

„Il se compose de 4 chambres—une salle à manger, où j'ai déjà un royalino, que j'ai loué, un salon meublé de divans, chaises et tables en bois de noyer et couverte de drap rouge et orné de trois grandes glaces, un cabinet, où j'ai ma table à écrire, mon bureau et un divan qui me rappelle toujours nos disputes au sujet de ce meuble et une chambre assez grande pour être chambre à coucher et cabinet de toilette et par dessus tout cela une petite anti-chambre.

„Je dine à la maison avec des щи et du каша, dont je me contente parfaitement. Je n'attends que les confitures et la наливка pour avoir tout selon mes habitudes de la campagne.

„J'ai un traineau pour 40 r. arg., c'est un пошевни, une espèce de traineau très à la mode. Serge doit savoir ce que c'est; j'ai acheté tout l'attirail pour l'attelage que j'ai pour ce moment très élégant“ [1]).

Повидимому, тетушка его очень опасается за его поведение в Москве, дает ему советы и старается оградить от дурного знакомства, так как в следующем письме он ей пишет:

„Pourquoi êtes-vous tellement monté contre Islénieff—si c'est pour m'en détourner—c'est inutil puisqu'il n'est pas à Moscou. Tout ce que vous dites au sujet de la perversité du jeu est très vrai et me revient souvent à l'esprit, c'est pourquoi je crois que je ne jouerai plus. „Je crois“, mais j'espère bientôt vous dire pour sûr.

Tout ce que vous dites de la société est vrai, aussi comme tout ce que vous dites surtout dans vos lettres—primo parce que vous écrivez comme m-me de Sévigné et secundo—parce que je ne puis, selon mes habitudes, disputer. Vous dites aussi beaucoup de bon sur ma personne. Je suis convaincu que les louages font autant de bien que de mal. Elles font du bien parce qu'elles maintiennent dans les bonnes qualités, qu'on loue, et du mal parce qu'elles augmentent l'amour propre. Je suis sûr que les vôtres ne peuvent que me faire du bien pour la raison qu'elles sont dictées par une amitié sincère—cela va sans dire, autant que je le mériterai.

Je crois les avoir méritées, pendant tout le temps de mon séjour à Moscou, je suis content de moi“ [2]).

---

[1]) Она состоит из 4-х комнат—столовой, где у меня уже есть роялино, которое я взял напрокат; гостиная с диванами, стульями и столами, ореховаго дерева, покрытыми красным сукном, и украшенная тремя большими зеркалами; кабинет, где стоит мой письменный стол, бюро и диван, который напоминает мне все наши споры об этой мебели, и еще комната, довольно большая, чтобы служить спальней и уборной, и, сверх того, маленькая передняя.

Я обедаю дома щами и кашей, чем я вполне довольствуюсь. Жду только варенье и наливку, чтобы иметь все, к чему я привык в деревне.

У меня есть сани, за сорок рублей,—это пошевни, род саней, теперь очень модных. Сережа должен знать, что это такое. Я купил всю упряжь, и она у меня теперь очень изящна.

[2]) Почему вы так возмущены Исленевым? Если это с целью меня от него отвратить, то это бесполезно, потому что его нет в Москве. Все, что вы говорите о развращающем влиянии игры, верно и часто мне приходит на ум, вот почему я думаю, что я больше играть не буду. „Я думаю“, но надеюсь скоро сказать—„наверно“.

Он наезжает и в Ясную, откуда снова в марте 1851 года он едет в Москву; вернувшись из этой поездки, он писал в дневнике, что цель приезда в Москву была троякая: игра, женитьба и получение места. И ни одна из этих целей не была достигнута. К игре он тогда почувствовал отвращение, сознавая всю низость этого занятия; женитьбу отложил, потому что налицо не было ни одного из трех известных ему оснований женитьбы: любви, рассудка, судьбы. Места он не мог получить за неимением каких-то нужных для этого бумаг.

В это свое пребывание в Москве он пишет своей тетке Татьяне Александровне, от 8-го марта:

„Dernièrement dans un ouvrage que je lisais, l'auteur disait que les premièrs indices du printemps agissent ordinairement sur le morale des hommes. Avec la nature qui renaît on voudrait se sentir renaître aussi, on regrette le passé, le temps mal employé, on se repent de sa faiblesse, et l'avenir nous parait comme un point lumineux devant nous, on devient meilleur, moralement meilleur. Ceci quant à moi est parfaitement vrai, depuis que j'ai commencé à vivre indépendamment, le printemps me mettait toujours dans les bonnes dispositions, dans lesquelles je persévérai plus ou moins longtemps, mais c'est toujours l'hiver qui est une pierre d'achoppement pour moi—всегда собьюсь.

Au reste en récapitulant les hivers passés, celui-là est sans doute le plus agréable et le plus raisonnable que j'ai passé. Je me suis amusé, je suis allé dans le monde, j'ai gardé des souvenirs agréables et avec cela je n'ai pas dérangé mes finances, ni arrangé—c'est vrai“ [1]).

Следующее его письмо написано уже по приезде с Кавказа брата Николая. Он пишет между прочим:

„L'arrivée de Nicolas a été pour moi une surprise agréable, puisque j'avais presque perdu l'espoir de le voir arriver chez moi. J'ai été si content de le voir, que même j'ai negligé un peu mes devoirs ou plutôt mes habitudes.

A présent je suis de nouveau seul et seul au pied de la lettre: je ne vai nulle part, ni ne reçois personne. Je fais des plans pour le printemps et l'été, les approuvez-vous? Vers la fin du mois de mai je viendrai à Ясная, j'y passerai un mois ou deux et tâcherai d'y retenir Nicolas aussi longtemps. que possible et puis d'aller avec lui faire une tournée au Caucase“ [2]).

Все, что вы говорите об обществе, верно так же, как и все, что вы говорите, особенно в письмах: во-первых, потому, что вы пишете, как м-м де-Севинье, и, во-вторых, потому, что я не могу, по моим привычкам, спорить. Вы также говорите много хорошего обо мне. Я убежден, что похвалы приносят столько же пользы, сколько и вреда. Они полезны, потому что удерживают человека в тех хороших качествах, которые хвалят, и вредны, потому что увеличивают самолюбие. Я уверен, что ваши похвалы мне будут только полезны, потому что они продиктованы искренним, дружеским чувством, но, конечно, настолько, насколько я их заслуживаю.

Мне кажется, что я их заслужил; во все время моего пребывания в Москве я доволен собой.

[1]) В одном сочинении, которое я читал на-днях, автор говорит, что первые признаки весны действуют обыкновенно на нравственную природу человека. С возрождающейся природой хочется чувствовать и себя возрождающимся, жалеешь о прошлом, дурно потраченном времени, каешься в слабости, и будущее представляется как светлая точка впереди нас, и становишься лучше, нравственно лучше. Относительно меня это совершенно верно: с тех пор, как я начал жить самостоятельно, весна всегда приводила меня в хорошее настроение, в котором я держался более или менее долго; но вот зима всегда была для меня пробным камнем—всегда собьюсь.

Впрочем, сопоставляя с прошлыми зимами, эта, несомненно, самая приятная и самая разумная из всех проведенных мною. Я веселился, я ездил в свет, остались приятные воспоминания, и при всем том я не расстроил свои финансы—и не устроил, правда.

[2]) Приезд Николеньки был для меня приятным сюрпризом, потому что я уже почти потерял надежду увидеть его у себя. Я был так рад увидать его, что я даже немного пренебрег своими обязанностями или, вернее, привычками.

И вот среди всей этой бурной смены светских удовольствий, игры, припадков чувственности, увлечений цыганами, охотой, вдруг наступали периоды религиозности и смирения. Так, с усердием исполняя обряд говения, он сочиняет даже проповедь, конечно, оставшуюся не прочитанной.

И тут же замечаются порывы серьезного, художественного писательства.

Он замышлял еще в 50 году написать повесть из цыганского быта. Другой замысел того же времени был вызван подражанием Стэрну, его «Sentimental journey».

«Сидел он раз у окна задумавшись и смотрел на все происходившее на улице: вот ходит будочник, кто он такой, какая его жизнь? А вот карета проехала, кто там и куда едет, и о чем думает, и кто живет в этом доме, какая внутренняя жизнь их?.. Как интересно бы было все это описать, какую можно бы было из этого сочинить интересную книгу!» [1]).

Весь этот переменчивый, опасный период жизни был оборван внезапным отъездом на Кавказ.

Теперь я снова один, и буквально один: я никуда не хожу, никого не принимаю. Делаю планы на весну и лето. Одобрите ли вы их? В конце мая я приеду в Ясную, проведу там месяц или два и постараюсь там удержать Николеньку как можно дольше, а потом поеду с ним совершить прогулку по Кавказу.

[1]) Из записок гр. С. А. Толстой.

ЧАСТЬ III

ВОЕННАЯ СЛУЖБА

1851—1856

ГЛАВА VII.

К а в к а з.

Неудачная попытка хозяйничать, невозможность установить желательные отношения с крестьянами и та страстная, опасная жизнь, полная всякого рода излишеств, о которой упоминалось в конце предыдущей главы, побудили Льва Николаевича искать случая изменить свой образ жизни.

Жизнь его была такая безалаберная, распущенная, по его собственному свидетельству, что он был готов на всякое изменение ее. Так, когда будущий зять его (муж сестры) Валерьян Петрович Толстой, будучи женихом, ехал назад в Сибирь окончить там свои дела перед женитьбой и от'езжал от дому, Лев Николаевич вскочил к нему в тарантас без шапки, в блузе, и не уехал в Сибирь, кажется, только от того, что у него не было на голове шапки.

Серьезный случай к перемене жизни, наконец, представился. В апреле 1851 года с Кавказа приехал старший брат Льва Николаевича, Николай; он служил офицером в кавказской армии, приехал в отпуск и должен был вскоре возвратиться назад. Лев Николаевич ухватился за этот случай и весной 1851 года отправился вместе с ним на Кавказ.

Они выехали из Ясной Поляны 20-го апреля и пробыли недели две в Москве, откуда Лев Николаевич писал своей тетке Татьяне Александровне в Ясную:

„J'ai été à la promenade de Sokolniki par un temps détestable, c'est pourquoi je n'ai rencontré personne des dames de la société, que j'avais envie de voir. Comme vous prétendez que je suis un homme à épreuves, je suis allé parmi les plébs, dans les tentes bohémiennes. Vous pouvez aisement vous figurer le combat intérieur qui s'engagea là-bas pour et contre. Au reste j'en sortis victorieux, c. a d. n'ayant rien donné que ma bénédiction aux joyeux descendants des illustres Pharaons. Nicolas trouve que je suis un compagnon de voyage très agréable, si ce n'était ma propreté. Il se fâche de ce que, comme il le dit, je change de linge 12 fois par jour. Moi je le trouve aussi compagnon très agréable, si ce n'était sa saleté. Je ne sais lequel de nous a raison“ [1]).

Из Москвы они поехали через Казань, где посетили В. И. Юшкова, мужа их тетки-опекунши, с которой они жили в Казани, а также друга этой тетки, оригинальную, умную женщину, директрису казанского института, г-жу Загоскину.

---

[1]) Я был на гулянье в Сокольниках в отвратительную погоду и потому не встретил ни одну из дам, которых я хотел видеть. Так как, по-вашему, я человек, испытующий себя, я пошел в народ, в цыганский табор. Вы легко можете себе представить, какая поднялась там во мне внутренняя борьба за и против. Впрочем, я вышел победителем, то-есть ничего не дал этим веселым потомкам знаменитых фараонов, кроме моего благословения. Николай находит, что я очень приятный спутник, если бы не моя опрятность. Он сердится на то, что я, как он говорит, 12 раз в день меняю белье. Я нахожу, что он тоже очень приятный спутник, если бы не его неопрятность. Не знаю, кто из нас прав.

Там, у Загоскиной, Лев Николаевич встретил Зинаиду Модестовну Молоствову, бывшую воспитанницу института, и Лев Николаевич испытал к ней поэтическое чувство влюбления, которое он, как всегда, по своей застенчивости, не решился выразить и которое он увез с собой на Кавказ.

Там же, у Загоскиной, всегда привлекавшей к себе наиболее комильфотных молодых людей, он встретил и почти подружился с молодым правоведом, прокурором Оголиным, и с ним ездил в деревню к В. И. Юшкову. Оголин был тип нового тогдашнего чиновника.

Лев Николаевич рассказывал, как был поражен В. И. Юшков, привыкший видеть прокурора важным, почтенным, седым, в мундире, с крестом на шее и звездой, когда он увидал Оголина и познакомился с ним в самых странных условиях.

«Когда мы приехали с Оголиным и подошли к дому, против которого была группа молодых берез, я предложил Оголину, пока слуга докладывал о приезде, поспорить, кто лучше и выше влезет на эти березы. Когда В. И. вышел и увидал прокурора, лезущего на дерево, он долго не мог опомниться».

Нежные чувства к Зинаиде Модестовне, увезенные Л. Н-чем на Кавказ, вызвали с его стороны, по приезде его туда, эстафету на имя Оголина такого содержания:

„Господин
Оголин,
Поспешите,
Напишите
Про всех вас
На Кавказ,
Здорова ль
Молоствова,
Одолжите
Льва Толстова“ [1]).

Настроение Льва Николаевича во время этой поездки, как он рассказывал мне, продолжало быть самое глупое, светское. Он рассказывал, как именно в Казани брат заставил его почувствовать его глупость. Они шли по городу, когда мимо них проехал какой-то господин на долгуше, опершись руками *без перчаток* на палку, упертую в подножку.

— Как видно, что этот господин какая-то дрянь, — сказал Лев Николаевич, обращаясь к брату.

— Отчего?—спросил Николай Николаевич.

— А без перчаток.

— Так отчего же дрянь, если без перчаток?—с своей чуть заметной, ласковой, умной, насмешливой улыбкой спросил Николай Николаевич.

Николай Николаевич всегда думал и делал все не потому, что так думают другие, а всегда сам думал и делал то, что считал хорошим. Так, он выдумал поехать на Кавказ не как обыкновенно, через Воронеж и землю Войска Донского, а на лошадях до Саратова, а от Саратова по Волге до Астрахани и от Астрахани на почтовых в станицу. Так он и сделал.

В Саратове взяли косовушку, уставили в нее тарантас и с помощью лоцмана и двух гребцов поплыли, где парусом, где на веслах, где по течению реки. Путешествие длилось около трех недель, пока приехали в Астрахань. Оттуда Лев Николаевич писал своей тетке:

„Nous sommes à Astracan et sur notre départ, pour ce qui fait, que nous avons encore un voyage de 400 k. à faire. J'ai passé à Kasan une semaine des plus agréables. Mon voyage jusqu'à Saratoff a été désagréable, mais en revanche, de là le trajet en petit bateau jusqu'à Astracan—très poétique et plein de charmes par la nouveauté des lieux et par la manière

[1]) Текст это письма сообщен нам бароном Мейендорфом, получившим его от самого Оголина, проживавшаго последнее время в Женеве. *П. Б.*

même de voyager pour moi. J'ai écrit hier une longue lettre à Marie où je lui parle de mon séjour à Kasan. Je ne vous en dis rien de crainte de me répéter, quoique je suis sûr que vous ne confondrez pas les deux lettres. Je me trouve très content jusqu'à present de mon voyage. J'ai beaucoup de choses qui me font penser et puis le changement même des lieux est agréable. En passant par Moscou je me suis abonné, de sorte que j'ai beaucoup de lectures que je fais même en тарантас. Puis comme vous le pensez bien la société de Nicolas contribue beaucoup à mon contentement. Je ne cesse de penser à vous et à tous les miens; je me reproche même quelquefois d'avoir quitté cette vie que me rendait si douce votre affection, mais ce n'est qu'un retard et je n'aurai que plus de plaisir à vous revoir. Si je n'étais pressé, j'aurais écrit à Serge, mais je remets cela au moment où je serai casé et plus tranquille. Embrassez-le de ma part et dites lui que je me repens beaucoup de la froideur qu'il y a eu entre nous avant mon départ et de laquelle je n'accuse que moi" [1]).

Чтобы были читателю понятны факты кавказской жизни, входящие в биографию Льва Николаевича, а также в его кавказские рассказы, мы считаем нужным в кратких словах рассказать о том, что надо разуметь под словом «Кавказ».

Московское царство, усилившись настолько, чтобы быть в состоянии бороться с татарскими племенами, стало понемногу оттеснять их на юго-восток и, покорив царства Казанское и Астраханское, пришло в столкновение с дикими горскими племенами, населявшими северные склоны Кавказских гор, и для борьбы с ними к началу 19-го столетия образовало целую линию казацких станиц по левому берегу Терека и по правому берегу Кубани.

С другой стороны, Грузинское царство, находившееся по южную сторону Кавказских гор и до тех пор независимое, с царем своим Гераклием II, в начале 19-го столетия перешло в подданство России. По политическим соображениям покорение горских племен, лежавших между Грузией и Россией, стало неизбежным, и покорение это длилось более полустолетия.

От линии береговых казачьих станиц по Тереку и Кубани русские стали понемногу подвигаться и далее, в предгорья. Но большей частью ограничивались одними лишь набегами; нападали военными отрядами на горские аулы, уничтожали пастьбы, угоняли скот, забирали, насколько удавалось, пленных и с этой добычей уходили назад к своим линиям. Горцы, с своей стороны, также не оставались в долгу: они провожали отступавшие после таких набегов отряды и заставляли их нести большие потери от меткого огня своих винтовок; они укрывались завалами, в лесах и узких ущельях, а иногда появлялись внезапно и в самых станицах, производили жестокую резню и уводили в плен к себе в горы мужчин и женщин. Борьба

[1]) Мы в Астрахани и уже на от'езде, так что нам еще остается сделать 400 верст. В Казани я провел очень приятно неделю. Путешествие до Саратова было неприятно, но зато оттуда путешествие в небольшой лодке до Астрахани было очень поэтично и полно очарования для меня по новизне мест и по самому способу путешествия. Вчера я написал Машеньке длинное письмо, в котором я ей разсказываю о моем пребывании в Казани. Я ничего вам не говорю об этом, из опасения повторяться, хотя я уверен, что вы не смешали бы оба письма. Пока я очень доволен моей поездкой. Многое заставляет меня задумываться; и потом самая перемена места мне приятна. Проездом через Москву я абонировался, так что у меня много чтения, которым я занимаюсь даже в тарантасе. Затем, как вы понимаете, общество Николая много содействует моему довольному настроению. Я не перестаю думать о вас и о всех моих. Я даже иногда упрекаю себя за то, что оставил эту жизнь, которую так смягчала ваша любовь ко мне; но это только отсрочка, и я еще с большею радостью увижу вас. Если бы я не спешил, я бы написал Сереже, но я откладываю это до того времени, когда я устроюсь и буду спокойнее. Поцелуйте же его от меня и скажите ему, что я очень раскаиваюсь в той холодности, которая была между нами перед от'ездом и в которой я обвиняю только себя.

эта иногда временно затихала и, напротив, принимала более кровавый характер, когда на стороне нашего противника появлялись личности, успевавшие об'единить под своим началом наиболее сильные и воинственные племена, возбудив их фанатизм проповедью священной войны против неверных. Наиболее затруднений принесло русским и наиболее потерь заставило их понести самое воинственное из кавказских племен—чеченское, живущее на лесистых равнинах правого берега Терека, по течению притоков его—Сунжи, Аргуни и других, и выше, в горных ущельях Ичкерии. С нашей стороны предприимчивость также усиливалась или ослабевала в зависимости от таланта и энергии личности, получавшей главное начальство над военными действиями.

Дело приняло решительный оборот с назначением в 1856 году кавказским наместником князя Барятинского. Пользуясь личным влиянием на императора Александра II, он собрал на Кавказе, до тех пор небывалой численности, двухсоттысячное войско и значительную долю этих сил направил против Чечни, Ичкерии и Дагестана, об'единенных в это время под начальством хорошо известного Шамиля.

Талант, энергия этого вождя, фанатизм, отвага признававших его своим имамом горцев,—все было сломлено под давлением навалившейся на них громадной силы, руководимой ни перед чем не останавливавшимся Евдокимовым: в 1857 году пала перед ним резиденция Шамиля в центре Ичкерии, аул Ведено, а в 1859 году сдался князю Барятинскому и сам Шамиль в своей новой дагестанской твердыне—Гунибе.

Князь Барятинский до назначения своего кавказским наместником является в начале 50-х годов на Северном Кавказе, как начальник левого фланга кавказской армии.

Вот к этому-то времени относится и появление на Кавказе Льва Николаевича Толстого, и к этому времени и к этой местности относятся события, описанные Львом Николаевичем в его кавказских рассказах: «Набег», «Казаки», «Рубка леса», «Встреча в отряде».

Из Астрахани оба брата поехали на почтовых через Кизляр в станицу Старогладовскую, к месту служения Николая Николаевича. Лев Николаевич явился на Кавказ частным лицом и поселился вместе со своим братом.

Первое впечатление, произведенное на него Кавказом, не было ошеломляющим. Он так описывает его в письме к своей тетке, вскоре по приезде на Кавказ:

„Je suis arrivé sain et sauf, mais un peu triste vers la fin du mois de mai dans la Старогладовская. J'y ai vu de près le genre de vie que mène Nicolas, et j'y ai fait la connaissance des officiers qui font la société. Le genre de vie n'est pas très attrayant, à ce qu'il m'a paru d'abord, puisque le pays, que je m'attendais à trouver fort beau ne l'est pas du tout. Comme la станица est située sur un terrain bas, il n'y a bas de point de vue et puis le logement est mauvais de même que tout ce qui fait le comfort de la vie. Pour ce qui est des officiers, ce sont, comme vous pouvez vous figurer, des gens sans éducation, mais avec cela de très braves gens et surtout aimant beaucoup Nicolas.

„Алексеев, son chef, est un petit bonhomme белокуренький tirant sur le roux с усиками и бакенбардами, говорящий пронзительным голосом, mais excellent chrétien, rappelant un peu А. С. Волков, mais pas cafard comme lui. Puis Б... un jeune officier—enfant et bon enfant, rappelant Петрушка. Puis un vieux capitaine Билковский des kosaks de l'Oural—un vieux soldat simple, mais noble, brave et bon. Je vous avouerai qu'au commencement beaucoup de choses me choquaient dans cette société, mais je me suis habitué, sans toutefois me lier avec ces messieurs.

J'ai trouvé un heureux moyen dans lequel il n'y a ni fierté ni familiarité. Au reste en ceci je n'avais qu'à suivre l'exemple de Nicolas" [1]).

Но в Старогладовской им пришлось пробыть недолго.

Н. Н. Толстой тотчас по прибытии был послан на очередную службу в укрепленный лагерь Старый Юрт, устроенный для прикрытия больных в Горячеводске, на только-что открытых тогда горячих источниках с очень сильными целебными свойствами. Лев Николаевич последовал за ним. Мы заимствуем описание этого места снова из письма Льва Николаевича к его тетке, написанного им по приезде туда, в июле 1851 года:

„Nicolas est parti dans une semaine après son arrivée et moi je l'y suivis de sorte que nous sommes presque depuis trois semaines ici où nous logeons dans une tente. Mais comme le temps est beau et que je me fais un peu à ce genre de vie, je me trouve très bien. Ici il y a des coups d'oeil magnifiques à commencer par l'endroit où sont les sources. C'est une énorme montagne de pierres l'une sur l'autre dont les unes se sont détachées et forment des espèces de grottes, les autres restent suspendues à une grande hauteur. Elles sont toutes coupées par les torrents d'eau chaude, qui tombent avec bruit dans quelques endroits et couvrent, surtout le matin, toute la partie élevée de la montagne d'une vapeur blanche qui se détache continuellement de cette eau bouillante. L'eau est tellement chaude qu'on cuit dedans les oeufs вкрутую en trois minutes. Au milieu de ce ravin sur le torrent principal il y a trois moulins, l'un au dessus de l'autre qui sont construits d'une manière toute particulière et très pittoresque. Toute la journée les femmes tartares ne cessent de venir au dessus et au dessous de ces moulins pour laver leur linge. Il faut vous dire qu'elles lavent avec les pieds. C'est comme une fourmillière toujours remuante. Les femmes sont pour la plupart belles et bien faites. Les costumes des femmes orientales malgré leur pauvreté sont gracieux. Les grouppes pittoresques que forment les femmes, joints à la beauté sauvage de l'endroit font un coup d'oeil véritablement admirable. Je reste très souvent des heures à admirer ce paysage. Puis le coup d'oeil du haut de la montagne est encore plus beau et tout à fait dans un autre genre. Mais je crains de vous ennuyer avec mes déscriptions.

„Je suis très content d'être aux eaux, puisque j'en profite. Je prends des bains ferrugineux et je ne sens plus de douleur aux pieds. J'avais toujours des rhumatismes, mais pendant notre voyage sur l'eau, je crois que je me suis encore refroidi. Je me suis rarement aussi bien porté qu'à présent et malgré les grandes chaleurs je fais beaucoup de mouvement.

---

[1]) Я приехал жив и здоров, но немного грустный. к концу месяца в Старогладовскую. Я увидал вблизи образ жизни, который ведет Николай, и познакомился с офицерами, которые составляют общество. Этот образ жизни не очень привлекателен, как мне показалось это сперва, потому что и самый край, который я предполагал очень красивым, вовсе не таков. Так как станица расположена в низине, нет красивого вида; квартира плохая, а также и все, что составляет удобство жизни. Что касается офицеров, как вы сами можете себе представить, это люди без образования, но люди славные, а главное, очень любящие Николеньку.

Алексеев, его начальник, это маленький белокурый-рыжеватый человечек с усиками и бакенбардами, говорящий пронзительным голосом, но добрый христианин, напоминающий немного А. С. Волкова, но не такой ханжа, как он. Потом В., молодой офицер, ребенок и милый малый, напоминающий Петрушу. Потом старый капитан Билковский, из уральских казаков—старый простой солдат, но благородный, храбрый и добрый. Признаюсь, сначала многое в этом обществе коробило меня, но я привык, хотя и не сдружился с этими господами. Я нашел счастливое средство общения, в котором нет ни гордости, ни запанибратства. Впрочем, в этом мне оставалось только следовать примеру Николеньки.

„Ici le genre des officiers est le même que celui dont je vous ai parlé: il y en a beaucoup. Je les connais tous, et mes relations avec eux sont les mêmes“ [1].

Старый Юрт был большой аул в 1500 душ населения, действительно замечательный по своему красивому горному положению. Выше аула в горе был горячий серный ключ. Температура его была настолько высока, что, по рассказу Льва Николаевича, собака его брата, упавши в ручей, обварилась и околела. Целебные качества этого ключа несравненно выше пятигорских.

Из этого аула Лев Николаевич ездил в набег в качестве волонтера. В нем он пережил чудные минуты молодого, поэтического восторга.

Особенно памятна была ему одна ночь, которую он описал в своем дневнике с такой неподражаемой духовной красотой:

11 июня 1851 года. Старый Юрт.

«Вчера я почти всю ночь не спал; описавши дневник, я стал молиться Богу. Сладость чувства, которую я испытал на молитве, передать невозможно. Я прочел молитвы, которые обыкновенно творю: отче, богородицу, троицу, милосердия двери, воззвание к ангелу хранителю, и потом остался еще на молитве. Ежели определять молитву просьбой или благодарностью, то я не молился. Я желал чего-то высочайшего и хорошего; но чего,—я передать не могу, хотя и ясно сознавал, чего я желаю. Мне хотелось слиться с существом всеобъемлющим, я просил его простить преступления мои; но нет, я не просил этого, ибо я чувствовал, что ежели оно дало мне эту блаженную минуту, то оно простило меня. Я просил и вместе с тем чувствовал, что мне нечего просить и что я не могу и не умею просить. Я благодарил его, но не словами, не мыслями. Я в одном чувстве соединял все, и мольбу и благодарность. Чувство страха совершенно исчезло. Ни одного из чувств—веры, надежды и любви я не мог бы отделить от общего чувства. Нет, вот оно чувство, которое я испытал вчера,—это любовь к Богу,—любовь высокую, соединяющую в себе все хорошее, отрицающую все дурное. Как страшно мне было смотреть на всю мелочную, порочную сторону жизни! Я не мог постигнуть, как они могли завлекать меня. Как от чистого сердца просил я Бога принять меня в лоно свое! Я не чувствовал плоти, я был... но нет, плотская, мелочная сторона опять взяла свое, и не прошло часу, я почти сознательно слышал голос порока, тщеславия, пустую сторону жизни; знал, откуда этот голос, знал, что он погубил мое блаженство, боролся и поддался ему. Я заснул, мечтая о славе, о женщинах; но я не виноват, я не мог.

---

[1]) Николенька уехал через неделю после своего приезда, и я последовал за ним, так что мы почти три недели здесь живем в палатке. Погода хорошая, и так как я привык немного к такому образу жизни, то мне очень хорошо. Здесь чудные виды. Начну к того места, где источники. Это большая гора из нагроможденных друг на друга камней, одни из которых оборвались и образовали нечто в роде гротов, другие нависли на страшной высоте. Все они перерезаны потоками горячей воды, которые падают с шумом в нескольких местах и закрывают, особенно по утрам, верхнюю часть скалы белым паром, который поднимается от этой кипящей воды. Вода так горяча, что в ней можно сварить яйцо вкрутую в три минуты. В средине этого оврага на главном потоке, есть три мельницы, одна над другой, построенные совсем особенным образом и очень красиво. Весь день татарские женщины то и дело проходят выше и ниже мельниц, чтобы мыть белье. Нужно вам сказать, что они моют ногами. Это как муравейник, вечно кишащий. Женщины большею частью красивы и хорошо сложены. Одежды восточных женщин, несмотря на их бедность, изящны. Красивые группы женщин, дикая красота местности—все это представляет очаровательную картину. Я часто часами стою и любуюсь пейзажем. Затем вид с вершины горы еще лучше и совершенно в другом роде. Но я боюсь надоесть вам своими описаниями.

Я очень рад быть на водах, я пользуюсь этим. Я беру железистые ванны и более не чувствую боли в ногах. У меня всегда были ревматизмы, но во время нашего путешествия по воде я думаю, я еще простудился. Редко я так хорошо себя чувствовал, как теперь, и несмотря на сильные жары я делаю много движений.

Офицеры здесь такие же, как и те, о которых я вам писал. Их тут много. Я всех их знаю, и мои отношения с ними те же.

«Вечное блаженство *здесь* невозможно. Страдания необходимы. Зачем? Не знаю. И как я смею говорить: не знаю! Как смел я думать, что можно знать пути Провидения! Оно источник разума, и разум хочет постигнуть...

«Ум теряется в этих безднах премудрости, а чувство боится оскорбить его. Благодарю его за минуту блаженства, которая показала мне и ничтожность и величие мое. Хочу молиться, но не умею. Хочу постигнуть, но не смею—предаюсь в волю Твою.

«Зачем писал я все это? Как плоско, вяло, даже бессмысленно выразились чувства мои; а были так высоки!»

Эти порывы религиозного восторга сменялись часто временами тоски и апатии; так, 2-го июля, живя в том же Старом Юрте, он записывает такие мысли:

«Сейчас я думаю, вспоминая о всех неприятных минутах моей жизни, которые в тоску одни лезут в голову... — нет, слишком мало наслаждений, слишком способен человек представлять себе счастье, и слишком часто, так, ни за что, судьба бьет нас больно, больно задевает за нежные струны, чтобы любить жизнь, и потом, что-то особенно сладкое и великое есть в равнодушии к жизни, и я наслаждаюсь этим чувством. Как силен кажусь я себе против всего с твердым убеждением, что ждать нечего здесь, кроме смерти; и сейчас же я думаю с наслаждением о том, что у меня заказано седло, на котором я буду ездить в черкеске, и как я буду волочиться за казачками и приходить в отчаяние, что у меня левый ус выше правого, и я два часа расправляю его перед зеркалом».

Так как Лев Николаевич, особенно первое время жизни на Кавказе, неохотно расставался с братом, то ему приходилось часто менять свое место жительства. Главная квартира и штаб батареи, где служил его брат, были в Страгладовской, но часто его высылали в Старый Юрт на передовую позицию, и Лев Николаевич сопровождал его.

Этим диким станицам и аулам суждено было стать историческим местом. Здесь выношены были художественные образы первых произведений Толстого и рождены первые плоды его творчества.

Чудная природа Северного Кавказа, и горы, и Терек, и казацкая удаль, и почти первобытная простота жизни—все это в своем гармоническом целом послужило колыбелью этим первым плодам и указало путь всемирному гению, вышедшему на борьбу за идеал, за искание истины, смысла человеческой жизни.

Именно приближение к Старому Юрту Лев Николаевич изобразил в повести «Казаки», так ярко рисуя впечатление, произведенное на него величественной горной кавказской природой:

«Утро было совершенно ясное. Вдруг он увидал шагах в двадцати от себя, как ему показалось в первую минуту, чисто-белые громады с их нежными очертаниями и причудливую, отчетливую воздушную линию их вершин и далекого неба. И когда он понял всю даль между ним и горами, и небом, всю громадность гор, и когда почувствовалась ему вся бесконечность этой красоты, он испугался, что это призрак, сон. Он встряхнулся, чтобы проснуться. Горы были все те же.

« — Что это? Что это такое?—спросил он у ямщика.

« — А горы,—отвечал равнодушно погаец.

« — И я тоже давно на них смотрю,—сказал Ванюша,—Вот хорошо-то! Дома не поверят.

«На быстром движении тройки по ровной дороге, горы, казалось, бежали по горизонту, блестя на восходящем солнце своими розоватыми вершинами. Сначала горы только удивили Оленина, потом обрадовали; но потом, больше и больше вглядываясь в эту, не из других черных гор, но прямо из степи вырастающую и убегающую цепь снеговых гор, он мало-по-малу начал вникать в эту красоту и *почувствовал* горы. С этой минуты все, что только он видел, все, что он думал, все, что он чувствовал, получало для него новый, строго величавый характер гор. Все московские воспоминания, стыд и раскаяние, все пошлые мечты о Кавказе, все исчезли и не возвращались более. «Теперь началось»,—как будто сказал ему какой-то торже-

ственный голос. И дорога, и вдали видневшаяся черта Терека, и станицы, и народ, —все это ему казалось теперь уже не шуткой. Взглянет на небо и вспомнит горы. Взглянет на себя, на Ванюшу, и опять горы. Вот едут два казака верхом, и ружья в чехлах равномерно поматываются у них за спинами, и лошади их перемешиваются гнедыми и серыми ногами; а горы... За Тереком виден дым в ауле; а горы... Солнце всходит и блещет на видневшемся из-за камыша Тереке; а горы... Из станицы едет арба, женщины ходят, красивые женщины, молодые; а горы... Абреки рыскают в степи, и я еду, их не боюсь, у меня ружье и сила и молодость; а горы...» [1]).

В августе он снова в Старогладовской.

Из повести «Казаки», носящей на себе автобиографический характер, мы можем себе составить приблизительное понятие о том, как проводил Лев Николаевич время в станице. Попытки сближения с народом—казаками, охота, созерцание красот природы и непрерывная, никогда не покидавшая этого человека, внутренняя борьба, ярко изображенная им в его произведениях,—вот жизнь Льва Николаевича, соответствующая этому периоду.

«Отчего я счастлив и зачем я жил прежде?» говорил себе Оленин, сидя в зелени первобытного кавказского леса.

«Как я был требователен для себя, как придумывал и ничего не сделал себе, кроме стыда и горя! А вот как мне ничего не нужно для счастья!»

«И вдруг ему как будто открылся новый свет. «Счастье вот что,—сказал он сам себе:—счастье в том, чтобы жить для других. И это ясно. В человеке вложена потребность счастья; стало-быть, она законна. Удовлятворяя ее эгоистически, т.-е. отыскивая для себя богатства, славы, удобств жизни, любви — может случиться, что обстоятельства так сложатся, что невозможно будет удовлетворить этим желаниям. Следовательно, эти желания незаконны, а не потребность счастья незаконна. Какие же желания всегда могут быть удовлетворены, несмотря на внешние условия? Какие? Любовь, самоотверженье...»

Он так обрадовался и взволновался, открыв эту, как ему казалось, новую истину, что вскочил и в нетерпении стал искать, для кого бы ему поскорее пожертвовать собой, кому бы сделать добро, кого бы любить. «Ведь ничего для себя не нужно,—все думал он,—отчего же не жить для других?» [2]).

Голос любви и тогда уже звучал могучим аккордом в душе молодого человека, едва вошедшего в общественную жизнь.

Но внешние события шли сами за собой, увлекая сильную животную природу человека по привычной для нее дороге.

Станичная жизнь для молодого, страстного человека не обходится без романической любви. Лев Николаевич влюбляется в казачку. История этой любви изображена в его повести «Казаки».

В этой повести ярко обрисованы все стадии этой неудовлетворенной любви, но лучше всего передает о ней сам автор в своем письме к московским знакомым. В этом письме ярко выступают и любовь автора к дикой природе, и страстное желание слиться с ней, и страдания от невозможности этого, потому что автор, по своим культурным привычкам, уже отошел от нее, и между ним и ею образовалась ничем не заполнимая пропасть. Вот самая яркая, существенная часть этого письма:

«Как вы мне все гадки и жалки! Вы не знаете, что такое счастье и что такое жизнь! Надо раз испытать жизнь во всей ее безыскусственной красоте. Надо видеть и понимать, что я каждый день вижу перед собой: вечные, неприступные снега гор и величавую женщину в той первобытной красоте, в которой должна была выйти первая женщина из рук своего творца, и тогда ясно станет, кто себя губит, кто живет в правде или во лжи, вы или я. Коли бы вы знали, как мне мерзки и жалки вы в вашем обольщении! Как только представятся мне, вместо моей хаты, моего

---

[1]) Полн. собр. сочин. Л. Н. Толстого. Т. II, стр. 130. Изд. 10-е. Москва, 1897 г.
[2]) Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого. Т. II. Стр. 222. Издание 10-е.

Л. Н. Толстой—студент в 40-х годах.

лса и моей любви, эти гостиные, эти женщины с напомаженными волосами, над подсунутыми чужими буклями, эти неестественно шевелящиеся губки, эти спрятанные и изуродованные слабые члены и этот лепет гостиных, обязанный быть разговором и не имеющий никаких прав на это,—мне становится невыносимо гадко. Представляются мне эти тупые лица, эти богатые невесты с выражением лица, говорящим: «ничего, можно, подходи, хоть я и богатая невеста»; эти усаживания и пересаживания, это наглое сводничанье пар, и эта вечная сплетня, притворство; эти правила—кому руку, кому кивок, кому разговор, и, наконец, эта вечная скука в крови, переходящая от поколения к поколению (и все сознательно, с убеждением в необходимости). Поймите одно и поверьте одному. Надо видеть и понять, что такое правда и красота, и в прах разлетится все, что вы говорите и думаете, все ваши желания счастья и за меня и за себя. Счастье—это быть с природой, видеть ее, говорить с ней. «Еще он, избави боже, женится на простой казачке и совсем пропадет для света!» воображаю, говорят они обо мне с истинным состраданием. А я только одного и желаю, совсем пропасть в вашем смысле, желаю жениться на простой казачке и не смею этого потому, что это было бы верх счастья, которого я недостоин.

«Три месяца прошло с тех пор, как я первый раз увидал казачку Марьяну. Понятия и предрассудки того мира, из которого я вышел, еще были свежи во мне. Я тогда не верил, что могу полюбить эту женщину. Я любовался ею, как красотой гор и неба, и не мог не любоваться ею, потому что она прекрасна, как и они. Потом я почувствовал, что созерцание этой красоты сделалось необходимостью в моей жизни, и я стал спрашивать себя: не люблю ли я ее; но ничего похожего на то, как я воображал это чувство, я не нашел в себе. Это было чувство, не похожее ни на тоску одиночества и желание супружества, ни на платоническую, ни еще менее на плотскую любовь, которую я испытывал. Мне нужно было видеть, слышать ее, знать, что она близко, и я бывал не то что счастлив, а спокоен. После вечеринки, на которой я был вместе с ней и прикоснулся к ней, я почувствовал, что между мной и этой женщиной существует неразрывная, хотя непризнанная связь, против которой нельзя бороться. Но я еще боролся; я говорил себе: неужели можно любить женщину, которая никогда не поймет задушевных интересов моей жизни? Неужели можно любить женщину за одну красоту, любить женщину-статую? — спрашивал я себя, а уже любил ее, хотя еще не верил своему чувству.

«После вечеринки, на которой я в первый раз говорил с ней, наши отношения изменились. Прежде она была для меня чуждым, но величавым предметом внешней природы; после вечеринки она стала для меня человеком. Я стал встречать ее, говорить с ней, ходить иногда на работы к ее отцу и по целым вечерам просиживать у них. И в этих близких отношениях она осталась в моих глазах все столь же чистой, неприступной и величавой. Она на все и всегда отвечала одинаково спокойно, гордо и весело-равнодушно. Иногда она была ласкова, но большей частью каждый взгляд, каждое слово, каждое движение ее выражали это равнодушие, не презрительное, но подавляющее и чарующее. Каждый день, с притворной улыбкой на губах, я старался подделаться под что-то и с мукой страсти и желаний в сердце шуточно заговаривал с ней. Она видела, что я притворяюсь, но прямо, весело и просто смотрела на меня. Мне стало невыносимо это положение. Я хотел не лгать перед ней и хотел сказать все, что я думаю, что я чувствую. Я был особенно раздражен; это было в садах. Я стал говорить ей о своей любви такими словами, которые мне стыдно вспомнить. Стыдно вспомнить потому, что я не должен был сметь говорить ей этого, потому что она неизмеримо выше стояла этих слов и того чувства, которое я хотел ими выразить. Я замолчал, и с этого дня мое положение сделалось невыносимо. Я не хотел унижаться, оставаясь в прежних шуточных отношениях, и чувствовал, что я не дорос до прямых и простых отношений к ней. Я с отчаянием спрашивал себя: что же мне делать? В нелепых мечтах я воображал ее то своей любовницей, то своей женой и с отвращением отталкивал и ту и другую мысль. Сделать ее девкой было бы ужасно. Это было бы убийство. Сделать ее барыней, женой Дмитрия Андреевича Оленина, как одну из здешних казачек, на ко-

торой женился наш офицер, было бы еще хуже. Вот ежели бы я мог сделаться казаком, Лукашкой, красть табуны, напиваться чихирю, заливаться песнями, убивать людей и пьяным влезать к ней в окно на ночку, без мысли о том,—кто я? и зачем я?—тогда бы другое дело, тогда бы мы могли понять друг друга, тогда бы я мог быть счастлив» [1]).

Но Лукашкой он стать не мог, а потому и не мог обрести счастья на этом пути.

— —

В сентябре он пишет своей тетке письмо, в котором уже ясно проглядывает будущий писатель. Что особенно поражает—это его серьезное отношение к выражению своей мысли; вероятно, уже тогда в голове его толпились рои мыслей и образов, и он выбирал те, которые мог изложить на бумаге. Вот как он выражает это чувство:

„Vous m'avez dit plusieurs fois que vous n'avez pas l'habitude d'écrire des brouillons pour vos lettres: je suis votre exemple, mais je ne m'en trouve pas aussi bien que vous, car il m'arrive fort souvent de déchirer mes lettres après les avoir relues. Ce n'est pas par fausse honte que je le fais. Une faute d'orthographe, un pâté, une phrase mal tournée ne me gênent pas, mais c'est que je ne puis pas parvenir à savoir diriger ma plume et mes idées. Je viens de déchirer une lettre que j'avais achevée pour vous, parce que j'y avais dit beaucoup de choses que je ne voulais pas vous dire et rien de ce que je voulais vous dire. Vous croyez peut-être que c'est dissimulation, et vous direz, qu'il est mal de dissimuler avec les personnes qu'on aime et dont on se sent aimé. Je conviens, mais convenez aussi qu'on dit tout à un indifférent, et que plus une personne vous est chère, plus il y a de choses qu'on voudrait lui cacher“ [2])

Чувствуя прилив молодой энергии и не зная, куда девать ее, Лев Николаевич часто рисковал своей жизнью и отправлялся в опасные экскурсии.

Так, раз он отправился в сопровождении своего друга, казака Епишки (в повести «Казаки» описанного под именем Ерошки) в аул Хасаф-Юрт, в горы; эта поездка считалась очень опасной, так как по дороге случались нападения горцев.

Благополучно возвращаясь оттуда, Лев Николаевич встретил своего родственника, Илью Толстого; родственник пригласил Льва Николаевича присоединиться к нему и повез его в квартиру своего приятеля, главнокомандующего кн. Барятинского; таким образом Льву Николаевичу представился случай познакомиться довольно близко с главнокомандующим. Тот выразил ему свое удовольствие и похвалу за веселый и бодрый вид, который главнокомандующий заметил в нем, видя его раз в набеге. При этом он посоветовал ему поскорее подавать прошение о поступлении на службу, так как Лев Николаевич все еще был частным лицом и участвовал в делах добровольно. Лестный отзыв главнокомандующего и советы родственника побудили, наконец, Льва Николаевича ускорить свое намерение, и он подал прошение о принятии его на службу.

---

[1]) Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого. Т. II. Стр. 283. Изд. 10-е. Москва, 1897 г.

[2]) Вы мне много раз говорили что у вас нет привычки писать черновики для ваших писем; я следую вашему примеру, но у меня это не выходит так хорошо как у вас, так как мне часто случается рвать письма после того, как я их перечитаю. И я делаю это не из ложного стыда. Орфографическая ошибка, клякса, неловкое выражение не стесняют меня; но дело в том, что мне не дается уменье управлять своим пером и мыслями. Я только-что разорвал письмо, которое написал вам, потому что я наговорил там много такого чего я не хотел вам говорить, и не сказал того, что хотел. Быть-может, вы думаете, что это скрытность, и скажете, что нехорошо быть скрытным с людьми, которых любишь и которыми чувствуешь себя любимым. Я согласен. Но согласитесь и вы, что безразличному человеку можно все сказать, но чем ближе вам человек, тем больше есть вещей, которые хотелось бы скрыть от него.

Август и сентябрь он пробыл еще в Старогладовской, а в октябре вместе с братом Николаем отправился в Тифлис. Брат его скоро вернулся, а Лев Николаевич остался в Тифлисе для сдачи экзамена и определения на службу.

Оттуда он пишет тетке Татьяне Александровне:

„Nous sommes partis effectivement le 25 et après 7 jours de voyage fort ennuyeux, à cause du manque de chevaux presque à chaque relais et fort agréable à cause de la beauté du pays qu'on passe. Le 1-er de ce mois nous étions arrivés.

„Tifliss est une ville très civilisée qui singe beaucoup Pétersbourg et réussit beaucoup à l'imiter, la société y est choisie et assez nombreuse, il y a un théâtre russe et un opéra italien dont je profite autant que me le permettent mes pauvres moyens. Je loge à la colonie allemande—c'est un faubourg, mais qui a pour moi 2 grands avantages, celui d'être un fort joli endroit entouré de jardins et de vignes, ce qui fait qu'on s'y croit plutôt à la campagne qu'en ville (il fait encore très chaud et très beau, il n'y a eu ni neige, ni gelée jusqu'à présent) le 2-ème avantage est celui que je paye pour 2 chambres assez propres ici 5 rbs. arg. par mois, tandis qu'en ville on ne pourrait avoir un logement pareil moins de 40 rbs. arg. par mois. Par dessus tout j'ai gratis la pratique de la langue allemande, j'ai des livres, des occupations et du loisir, puisque personne ne vient me déranger, de sorte qu'en somme je ne m'ennuie pas.

„Vous rappelez-vous, bonne tante, un conseil que vous m'avez donné jadis—celui de faire des romans. Et bien! je suis votre conseil et les occupations dont je vous parle consistent à faire de la littérature. Je ne sais si ce que j'écris paraîtra jamais dans le monde, mais c'est un travail qui m'amuse et dans lequel je persévère depuis trop longtemps pour l'abandonner“ [1]).

Интересно письмо это тем, что изображает нам, с какой скромностью зарождался этот великий талант, не знавший еще себе цены.

Около двух месяцев Лев Николаевич хворал и лечился и, пользуясь свободным, уединенным временем, писал свою первую повесть. Кроме того, часть времени его уходила на хлопоты по определению его на службу, что было довольно трудно за неимением нужных бумаг.

23 декабря 1851 года он пишет брату Сергею следующее письмо с характерными подробностями тифлисской и станичной жизни:

«На-днях давно желанный мною приказ о зачислении меня фейерверкером в 4-ю батарею должен состояться, и я буду иметь удовольствие делать фрунт и прово-

---

[1]) Мы в действительности выехали 25-го и после семи дней путешествия очень скучнаго по недостатку лошадей почти на каждой станции и очень приятнаго вследствие красоты края, по которому проезжаешь, 1-го числа этого месяца мы приехали.

Тифлис—очень цивилизованный город, очень подражающий Петербургу, и это ему хорошо удается. Общество избранное и довольно многолюдное. Есть русский театр и итальянская опера, которыми я пользуюсь настолько насколько мне позволяют мои маленькие средства. Я живу в немецкой колонии; это—предместье, но оно представляет для меня две большие выгоды. Во-первых, это прелестное местечко, окруженное садами и виноградниками, так что здесь чувствуешь себя скорее в деревне, чем в городе. (Здесь еще очень жарко и ясно; до сих пор не было ни снега, ни мороза.) Второе преимущество то, что я плачу здесь за две довольно чистые комнаты пять рублей серебром в месяц, тогда как в городе нельзя бы было нанять такую квартиру меньше чем за 40 рублей в месяц. Сверх того, у меня бесплатная практика немецкого языка, у меня есть книги, занятия и досуг, потому что никто не приходит беспокоить меня, так что, в общем, я не скучаю.

Помните, добрая тетенька, совет, который вы раз мне дали,—писать романы. Так вот, я следую вашему совету, и занятия, о которых я вам говорю, состоят в литературе. Я еще не знаю, появится ли когда-нибудь в свет то, что я пишу; но это работа которая меня занимает и в которой я уже слишком далеко зашел, чтобы ее оставить.

жать глазами мимо едущих офицеров и генералов. Даже теперь, когда я прогуливаюсь по улицам в своем шармеровском пальто и в складной шляпе, за которую я заплатил здесь 10 рублей, несмотря на всю свою величавость в этой одежде, я так привык к мысли скоро одеть серую шинель, что невольно правая рука хочет схватить за пружины складную шляпу и опустить ее вниз. Впрочем, ежели мое желание исполнится, то я в день же своего определения уезжаю в Старогладовскую, а оттуда тотчас же в поход, где буду ходить и ездить в тулупе или черкеске, и тоже по мере сил моих буду способствовать с помощью пушки к истреблению *хищников и непокорных азиатов.*

«Сережа, ты видишь по письму моему, что я в Тифлисе, куда приехал еще 1 ноября, так что немного успел поохотиться с собаками, которых там купил (в Старогладовской), а присланных собак вовсе не видал. Охота здесь (т.-е. в станице) —чудо! Чистые поля, болотца, набитые русаками, и острова не из леса, а из камыша, в котором держатся лисицы. Я всего девять раз был в поле, от станицы в 10 и 15 верстах, и с двумя собаками, из которых одна отличная, а другая дрянь; затравил двух лисиц и русаков с 60. Как приеду, так попробую травить коз.

«На охотах с ружьями на кабанов, оленей я присутствовал неоднократно, но ничего сам не убил. Охота эта тоже очень приятна, но, привыкнув охотиться с борзыми, нельзя полюбить эту. Так же, как ежели кто привыкнул курить турецкий табак, нельзя полюбить Жуков, хотя и можно спорить, что этот лучше.

«Я знаю твою слабость: ты, верно, пожелаешь знать, кто здесь были и есть мои знакомые и в каких я с ними отношениях. Должен тебе сказать, что этот пункт нисколько меня здесь не занимает, но спешу удовлетворить тебя. В батарее офицеров немного; поэтому я со всеми знаком, но очень поверхностно, хотя и пользуюсь общим расположением, потому что у нас с Николенькой всегда есть для посетителей водка, вино и закуска; на тех же самых основаниях составилось и поддерживается мое знакомство с другими полковыми офицерами, с которыми я имел случай познакомиться в Старом Юрте (на водах, где я жил лето) и в набеге, в котором я был. Хотя есть более или менее порядочные люди, но так как я и без офицерских бесед всегда имею более интересные занятия, я остаюсь со всеми в одинаковых отношениях. Подполковник Алексеев, командир батареи, в которую я поступаю, человек очень добрый и тщеславный. Последним его недостатком я, признаюсь, пользовался и пускал ему некоторую пыль в глаза,—он мне нужен. Но и это я делаю невольно, в чем и раскаиваюсь. С людьми тщеславными сам делаешься тщеславен.

«Здесь, в Тифлисе, у меня 3 человека знакомых. Больше я не приобрел знакомств, во-первых, потому, что не желал, а во-вторых, потому, что не имел к тому случая,—я почти все время был болен и неделю только, что выхожу. Первый знакомый мой—Багратион, петербургский (товарищ Ферзена). Второй—князь Барятинский. Я познакомился с ним в набеге, в котором под его командой участвовал, и потом провел с ним один день в одном укреплении вместе с Ильей Толстым, которого я здесь встретил. Знакомство это, без сомнения, не доставляет мне большого развлечения, потому что ты понимаешь, на какой ноге может быть знаком юнкер с генералом. Третий знакомый мой—*помощник аптекаря,* разжалованный поляк, презабавное создание. Я уверен, что князь Барятинский никогда не воображал, в каком бы то ни было списке, стоять рядом с помощником аптекаря, но вот же случилось. Николенька здесь на отличной ноге; как начальники, так и офицеры-товарищи все его любят и уважают. Он пользуется сверх того репутацией храброго офицера. Я его люблю больше, чем когда-либо, и когда с ним, то совершенно счастлив, а без него скучно.

«Ежели хочешь щегольнуть известиями с Кавказа, то можешь рассказывать, что второе лицо после Шамиля, некто Хаджи-Мурат, на-днях передался русскому правительству. Это был первый лихач (джигит) и молодец во всей Чечне, а сделал подлость. Еще можешь с прискорбием рассказывать о том, что на-днях убит известный храбрый и умный генерал Слепцов. Ежели ты захочешь знать, *больно ли ему было,* то этого не могу сказать».

6 января 1852 года, из Тифлиса же, Лев Николаевич пишет замечательное письмо своей тетке, изливая в этом письме всю нежность и любовь к своей воспитательнице:

„Je viens de recevoir votre lettre du 24 Novembre et je vous y réponds le moment même (comme j'en ai pris l'habitude). Dernièrement je vous écrivais que votre lettre m'a fait pleurer et j'accusais ma maladie de cette faiblesse. J'ai eu tort. Toutes vos lettres me font depuis quelque temps le même effet. J'ai toujours été Лёва-рёва. Avant cette faiblesse me faisait honte, mais les larmes que je verse en pensant à vous et à votre amour pour nous sont tellement douces que je les laisse couler, sans aucune fausse-honte. Votre lettre est trop pleine de tristesse pour qu'elle ne produise pas sur moi le même effet. C'est vous que toujours m'avez donné des conseils et quoique malheureusement je ne les aie pas suivis quelquefois, je voudrais toute ma vie n'agir que d'après vos avis. Permettez-moi pour le moment de vous dire l'effet qu'a produit sur moi votre lettre et les idées qui me sont venues en la lisant Si je vous parle trop franchement, je sais que vous me le pardonnerez en faveur de l'amour que j'ai pour vous En disant que c'est votre tour de nous quitter pour aller rejoindre ceux qui ne sont plus et que vous avez tant aimés, en disant que vous demandez à Dieu de mettre un terme à votre existence qui vous semble si insupportable et isolée, — pardon, chère tante, mais il me paraît qu'en disant cela vous offensez Dieu et moi et nous tous qui vous aimons tant. Vous demandez à Dieu la mort, c. à. dire le plus grand malheur qui puisse m'arriver (ce n'est pas une phrase, mais Dieu m'est témoin que les deux plus grands malheurs qui puissent m'arriver, ce serait votre mort ou celle de Nicolas—les deux personnes que j'aime plus que moi-même). Que resterait-il pour moi, si Dieu exauçait votre prière? Pour faire plaisir à qui, voudrais je devenir meilleur, avoir de bonnes qualités, avoir une bonne réputation dans le monde? Quand je fais des plans de bonheur pour moi, l'idée que vous partagerez et jouirez de mon bonheur m'est toujours présenté Quand je fais quelque chose de bon, je suis content de moi-même, parce que je sais que vous serez contente de moi. Quand j'agis mal, ce que je crains le plus — c'est de vous faire du chagrin. Votre amour est tout pour moi, et vous demandez à Dieu qu'il nous sépare! Je ne puis vous dire le sentiment que j'ai pour vous, la parole ne suffit pas pour vous l'exprimer, et je crains que vous ne pensiez que j'exagère et cependant je pleure à chaudes larmes en vous écrivant. C'est à cette pénible séparation que je dois de savoir, quelle amie j'ai en vous et combien je vous aime. Mais est-ce que je suis le seul à avoir un sentiment pour vous,—et vous demandez à Dieu de mourir! Vous dites que vous êtes isolée, quoique je sois séparé de vous, mais si vous croyez à mon amour, cette idée aurait pu faire contrepoids à votre douleur; pour moi je ne me sentirai isolé nulle part jusqu'à ce que je me sache aimé par vous comme je le suis

„Je sens cependant que c'est un mauvais sentiment qui me dicte mes paroles, je suis jaloux de votre chagrin“ [1]).

---

[1]) Я только-что получил ваше письмо от 24-го ноября и тотчас же отвечаю на него, как я привык это делать. Последний раз я вам писал, что ваше письмо заставило меня плакать, и я считал, что бол знь была причиной этой слабости Я был неправ. Все ваши письма с некоторого времени действуют на меня так же. Я всегда был Лёва-рёва. Сначала я стыдился этой слабости, но слезы, которыя я проливаю, думая о вас и о вашей любви к нам, так радостны, что я им позволяю течь без всякаго ложнаго стыда. Ваше письмо так полно грусти, и оно не могло не произвести на меня подобнаго же действия. Вы мне всегда давали советы, и хотя я, к сожалению, не всегда следовал им, я хотел бы всю мою жизнь только действовать по вашим указаниям. Позвольте мне теперь сказать вам о том действии, которое произвело на меня ваше письмо, и о мыслях, которые возникли во мне за чтением его. Если я говорю с вами слишком откровенно, я знаю, вы простите меня, ради моей любви к вам.

Дальше, в том же письме, он рассказывает случай, интересный как с бытовой, так и с психологической стороны.

„Aujourd'hui il m'est arrivé une des ces choses qui m'auraient fait croire en Dieu, si je n'y croyais déjà fermement depuis quelque temps.

„L'été à Старый Юрт tous les officiers qui y étaient ne faisaient que jouer et assez gros jeu. Comme en vivant au camp il est impossible de ne pas se voir souvent, j'ai très souvent assisté au jeu et malgré les instances qu'on me faisait j'ai tenu bon pendant un mois, mais un beau jour en plaisantant, j'ai mis un petit enjeu, j'ai perdu, j'ai recommencé, j'ai encore perdu, la chance en était mauvaise, la passion du jeu s'est réveillée, et en 2 jours j'ai perdu tout ce que j'avais d'argent et celui que Nicolas m'a donné (à peu près 250 r. arg.) et par dessus cela encore 500 r. arg. pour lesquels j'ai donné une lettre de change payable au mois de Janvier 1852.

„Il faut vous dire que près du camp il y a un ayl qu'habitent les чеченцы. Un jeune garçon (чеченец) Sado venait au camp et jouait, mais comme il ne savait pas compter et inscrire il y avait des chenapans qui le trichaient. Je n'ai jamais voulu jouer pour cette raison contre Sado et même je lui ai dit qu'il ne fallait pas qu'il jouât, parce qu'on le trompait et je me suis proposé de jouer pour lui par procuration. Il m'a été très reconnaissant pour ceçi et m'a fait cadeau d'une bourse. Comme c'est l'usage de cette nation de se faire des cadeaux mutuels, je lui ai donné un misérable fusil que j'avais acheté pour 8 rb. Il faut vous dire que pour devenir кунак, ce qui veut dire ami, il est d'usage de se faire des cadeaux et puis de manger dans la maison du кунак. Après cela d'après l'ancien usage de ces peuples (qui n'existe presque plus que par tradition) on devient ami à la vie et à la mort c. à. d. que si je lui demande tout son argent, ou sa femme, ou ses armes, ou tout ce qu'il a de plus précieux, il doit me les donner, et moi aussi je ne dois rien lui refuser. Sado m'a engagé de venir chez lui et d'être кунак. J'y suis allé. Après m'avoir régalé à leur manière, il m'a proposé de choisir dans sa maison tout ce que je voudrais—ses armes, son cheval... tout. J'ai voulu choisir ce qu'il y avait de moins cher et j'ai pris une bride de cheval montée en argent, mais il m'a dit que je l'offensais et m'a obligé de prendre une шашка qui vaut au moins 100 r. arg.

Говоря, что теперь ваша очередь оставить нас и соединиться с теми, которых уже нет и которых вы так любили, говоря, что вы просите Бога положить предел вашему существованию, которое кажется вам столь невыносимым и одиноким,—извините, дорогая тетенька но мне кажется, что говоря это вы гневите Бога и обижаете меня и всех нас, которые так вас любят Вы просите у Бога смерти, т.-е. самаго большого несчастья, которое могло бы произойти для меня (это не фраза, но Бог свидетель, что два самые большие несчастия, которыя могут произойти для меня, это смерть ваша и Николеньки. вух людей, которых я люблю больше самого себя). Что осталось бы для меня если бы Бог услышал вашу молитву? Ради кого старался бы я стать лучше, иметь хорошие качества, составить о себе хорошее мнение в свете? Когда я строю планы счастья для себя, мысль о том, что вы разделите его со мною и будете пользоваться им, всегда присуща мне. Когда я делаю что-нибудь хорошее, я доволен собой потому, что знаю, что вы будете довольны мной. Когда я поступаю дурно—чего я всего больше опасаюсь, это вам причинить огорчение. Ваша любовь для меня все, а вы просите Бога, чтобы он нас разлучил! Я не могу вам выразить того чувства, которое я питаю к вам, слов недостаточно для этого, и я боюсь, чтобы вы не подумали, что я преувеличиваю, а между тем я плачу горючими слезами, пока пишу вам. Этой тяжелой разлуке я обязан сознанием того, какого друга я нашел в вас и как я вас люблю. Но разве я один, питающий к вам эти чувства,—а вы просите у Бога смерти. Вы говорите, что вы одиноки; хотя бы я был отделен от вас, но если вы верите моей любви, мысль о ней могла бы послужить противовесом вашему горю; что касается до меня, я никогда не почувствую себя одиноким, пока я знаю, что я любим вами так, как оно есть.

Сознаю тем не менее, что чувство, диктующее эти слова, дурно,—я ревную вас к вашему горю.

„Son père est un homme assez riche, mais qui a son argent enterré et ne donne pas le sou à son fils. Le fils pour avoir de l'argent va voler chez l'ennemi des chevaux, des vaches; quelquefois il expose 20 fois sa vie pour voler une chose qui ne vaut pas 10 r., mais ce n'est pas par cupidité qu'il le fait, mais par genre. Le plus grand voleur est très estimé et on l'appelle джигит, молодец. Tantôt Sado a 1000 r. arg., tantôt pas le sou. Après une visite chez lui je lui ai fait cadeau de la montre d'argent de Nicolas, et nous sommes devenus les plus grands amis du monde. Plusieurs fois il m'a prouvé son dévouement en s'exposant à des dangers pour moi, mais ceci pour lui n'est rien—c'est devenu une habitude et un plaisir.

„Quand je suis parti de Старый Юрт et que Nicolas y est resté, Sado venait chez lui tous les jours et disait qu'il ne savait que devenir sans moi et qu'il s'ennuyait terriblement. Par une lettre, je faisais connaître à Nicolas que mon cheval étant malade, je le priais de m'en trouver un à Старый Юрт, Sado ayant appris cela, n'eût rien de plus pressé que de venir chez moi et de me donner son cheval, malgré tout ce que j'ai pu faire pour refuser.

„Après la bêtise que j'ai fait de jouer à Старый Юрт, je n'ai plus repris les cartes en mains, et je faisais continuellement la morale à Sado qui a la passion du jeu et quoiqu'il ne connaisse pas le jeu, a toujours un bonheur étonnant. Hier soir je me suis occupé à penser à mes affaires pécuniaires, à mes dettes, je pensais, comment je ferais pour les payer. Ayant longtemps pensé à ces choses j'ai vu que si je ne dépense pas trop d'argent, toutes mes dettes ne m'embarrasseront pas et pourront petit à petit être payées dans 2 ou 3 ans; mais les 500 rbs., que je devais payer ce mois, me mettaient au désespoir. Cette bêtise d'avoir fait les dettes que j'avais en Russie et de venir en faire de nouvelles ici me mettent au désespoir. Le soir en faisant ma prière, j'ai prié Dieu qu'il me tire de cette désagréable position, et avec beaucoup de ferveur. „Mais comment est-ce que je puis me tirer de cette affaire?“ pensai-je en me couchant. Il ne peut rien arriver qui me donne la possibilité d'acquitter cette dette. Je me représentais déjà tous les désagréments que j'avais à essuyer à cause de cela [1]).

---

[1]) Сегодня произошел случай, который мог бы меня заставить поверить в Бога, если б я уже не верил в Него твердо с некоторых пор.

Летом в Старом Юрте все офицеры были исключительно заняты игрой, и довольно крупной. Так как, живя в лагере, нельзя не видеться часто, я нередко присутствовал при игре и, несмотря на упрашивания, которыя мне делали, я держался с месяц. Но в один прекрасный день, шутя, я поставил немного, проиграл, снова поставил, опять проиграл,—мне не повезло,—игорная страсть проснулась во мне, и в два дня я проиграл все деньги, которые у меня были, те, что мне дал Николецька (около 250 рублей), и сверх того еще 500 рублей серебром, на которые я дал вексель сроком по январь 1852 года.

Надо вам сказать, что подле лагеря есть аул, в котором живут чеченцы. Один молодой чеченец, Садо, приезжал в лагерь и играл; но так как он не умел считать и записывать, то были такие неудачи, которые его обманывали. Поэтому я никогда не хотел играть против Садо и ему даже говорил, чтобы он не играл, потому что его надувают, и предложил ему играть за него по доверенности. Он был мне очень благодарен за это и подарил кошелек, а так как в обычае этого народа делать взаимные подарки то я ему подарил плохенькое ружье, которое купил за 8 рублей Надо вам сказать, что для того, чтобы стать кунаком, т.-е. другом, нужно делать подарки и потом обедать в доме кунака. После этого, по старинному обычаю этого народа (сохранившемуся почти только в преданиях), становятся друзьями на жизнь и на смерть, т.-е. что если я у него спрошу все деньги, или его жену, или его оружие, или все, что у него есть самого драгоценнаго, он должен мне отдать, и я тоже ни в чем не должен ему отказывать. Садо пригласил меня к себе в дом, чтобы стать его кунаком. Я пошел к нему. Угостив меня по своему, он предложил выбрать, что я хочу в его доме: оружие, лошадь... все. Я хотел выбрать самое дешевое и взял уздечку, отделанную в серебро; но он сказал мне, что я его этим обижаю, и заставил меня взять шашку, стоящую по меньшей мере сто рублей серебром.

Отец его человек—богатый, но у него деньги закопаны в земле, и он не дает сыну ни копейки. Сын, чтобы выручить денег, ездит к неприятелю красть лошадей, ко-

«Как он подаст ко взысканию, как по начальству от меня будут требовать отзыва, почему я не плачу и т. д. Помоги мне, Господи,— сказал я и заснул.

„Le lendemain je reçois une lettre de Nicolas à laquelle était jointe la vôtre et plusieurs autres – il m'écrit [1])

«На-днях был у меня Садо; он выиграл у Кнорринга твои векселя и привез их мне. Он так был доволен этому выигрышу, так счастлив и так много меня спрашивал: «как думаешь, брат рад будет, что я это сделал?», что я его очень за это полюбил. Этот человек действительно к тебе привязан.

„N'est-ce pas étonnant que de voir son voeu aussi exaucé le lendemain même. C. à. d. qu'il n'y a rien d'aussi étonnant que la bonté divine pour un être qui la mérite si peu que moi? Et n'est-ce pas que le trait de dévouement de Sado est admirable? Il sait que j'ai un frère Serge, qui aime les chevaux et comme je lui ai promis de le prendre en Russie quand j'y irai, il m'a dit, que dût-il lui en coûter 100 fois la vie, il volera le meilleur cheval qu'il y ait dans les montagnes, et qu'il le lui amenera.

„Faites, je vous prie, acheter à Toula un шестиствольный пистолет et de me l'envoyer et une коробочка с музыкой, si cela ne coûte pas trop cher. Ce sont des choses qui lui feront beaucoup de plaisir" [2]).

Интересен этот рассказ особенно тем, что показывает, какой путь пройден Л. Н-чем в своем духовном развитии. От наивной мистической веры во вмешательство божества в свои картежные и денежные дела и до полной религиозной свободы, исповедуемой им теперь.

ров. Иной раз он подвергает 20 раз опасности свою жизнь из-за вещи, стоящей не более 10 рублей; но это он делает не из-за жадности, а по натуре. Самый ловкий вор очень уважаем, и его называют „джигит", молодец. У Садо то бывает 1000 рублей, то ни копейки. После одного из моих посещений его дома я подарил ему Николенькины серебряные часы, и мы стали самыми большими друзьями. Много раз он доказал мне свою преданность, подвергая из за меня свою жизнь опасности,—но это для него ничего не значит, это стало для него привычкой и удовольствием.

Когда я уехал из Старого Юрта, а Николенька остался там, Садо каждый день приходил к нему и говорил, что он не знает, что ему без меня делать, и что он страшно скучает. Я писал Николеньке, что так как моя лошадь заболела, то я прошу его найти мне какую-нибудь в Старом Юрте. Садо, узнав об этом, ничего не нашел лучшаго, как явиться ко мне и подарить мне свою лошадь, несмотря на все мои усилия отказать ему.

После глупости, которую я сделал, начав играть в Старом Юрте, я больше не брал в руки карт и читал наставления Садо, у которого страсть к игре, и хотя он не знает игры, ему всегда удивительно везет. Вчера вечером я был занят мыслями о моих денежных делах и моих долгах. Я думал о том, как я расплачусь. Долго размышляя об этом, я увидел, что если я не буду много тратить, долги не будут мне обременительны и могут быть уплачены понемногу в 2 или 3 года; но 500 рублей, которые я должен был заплатить в этом месяце, приводили меня в отчаяние. Я был в отчаянии от этой глупости, что, делавши долги в России, приехал их снова делать сюда. Вечером, молясь я просил Бога, чтоб я Он избавил меня от этого тяжелого положения, и я молился очень горячо.—„Но как же я могу выпутаться из этого?"—думал я, ложась спать. Ничего не может случиться такого, что бы дало мне возможность расплатиться с этим долгом. Я уже представлял себе все неприятности, которые мне пришлось бы перенести из за этого.

[1]) На другой день я получил письмо от Николеньки с приложением вашего и многих других писем. Он мне пишет.

[2]) Не правда-ли, удивительно видеть свою просьбу услышанной на другой же день, т.-е. удивительна больше всего милость Божия к существу, заслужившему ее так мало, как я? И не правда ли, эта черта преданности в Садо прелестна? Он знает, что у меня есть брат Сергей, который любит лошадей, и так как я обещал Садо взять его с собой в Россию, когда я туда поеду, он сказал мне, что хоть бы это ему стоило 100 жизней, он украдет самую лучшую лошадь, какая есть в горах, и приведет ему.

Пожалуй та, прикажите купить в Туле шестиствольный пистолет и послать его мне и коробочку с музыкой, если это не слишком дорого стоит. Это вещи, которые ему очень понравятся.

Наконец, через несколько дней после этого письма, устроив свои служебные дела, Л. Н-ч возвращается в станицу Старогладовскую. С дороги, со станции Моздок, вероятно, долго ожидая лошадей, он пишет своей тетке длинное письмо, как всегда, полное самых глубоких религиозных мыслей, преисполненное нежности к любимому существу и с мечтами и планами о будущем скромном семейном счастье:

„Voilà les idées qui me sont venues. Je tâcherai de vous les rendre parce que je pensais à vous. Je me trouve bien changé au moral, et cela m'est arrivé tant de fois Au reste je crois que c'est le sort de tous. Plus on vit plus on change, vous, qui avez de l'expérience, dites-moi, n'est-ce pas que c'est vrai? Je pense que les défauts et les qualités—le fond du caractère, resteront toujours les mêmes, mais la manière d'envisager la vie, le bonheur,—doivent changer avec l'âge. Il y a un an je croyais trouver le bonheur dans le plaisir, dans le mouvement, à présent, au contraire, le repos, au physique comme au moral, est un état que je désire. Mais je me figure l'état de repos sans ennuis et avec les tranquilles jouissances de l'amour et de l'amitié, —c'est le comble du bonheur pour moi! Au reste on ne ressent le charme du repos, qu'après les fatigues et des jouissances de l'amour, qu'après les privations. Me voilà privé depuis quelque temps de l'un comme de l'autre, c'est pour cela que j'y aspire si vivement. Il faut m'en priver encore—pour combien de temps? Dieu le sait. Je ne saurais dire pourquoi, mais je sens qu'il le faut. La religion et l'expérience que j'ai de la vie (quelque petite qu'elle soit) m'ont appris que la vie est une épreuve. Dans moi elle est plus qu'une épreuve, c'est encore l'expiation de mes fautes.

„J'ai dans l'idée que l'idée si frivole que j'ai eu d'aller faire un voyage au Caucase - est une idée qui m'a été inspirée d'en haut. C'est la main de Dieu qui m'a guidé—je ne cesse de l'en remercier. Je sens que je suis devenu meilleur ici (et ce n'est pas beaucoup dire, puisque j'ai été très mauvais) et je suis fermement persuadé que tout ce qui peut m'arriver ici ne sera que pour mon bien, puisque c'est Dieu lui-même qui l'a voulu ainsi. Peut-être que c'est une idée bien hardie, néanmoins j ai cette conviction.— C'est pour cela que je supporte les fatigues et les privations - physiques dont je parle (ce ne sont pas des privations physiques—il n'y en a pas pour un garçon de 23 ans qui se porte bien) sans les ressentir, même avec une espéce de plaisir en pensant au bonheur qui m'attend.

„Voilà comment je le représente

„Après un nombre indéterminé d'années, ni jeune, ni vieux je suis à Ясная, mes affaires sont en ordre, je n'ai pas d'inquiétudes, ni de tracasseries. Vous habitez Ясная aussi. Vous avez un peu vieilli, mais êtes encore fraîche et bien portante. Nous menons la vie que nous avons menée,—je travaille le matin, mais nous nous voyons presque toute la journée. Nous dînons. Le soir je vous fais une lecture qui ne vous ennuie pas, puis nous causons—moi je vous raconte ma vie au Caucase, vous me parlez de vos souvenirs—de mon père, de ma mère, vous me contez des страшные que jadis nous écoutions les yeux effrayés et la bouche béante. Nous nous rappelons les personnes qui nous ont été chères et qui ne sont plus; vous pleurerez, j'en ferai de même, mais ces larmes seront douces; nous causerons des frères qui viendront nous voir de temps en temps, de la chère Marie qui passera aussi quelques mois de l'année à Ясная qu'elle aime tant, avec tous ses enfants. Nous n'aurons point de connaissances—personne ne viendra nous ennuyer et faire des commérages. C'est un beau rêve, mais ce n'est pas encore tout ce que je me permets de rêver. - Je suis marié—ma femme est une personne douce, bonne, aimante; elle a pour vous le même amour que moi; nous avons des enfants qui vous appellent grand-maman; vous habitez la grande maison en haut; la même chambre

que jadis habitait grand-maman. Toute la maison est dans le même ordre qu'elle a été du temps de papa et nous recommençons la même vie, seulement en changeant de rôle; vous prenez le rôle de grand'maman, mais vous êtes encore meilleure, moi le rôle de papa, mais je désespère de jamais le mériter; ma femme celui de maman, les enfants le nôtre; Marie le rôle des deux tantes, leurs malheurs excepté, même Гаша prend le rôle de Прасковья Исаевна. Mais il manquera un personnage pour prendre le rôle que vous avez joué dans notre famille: jamais il ne se trouvera une âme aussi belle, aussi aimante que la vôtre. Vous n'avez pas de successeur. Il y aura trois nouveaux personnages, qui paraîtront de temps en temps sur la scène,— les frères, surtout l'un qui sera souvent avec vous. Nicolas—vieux garçon, chauve, retiré du service, toujours aussi bon, aussi noble" [1]).

---

[1]) Вот мысли, которые пришли мне на ум. Я постараюсь передать их вам, потому что я думал о вас. Я очень переменился нравственно, и это со мною уже было столько раз. Впрочем, я думаю, что это со всеми так бывает. Чем более живешь, тем более меняешься; вы человек опытный, скажите, ведь это правда? Я думаю, что недостатки и качества, основы характера, остаются те же, но взгляды на жизнь, на счастие должны изменяться с годами. Год тому назад я думал найти счастие в удовольствиях, в движениях; теперь же, напротив, отдых физический и моральный—это то, чего я желаю. Но я представляю себе состояние покоя без скуки, с тихой радостью любви и дружбы—это для меня верх счастья. Впрочем, очарование покоя чувствуешь только после усталости и радости любви только после ее лишений. И вот я лишен с некоторого времени и того и другого, и потому-то я так стремлюсь к ним. Мне н у ж н о быть лишенным их еще на сколько времени? Бог знает. Я не сумею сказать почему, но я чувствую, что это нужно. Религия и опыт моей жизни, как бы мала она ни была, научили меня, что жизнь есть испытание. Во мне она больше, чем испытание,—она есть искупление моих грехов.

Мне кажется, что странная мысль поехать на Кавказ внушена мне свыше. Это рука Божия вела меня, и я непрестанно благодарю Его. Я чувствую, что здесь я стал лучше (это еще не много, потому что я был очень дурен), и я твердо уверен, что все, что может со мной случиться здесь, будет мне на пользу, потому что сам Бог этого захотел. Быть-может, это слишком смелая мысль, тем не менее у меня есть это убеждение. Поэтому-то я переношу невзгоды и лишения физические, о которых я говорю (какие могут быть физические лишения для здорового малого 23 лет?), как бы не чувствуя их, даже с некоторым наслаждением, думая о счастии, которое меня ожидает.

Вот как я его себе представляю:

После неопределенного числа лет,—ни молодой, ни старый я в Ясной, дела мои в порядке, у меня нет ни беспокойства, ни неприятностей. Вы также живете в Ясной. Вы немного постарели, но еще свежи и здоровы. Мы ведем жизнь, которую вели раньше, я работаю по утрам, но мы видимся почти целый день. Мы обедаем. Вечером я вам читаю что-нибудь нескучное для вас, потом мы беседуем: я рассказываю вам про кавказскую жизнь, вы мне рассказываете ваши воспоминания о моем отце, матери; вы мне рассказываете „страшные", которые мы прежде слушали с испуганными глазами и разинутыми ртами. Мы вспоминаем людей, которые нам были дороги и которых больше нет. Вы станете плакать и я тоже, но эти слезы будут отрадны: мы будем говорить о братьях, которые будут к нам приезжать время от времени, о дорогой Маше, которая также будет проводить несколько месяцев в году в Ясной, которую она так любит, со всеми своими детьми. У нас не будет знакомых, никто не придет нам надоедать и сплетничать. Это чудный сон. Но это еще не все, о чем я себе позволяю мечтать: Я женат; моя жена тихая, добрая, любящая; вас она любит так же, как и я; у нас дети, которые вас зовут бабушкой; вы живете в большом доме наверху, в той же комнате, которую прежде занимала бабушка. Весь дом содержится в том же порядке, какой был при отце, и мы начнем ту же жизнь, только переменившись ролями. Вы заменяете бабушку, но вы еще лучше ее; я заменяю отца, хотя я не надеюсь никогда заслужить эту честь. Жена моя заменяет мать, дети - нас. Маша берет на себя роль двух теток, исключая их горя; даже Гаша заменяет Прасковью Исаевну. Не будет хватать только лица, которое взяло бы на себя вашу роль в жизни нашей семьи: никогда не найдется столь прекрасная душа, столь любящая, как ваша; у вас нет преемников. Будет три новых лица, которыя будут иногда появляться среди нас,—это братья, особенно один, которые часто будет с нами, Николенька, старый холостяк, лысый, в отставке, всегда такой же добрый, благородный.

«Я воображаю, как он будет, как в старину, рассказывать детям своего сочинения сказки, как дети будут у него целовать сальные руки (по которые стоят того), как он будет с ними играть, как жена моя будет хлопотать, чтобы сделать ему любимое кушанье, как мы с ним будем перебирать общие воспоминания о давно прошедшем времени, как вы будете сидеть на своем обыкновенном месте и с удовольствием слушать нас; как вы нас—старых—будете называть попрежнему Левочка, Николенька, и будете бранить меня за то, что я руками ем, а его за то, что у него руки не чисты.

„Si on me faisait empereur de Russie, si on me donnait le Pérou, en un mot si une fée venait avec sa baguette me demander ce que je désire—la main sur la conscience, je répondrais que je désire seulement que ce rêve puisse devenir une réalité.

„Знаю—вы не любите загадывать, mais quel mal y a-t-il? et cela fait tant de plaisir. Je crains d'avoir été égoiste et d'avoir fait trop petite votre part de bonheur. Je crains que les malheurs passés mais qui ont laissé des traces trop sensibles dans votre coeur, ne vous empêchent de jouir de cet avenir qui aurait fait mon bonheur. Chère tante, dites-moi, seriez-vous heureuse? Tout cela peut arriver et l'espérance est une si douce chose.

„De nouveau je pleure. Pourquoi est-ce que je pleure quand je pense à vous? Ce sont des larmes de bonheur—je suis heureux de savoir vous aimer. Si tous les malheurs pouvaient m'arriver, je ne me dirais jamais tout à fait malheureux tant que vous existez. Vous vous rappelez notre séparation à la chapelle d'Iverskaïa quand nous partions pour Cazan. Alors comme par inspiration, au moment de vous quitter, je compris tout ce que vous étiez pour moi et, quoique encore enfant, par mes larmes et quelques mots décousus, j'ai su vous faire comprendre ce que je sentais. Je n'ai jamais cessé de vous aimer, mais le sentiment que j'ai éprouvé à la chapelle d'Iverskaïa, et celui que j'ai à présent pour vous est tout autre—beaucoup plus fort, plus élevé que je n'ai eu dans tout autre temps.

„Je vais vous avouer une chose qui me fait honte, mais qu'il faut que je vous dise pour décharger ma conscience. Auparavant, en lisant vos lettres, dans lesquelles vous me parliez des sentiments que vous aviez pour nous, j'ai cru voir de l'exagération, mais seulement à présent, en les relisant, je vous comprends votre amour sans bornes pour nous et votre âme élevée. Je suis sûr que tout autre, excepté vous, en lisant cette lettre et la dernière m'aurait fait le même reproche; mais je ne crains pas cela de vous, vous me connaissez trop bien, et vous savez que peut être ma seule bonne qualité—c'est la sensibilité. C'est à cette qualité que je suis redevable des moments les plus heureux de ma vie. Dans tous les cas—c'est la dernière dans laquelle je me permets d'exprimer mes sentiments aussi exaltés—exaltés pour les indifferents, mais vous saurez les apprécier“ [1]).

---

[1]) Если бы меня сделали русским императором, если бы мне дали Перу, одним словом, если бы волшебница пришла ко мне с своей палочкой и спросила бы меня, чего я желаю, я, положа руку на сердце, ответил бы, что желаю, чтобы эти мечты могли стать действительностью.

Знаю, вы не любите загадывать, но что же тут дурного? а это так приятно. Я боюсь, что это слишком эгоистично и что я вам уделил мало места в этом счастье. Я опасаюсь, чтобы прошлые горя не оставили слишком чувствительный след в вашем сердце и это не помешало бы вам насладиться этим будущим, которое составило бы мое счастье. Дорогая тетенька, скажите, были бы вы счастливы? Все это может случиться, и надежда так утешительна!

Опять я плачу. Почему я плачу, думая о вас? Это слезы радости; я счастлив, умея любить вас. Если бы все несчастья обрушились на меня, я никогда не сочту себя вполне несчастным, пока вы живы. Помните ли вы нашу разлуку у Иверской часовни, когда мы уезжали в Казань? Тогда, как бы по вдохновению, в самую минуту разлуки я понял, кем вы были для меня и, хотя еще ребенок, слезами и несколь-

Возвратившись в Старогладовскую уже юнкером, в феврале Л. Н-ч идет в поход в качестве «уносного фейерверкера».

В марте он опять в Старогладовской. Интересны несколько мыслей того времени, записанные им в дневнике.

Лев Николаевич замечал в себе три главные страсти, мешавшие ему на пути к поставленному им себе нравственному идеалу. Эти страсти были: игра, чувственность, или сладострастие, и тщеславие. Он так определял и характеризовал каждую из этих страстей:

1) Страсть к игре есть страсть корыстная, понемногу переходящая в привычку к сильным ощущениям. С этой страстью возможна борьба.

2) Сладострастие есть потребность физическая, потребность тела, разжигаемая воображением; с воздержанием она усиливается, и потому борьба с ней очень трудна. Лучшее средство—труд и занятия.

3) Тщеславие—это страсть, наименее вредная для других и наиболее вредная для себя.

Затем встречается такое рассуждение:

«С некоторого времени меня сильно начинает мучить раскаяние в утрате лучших годов в жизни. И это с тех пор, как я начал чувствовать, что я бы мог сделать что-нибудь хорошее. Интересно бы было описать ход своего морального развития; но не только слова, но и мысль даже недостаточна для этого.

«Нет границ великой мысли, но уже давно писатели дошли до неприступной границы ее выражения.

«Есть во мне что-то, что заставляет меня верить, что я рожден не для того, чтобы быть таким, как все».

Эти последние слова суть первое смутное сознание своего призвания. Надо заметить, что эти слова были написаны еще до окончания «Детства» и, стало быть, до получения похвал и поздравлений с успешным началом. Это было внутреннее, независимое сознание в себе той таинственной силы, которая потом выдвинула его как одного из высших представителей морального сознания всего человечества.

В мае месяце он берет отпуск и едет в Пятигорск пить воды и лечиться от преследовавшего его ревматизма.

Оттуда он пишет своей тетке письмо, рисующее картину его душевной жизни и указывающее на неперестающую внутреннюю работу его духовного существа.

„Depuis mon voyage et séjour à Tifliss, mon genre de vie n'a pas changé, je tâche de faire le moins de connaissances possible et de m'abstenir de l'intimité de celles que j'ai. On est habitué à ma manière, on ne m importune plus et je suis sûr, qu'on dit, que je suis un чудак et un гордец.

„Ce n est pas par fierté que je me conduis ainsi, mais cela s'est fait de soi-même; il y a une trop grande différence dans l'éducation, les sentiments et la manière de voir de ceux que je rencontre ici pour que je trouve quelque plaisir avec eux. Il n'y a que Nicolas qui a le talent, malgré

кими отрывочными словами я сумел дать вам понять, что́ я чувствовал. Я никогда не переставал вас любить; но чувство, которое я испытал у Иверской часовни, и теперешнее совсем различны: теперешнее гораздо сильнее более возвышенное, чем когда бы то ни было.

Сознаюсь вам в одном, чего стыжусь, но должен сказать вам это, чтобы освободить мою совесть. Раньше, читая ваши письма, в которых вы говорили о ваших чувствах ко мне, я, казалось, видел преувеличение. Но только теперь, перечитывая их, я понимаю вас, вашу безграничную любовь к нам и вашу возвышенную душу. Я уверен, что всякий другой, читая это письмо и предыдущее, сделал бы мне тот же упрек. Но я не опасаюсь этого от вас, вы меня слишком хорошо знаете и вы знаете, что, быть-может, единственное мое доброе качество - это чувствительность. Этому качеству я обязан счастливейшими минутами моей жизни. Во всяком случае, это последнее письмо, в котором я позволяю себе выразить столь восторженные чувства; чрезмерные для равнодушных, но вы сумеете их оценить.

l'énorme différence qu'il y a entre lui et tous ces messieurs, à s'amuser avec eux et à être aimé de tous. Je lui envie ce talent, mais je sens que je ne puis en faire autant. Il est vrai que ce genre de vie n'est pas fait pour s'amuser, aussi il y a bien longtemps que je ne pense plus aux plaisirs, je pense à être tranquille et content. Depuis quelque temps je commence à prendre goût pour les lectures historiques (c'était un point de dispute entre nous et un sur lequel à présent je suis tout à fait de votre avis); mes occupations littéraires vont aussi leur petit train, quoique je ne pense pas encore à rien imprimer. J'ai trois fois refait un ouvrage que j'ai commencé il y a bien longtemps et je compte le refaire encore une fois pour en être content. Peut-être que ce sera comme le travail de Pénélope, mais cela ne me dégoûte pas, je ne compose pas par ambition, mais par goût, je trouve mon plaisir et mon utilité à travailler et je travaille. Quoique je sois bien loin de m'amuser comme je vous l'ai dit, je suis aussi bien loin de m'ennuyer, parce que je suis occupé, mais excepté cela, je goûte un plaisir plus doux et plus elevé, que celui—qu'aurait pu me donner la société—celui de sentir le repos de ma conscience, de se connaître et de se savoir mieux apprécié que je ne l'avais fait et de sentir remuer en moi des sentiments bons et généreux.

„Il y a eu un temps, où j'étais vain de mon esprit et de ma position dans ce monde, de mon nom, mais à présent je sais et je sens que s'il y a en moi quelque chose de bon et que si j'ai à en rendre grâce à la Providence, c'est pour un coeur bon, sensible et capable d'amour, qu'il lui a plu de me donner et de me conserver.

„C'est à lui seul que je suis redevable des moments les plus doux que je passe et de ce que malgré l'absence des plaisirs et de société, je suis non seulement content, mais souvent heureux“ [1])

В мае месяце он берет отпуск и едет в Пятигорск.

В письме к брату Сергею от 24 июня 1852 года он сообщает характерные подробности пятигорской жизни.

---

[1]) Со времени моего путешествия и пребывания в Тифлисе мой образ жизни не изменился; я стараюсь заводить как можно меньше знакомых и воздерживаться от интимности в тех знакомствах, которыя я уже сделал К этому уже привыкли, меня больше не беспокоят, и я уверен, что про меня говорят, что я чудак и гордец.

Не из гордости я так веду себя, это вышло само собой; слишком велика разница в воспитании в чувствах, во взглядах между мною и теми, кого я встречаю здесь, чтобы я мог находить какое-нибудь удовольствие с ними. Только Николенька имеет способность, несмотря на огромную разницу между ним и этими господами, проводить с ними приятно время и быть любимым всеми. Я завидую ему, но чувствую, что не могу так поступать.

Правда, что такой образ жизни создан не для удовольствий; но ведь и я уже давно не думаю об удовольствиях, а думаю о том, чтобы быть спокойным и довольным. С некоторых пор я вошел во вкус исторического чтения (это было предметом нашего спора, и насчет этого теперь я вполне с вами согласен). Мои литературные работы также подвигаются, понемногу, хотя я еще ничего не думаю печатать. Я три раза переделал работу, которую начал уже давно, и я рассчитываю еще раз переделать ее, чтобы быть довольным. Быть-может, это будет работой Пенелопы, но это не отвращает меня; я пишу не из тщеславия, но по влечению; в работе я нахожу удовольствие и пользу и потому работаю. Хотя я очень далек от веселья, как я вам писал, но я столь же далек от скуки, потому что, занят; но, кроме того, я вкушаю еще более высокое, более сильное удовольствие, чем то, которое могло бы мне дать общество,—это сознание спокойной совести, сознание более высокой, чем прежде, оценки самого себя, сознание движения во мне добрых, великодушных чувств.

Было время, когда я тщеславился моим умом, моим положением в свете, моим именем, но теперь я знаю, я чувствую, что если есть во мне что-нибудь хорошего, и что если есть за что благодарить Провидение, так это за доброе сердце, чувствительное и способное любить, которое оно даровало и сохранило мне. Ему одному я обязан лучшими пережитыми минутами и тем, что хотя у меня и нет удовольствий и общества, я не только доволен, но часто бываю счастлив.

«Что сказать тебе о своем житье? Я писал три письма и в каждом описывал то же самое. Желал бы я тебе описать дух пятигорский, да это так же трудно, как рассказать новому человеку, в чем состоит Тула, а мы это, к несчастью, отлично понимаем. Пятигорск тоже немножко Тула, но особенного рода—кавказская. Например, здесь главную роль играют *семейные дома и публичные места*. Общество состоит из *помещиков* (так технически называются все приезжие), которые смотрят на здешнюю цивилизацию презрительно, и господ офицеров, которые смотрят на здешние увеселения как на верх блаженства. Со мною из штаба приехал офицер нашей батареи. Надо было видеть его восторг и беспокойство, когда мы в'езжали в город! Еще прежде он мне много говорил о том, как весело бывает на водах, о том, как под музыку ходят по бульвару и потом будто все идут в кондитерскую и там знакомятся—даже с семейными домами. Театр, собрание, всякий год бывают свадьбы, дуэли... *ну, одним словом, чисто парижская жисть*. Как только мы вышли из тарантаса, мой офицер надел голубые панталоны с ужасно натянутыми штрипками, сапоги с огромными шпорами, эполеты,—обчистился и пошел под музыку ходить по бульвару, потом в кондитерскую, в театр и в собрание. Но, сколько мне известно, вместо знакомства с семейными домами и невесты-помещицы с 1000 душами, он в целый месяц познакомился только с тремя оборванными офицерами, которые обыграли его до тла, и с одним семейным домом, но в котором два семейства живут в одной комнате и подают чай в прикуску. Кроме того, офицер этот в месяц издержал рублей 20 на портер и на конфеты и купил себе бронзовое зеркало для *настольного прибора*. Теперь он ходит в старом сюртуке без эполет, пьет серную воду изо всех сил, как будто серьезно лечится, и удивляется, что никак не мог познакомиться, несмотря на то, что всякий день ходил по бульвару и в кондитерскую и не жалел денег на театр, извозчиков и перчатки, — *с аристократией* (здесь во всякой маленькой крепостенке есть аристократия), а аристократия, как на зло, устраивает кавалькады, пикники, а его никуда не пускают. Почти всех офицеров, которые приезжают сюда, постигает та же участь, и они притворяются, будто только приехали лечиться, хромают с костылями, носят повязки, перевязки, ньянствуют и рассказывают страшные истории про черкесов. Между тем в штабе они опять будут рассказывать, что были знакомы с *семейными домами* и веселились на славу; и всякий курс со всех сторон кучами едут на воды повеселиться».

Как видно из письма к тетке, в Пятигорске Лев Николаевич продолжает писать «Детство». Кроме того, постоянная внутренняя работа над самим собой не покидает его.

29 июня он записывает в своем дневнике мысль, которая может служить кратким выражением всего его тогдашнего мировоззрения.

«Совесть есть лучший и вернейший наш путеводитель, но где признаки, отличающие этот голос от других голосов?.. Голос тщеславия говорит так же сильно. Пример—неотмщенная обида.

«Тот человек, которого цель есть собственное счастье,—дурен; тот, которого цель есть мнение других,—слаб; тот, которого цель есть счастье других,—добродетелен; тот, которого цель Бог,—велик».

Далее встречается такая мысль, развитие которой мы также находим в тогдашних произведениях:

«Справедливость есть крайняя мера добродетели, к которой обязан всякий. Выше ее—стремление к совершенству, ниже—порок».

2-го июля 1852 г. Лев Николаевич окончил «Детство» и через несколько дней отправил рукопись в Петербург, в редакцию «Современника».

Первоначальное заглавие этого первого литературного произведения было: «История моего детства». Оно было подписано двумя буквами «Л. Н.», и редакция долго не знала имени автора.

В Пятигорске Л. Н-ч виделся со своей сестрой Марьей Николаевной и ее мужем. М. Н. лечилась на водах от ревматизма; по ее рассказам, Л. Н-ч тогда увлекался

спиритическими сеансами и верчением столов и занимался этим даже на бульваре, таская туда столы из кофейной.

5-го августа Лев Николаевич покидает Пятигорск и возвращается в свою станицу.

Дорогой он записывает такую интересную мысль, составляющую одну из главных основ его настоящего мировоззрения:

«Будущность занимает нас более действительности. Эта наклонность хороша, ежели мы думаем о будущности того мира. Жить в настоящем, т.-е. поступать наилучшим образом в настоящем,—вот мудрость».

7-го августа он приехал в Старогладовскую и, охваченный привычной и любимой им патриархальной простотой казачьей жизни, он записал в своем дневнике:

«Простота—вот качество, которое я желаю приобрести больше всех других».

28-го августа он получает, наконец, давно жданное письмо от редактора «Современника». «Оно обрадовало меня до глупости»,—замечает он в своем дневнике.

Вот это знаменитое письмо Некрасова, бывшего восприемником новорожденного таланта:

«Милостивый государь!

Я прочел вашу рукопись (Детство). Она имеет в себе настолько интереса, что я ее напечатаю. Не зная продолжения, не могу сказать решительно, но мне кажется, что в авторе ее есть талант. Во всяком случае направление автора, простота и действительность содержания составляют неотъемлемые достоинства этого произведения. Если в дальнейших частях (как и следует ожидать) будет побольше живости и движения, то это будет хороший роман. Прошу вас прислать мне продолжение. И роман ваш и талант меня заинтересовали. Еще я советовал бы вам не прикрываться буквами, а начать печататься прямо со своей фамилией, если только вы не случайный гость в литературе. Жду вашего ответа.

Примите уверение в истинном моем уважении

Н. Некрасов» [1]).

За этим письмом через месяц следовало второе, от 5-го сентября 1852 года:

«Милостивый государь!

«Я писал вам о вашей повести; но теперь считаю своим долгом еще сказать вам о ней несколько слов. Я дал ее в набор на IX книжку «Современника» и, прочитав внимательно в корректуре, а не в слепо написанной рукописи, нашел, что эта повесть гораздо лучше, чем показалось мне с первого раза. Могу сказать положительно, что у автора есть талант. Убеждение в этом для вас, как для начинающего, думаю, всего важнее в настоящее время. Книжка «Современника» с вашей повестью завтра выйдет в Петербурге, а к вам (я послал ее по вашему адресу), вероятно, попадет еще не ранее, как недели через три. Из нее кое-что исключено (немного, впрочем)... Не прибавлено ничего. Скоро напишу вам подробнее, а теперь некогда. Жду вашего ответа и прошу вас, если у вас есть продолжение,—прислать мне его.

Н. Некрасов.

«P. S. Хотя я и догадываюсь, однако ж прошу вас сказать мне положительно имя автора повести. Это мне нужно знать и по правилам нашей цензуры» [2]).

Об этом письме Лев Николаевич так отзывается в своем дневнике: «30-го сентября. Получил письмо от Некрасова, похвалы, но не деньги».

А в деньгах он очень нуждался и ждал гонорара за свое первое произведение и, вероятно, писал об этом Некрасову, так как он получил третье письмо от Некрасова, следующего содержания:

---

[1]) Литературные приложения к журналу „Нива“ 1898 г. Февраль. Стр. 337.
[2]) Там же.

«30-го октября 1852 г. С.П.Б.

«Милостивый государь!

«Прошу извинить меня, что я замедлил ответом на последнее ваше письмо,—я был очень занят. Что касается вопроса о деньгах, то я умолчал об этом в прежних моих письмах по следующей причине: в лучших наших журналах издавна существует обычай не платить за первую повесть начинающему автору, которого журнал впервые рекомендует публике. Этому обычаю подверглись все доселе начавшие в «Современнике» свое литературное поприще, как-то: Гончаров, Дружинин, Авдеев и др. Этому же обычаю подверглись в свое время как мои, так и Панаева первые произведения. Я предлагаю вам то же, с условием, что за дальнейшие ваши произведения прямо назначу вам лучшую плату, какую получают наши известнейшие (весьма немногие) беллетристы, т.-е. 50 р. сер. с печатного листа. Я промешкал писать вам еще и потому, что не мог сделать вам этого предложения ранее, не проверив моего впечатления судом публики: этот суд оказался как нельзя более в вашу пользу, и я очень рад, что не ошибся в мнении своем о вашем первом произведении, и с удовольствием предлагаю вам теперь вышеописанные условия.

«Напишите мне об этом. Во всяком случае могу вам ручаться, что в этом отношении мы сойдемся. Так как ваша повесть имела успех, то нам очень было бы приятно иметь поскорее второе ваше произведение. Сделайте одолжение, вышлите нам, что у вас готово. Я хотел выслать вам IX № «Совр.», но, к сожалению, забыл распорядиться, чтобы отпечатали лишний, а у нас весь журнал за этот год в расходе. Впрочем, если вам нужно, я могу выслать вам один или два оттиска одной вашей повести, набрав из дефектов.

«Повторяю мою покорнейшую просьбу выслать нам повесть или что-нибудь в роде повести, романа или рассказа, и остаюсь в ожидании вашего ответа.

Готовый к услугам Н. Некрасов.

«P. S. Мы обязаны знать имя каждого автора, которого сочинения печатаем, и потому дайте мне положительные известия на этот счет. Если вы хотите, то никто, кроме нас, этого знать не будет».

Об этом событии Л. Н-ч с обычной скромностью упоминает и в письме к своей тетке Т. А. от 28 октября 1852 г.:

„Arrivé des eaux j'ai passé un mois assez désagréablement, à cause de la revue que devait faire le général [1]).

«Маршированья и разные стрелянья из пушек не очень приятны, особенно потому, что это расстраивало регулярность моей жизни.

„Heureusement cela n'a pas duré longtemps et j'ai de nouveau repris mon genre de vie qui consiste dans la chasse, l'écriture, la lecture et les conversations avec Nicolas. J'ai pris du goût à la chasse au fusil et comme il s'est trouvé que je tire passablement, cette occupation me prend 2 ou 3 heures par jour. On n'a pas d'idée en Russie, combien et quel excellent gibier on trouve ici. A 100 pas de chez moi je trouve des faisans et dans l'espace d'une demi-heure j'en tue 2, 3, 4. Excepté le plaisir, cet exercice est excellent pour ma santé qui malgré les eaux n'est pas en très bon état. Je ne suis pas malade, mais je souffre très souvent de refroidissements, tantôt des maux de gorge, tantôt des maux des dents qui durent toujours, tantôt des rhumatismes de sorte qu'au moins deux jours la semaine je garde la chambre. Ne pensez pas que je vous cache quelque chose,—je suis, comme j'ai toujours été, d'une complexion forte mais d'une santé faible. Je compte passer l'été suivant encore aux eaux. Si elles ne m'ont pas rétabli, elles m'ont

[1]) Приехав с вод, я провел довольно неприятно месяц по причине смотра, который должен был делать генерал.

Л. Н. Толстой в 1851 году перед от'ездом на Кавказ.

fait du bien.—Нет худа без добра. Quand je suis indisposé, je m'occupe avec moins de distraction à écrire un autre roman que j'ai commencé. Celui que j'ai envoyé à Petersbourg est imprimé dans le livre du mois de Septembre Современника 1852 sous le titre Детство. Je l'ai signé Л. Н. et personne excepté Nicolas n'en connaît l'auteur. Je ne voudrais pas aussi qu'on le sache" [1]).

Сестра Л. Н-ча, Марья Николаевна, рассказывала мне о том впечатлении, которое произведено было этой вещью в их семейном кругу. Они жили в своем имении, недалеко от Спасского, Тургенева, который у них бывал. И вот раз Тургенев приехал к ним, привез новую книжку «Современника» и, с восторгом отзываясь о новой повести неизвестного автора, прочел ее вслух. Марья Николаевна с удивлением слушала рассказ о своих семейных событиях и удивлялась, кто бы мог знать эти интимные подробности их жизни. Они настолько были далеки от мысли, что их «Левочка» мог быть автором этой повести, что заподозрили в этом старшего, Николая Николаевича, который обнаруживал некоторые литературные свойства с детства и был прекрасным рассказчиком. Как видно, преданная ему тетенька Т. А. сумела сохранить поверенную ей тайну, которая была обнаружена, кажется, только по возвращении Л. Н-ча с Кавказа.

Итак, судя по второму письму Некрасова, 6-го сентября 1852 года совершилось знаменательное в истории русской литературы событие: вышло в свет первое произведение Л. Н. Толстого.

О впечатлении, произведенном в обществе писателей и читателей этой первой вещью Толстого, вот что рассказывает Головачева-Панаева в своих воспоминаниях:

«Со всех сторон от публики сыпались похвалы новому автору, и все интересовались узнать его фамилию. В кружке же литераторов относились как-то равнодушно к возникавшему таланту, только один Панаев был в таком восхищении от «Истории моего детства», что каждый вечер читал ее у кого-нибудь из своих знакомых. Тургенев трунил над Панаевым, уверяя, что все его знакомые прячутся от него на Невском, боясь, чтобы он им и там не стал читать выдержки из этого сочинения, так как Панаев успел наизусть выучить произведение нового автора» [2]).

Критика не скоро занялась Толстым. По крайней мере в сборнике критической литературы о Толстом Зелинского, составленном очень тщательно, первая критическая статья помечена 1854 годом. Она была напечатана в «Отечественных Записках» в ноябрьской книжке, т.-е. через два слишком года после появления «Детства»; статья эта написана по поводу выхода «Отрочества», и в ней говорится об этих двух повестях.

Приводим здесь краткую, но меткую характеристику первого произведения Л. Н-ча.

«Детство, как обширная цепь разнородных поэтических и безотчетных наших представлений об окружающем, дало автору возможность взглянуть на всю дере-

---

[1]) К счастью, это продолжалось недолго и я снова начал свой образ жизни, который состоит в охоте, писании, чтении и беседах с Николенькой. Я вошел во вкус ружейной охоты, и так как оказалось, что я стреляю порядочно, то это занятие берет у меня 2, 3 часа в день. В России понятия не имеют, сколько и какая великолепная здесь дичь. В ста шагах от моего дома я нахожу фазанов и за какие-нибудь полчаса я убиваю 2, 3, 4, Кроме удовольствия, это упражнение прекрасно для моего здоровья, которое, несмотря на воды, не в очень хорошем состоянии. Я не болен, но я часто страдаю простудой, то болью в горле, то зубами, которые все не проходят, то ревматизмом, так что, по крайней мере, два дня в неделю я не выхожу из комнаты. Не думайте, что я от вас скрываю что-нибудь. Я, как был всегда, так и теперь сильнаго сложения, но слабаго здоровья. Я думаю следующее лето опять провести на водах. Если они не поправили меня совсем, то все-таки мне помогли. Нет худа без добра: когда я нездоров, я более усидчиво занимаюсь писанием другого романа, который я начал. Тот, который я отослал в Петербург, напечатан в сентябрьской книжке „Современника" 1852 года под названием „Детство". Я подписал его „Л. Н.", и никто, кроме Николеньки, не знает, кто автор. И я не хотел бы, чтобы это узнали.

[2]) „Русские писатели и артисты". Воспом. Головачевой-Панаевой. Стр. 228.

венскую жизнь в таких же поэтических чертах. Он выбирал из этой жизни все, что поражает детское воображение и ум, а талант автора был так силен, что представил эту жизнь именно такою, как ее видит ребенок. Все окружающее его входит в его повесть настолько, насколько оно поражает воображение дитяти, и потому все главы повести, повидимому, совершенно разрозненные, соединяются в одно: все они показывают взгляд ребенка на мир. Но большой талант автора виден еще вот в чем. Казалось бы, при такой манере изображать действительную жизнь под влиянием детских впечатлений, трудно дать место взгляду не детскому и вполне обрисовать характеры: подивитесь же, когда, по прочтении этих рассказов, ваше воображение живо нарисует вам и мать, и отца, и няню, и гувернера, и все семейство, и нарисует красками поэтическими» [1]).

По мере того, как расходились книжки «Современника», распространялся среди читающей публики интерес ко вновь возникающему таланту.

Когда книжки «Современника» с рассказами «Детство» и «Отрочество» дошли до Достоевского в Сибирь, они и на него произвели сильное впечатление; Достоевский, в письме к одному знакомому из Семипалатинска, просил непременно сообщить, кто этот таинственный Л. Н. [2]).

А этот таинственный Л. Н., как нарочно, не хотел открываться и со стороны смотрел на производимый им эффект.

В октябре Лев Николаевич, живя в станице Старогладовской, набрасывает план «Романа русского помещика»; вот главная, основная мысль его: «герой ищет осуществления идеала счастия и справедливости в деревенском быту. Не находя его, он, разочарованный, хочет искать его в семейном. Друг его наводит его на мысль, что счастье состоит не в идеале, а в постоянном, жизненном труде, имеющем целью—счастье других».

К сожалению, этот план не был выполнен, но мы находим выражение этих мыслей во многих последующих произведениях Льва Николаевича.

Военная карьера, несмотря на его видное положение, не улыбалась Льву Николаевичу. Он, видимо, тяготился ею и ждал только производства в офицеры, чтобы выйти в отставку. И производство это, как нарочно, не приходило. Поступив на службу, он надеялся через полтора года быть офицером; но вот он прослужил почти год, и в конце октября приходит бумага, из которой он узнает, что ему нужно служить еще три года.

Причиной этой задержки, как оказалось, была неисправность его документов.

Графиня С. А. Толстая рассказывает в своих записках следующее:

«Производство Льва Николаевича в офицеры, как и вся его служба, было сопряжено с большими затруднениями и неудачами. Перед от'ездом на Кавказ Лев Николаевич жил в Ясной Поляне с тетенькой Т. А. Он часто видался с братом Сергеем, который в то время был увлечен цыганами и их пением. Цыгане приезжали в Ясную, пели, сводили с ума обоих братьев. Когда Лев Николаевич почувствовал, что увлечение может довести его до неблагоразумных поступков, он вдруг, не говоря никому ни слова, уехал на Кавказ, не взявши с собой и не озаботясь никакими нужными бумагами».

Эта небрежность или, лучше сказать, ненависть к бумагам не раз доставляла много хлопот Льву Николаевичу.

Потеряв терпение, он написал своей тетке Юшковой жалобу, и той, посредством письма к какому-то сановнику, удалось ускорить дело о производстве Льва Николаевича в офицеры.

24-го декабря того же года Лев Николаевич кончает рассказ «Набег» и через два дня отсылает его в редакцию «Современника».

В январе 1853 года батарея, в которой служил Лев Николаевич, выступила в поход против Шамиля.

---

[1]) „Отечественные Записки“ 1854 г., № 11 (Журналистика).

[2]) „Первое произведение Л. Н. Толстого“. М. М. Книжки „Недели“, октябрь 1892 г.

В «Истории 20-й артиллерийской бригады» говорится при описании этого похода:

«В одном из орудий главного отряда батарейной № 4 батареи уносным фейерверкером был гр. Л. Толстой, впоследствии автор бессмертных произведений: «Рубка леса», «Казаки», «Война и мир» и др.».

Отряд собрался в крепости Грозной, где, по записи Льва Николаевича, происходили кутежи и картежная игра.

«18-го января,—говорится в «Истории бригады»,—отряд возвратился в Курпнскос. В течение последних трех дней из 7 орудий, входивших в состав колонны, было выпущено до 800 зарядов и из них около 600 из 5 орудий батарейной № 4 батареи 20-й бригады, бывших под командой поручика Макалинского и подпоручиков Сулимовского и Лодыженского, под начальством которых состоял между прочим фейерверкер 4-го класса гр. Л. Толстой. 19-го числа он был командирован с одним единорогом в укрепление Герзель—аул» [1]). Кроме того, Льву Николаевичу пришлось быть в деле и 18-го февраля, и тогда он подвергался серьезной опасности и был на волосок от смерти. Когда он наводил пушку, неприятельская граната разбила лафет этой пушки, разорвавшись у его ног. К счастью, Льву Николаевичу она не причинила никакого вреда.

К 1-му апреля Лев Николаевич с отрядом вернулся в Старогладовскую.

С первых шагов своей литературной деятельности Льву Николаевичу пришлось столкнуться с тем нелепым, жестоко-стихийным препятствием, которое вот уже второй век тормозит свободное развитие русской мысли и русского художественного дарования и которое называется цензурой.

В письме к брату Сергею, в мае 1853 года, Лев Николаевич пишет:

«Пишу второпях, поэтому извини за то, что письмо будет коротко и бестолково. *Детство* было испорчено, а *Набег* так и пропал от цензуры. Все, что было хорошего, все выкинуто или изуродовано. Я подал в отставку, и на-днях, т.-е. месяца через полтора, надеюсь, свободным человеком, ехать в Пятигорск, а оттуда в Россию».

Но в отставку выйти было не так-то легко, и в том же 1853 году летом Лев Николаевич снова подвергся большой опасности и едва избег плена.

Заимствуем рассказ об этом событии из воспоминаний Полторацкого.

«13-го июня 1853 года с 5-ой и 6-ой ротой Куринского и одной ротой линейного батальона, при двух орудиях, я отправился в сквозную оказию, [2]) до Грозной. После привала у Ермоловского кургана, когда колонны двинулись в путь, я, поровнявшись с срединой вытянутой по дороге колонны, вдруг увидел недалеко от авангарда, налево от верхней плоскости между Хан-Кале и Грозненской башней, конную партию в 20—25 человек чеченцев, стремительно несущихся с уступа на перерез пути колонны. Стремглав бросился я к авангарду и на-скаку слышал залп ружейных выстрелов, но, еще не достигнув пятой роты, за сотню шагов, увидел уже снятое с передков орудие и поднятый над ним пальник.

«Отставь, отставь,—там наши!» кричал я, что есть мочи, и к счастью успел остановить выстрел, уже направленный в горсть толпившихся на дороге всадников, между которыми, очевидно, попались и наши. Не успел 3-й взвод по приказанию моему броситься вперед и пробежать несколько шагов, как чеченцы пошли наутек степью к Аргуну, и тогда по ним вдогонку были пущены две гранаты. В ту же минуту от места схватки прискакал в колонну растерянный, бледный, как смерть, барон Розен, и почти вслед за ним прибежала без седока гнедая лошадь, по форменному седлу которой артиллеристы признали ее лошадью взводного офи-

---

[1]) Янжул. „История 20-й артиллерийской бригады".

[2]) Так как во время войны с горцами передвижение без сильного конвоя считалось очень опасным, то время от времени такие передвижения совершались под усиленной охраной войска и к этому передвижению приурочивались различные поручения и вообще всякаго рода поездки—и такие передвижения назывались „оказией".

нера. В это время из-за мелких по дороге кустов показался и сам артиллерийский прапорщик Щербачев. Молодой и краснощекий 19-тилетний юноша Щербачев, за несколько перед тем месяцев оставивший скамью артиллерийского училища, удивлявший всех своих здоровьем, необыкновенным телосложением и силой, в эту минуту поразил нас. Он шел медленными, но твердыми шагами, не хромая, не охая, и только, когда спокойно подошел к нам, мы увидали, как он дорого поплатился чеченцам. Кровь буквально ключом била из ран его в грудь и обе ноги пулями, в живот ружейной картечью и по шее шашечным ударом. В колонне не было ни доктора, ни фельдшера, пришлось работать ротным цирульникам, и один из них довольно быстро и ловко принялся за перевязку раненого. Между тем Розен, несколько оправившийся от первого испуга, сумел об'яснить, что они виятером поехали от оказии вперед, и что в минуту нападения горцев граф Лев Толстой, Павел Полторацкий и татарин Садо, вероятно, ускакали в Грозную, тогда как Щербачев и он повернули лошадей навстречу идущей колонне.—«Ваше благородие,—прервал артиллерийский солдат, лежащий на высоком возу сена,—там еще на дороге кто-то лежит, и сдается мне, что он шевелится». Я крикнул третьему взводу: «вперед, бегом», и сам бросился по дороге. В пятистах шагах от авангардного орудия лежал убитый знакомый нам вороной конь, а из-под него торчало изуродованное тело Павла [1]). Громко стонал он и отчаянным голосом просил освободить его от невыносимой тяжести трупа. Соскочив с лошади и бросив поводья казаку, я с необычайной силой, одним удачным взмахом, опрокинул труп безжизненной лошади и освободил страдальца, исходящего кровью. Все раны были нанесены ему холодным оружием, тремя ударами по голове и четырьмя по плечу. Последние были так жестоко сильны, что буквально разворотили на-двое правое плечо, раскрыв всю внутренность... Я послал казака с приказанием всей колонне подвинуться сюда, и здесь уже начались перевязки и приготовление носилок.

«Все описанное произошло в течение нескольких минут, давших, однако, возможность нам оказать первую помощь раненым, а грозненской кавалерии выскочить по тревоге из Грозной. Начальник гарнизона, рассмотрев с кургана спокойное положение колонны и уже скрывающихся на горизонте чеченцев, счел излишним за ними гнаться и вернул войска в крепость, но от них отделилось несколько всадников, которые понеслись к нам в колонну, стоявшую от Грозной не более четырех верст. Прискакавшие к нам были Нистолькорс и несколько кунаков его, мирных чеченцев грозненских аулов. Общими силами соорудив для раненых из солдатских шинелей носилки, мы уложили обоих и тронулись вперед. Нистолькорс сообщил нам, что граф Лев Толстой с татарином Садой, хотя и были очень ретиво преследуемы семью чеченцами, но, благодаря быстроте коней своих, оставив им в трофей одну седельную подушку, сами целы и невредимы достигли ворот крепости.

Все пятеро хотели поскорее приехать в Грозную и отделились еще у Ермоловского кургана. Маневр этот, увы, слишком известен на Кавказе! Кто из нас, обреченный на лихом коне двигаться шаг за шагом, в оказии с пехотной частью, не уезжал вперед? Это такой соблазн, что молодой и старый, вопреки строгому запрещению и преследованию начальством, частенько ему поддавался. И наши пять молодцов поступили так же. От'ехав от колонны на сотню шагов, они условились между собой, чтобы двое из них для освещения местности ехали бы по верхнему уступу, а остальные нижней дорогой. Только-что поднялись Толстой и Садо на гребень, как увидели от Хан-Кальского леса несущуюся прямо на них толпу конных чеченцев. Не успев, по расчету времени, безнаказанно спуститься обратно, Толстой сверху закричал товарищам о появлении неприятеля, а сам с Садо бросился в карьер по гребню уступа к крепости. Остальные внизу, не сразу поверив известию, и, конечно, не имея возможности сами увидеть горцев, несколько минут провели в бездействии, а когда уже чеченцы (из которых человек семь отделилось в погоню за Толстым с Садою) показались на уступе и ринулись вниз, то Розен, повернув лошадь, помчался

[1]) Павел Полторацкий, племянник рассказчика.

назад к колонне и счастливо достиг ее. За ним бросился и Щербачев, но казенная лошадь его скакала плохо, и чеченцы, нагнав его, ранили его и выбили из седла, после чего он пешком добрался до колонны. Хуже же всех оказалось положение Павла. Увидев чеченцев, он инстинктивно бросился вперед по направлению к Грозной, но, тотчас же сообразив, что молодая, изнеженная и черезчур раскормленная лошадь не выскочит в жаркий день до пяти верст, отделяющих его от крепости,—он круто повернул ее назад в ту самую минуту, когда толпа неприятеля уже спустилась с уступа на дорогу, и он, выхватив шашку наголо очертя голову (как выразился сам), хотел напролом прорваться в колонну. Но один из горцев верно направил винтовку и, выждав приближение Павла, почти в упор всадил пулю в лоб его вороному; он со всех ног повалился и прикрыл его собою. Чеченец с коня нагнулся к Павлу и, выхватив у него из рук в серебро оправленную шашку, стал тащить с него ножны, но при виде бежавшего на выручку 3-го взвода, он полоснул лежащего по голове шашкой и поскакал сам наутек. Его примеру один за другим последовали еще шесть горцев, нанесшие на всем скаку жестокие удары шашками по голове и открытому плечу Павла, который в недвижимом положении, под тяжестью трупа убитой лошади, истекал кровью до самой минуты моего появления» [1]).

Из воспоминаний Берса мы узнаем еще одну подробность этого дела, характеризующую Льва Николаевича.

«Мирный чеченец Садо, с которым ехал Л. Н-ч, был его большим другом. И незадолго перед тем они поменялись лошадьми. Садо купил молодую лошадь. Испытав ее, он предоставил ее своему другу Л. Н-чу, а сам пересел на его иноходца, который, как известно, не умеет скакать. В таком виде их и настигли чеченцы. Л. Н-ч, имея возможность ускакать на резвой лошади своего друга, не покинул его. Садо, подобно всем горцам, никогда не расставался с ружьем, но, как на беду, оно не было заряжено. Тем не менее он нацелил им на преследователей и, угрожая, покрикивал на них. Судя по действиям преследовавших, они намеревались взять в плен обоих, особенно Садо для мести, а потому не стреляли. Обстоятельство это спасло их. Они успели приблизиться к Грозной, где зоркий часовой издали заметил погоню и сделал тревогу. Выехавшие навстречу казаки принудили чеченцев прекратить преследование» [2]).

Этот эпизод послужил Льву Николаевичу основанием для его рассказа «Кавказский пленник».

Ни опасности боевой жизни, ни припадки кутежей и игры, врывавшиеся, как ураганы, в мирную жизнь Льва Николаевича, не останавливают его внутреннего развития, и вскоре после только-что описанного случая он записывает такие мысли-правила:

«Будь прям, хотя и резок, но откровенен со всеми, но не детски откровенен без необходимости». «Воздерживайся от вина и женщин».

«Наслаждения так мало, не ясно, а раскаяние так велико».

«Каждому делу, которое делаешь, предавайся вполне. При каждом сильном ощущении воздерживайся от движения, а обдумав раз, хотя бы и ошибочно, действуй решительно».

В половине июля 1853 года Лев Николаевич поехал в Пятигорск и, пробыв там до октября, опять возвратился в Старогладовскую.

Очевидно, однообразная служба начала ему сильно надоедать, и он с томлением ждал перемены в своем образе жизни.

Так он, между прочим, писал брату из Пятигорска 20 июля 1853 года:

«Я уже писал тебе, кажется, что я подал в отставку. Бог знает, однако, выйдет ли и когда она выйдет теперь, по случаю войны с Турцией. Это очень беспокоит меня, потому что я теперь уже так привык к счастливой мысли поселиться скоро в

---

[1]) Воспоминания В. А. Полторацкого „Истор. Вестник", июль 1893 г. Стр. 672.
[2]) С. А. Берс. „Воспоминания о гр. Л. Н. Толстом", стр. 9.

деревне, что вернуться опять в Старогладовскую и ожидать до бесконечности—так, как я ожидаю всего, касающегося моей службы,—очень неприятно».

Такое же настроение проглядывает и в его письме из Старогладовской, написанном в декабре 1853 года:

«Пожалуйста, о бумагах моих напиши поскорее. Это нужно. *Когда я приеду?* Знает один Бог, потому что вот уже год скоро, как я только о том и думаю, как бы положить в ножны свой меч, и не могу. Но так как я принужден воевать где бы то ни было, то нахожу более приятным воевать в Турции, чем здесь, о чем и просил князя Сергея Дмитриевича, который писал мне, что он уже писал своему брату, но, что будет, не знает.

«Во всяком случае к Новому году я ожидаю перемены в своем образе жизни, который, признаюсь, невыносимо надоел мне. Глупые офицеры, глупые разговоры, больше ничего. Хоть бы был один человек, с которым бы можно было поговорить от души. Тургенев прав, «что за ирония в-одиночку», сам становишься ощутительно глуп. Несмотря на то, что Николенька увез, Бог знает зачем, гончих собак (мы с Епишкой часто называем его «швиньей» за это), я по целым дням, с утра до вечера, хожу на охоту один с лягавой собакой. И это одно удовольствие, и не удовольствие, а одурманивающее средство. Измучаешься, проголодаешься и уснешь, как убитый,— и день прошел. Если будет случай, или сам будешь в Москве, то купи мне Диккенса («Давид Копперфильд») на английском языке и лексикон английский Садлера, который есть в моих книгах».

За это время Лев Николаевич пишет «Отрочество» и заканчивает рассказ «Записки маркера», который и отсылает в редакцию «Современника» с сознанием недовольства поспешностью в работе.

Одно из занятий его того времени было чтение биографии Шиллера.

Возвратившись из недолгой поездки в аул Хасаф-Юрт, Лев Николаевич записывает в своем дневнике:

Все молитвы, придуманные мною, я заменяю одним «Отче наш». Все просьбы, которые я могу делать Богу, гораздо выше и достойнее его выражаются словами: «Да будет воля Твоя, яко же на небеси и на земли».

Мы уже видели раньше, какие неприятности причиняла Льву Николаевичу неисправность его документов. Отметим еще одну неудачу, постигшую его на Кавказе, из-за этих бумаг.

Вот что он пишет тетушке Т. А. из Пятигорска, в июне 1852 года: „Je ne vous parlais pas de cela dans mon avant-dernière lettre pour ne pas répéter une chose également désagréable à vous et à moi; c'est que j'ai un gignon constant dans tout ce que j'entreprends. Pendant cette expédition, j'ai eu l'occasion d'être 2 fois présenté à la croix de st. Georges et je n'ai pas pu la recevoir à cause du retard de quelques jours de ce maudit papiers. J'ai été présenté pour la journée du 18 Février (ma fête), mais on a été obligé de refuser à cause du manque de ce papier. La liste des présentations, partie le 19, le 20 le papier, était arrivé. Je vous avoue franchement que de tous les honneurs militaires c'est cette seule petite croix que j'ai eu la vanité d'ambitionner, et que contretemps m'a causé un violent dépit, d'autant plus qu'il n'y a qu'une époque pour la recevoir et qu'à présent, pour moi elle est passeé“ [1]).

---

[1]) Я вам не говорил об этом в моем предпоследнем письме, чтобы не повторять вещи, одинаково неприятной для вас и для меня: то, что у меня постоянно является какая-то помеха во всем, что я предпринимаю. Во время этой экспедиции у меня был два раза случай быть представленным к георгиевскому кресту, и я не мог его получить по причине опоздания на несколько дней этой проклятой бумаги. Я был представлен за день 18 февраля (мои именины); но должны были отказать за отсутствием этой бумаги. Список представленных был отправлен 19-го, а 20-го пришла бумага. Я вам признаюсь откровенно, что из всех военных наград я имел тщеславие доби-

Еще два случая представились ему для получения георгиевского креста, и оба были неудачны.

Заимствую описание этих случаев из недавнего письма Л. Н-ча ко мне, в ответ на мой запрос ему по этому поводу.

Второй случай был, когда после движения 18 февраля в нашу батарею были присланы два креста, и я с удовольствием вспоминаю, что я—не сам, а по намеку милого Алексеева—согласился уступить крест ящичному рядовому Андрееву, старому добродушному солдату. Третий случай был, когда Левин, наш бригадный командир, посадил меня под арест за то, что я не был в карауле, и отказал Алексееву дать мне крест. Я был очень огорчен».

Так и не удалось Льву Николаевичу получить этого креста.

В заключение нашего описания кавказской жизни Льва Николаевича, приведем страничку из воспоминаний одного военного, Мих. Алекс. Янжула, служившего в 70-х годах в станице Страгладовской и заставшего еще там свежие следы пребывания Толстого:

«В 1871 году я был выпущен в офицеры в 20-ю артиллерийскую бригаду, в ту же батарею и станицу Старогладовскую, в которой 17 лет тому назад служил и жил граф Л. Н. Толстой. Станица Старогладовская с ее типичными миловидными мамучками и удалыми гребенскими казаками и с «командирским домом, окруженным высокими старыми тополями», описанными графом Толстым в его известной повести «Казаки», знакомы были мне в течение более двух десятков лет. В мое время в станице еще свежа была память о Льве Николаевиче (там все его так называли); там же указывали и старушку Марьяну (героиню повести) и несколько стариков казаков-охотников, которые лично знали Льва Николаевича и вместе с ним охотились на фазанов и кабанов, и один из них, как известно, в 1880-х годах ездил верхом из станицы в Ясную Поляну, чтобы повидать Льва Николаевича. В батарее я застал капитана Фролова (ныне умершего), который знал Льва Николаевича еще фейерверкером и говорил между прочим, что уже тогда граф обладал замечательной способностью рассказчика, увлекавшего всех своими разговорами» [1]).

Там же Янжул приводит краткую характеристику ближайшего начальника Льва Николаевича, его батарейного командира.

«Никита Петрович Алексеев, батарейный командир графа Льва Николаевича, был всеми любим и уважаем за свое добродушие. Он слыл ученым артиллеристом, универсантом, отличался крайней религиозностью, особенно любил бывать в церкви, где по целым часам простаивал на коленях, кладя земные поклоны. К этому нужно еще прибавить, что у Никиты Петровича недоставало одного уха, которое откусила ему однажды лошадь. К странностям Никиты Петровича нужно отнести и то еще, что он не мог спокойно видеть, когда офицеры пили водку, в особенности же, когда это делала молодежь. Между тем, по обычаю того доброго старого времени, все офицеры ежедневно обедали у батарейного командира. И тут Лев Николаевич нередко школьничал, делая вид, что он собирается пить водку. Тогда Никита Петрович серьезнейшим образом начинал убеждать его не делать этого и, по своему обыкновению, предлагал вместо водки конфеты».

Описание кавказской жизни Льва Николаевича было бы не полно, если бы мы не упомянули об его двух товарищах, Бульке и Мильтоне, двух собаках, историю которых он сам рассказал в своих «Книжках для чтения», изложив ее в целом ряде прелестных идиллических картин кавказской жизни, знакомых едва ли не каждому русскому школьнику.

Наконец пришел давно жданный приказ о производстве Льва Николаевича в офицеры.

ваться именно этого маленькаго крестика и что это препятствие доставило мне большое горе, тем более, что есть только одна эпоха в году для получения таких наград и что для меня эта эпоха прошла.

[1]) „К биографии Л. Н. Толстого". М. А. Янжул. „Русская Старина". Февраль 1900 г. Стр. 335.

13 января 1854 года он сдал в станице офицерский экзамен, бывший в то время пустой формальностью, и стал собираться в от'езд.

19-го января он выехал в Россию; 2-го февраля приехал в Ясную Поляну; на пути, длившемся по тогдашнему времени около двух недель, ему пришлось испытать сильную снежную метель, давшую ему, по всей вероятности, сюжет для его рассказа. Короткое время своего пребывания в России он провел в кругу своих братьев, тетки и друга Перфильева.

Его уже ждало назначение в Дунайскую армию, куда он вскоре и выехал, прибыв в Бухарест 14 марта 1854 года.

Закончив описание кавказского периода жизни Л. Н-ча, мы считаем нужным привести его теперешнее мнение об этом времени. Л. Н-ч с радостью вспоминает это время, считая его одним из лучших периодов его жизни, несмотря на все уклонения от смутно создаваемого им идеала. По мнению Л. Н-ча, последующая военная служба его, а особенно литературная деятельность была постепенным нравственным падением, и только возвратясь в деревню и отдавшись всецело школьным занятиям с крестьянскими детьми, он снова почувствовал возрождение и под'ем духа.

ГЛАВА VIII.

Дунай и Севастополь.

Прежде чем приступить к изложению этого периода, я считаю долгом сказать несколько слов о ходе политических событий, в связи с которыми происходили перемены и в жизни Л. Н-ча.

Шли последние годы царствования Николая. Напряжение власти достигло высшей степени, и угнетение народа и высшего общества уже вызывало глухой протест и в том и в другом. Как всегда бывает, правительство, инстинктивно чувствуя грозящую ему опастность, бросается полусознательно во внешние предприятия, разряжая потенциально накопленную энергию насилия в кровавой бойне послушного им стада солдат, все воспитание которых и заключается в том, чтобы уметь и хотеть стать поддержкой власти в трудные минуты ее преступной жизни. Народ и общество так же полусознательно бросается на такие бойни, как тоскующий человек ищет во всем безобразии опьянения утоления грызущей его тоски.

И вот Россия, разоренная и развращенная тиранством Николая I, об'являет войну Турции 4 ноября 1853 года. Первое время русские войска действуют успешно: они вступают в пределы Турции, занимают Молдавию, а черноморский флот под начальством славного Нахимова уничтожает турецкий флот при Синопе.

Тогда в эту войну вмешиваются европейские державы—Англия, Франция,—и начинается знаменитая Крымская кампания, завершившаяся беспримерной в истории геройской защитой Севастополя. И как всегда в таких случаях, на-ряду с шумными проявлениями внешней жизни, идет внутренняя работа в душевных недрах лучших людей, как среди народа, так и высшего общества, и проявляется в выработке новых идеалов и неизбежно, хотя и слабо, выражается в либеральных общественных реформах. Вот эти-то два явления—разряжение народной энергии в геройских военных подвигах и под'ем народного духа в раскрытии новых идеалов—и наложили свой отпечаток на современную этим явлениям творческую деятельность Толстого.

И так как эти два огромные явления тотчас же вступили в противоречие друг с другом, то эта творческая деятельность приняла форму высокой трагической поэзии, чем и отличаются его Севастопольские рассказы.

Л. Н-ч, как сказано было выше, повидавшись с своими родными, отправился сначала в Дунайскую армию.

По прибытии в Бухарест он пишет своей тетке Т. А. письмо, в виде дневника, в три приема, описывая кратко путешествие и первое впечатление приезда.

„13 Mars. De Koursk j'ai fait près de 2000 verstes au lieu de 1000 que je croyais et je suis allé par Poltawa, Balta, Kichineff et non pas Kieff ce qui aurait été un détour. Jusqu'au gouvernement de Cherson, j'ai eu un excellent traînage, mais là j'ai été obligé de jeter mon traînage et de faire 1000 verstes en перекладная par un chemin affreux jusqu'à la frontière et de la frontière jusqu'à Boukarest—c'est un chemin impossible à décrire, il faut en avoir goûté pour comprendre le plaisir de faire 1000 verstes en chariot plus petit et plus mauvais que ceux dans lesquels on transporte le fumier chez nous. Ne comprenant pas un mot du moldavan et ne trouvant personne qui comprenne le russe et avec cela payant pour 8 chévaux au lieu de 2, quoique mon voyage n'ait duré que 9 jours j'ai dépensé plus de 200 r. arg. et je suis arrivé presque malade de fatigue.

„17 Mars. Le prince [1]) n'était pas ici. Hier il vient d'arriver et je viens de chez lui. Il m'a reçu mieux que je ne croyais—en vrai parent. Il m'a embrassé, il m a engagé de venir dîner tous les jours chez lui et il veut me garder auprès de lui, mais ce n'est pas encore décidé.

„Pardon, chère tante, que je vous écris peu—je n'ai pas encore la tête à moi,—cette grande et belle ville, toutes ces présentations, l'opéra italien, le théâtre français, les 2 jeunes Gortchakoff qui sont de très braves garçons ..... de sorte que je ne suis pas resté 2 heures chez moi et je n'ai pas pensé à mes occupations.

„22 Mars. Hier j'ai appris que je ne reste pas auprès du prince, mais je vais à Oltenitza rejoindre ma batterie“ [2]).

Через два месяца он пишет снова уже под другим настроением:

„Tandis que vous me croyez exposé à tous les dangers de la guerre je n'ai pas encore senti la poudre turque, et je suis très tranquillement à Boucarest à me promener, à faire de la musique et à manger des glaces. En effet tout ce temps, excepté 2 semaines que j'ai passé à Oltenitza, où j'ai été attaché à une batterie et une semaine que j'ai passé en courses par la Moldavie, Valachie et Bessarabie par ordre du gén. Serjpoutovsky auprès duquel je suis à présent по особым поручениям, je suis resté à Boukarest et à vous avouer franchement, ce genre de vie un peu dissipé, tout à fait oisif et très couteux que je mène ici me déplait infiniment. Auparavant c'était le service qui m'y retenait, mais à présent j'y suis resté pendant près de 3 semaines à cause d'une fièvre que j'ai attrappée pen-

---

[1]) Князь Горчаков, командующий Дунайской армией.

[2]) 13 марта. Из Курска я сделал около 2000 верст вместо 1000, как я предполагал, и я поехал через Полтаву, Балту, Кишинев, а не через Киев, что было бы крюком. До Херсонской губернии был хороший санный путь, но там я должен был бросить сани и сделать 1000 верст на перекладных по ужасной дороге до границы и от границы до Бухареста. Это дорога, не поддающаяся описанию; надо ее попробовать, чтобы понять удовольствие сделать 1000 верст в тележке, меньшей нашей навозной. Не понимая ни слова по-молдавски и не находя никого, кто бы понимал по-русски, при этом платя за 8 лошадей вместо двух, хотя мое путешествие длилось только 9 дней, я истратил больше 200 рублей и приехал почти больной от усталости.

17 марта. Князя не было здесь. Вчера он только-что приехал, и я сейчас был у него. Он принял меня лучше, чем я думал, совсем по-родственному. Он обнял меня, пригласил меня каждый день приходить обедать к нему и хочет оставить меня при себе; хотя это еще не решено.

Простите, дорогая тетенька, что я вам пишу мало,—у меня еще голова не на месте. Этот большой, красивый город, все эти представления по начальству, итальянская опера, французский театр, два молодые Горчакова, славные малые.... одним словом, я 2-х часов не сидел дома и не думал о своих занятиях.

22 марта. Вчера я узнал, что я не остаюсь при князе, но отправляюсь в Ольтеницу к своей батарее.

dant mon voyage, mais dont Dieu merci je suis pour le moment assez rétabli pour rejoindre dans 2 ou 3 jours mon général qui est au camp près de Silistrie. A propos de mon général, il a l'air d'être un très brave homme et paraît quoique nous nous connaissons fort peu, être bien disposé à mon égard. Ce qui est encore agréable est que son état-major est composé pour la plupart de gens comme il faut. Les 2 fils du pr. Serge que j'ai trouvé ici sont de braves garçons, surtout le cadet, qui, quoique n'ayant pas à lui seul inventé la poudre a beaucoup de noblesse dans le caractère et un très bon coeur, je l'aime beaucoup" [1]).

Затем мы приводим письмо, которое хотя написано уже из Севастополя, но относится до дунайских событий. Как увидит читатель, письмо это адресовано Львом Н-чем сначала к тетушке Т. А., а потом к брату Николаю. По нашему мнению, письмо это должно составить страницу в истории России.

„Je vais vous parler donc du passé, de mes souvenirs de Silistria. J'y ai vu tant de choses intéressantes, poétiques et touchantes que le temps que j'y ai passé ne s'effaçera jamais de ma mémoire. Notre camp était disposé de l'autre coté du Danube, c. à. d. sur la rive droite sur un terrin très élevé au milieu de superbes jardins, appartenant à Mustafa Pasha — le gouverneur de Silistria. La vue de cet endroit est non seulement magnifique, mais pour nous tous de plus grand intérêt. Sans parler du Danube, de ses îles et de ses rivages, les uns occupés par nous, les autres par les Turcs, on voyait la ville, la forteresse, les petits forts de Silistria comme sur la main. On entendait les coups de canon, de fusils qui ne cessaient ni jour, ni nuit, et avec une lunette d'approche on pouvait distinguer les soldats turcs. Il est vrai que c'est un drôle de plaisir que de voir des gens s'entretuer et cependant tous les soirs et matins je me mettais sur ma повозка et je restais des heures entièrs à regarder et ce n'était pas moi le seul qui le faisait. Le spectacle était vraiment beau, surtout la nuit. Les nuits ordinairement nos soldats se mettent aux travaux des tranchées, et les Turcs se jettent sur eux pour les en empêcher, alors il fallait voir et entendre cette fusillade. La première nuit que j'ai passée au camp ce bruit terrible m'a réveillé et effrayé, je croyais qu'on est allé à l'assaut et j'ai bien vite fait seller mon cheval, mais ceux qui avaient déjà passé quelque temps au camp me dirent que je n'avais qu'a me tenir tranquille, que cette canonade et fusillade était une chose ordinaire et qu'on appela en plaisantant „Allah". Alors je me suis recouché, mais ne pouvant m'endormir, je me suis amusé, une montre à la main à compter les coups de canons que j'entendais et j'ai compté 110 explosions dans l'espace d'une minute. Et cependant tout ceci n'a eu de près l'air aussi effrayant que cela le paraît. La nuit, quand on n'y voyait rien, c'était à qui brûlerait le plus de poudre

[1]) Вы думаете, что я подвергаюсь всем опасностям войны, а я еще не нюхал пороху и спокойно гуляю по Бухаресту, занимаюсь музыкой и ем мороженое. В самом деле, все это время, за исключением двух недель, которые провел в Ольтенице, где я был прикомандирован к батарее, и одной недели, которую я провел в разъездах по Молдавии, Валахии и Бессарабии, по приказанию генерала Сержнутовскаго, при котором я состою теперь по особым поручениям, остальное время я оставался в Бухаресте, и должен вам откровенно сознаться, этот рассеянный образ жизни, совершенно праздный, очень дорого стоящий, который я веду здесь, мне очень не нравится. Сначала меня задерживала здесь служба, а теперь я остался здесь почти на три недели из-за лихорадки, которую я схватил в дороге, но от которой, благодаря Бога, я достаточно оправился, чтобы дня через 2 или 3 присоединиться к своему генералу, который в лагере под Силистрией. О моем генерале скажу, что он, повидимому, хороший человек и, кажется, хотя мы и мало знакомы, хорошо расположен ко мне. Что еще приятно, это то, что его штаб состоит большею частью из людей comme il faut; два сына князя Сергея (Горчаковы), которых я здесь встретил, славные малые, особенно младший, у котораго, хотя он и не выдумал пороха, много благородства в характере и прекрасное сердце. Я его очень люблю.

et avec ces milliers de coups de canons on tuait tout au plus une tsentaine d'hommes de part et d'autre.

„Vous me permettez, chère tante, de m'adresser dans cette lettre à Nicolas, car une fois que je me suis mis à donner des détails de la guerre, je voudrais continuer et m'adresser à un homme qui me comprenne, et vous puisse donner des explications sur ce qui vous paraît obscur.

„Ceci donc est un spectacle ordinaire que nous avions tous les jours et dans lesquels, quand on m'envoyait avec des ordres dans les tranchées, je prenais aussi ma part, mais nous avions aussi des spectacles extraordinaires, comme celui de la veille de l'assaut quand on a fait sauter une mine de 240 pouds de poudre sous l'un des bastions de l'ennemi. Le matin de cette journée le prince avait été aux tranchées avec tout son état-major (comme le général auprès duquel j'étais en fait partie, j'y ai aussi été) pour faire les dispositions définitives pour l'assaut du lendemain. Le plan trop long, pour que je puisse l'expliquer ici, était si bien fait, tout était si bien prévu que personne ne doutait de la réussite. A propos de cela il faut que je vous dise encore que je commence à avoir de l'admiration pour le prince (au reste il faut en entendre parler, parmi les officiers et les soldats, non seulement je n'ai jamais entendu dire du mal de lui, mais il est généralement adoré).

„Je l'ai vu au feu pour la première fois pendant cette matinée. Il faut voir cette figure un peu ridicule avec sa grande taille, ses mains derrière le dos, sa casquette en arrière, ses lunettes et sa manière de parler comme un dindon. On voit qu'il était tellement occupé de la marche générale des affaires que les balles et les boulets n'existaient pas pour lui; il s'expose au danger avec tant de simplicité, qu'on dirait qu'il n'en a pas l'idée et qu'involontairement on a plus peur pour lui que pour soi-même; et puis donnant ses ordres avec tant de clarté et de précision et avec cela toujours affable avec chacun. C'est un grand homme, c. à. d. un homme capable et honnête, comme je comprends ce mot, un homme qui s'est voué toute sa vie au service de sa patrie et pas par l'ambition, mais par le devoir. Je vais vous raconter un trait de lui qui se lie à l'histoire de cet assaut que j'ai commencé à raconter. L'après dîner du même jour on a fait sauter la mine et près de 600 pièces d'artillerie ont fait feu sur le fort, qu'on voulait prendre, et on continuait ce feu pendant toute la nuit, c'était un de ces coups d'oeil et une de ces émotions qu'on n'oublie jamais. Le soir de nouveau, le prince avec tout le tremblement est allé coucher aux tranchées pour diriger soi-même l'assaut qui devait commencer à 3 heures de la nuit même.

„Nous étions tous là et comme toujours à la veille d'une bataille, nous faisions tous semblant de ne plus penser à la journée de demain qu'à une journée ordinaire et tous, j'en suis sûr au fond du coeur, ressentaient un petit serrement de coeur et pas même un petit, mais un grand, à l'idée de l'assaut. Comme tu sais, Nicolas, que le temps qui précède une affaire est le temps le plus désagréable—c'est le seul où on a le temps d'avoir peur et la peur est un sentiment des plus désagréables. Vers le matin, plus le moment approchait, plus le sentiment diminuait et vers 3 heures, quand nous attendions tous à voir partir le bouquet de fusées qui était le signal de l'attaque—j'étais si bien disposé que si l'on était venu me dire que l'assaut n'aurait pas lieu, cela m'aurait fait beaucoup de peine. Et voilà que juste une heure avant le moment de l'assaut arrive un aide de camp du maréchal avec l'ordre d'ôter le siège de Silistrie Je puis dire sans craindre de me tromper que cette nouvelle a été reçue par tous—soldats, officiers et généraux—comme un vrai malheur, d'autant plus qu'on savait par les espions, qui nous venaient très souvent de Silistrie, et aves lesquels j'avais très souvent l'occasion de causer

moi-même, on savait que ce fort pris,—chose dont personne ne doutait,—Silistrie ne pouvait tenir plus de 2 ou 3 jours. N'est-ce pas que si cette nouvelle devait faire de la peine à quelqu'un ce devait être au prince qui pendant toute cette campagne ayant fait toute chose pour le mieux, au beau milieu de l'action vit venir le maréchal sur son dos pour gâter les affaires et puis ayant la seule chance de réparer nos revers par cet assaut, il reçoit le contre-ordre du maréchal au moment de le commencer. Eh bien le prince n'a pas eu un moment de mauvaise humeur, lui, qui est si impressionnable, au contraire, il a été content de pouvoir éviter cette boucherie, dont il devait porter la responsabilitré et tout le temps de la retraite, qu'il a dirigé lui-même, ne voulant passer qu'avec le dernier des soldats, qui s'est faite avec un ordre et une exactitude remarquables, il a été plus gai qu'il n'a jamais été. Ce qui contribuait beaucoup à sa bonne humeur, c'était l'émigration de près de 7000 familles bulgares, que nous prenions avec pour les sauver de la férocité des Turcs—férocité à laquelle malgré mon incrédulité, j'ai été obligé de croire. Dès que nous avons quitté des différents villages bulgares que nous occupions, les Turcs y sont revenus et excepté les femmes assez jeunes pour un harem, ils ont fait main basse sur tout ce qu'il y avait. Il y a un village dans lequel je suis allé du camp pour y prendre du lait et des fruits qui a été exterminé de la sorte. Alors, dès que le prince avait fait savoir aux Bulgares que ceux qui voulaient pouvaient avec l'armée passer le Danube et devenir sujets russes, tout le pays se soulève et tous avec leurs femmes, enfants, chevaux, bétails arrivent au pont,—mais comme il était impossible de les prendre tous, le prince a été obliger de refuser à ceux qui sont venus les derniers, et il fallait voir comme cela le chagrinait. Il recevait toutes les députations qui venaient de ces pauvres gens, il causait avec chacun d'eux, tâchait de leur expliquer l'impossibilité de la chose, leur proposait de passer sans leur chariots et leur bétail et en se chargeant de leurs moyen de subsistance jusqu'à ce qu'ils arrivassent en Russie, payant de sa propre bourse des vaisseaux particulièrs pour les transporter, en un mot faisant tout son possible pour faire de bien à ces gens.

„Oui, chère tante, je voudrais bien que votre prophetie se réalise. La chose que j'ambitionne le plus, est d'être l'aide de camp d'un homme comme lui que j'aime et que j'estime du plus profond de mon coeur. Adieu, chère et bonne tante, je baise vos mains“ [1]).

[1]) Итак, я буду вам говорить о прошлом, о моих воспоминаниях о Силистрии. Я видел там столько интереснаго, поэтическаго и трогательнаго, что время, проведенное мною там, никогда не изгладится из моей памяти. Наш лагерь был расположен по ту сторону Дуная, т.-е. на правом берегу, на возвышенном месте, среди превосходных садов, принадлежавших Мустафе-паше, губернатору Силистрии. Вид с этого места не только великолепен, но для всех нас большой важности. Не говоря уже о Дунае, об его островах и берегах, из которых одни были заняты нами, другие турками, с этой высоты были видны город, крепость, мелкие форты Силистрии как на ладони. Слышны были пушечные и ружейные выстрелы, не переставшие ни днем, ни ночью; с помощью зрительной трубы можно бы различать турецких солдат. Правда, что это странное удовольствие—смотреть, как люди убивают друг друга, но тем не менее всякий вечер и всякое утро я садился на свою повозку и целыми часами смотрел, и это делал не я один. Зрелище было поистине великолепно, особенно ночью. По ночам обыкновенно наши солдаты принимаются за траншейные работы, и турки бросаются на них, чтобы помешать им, и тогда надо видеть и слышать эту пальбу. Первую ночь, которую я провел в лагере, этот ужасный шум разбудил и напугал меня: я думал, что пошли на приступ, и поскорее велел оседлать мою лошадь, но те, кто провели в лагере уже несколько времени, сказали мне, что я могу быть спокоен, что эта канонада и ружейная пальба вещь обыкновенная, и это шутя называется „Аллах“. Тогда я снова лег спать, но, не будучи в состоянии заснуть, я забавлялся, с часами в руках, считая пушечные удары, и я насчитал 110 ударов в минуту. А между тем вблизи все это не было так страшно, как казалось. Ночью, когда ничего не видно, это был перевод пороха, и тысячами выстрелов убивали самое большее десятка три с каждой стороны.

Среди этих сильных и новых ощущений Л. Н-ч не покидает и своего постоянного занятия, внутренней работы над самим собой; работа эта отражается в записях его дневника.

«7-го июля: Скромности у меня нет. Вот мой большой недостаток. Что я такое? Один из четырех сыновей отставного подполковника, оставшийся с 7-милетнего возраста без родителей под опекой женщин и посторонних, не получивший ни светского, ни ученого образования и вышедший на волю 17-ти лет; без большого состояния, без всякого общественного положения и, главное, без правил, человек, расстроивший свои дела до последней крайности, без цели и наслаждения проведший лучшие годы своей жизни; наконец, изгнавший себя на Кавказ, чтобы бежать от долгов, а главное— привычек, а оттуда, придравшийся к каким-то связям, существовавшим между его отцом и командующим армией, перешедший в Дунайскую армию 26-ти лет прапорщиком почти без средств, кроме жалованья (потому что те средства, которые у него есть, он должен употреблять на уплату оставшихся долгов), без покровителей, без умения жить в свете, без знания службы, без практических способностей, но с огромным самолюбием. Да, вот мое общественное положение. Посмотрим, что такое моя личность.

«Я дурен собой, неловок, нечистоплотен и светски необразован. Я раздражителен, скучен для других, нескромен, нетерпим (intolérent) и стыдлив, как ребенок. Я почти невежда. Что я знаю, тому я выучился кое-как, сам, урывками, без связи, без толку и то так мало. Я невоздержан, нерешителен, непостоянен, глупо тщеславен и пылок, как все бесхарактерные люди. Я не храбр. Я не аккуратен в жизни и так ленив, что праздность сделалась для меня почти неодолимой привычкой.

Позвольте мне, дорогая тетенька, дальше в этом письме обращаться к Николеньке, так как раз уже я заговорил о подробностях войны, я хотел бы продолжать это, обращаясь к человеку, который бы меня понимал и мог объяснить вам то, что для вас будет неясно.

Итак, это было обыкновенным представлением, которое мы видели каждый день и в котором я принимал иногда участие, когда меня посылали с приказаниями в траншеи. Но бывали также и необыкновенные представления, как то, которое было накануне приступа, когда была взорвана мина в 240 пудов пороха под одним из неприятельских бастионов. Утром этого дня князь был на траншеях со всем своим штабом (так как генерал, при котором я состою, находился в его штабе, то я там был), чтобы делать окончательные распоряжения для штурма следующего дня. План штурма, слишком длинный, чтобы я мог здесь его объяснить, был так хорошо составлен, все было так хорошо предвидено, что никто не сомневался в успехе. По поводу этого я должен вам сказать, я начинаю восхищаться князем (впрочем, стоит только послушать, что говорят о нем офицеры и солдаты, я не только никогда не слыхал дурного про него, но его вообще обожают).

Я видел его под огнем в первый раз в это утро. Надо было видеть эту немного комичную фигуру высокаго роста, руки за спиной, фуражка на затылке, в очках, с говором, напоминающим индюка. Видно было, что он так был занят общим ходом дел, что пули и ядра не существуют для него; он выставляет себя на опасность с такой простотой, что можно подумать, что он и не знает о ней, и невольно боишься за него больше, чем за себя. И вместе с тем он дает приказания с необыкновенной ясностью и точностью и в то же время внимателен со всяким. Это большой человек, т.-е. человек способный и честный, как я понимаю это слово, человек, который всю жизнь отдал на служение родине, и не ради тщеславия, а ради долга. Я вам расскажу одну черту его характера, которая связана с историей штурма, о котором я начал рассказывать. После обеда того же дня взорвали мину, и около 600 орудий открыли огонь против форта, который хотели взять, и этот огонь продолжался всю ночь. Это зрелище и эти чувства никогда не забудешь. Вечером со всей своей свитой князь снова явился, чтобы залечь в траншеи и самому руководить штурмом, который должен был начаться в три часа ночи.

Мы были все там же, и, как всегда накануне сражения, все мы делали вид, что о следующем дне мы не думаем больше, чем о самом обыкновенном, и у всех, я в этом уверен, в глубине души немного, а может-быть даже очень, сжималось сердце при мысли о штурме. Как ты знаешь, Николенька, время, предшедствующее делу,— самое неприятное, единственное, когда есть время бояться, а боязнь—одно из самых неприятных чувств. К утру, чем ближе подходил решительный момент, тем меньше становилось чувство страха, и около 3-х часов, когда мы все ожидали увидеть букет пущенных ракет, что было сигналом атаки, я пришел в такое хорошее настроение,

«Я умен, но ум мой еще ни на чем не был основательно испытан. У меня нет ни ума практического, ни ума светского, ни ума делового.

«Я честен, то-есть я люблю добро, сделал привычку любить его; и когда отклоняюсь от него, бываю недоволен собой и возвращаюсь к нему с удовольствием, но есть вещи, которые я люблю больше добра,—славу. Я так честолюбив и так мало чувство это было удовлетворено, что часто, боюсь, я могу выбрать между славой и добродетелью—первую, ежели бы мне пришлось выбирать из них.

«Да, я не скромен, оттого-то я горд в самом себе, а стыдлив и робок в свете»[1]).

Порой его охватывало поэтическое настроение, и он набрасывал художественные картинки.

Он остановился по делу службы в одном маленьком румынском городке, и там вечером он испытал чудное настроение, вылившееся у него в такой записи дневника:

«После обеда я облокотился на балкон и глядел на свой любимый фонарь, который так славно светит сквозь дерево. Притом же, после нескольких грозовых туч, которые проходили и мочили ныне землю, осталась одна большая, закрывавшая всю южную часть неба, и какая-то приятная легкость и влажность в воздухе. Хозяйская хорошенькая дочка, так же, как я, лежала в своем окне, облокотившись на локти. По улице прошла шарманка, и когда звуки доброго старинного вальса, удаляясь все больше и больше, стихли совершенно, девочка до глубины души вздохнула, приподнялась и быстро отошла от окошка. Мне стало так грустно-хорошо, что я невольно улыбнулся и долго еще смотрел на свой фонарь, свет которого заслоняли иногда качаемые ветром ветви дерева, на дерево, на забор, на небо, и все это мне казалось еще лучше, чем прежде» [2]).

что если бы пришли и сказали мне, что штурма не будет, мне было бы жалко. И вот ровно за час до начала штурма приезжает адъютант фельдмаршала с приказанием снять осаду Силистрии. Я могу, не боясь обмануться, сказать, что это известие было принято всеми – солдатами, офицерами и генералами, как истинное несчастие, тем более, что знали через лазутчиков, которые часто приходили из Силистрии и с которыми мне часто приходилось самому разговаривать, знали, что, когда будет взят этот форт, в чем никто не сомневался, Силистрия не могла бы держаться более 2-х, 3-х дней. Не правда ли, что если кому-нибудь это известие могло доставить горе, так это князю, который во всю эту кампанию, стараясь все делать к лучшему, в средине своей деятельности видит, что фельдмаршал вмешивается в его дела, чтобы все испортить. Имея единственную возможность загладить этим штурмом прежние неудачи, он получает отмену в момент начала этого дела. И вот князь ни на минуту не смутился, он, такой впечатлительный, напротив, был доволен, что мог избежать этой резни, которая лежала бы на его ответственности и во все время отступления, которым он руководил сам, желая уйти с последним солдатом, и которое было произведено в замечательном порядке и точности, — в этом отступлении он был веселее, чем когда-либо. Что много содействовало его хорошему расположению духа—это эмиграция около семи тысяч семейств болгар, которых мы взяли с собой, чтобы их спасти от зверства турок, зверства, которому я несмотря на свою недоверчивость, должен был поверить. Как только мы оставили несколько болгарских деревень, которые занимали раньше, турки пришли туда и, исключая молодых женщин, годных для гарема, уничтожили все, что там было. Одна деревня, в которую я ходил из лагеря за молоком и фруктами, была таким образом разорена. И вот, как только князь дал знать болгарам, что кто желает —может перейти с армией через Дунай и стать русскими подданными, весь край поднимается, и все с женами, детьми, лошадьми, скотиной подъезжают к мосту. Но так как было невозможно взять их всех, князь был принужден отказать пришедшим последними, и надо было видеть, как это было ему тяжело. Он принимал все депутации, которые приходили от этих несчастных, разговаривал с каждой из них, старался объяснить им невозможность этого, предлагал переправиться без повозок и скотины, беря на себя заботу об их пропитании, пока они не приедут в Россию, платя из собственных средств за частные суда для их перевоза, — одним словом, делая все, что возможно, для блага этих людей.

Да, дорогая тетенька, я желал бы очень, чтобы ваше пророчество сбылось. О чем я больше всего мечтаю, это быть адъютантом такого человека, как он, которого я люблю и уважаю от всей глубины моего сердца. Прощайте, дорогая и добрая тетенька, целую ваши ручки.

[1]) Архив Исторического музея.

[2]) Там же.

Неудачный дунайский поход, отступление войска, скучная штабная жизнь—все это далеко не удовлетворяло Льва Николаевича; он искал более сильной деятельности, более сильных ощущений и перепросился в крымскую армию.

20-го июля, после отступления из-под Силистрии, он уезжает в Крым. Дорога его пролегает через города Текучи, Берладъ, Яссы, Херсон, Одессу, Севастополь, куда он прибывает 7-го ноября 1854 года. По дороге он хворает и лежит в больнице, чем и об'ясняется такой долгий путь.

По прибытии в Севастополь он был прикомандирован к 3-й легкой батарее 14-й артиллерийской бригады.

Здесь его охватывает такая масса новых впечатлений, что он сам не скоро может справиться с ними и, наконец, через две недели, 20-го ноября, пишет брату Сергею:

«Любезный друг Сережа, я, Бог знает, как виноват перед всеми вами с самого начала своего от'езда, и отчего это случилось, сам не знаю; то рассеянная жизнь, то скучное положение и расположение, то война, то кто-нибудь помешает и т. д. и т. д. Главная же причина—рассеянная и обильная впечатлениями жизнь. Столько я переузнал, переиспытал, перечувствовал в этот год, что решительно не знаешь, с чего начать описывать, да и сумеешь ли описать, как хочется. Ведь я тетеньке написал про Силистрию, а тебе и Николеньке я не напишу так,—я бы хотел вам передать так, чтобы вы меня поняли, как я хочу. Теперь Силистрия — старая песнь, теперь Севастополь, про который, я думаю, и вы читаете с замиранием сердца, и в котором я был 4 дня тому назад. Ну, как тебе рассказать все, что я там видел, и где я был, и что делал, и что говорят пленные и раненые французы и англичане и *больно ли им и очень ли больно*, и какие герои наши враги, особенно англичане. Рассказывать все это будем в Ясной после или в Пирогове; а про многое ты от меня же узнаешь в печати. Каким это образом, расскажу после, теперь же дам тебе понятие о том, в каком положении наши дела в Севастополе. Город осажден с одной стороны, с южной, на которой у нас не было никаких укреплений, когда неприятель подошел к нему. Теперь у нас на этой стороне более 500 орудий огромного калибра и несколько рядов земляных укреплений, решительно неприступных. Я провел неделю в крепости и до последнего дня блудил, как в лесу, между этими лабиринтами батарей. Неприятель уже более трех недель подошел в одном месте на 80 сажен и не идет вперед; при малейшем движении его вперед его засыпают градом снарядов.

«Дух в войсках выше всякого описания. Во времена древней Греции не было столько геройства. Корнилов, об'езжая войска, вместо: «здорово, ребята!» говорил: «нужно умирать, ребята, умрете?» и войска кричали: «умрем, ваше превосходительство, ура!» И это был не эффект, а на лице каждого видно было, что не шутя, а *взаправду*, и уж 22.000 исполнили это обещание.

«Раненый солдат, почти умирающий, рассказывал мне, как они брали 24-ю французскую батарею, и их не подкрепили; он плакал навзрыд. Рота моряков чуть не взбунтовалась за то, что их хотели сменить с батареи, на которой они простояли 30 дней под бомбами. Солдаты вырывают трубки из бомб. Женщины носят воду на бастионы для солдат. Многие убиты и ранены. Священники с крестами ходят на бастионы и под огнем читают молитвы. В одной бригаде, 24-го, было 160 человек, которые раненые не вышли из фронта. Чудное время! Теперь, впрочем, после 24-го, мы поуспокоились,—в Севастополе стало прекрасно. Неприятель почти не стреляет, и все убеждены, что он не возьмет города, и это действительно невозможно. Есть три предположения: или он пойдет на приступ, или занимает нас фальшивыми работами, или укрепляется, чтобы зимовать. Первое менее, а второе более всего вероятно. Мне не удалось ни одного раза быть в деле; но я благодарю Бога за то, что я видел этих людей и живу в это славное время. Бомбардирование 5 числа остается самым блестящим, славным подвигом не только в русской, но во всемирной истории. Более 1500 орудий два дня действовали по городу, и не только не дали сдаться ему, но не заставили замолчать и $^1/_{200}$ наших батарей. Ежели, как мне кажется, в России невыгодно смотрят на эту кампанию, то потомство поставит ее выше всех других:

не забудь, что мы с равными, даже меньшими силами, с одними штыками и с худшими войсками в русской армии (как 6-й корпус) деремся с неприятелем многочисленнейшим и имеющим флот, вооруженным 3000 орудиями, отлично вооруженным штуцерами, и с лучшими его войсками. Уж я не говорю о преимуществе его генералов.

«Только наше войско может стоять и побеждать (мы еще победим, в этом я убежден) при таких условиях. Надо видеть пленных французов и англичан (особенно последних): это молодец к молодцу, именно морально и физически, *народ бравый*. Казаки говорят, что даже рубить жалко; и рядом с ними надо видеть нашего какого-нибудь егеря: маленький, вшивый, сморщенный какой-то.

«Теперь расскажу, каким образом ты в печати будешь от меня же узнавать о подвигах этих вшивых и сморщенных героев. В нашем артиллерийском штабе, состоящем, как, кажется, я писал вам, из людей очень хороших и порядочных, родилась мысль издавать военный журнал, с целью поддерживать хороший дух в войске, журнал дешевый (по 3 р.) и популярный, чтобы его читали солдаты. Мы написали проект журнала и представили его князю. Ему очень понравилась эта мысль, и он представил проект и пробный листок, который мы тоже составили, на разрешение государя. Деньги на издание авансируем я и Столыпин. Я избран редактором вместе с одним господином Константиновым, который издавал «Кавказ» и человек опытный в этом деле. В журнале будут помещаться описания сражений, не такие сухие и лживые, как в других журналах. Подвиги храбрости, биографии и некрологи хороших людей и преимущественно из темненьких; военные рассказы, солдатские песни, популярные статьи об инженерном и артиллерийском искусстве и т. д. Штука эта мне очень нравится: во-первых, я люблю это занятие, а во-вторых, надеюсь, что журнал будет полезный и не совсем скверный.—Все это еще предположения до тех пор, пока не узнаем ответа государя, а я, признаюсь, боюсь за него: в пробном листке, который послан в Петербург мы неосторожно поместили две статьи, одна моя, другая Ростовцева, не совсем *православные*. Для этой же штуки мне нужно 1500 р., которые лежат в приказе и которые я просил Валерьяна [1]) прислать мне. Так как я уже проболтался тебе об этом, то передай и ему.

«Я, слава Богу, здоров, живу весело и приятно с тех самых пор, как приехал из-за границы. Вообще все мое пребывание в армии разделяется на два периода: за границей скверный,—я был и болен, и беден, и одинок,—в границах приятный: я здоров, имею хороших приятелей, но все-таки беден, деньги так и лезут.

«Писать не пишу, но зато испытываю, как меня дразнит тетенька. Одно беспокоит меня: я четвертый год живу без женского общества, я могу совсем загрубеть и не быть способным к семейной жизни, которую я так люблю.

«Прощай же, Бог знает, когда мы увидимся, ежели вы с Николенькой не вздумаете отъезжим полем завернуть как-нибудь из Тамбова в главную квартиру».

Я привел целиком это замечательное письмо, показывающее, как молод душой был в то время Л. Н-ч, как он был способен увлекаться и как это увлечение затемняло ему ясное представление о всем совершавшемся вокруг него. Тем с большей силой выступают на этом фоне проблески ясного сознания и пророческого вдохновения.

Очевидно, что, несмотря на силу внешних впечатлений, они не заполняли собой всей души Льва Николаевича, и в уединении, за писанием своего дневника, быть-может в блиндаже 4-го бастиона, он оставался тем же ищущим и стремящимся к идеалу, каким был всегда и есть теперь.

Тогдашнее душевное настроение его вылилось в поэтическую форму и записано в дневнике:

„Когда же, когда, наконец, перестану
Без цели и страсти свой век проводить,
И в сердце глубокую чувствовать рану,
И средства не знать, как ее заживить?

[1]) Муж сестры Л. Н-ча.

Четыре брата Толстых в 1854 году: Сергей, Николай, Дмитрий, Лев.

Кто сделал ту рану? лишь ведает Бог,
Но мучит меня от рожденья
Грядущей ничтожности горький залог,
Томящая грусть и сомненья".

23-го ноября он переезжает в Симферополь.

6-го января 1855 года он пишет тетушке Т. А. успокоительное письмо:

„Je n'ai pas pris part aux deux sanglantes batailles qui ont eu lieu en Crimée, mais j'ai été à Sébastopol tout de suite après celle du 24 et j'y ai passé un mois. On ne se bat plus en rase campagne à cause de l'hiver qui est extraordinairement rigoureux, surtout à présent; mais le siège dure toujours. Quelle sera l'issue de cette campagne, Dieu seul le sait; mais dans tous les cas la campagne de Crimée, de manière ou d'autre, doit finir dans 3 ou 4 mois. Mais hélas! la fin de la campagne de Crimée ne veut pas dire la fin de guerre, il parait au contraire qu'elle durera bien longtemps. J'avais parlé dans mes lettres à Serge et à Valérien, je crois, d'une occupation que j'avais en vue et qui me souriait beaucoup, à présent que la chose est décidée, je puis le dire. J'avais l'idée de fonder un journal militaire. Ce projet auquel j'ai travaillé avec le concours de beaucoup de gens très distingués fut approuvé par le prince et envoyé à la décision de sa Majesté, mais comme chez nous on intrigue contre tout, il s'est trouvé des gens qui craignaient la concurrence de ce journal et puis peut-être que l'idée de ce journal n'était pas dans les vues du gouvernement—l'empereur a refusé.

„Cette déconfiture, je vous l'avoue, m'a fait une peine infinie et a beaucoup changé mes plans. Si Dieu veut que la campagne de Crimée finisse bien et si je ne reçois pas une place, dont je sois content et qu'il n'y ait pas de guerre en Russie, je quitterai l'armée pour aller à Petersbourg à l'académie militaire. Ce plan m'est venu 1° parce que je voudrais ne pas abandonner la littérature dont il m'est impossible de m'occuper dans cette vie de camp, et 2° parce qu'il me paraît que je commence à devenir ambitieux, pas ambitieux, mais je voudrais faire du bien et pour le faire il faut être plus qu'un подпоручик, 3° parce que je vous verrai tous et tous mes amis. Nicolas m'écrit que Tourguenieff a fait la connaissance de Marie; je suis enchanté de cela, si vous le voyez chez eux, dites à Varinka que je la charge d'embrasser de ma part et de lui dire que quoique je ne le connaisse que par écrit; j'aurais eu une quantité de choses à lui dire" [1]).

---

[1]) Я не принимал участия в двух кровавых сражениях, бывших в Крыму, но я был в Севастополе тотчас после сражения 24 и провел там месяц. Больше не дерутся в открытом поле по причине зимы, которая очень сурова, особенно теперь, но осада продолжается. Каков будет исход этой войны, один Бог знает, но, во всяком случае, Крымская кампания должна кончиться так или иначе через 3 или 4 месяца. Но увы! конец Крымской кампании не означает конца войны; напротив, кажется, что она затянется надолго.

Я говорил в моих письмах к Сереже и, кажется, Валерьяну об одном занятии, которое у меня было в виду и которое мне очень улыбалось; теперь, когда это уже дело решеное, я могу сказать. У меня была мысль создать военный журнал. Этот проект, над которым я работал в сотрудничестве со многими выдающимися людьми, был одобрен князем и был послан на усмотрение его величества; но так как у нас против всего интригуют, нашлись люди, которые побоялись конкуренции этого журнала; быть-может, также идея этого журнала не была в видах правительства,—и государь отказал.

Эта неудача, признаюсь вам, мне доставила большое горе и много изменила мои планы. Если, Бог даст, Крымская кампания хорошо окончится и если я не получу место, которым бы я был доволен, и если не будет войны в России, я покидаю армию и еду в Петербург в военную академию. Этот план пришел мне в голову, во-1-х, потому, что я бы не хотел бросать литературу, которою мне невозможно заниматься в этой лагерной жизни, во-вторых, потому, что мне кажется, что я становлюсь тщеславен, не то что тщеславен, но мне хочется делать хорошее, а для этого надо быть больше чем подпоручиком. В-третьих, потому, что тогда я увижу всех вас, и всех

Последующая жизнь прекрасно передана Львом Николаевичем в письме к брату, написанном уже в мае 1855 года, где он дает хронологический перечень фактов своей военной жизни за последнюю зиму 54—55 года.

«Хотя ты, верно, знаешь через наших, где и что я делал, повторяю тебе свои похождения с Кишинева, тем более, что, может-быть, для тебя будет интересно же, как я их рассказываю, и поэтому ты узнаешь, в какой я фазе нахожусь—так как уж, видно, моя судьба всегда находиться в какой-нибудь фазе. Из Кишинева 1-го ноября я просился в Крым отчасти для того, чтобы видеть эту войну, отчасти для того, чтобы вырваться из штаба Сержпутовского, который мне не нравился, а больше всего из патриотизма, который в то время, признаюсь, сильно напал на меня. Я никуда не просился, а предоставил начальству распоряжаться моей судьбой. В Крыму прикомандировали к батарее в самый Севастополь, где я пробыл месяц весьма приятно, в кругу простых, добрых товарищей, которые бывают особенно хороши во время настоящей войны и опасности. В декабре нашу батарею отвели к Симферополю, и там я прожил 1½ месяца в удобном помещичьем доме, ездил в Симферополь танцовать и играть на фортепиано с барышнями и охотиться на Чатырдаге с чиновниками за дикими козами. В январе опять была тасовка офицеров, и меня перевели в батарею, которая стояла лагерем в 10 верстах от Севастополя на Бельбеке. Там j'ai fait la connaissance de la mère de Кузьма [1])—самый гадкий кружок офицеров в батарее, командир, хотя и доброе, но сильное и грубое создание. никаких удобств, холод в землянках. Ни одной книги, ни одного человека, с которым бы можно поговорить. И тут-то я получил 1500 рублей на журнал, который уже был отказан, и тут-то я проиграл 2500 рублей и тем доказал всему миру, что я все-таки *пустяшный малый,* хотя предыдущие обстоятельства и могут быть приняты comme circonstances atténuantes [2]), все-таки очень, очень скверно. В марте стало теплее, и приехал в батарею милый, отличнейший человек Бреневский; я стал оживляться, а 1-го апреля батарея во время самого бомбардирования пошла в Севастополь, и я совсем опомнился. Там до 15 мая, хотя и в серьезной опасности, т.-е. по 4 дня через 8 дежурным на батарее 4-го бастиона, но весна и погода отличные; впечатлений и народа пропасть, все удобства жизни, и нас собрался прекрасный кружок порядочных людей, так что эти полтора месяца останутся одним из самых моих приятных воспоминаний. 15-го мая Горчакову или начальнику артиллерии вздумалось поручить мне сформировать и командовать горным взводом в Бельбеке—20 верст от Севастополя, чем я чрезвычайно до сих пор доволен во многих отношениях [3]). Вот тебе общее описание; в следующем письме напишу подробнее о настоящем».

К этому краткому описанию мы можем прибавить, что шуточный тон письма не соответствует тем серьезным мыслям и чувствам, которые волновали Льва Николаевича за это время.

В его дневнике от 5-го марта 1855 года записано следующее пророчество о самом себе:

«Разговор о божестве и вере навел меня на великую, громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта—основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле. Привести эту мысль в

моих друзей. Николенька пишет мне, что Тургенев познакомился с Машенькой, я от этого в восторге; если вы его увидите у них, скажите Вареньке, что поручаю ей обнять его от меня и сказать ему, что хотя я его знаю только по его писаньям, у меня было бы многое, что ему сказать.

[1]) Я познакомился с матерью Кузьмы (Кузькиной матерью).

[2]) Как смягчающие вину обстоятельства.

[3]) Этот перевод Л. Н-ча на Бельбек был произведен по распоряжению государя Александра II, прочитавшего в корректуре рассказ Л. Н-ча „Севастополь в декабре 1854 г.“. Рассказ этот произвел сильное впечатление на государя, и он приказал беречь молодого офицера и удалить его из опасного места.

Прим. П. Б.

исполнение, я понимаю, что могут только поколения, сознательно работающие к этой цели. Одно поколение будет завещать мысль эту следующему, и когда-нибудь фанатизм или разум приведут ее в исполнение. Действовать *сознательно* к соединению людей религией—вот основание мысли, которая, надеюсь, увлечет меня».

Конечно, человеку, написавшему эти строки пятьдесят лет тому назад и впоследствии с такою силою и твердостью положившему основание для осуществления этой идеи,—такому человеку было место не в артиллерии.

Он это смутно чувствовал, и в его записках время от времени прорывается сознание того, что он создан не для военной, а для литературной карьеры.

И он все это время не оставляет своей литературной деятельности.

Еще по дороге из Румынии в Севастополь он кончает «Рубку леса», затем еще в Севастополе начинает писать «Юность» и пишет Севастопольские рассказы.

С 11 по 14 апреля он проводит на 4-м бастионе. Сознание опасности вызывает в нем под'ем духа, и он обращается к Богу с такой молитвой: «Боже, благодарю Тебя за Твое постоянное покровительство мне. Как верно ведешь Ты меня к добру! И каким бы я был ничтожным созданием, ежели бы Ты оставил меня! Не оставь меня, Боже, напутствуй меня, и не для удовлетворения моих ничтожных стремлений, а для достижения вечной и великой, неведомой, не сознаваемой мною цели бытия».

4-го августа 1855 года Лев Николаевич принимал, хотя и косвенное, участие в сражении при Черной речке. Он спешит успокоить своих родных и в письме к брату от 7-го августа 1855 года, между прочим, пишет:

«Пишу тебе несколько строк, чтобы успокоить за себя по случаю сражения 4-го, в котором я был и остался цел; впрочем, я ничего не делал, потому что моей горной артиллерии не пришлось стрелять».

В то же время, как видно из переписки Л. Н-ча с Некрасовым, он следил за русской литературой и деятельно поддерживал редакцию «Современника», собирая в Севастополе кружок сотрудников. Вот что он пишет Некрасову 30 апреля 1855 г. из Севастополя:

«Милостивый государь, Николай Алексеевич!

Вы уже должны были получить статью мою: «Севастополь в декабре» и обещание статьи Столыпина. Вот она. Несмотря на дикую орфографию этой рукописи, которую вы уже сами распорядитесь исправить, ежели она будет напечатана без цензурных вырезок, чего старался всеми силами избежать автор. Вы согласитесь, я надеюсь, что статей таких военных или очень мало или вовсе не печатается у нас, к несчастью. Может-быть, с этим же курьером пошлется статья Сакена, о которой ничего не говорю и которую, надеюсь, вы не напечатаете. Поправки в статье Столыпина сделаны черными чернилами Хрулевым левой рукой, потому что правая ранена. Столыпин просит поместить их в выносках. Пожалуйста, если можно, поместите как мою, так и столыпинскую в июльской книжке. Теперь мы все собрались, и литературное общество падшего журнала начинает организовываться, и, как я вам писал, ежемесячно вы будете получать от меня 2, 3 или 4 статьи современного военного содержания. Лучшие два сотрудника, Бакунин и Ростовцев, еще не успели кончить своих статей. Будьте так добры, отвечайте мне и пишите вообще с этим курьером, ад'ютантом Горчакова, и с будущими, которые беспрестанно снуют от вас и сюда» [1]).

15-го июня он получил в Бахчисарае письмо от Панаева и книжку «Современника» с напечатанным рассказом: «Севастополь в декабре». Из письма он узнал, что его рассказ читал государь.

Очевидно, рассказ этот произвел на государя сильное впечатление, так как он приказал перевести его на французский язык. В июне же Л. Н-ч кончил рассказ «Рубка леса» и отослал его в «Современник».

---

[1]) Литературныя воспоминания Ив. Ив. Панаева с прилож. писем: „Письма Л. Н. Толстого к Н. А. Некрасову". Стр. 414.

В июле Л. Н-ч заканчивает новый рассказ «Севастополь в мае» и отсылает в редакцию.

С этим рассказом произошло следующее, о чем пишет Панаев Толстому из Петербурга.

«В письме моем к вам, через Столыпина доставленном, я писал к вам, что статья ваша пропущена цензурой с незначительными изменениями, и просил вас не сердиться на меня за то, что надо было прибавить несколько слов в конце для смягчения выражения... Статья Ночь в Севастополе [1]) была уже совсем отпечатана в 3.000 экземпляров, как вдруг цензор потребовал ее из типографии, остановив выход номера (августовская книжка явилась поэтому в Петербурге 18 авг.) и в отсутствие мое из Петербурга (я на несколько дней ездил в Москву) представил ее на прочтение председателю цензурного комитета—известному вам по Казани—Пушкину. Если вы знаете Пушкина, вы можете отчасти вообразить, что последовало. Пушкин пришел в ярость, напал на цензора и на меня за то, что представляю в цензуру такие статьи, и собственноручно переделал ее. Я между тем вернулся в Петербург и, увидав эту переделку, пришел в ужас—и статью вовсе хотел не печатать, но Пушкин в об'яснении со мною сказал, что я обязан напечатать так, как она переделана. Делать было нечего—и статья ваша изуродованная появится в сентябрьской книжке, но без букв Л. Н. Т., которые я уже не мог видеть под ней после этого. Но статья все же была так хороша, что, даже после совершенного уничтожения ее цензурою, я давал ее читать Милютину, Краснокутскому и др. Всем она нравится очень, и Милютин писал мне, что грех, если я лишу читателей этой статьи и не напечатаю ее даже в таком виде.

«Не вините же меня во всяком случае за то, что статья ваша напечатана в таком виде. Я вынужден был это сделать. Если Бог приведет нам когда-нибудь свидеться (чего я очень желаю), я об'ясню вам эту историю яснее. Теперь я скажу вам два слова о впечатлении, которое ваш рассказ («Ночь») производит вообще в его первобытном виде на нас, на всех, которым я читал его... О цензуре тут речи нет.

«Все находят этот рассказ сильнее первого по тонкому и глубокому анализу внутренних движений и ощущений в людях, у которых беспрестанно смерть на носу; по той верности, с которою схвачены типы армейских офицеров, столкновения их с аристократами и взаимные их отношения друг к другу,—словом, все превосходно, все очерчено мастерски; но все до такой степени облито горечью, все так резко и ядовито, беспощадно и безотрадно, что в настоящую минуту,—когда место действия рассказа—чуть не святыня, больно для людей, которые в отдалении от этого,—рассказ мог бы произвести даже весьма неприятное впечатление.

«Рубка леса с посвящением Тургеневу появится также в сентябре (Тургенев просил меня очень, очень благодарить вас за память о нем и внимание к нему)... И в этом рассказе, прошедшем сквозь три цензуры: кавказскую (цензор статс-секретарь Бутков), военную (генерал-майор Стефен) и гражданскую нашу (мой цензор и Пушкин), тронуты типы офицеров и кое-что повыкинуто, к сожалению».

В сентябре Некрасов писал Толстому:

«Милостивый государь, Лев Николаевич!

Я прибыл в Петербург в половине августа, на самые плачевные для «Современника» обстоятельства. Возмутительное безобразие, в которое приведена ваша статья, испортило во мне последнюю кровь. До сей поры не могу думать об этом без тоски и бешенства. Труд-то ваш, конечно, не пропадет... Он всегда будет свидетельствовать о силе, сохранившей способность к такой глубокой и трезвой правде среди обстоятельств, в которых не всякий бы сохранил ее. Не хочу говорить, как высоко я ставлю эту статью и вообще направление вашего таланта и то, чем он вообще

[1]) Так назывался тогда рассказ „Севастополь в мае".

силен и нов. Это именно то, что нужно теперь русскому обществу: правда, правда, которой со смертью Гоголя так мало осталось в русской литературе. Вы правы, дорожа всего более этою стороною в вашем даровании. Эта правда, в том виде, в каком вносите вы ее в нашу литературу, есть нечто у нас совершенно новое. Я не знаю писателя теперь, который бы так заставлял любить себя и так горячо себе сочувствовать, как тот, к которому пишу, и боюсь одного, чтобы время и гадость действительности, глухота и немота окружающего не сделали с вами того, что с большею частью из нас: не убили в вас энергии, без которой нет писателя, по крайней мере такого, какие теперь нужны России. Вы молоды; идут какие-то перемены, которые—будем надеяться—кончатся добром, и, может-быть, вам предстоит широкое поприще. Вы начинаете так, что заставляете самых осмотрительных людей заноситься в надеждах очень далеко. Однако, я отвлекся от цели письма. Не буду вас утешать тем, что и напечатанные обрывки вашей статьи многие находят превосходными; для людей, знающих статью в настоящем виде,—это не более как набор слов без смысла и внутреннего значения. Но нечего делать! Скажу одно: что статья не была бы напечатана, если бы это не было необходимо. Но имени вашего под нею нет. «Рубка леса» прошла порядочно, хотя и из нее вылетело несколько драгоценных черт. Мое мнение об этой вещи такое: формою она точно напоминает Тургенева, но этим и оканчивается сходство: все остальное принадлежит вам и никем, кроме вас, не могло бы быть написано. В этом очерке множество удивительно метких заметок, и весь он нов, интересен и делен. Не пренебрегайте подобными очерками: о солдате ведь наша литература доныне ничего не сказала, кроме пошлости. Вы только начинаете, и в какой бы форме ни высказали вы все, что знаете об этом предмете,—все это будет в высшей степени интересно и полезно. Панаев передал мне ваше письмо, где вы обещаете нам скоро прислать «Юность». Пожалуйста, присылайте. Независимо от журнала, я лично интересуюсь продолжением вашего первого труда. Мы приготовим для «Юности» место в X или XI книге, смотря по времени, как она получится.

«Деньги вам будут на-днях посланы. Я поселился на зиму в Петербурге и буду рад, если вы напишете мне несколько строк при случае.

«Примите уверение в моем искреннем уважении.

Н. Некрасов» [1]).

Но, разумеется, литературные занятия были не главным времяпрепровождением Толстого. Он вел обычную жизнь офицера и был хорошим товарищем, о чем свидетельствуют его современники и сослуживцы.

В воспоминаниях Назарьева приводится рассказ бывшего товарища Толстого по Севастополю, с видимым удовольствием вспоминавшего о нем и о времени, проведенном с ним в одной батарее. Он даже узнавал себя в одном из героев Севастопольских рассказов. «Так, скажу,—с блаженной улыбкой повествовал старик,—Толстой своими рассказами и наскоро набросанными куплетами одушевлял всех и каждого в трудные минуты боевой жизни. Он был, в полном смысле, душой батареи. Толстой с нами,—и мы не видим, как летит время, и нет конца общему веселью... Нет графа, укатил в Симферополь,—и все носы повесили. Пропадает день, другой, третий... Наконец возвращается... ну точь-в-точь блудный сын,—мрачный, исхудалый, недовольный собой... Отведет меня в сторону, подальше, и начнет покаяние. Все расскажет: как кутил, играл, где проводил дни и ночи, и при этом, верите ли, казнится и мучится, как настоящий преступник. Даже жалко смотреть на него—так убивается... Вот это какой был человек. Одним словом, странный и, говоря правду, не совсем для меня понятный, а с другой стороны, это был редкий товарищ, честнейшая душа, и забыть его решительно невозможно» [2]).

---

[1]) Четыре письма Н. А. Некрасова к Л. Н. Толстому. „Нива“, Ежен. Литер. прил. № 2. 1898 г.

[2]) В. Н. Назарьев. Жизнь и люди былого времени. „Истор. Вестн.“ 1900 г. Ноябрь.

Поведение Льва Николаевича, как храброго офицера, и связи в высших сферах могли обеспечить ему выгодную военную карьеру. Этому способствовало также появление в печати его «Севастопольских очерков», обратившихся на себя внимание Александра II и императрицы Александры Феодоровны, которая, как рассказывают, плакала, читая первый рассказ; но тот же дар творчества и положил предел этому успеху. Препятствием к блестящей карьере явились «Севастопольские песни».

История этих двух песен такая.

В приводимом нами наиболее полном варианте первая из них была напечатана в «Русской Старине» [1]), по сообщению известного писателя и ученого М. И. Венюкова. Текст песни снабжен следующим его примечанием:

«В 1854—56 годах я находился в Академии Генерального Штаба для слушания военных наук и здесь получил из Крыма, с театра военных действий, от одного из моих прежних товарищей по батарее, Ив. Вас. Аносова, офицера 14-й артиллерийской бригады, список приводимой мною следующей песни:

СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ПЕСНЯ.

Как четвертаго числа [2])
Нас нелегкая несла
Горы отбирать. (bis).
Барон Вревский генерал [3])
К Горчакову приставал
Когда под-шафе: (bis).
„Князь, возьми ты эти горы,
„Не входи со мною в ссору,
„Не то донесу". (bis).
Собирались на советы
Все большие эполеты,
Даже плац-Бекòк. (bis).
Полицмейстер плац-Бекок
Никак выдумать не мог,
Что ему сказать. (bis).
Долго думали, гадали,
Топографы все писали
На большом листу. (bis).
Чисто писано в бумаги,
Да забыли про овраги,
Как по ним ходить. (bis).
Выежали князья, графы,
А за ними топографы
На большой редут. (bis).
Князь сказал: „ступай Липранди",
А Липранди; „нет-с, атанде,
„Нет, мол, не пойду". (bis).
„Туда умнаго не надо,
„Ты пошли туда Реада,
„А я посмотрю". (bis)
Вдруг Реад возьми, да спросту,
И повел нас прямо к мосту:
„Ну-ка, на уру". (bis).
Мартенау умолял,
Чтоб резервов обождал,—
„Нет, уж пусть идут". (bis).
На уру мы зашумели,
Да лезерты не поспели,
Кто-то переврал. (bis).

---

[1]) Кроме того, мы исправили этот текст еще по списку, доставленному нам Львом Николаевичем.

[2]) 4-го августа 1885 года сражение при Черной речке.

[3]) Барон П. А. Вревский, бывший директор канцелярии военного министра, находясь в Крыму, побуждал кн. Горчакова дать решительную битву союзникам.

На Федюхины высоты
Нас пришло всего три роты,
А пошли полки. (bis).
Наше войско небольшое,
А француза было втрое
И секурсу тьма. (bis).
Ждали—выйдет с гарнизона
Нам навыручку колонна,
Подали сигнал; (bis).
А там Сакен-генерал
Все акафисты читал
Богородице. (bis).
Тетеревкин-генерал,
Он все знамя потрясал,
Вовсе не к лицу. (bis).
И пришлось нам отступать
. . . . . [1])
Кто туда водил. (bis).

«Об авторе этой остроумной шутки-песни Аносов мне писал,—продолжает Венюков,—что общий голос армии приписывает ее нашему талантливому писателю, графу Л. Н. Толстому. «Но ты понимаешь,—писал Аносов,—что об этом предмете говорить с точностью невозможно, хотя бы для того, чтобы не наделать беды Толстому, если сочинитель действительно он» [2]).

Позднее, также в «Русской Старине», снова напечатана эта песня в приведенном нами варианте, за подписью «одного из участников в составлении Севастопольской песни».

Вот как этот участник рассказывает ее историю:

«Граф Л. Н. Толстой был действительно одним из участников в составлении этой песни, но не автором всех куплетов, в нее вошедших. Таким образом не совсем справедливо приписывать ему все это остроумное произведение.

«Поэтому, в видах исторической правды, сообщу вам историю происхождения этой песни, как очевидец.

«Во время Крымской войны часто, почти ежедневно, по вечерам собирались у начальника штаба артиллерии, Крыжановского, чины его штаба и некоторые другие офицеры. Список их помещен далее.

«Обыкновенно подполковник Балюзек садился за фортепиано, прочие становились кругом, и куплеты импровизировались. Каждый вносил свою мысль и слово. Граф Л. Н. Толстой также вносил свое, но не все. Поэтому можно сказать, что эта импровизация была дело общее, выражавшее настроение военных кружков.

«Вот участники в составлении Севастопольской песни: подполковник Балюзек, был после тургайским губернатором, ныне умер, садился обыкновенно за фортепиано; капитан А. Я. Фриде, ныне начальник кавказской артиллерии; штабс-капитан [3]) граф Л. Н. Толстой; поручик Вл. Лугинин; поручик Шубин; штабс-капитан Сержпутовский, поручик Шклярский, офицер уланского полка Н. Ф. Козляников 2-й и гусарского полка Н. С. Мусин-Пушкин» [4]).

Нам доставлен еще текст другой подобной песни, сложившейся, вероятно, при всех тех же обстоятельствах, хотя немного позднее. Тут же прилагаются и ноты, записанные по памяти Сергеем Львовичем Толстым. В этой песне есть несколько непечатных народных выражений. Где было можно, не изменяя смысла и размера, мы заменили их равнозначащими печатными выражениями, а где нельзя было, поставили точки.

---

[1]) Здесь, вероятно, русское народное ругательство, так как эта строчка заменена точками даже в издании Герцена.

[2]) „Песня о Севастополе 1855 года". Сообщ. И. Венюкова. „Русская Старина", февраль 1885 года. Стр. 440.

[3]) Это ошибка, Л. Н-ч не был штабс-капитаном, а в отставке был только поручиком. *И. Б.*

[4]) „Севастопольская песня 1855 года". „Русская Старина" ,февраль 1884 г. Стр. 455.

СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ПЕСНЯ [1].

На восьмое сентября 1855 г.

Как восьмого сентября
Мы за веру и царя
От француз ушли. (bis).
Князь Лександра адмирал
Суденышки затоплял
В море-пучине. (bis).
Молвил: счастья желаю,
Сам ушел к Бахчисараю—
Ну вас всех... (bis).
Сент-Арно позакопался,
Он учтиво обращался,
С заду обошел. (bis).
И когда бы нам во вторник
Не помог святой угодник,
Всех бы нас забрал. (bis).
А Липранди-генарал
Много шанцев позабрал—
Все не помогло. (bis).
Из-под града Кишинева
Ждали войска пребольшова,
Войско подошло. (bis).
Данненбергу поручили,
Его очинно просили
Войска не жалеть. (bis).
Павлов, Соймонов ходили,
Круты горы обходили,
Вместе не сошлись. (bis).
А Липранди хоть видал,
Как француз одолевал,—
Руку не подал. (bis).
А князьки хоть приезжали,
Да француз не испужали,—
Все палят с маркел [2]). (bis).
Тысяч десять положили,
От царя не заслужили
Милости большой. (bis).
Князь изволил рассердиться,
Наш солдат де не годится,
Спину показал. (bis).
И в сражение большое
Было только два героя—
Их высочества. (bis).
Им повесили Егорья,
Повезли назад со взморья
В Питер показать. (bis).
Духовенство все просило,
Чтоб француз позатопило,
Бурю Бог послал. (bis).
Была сиверка большая,
Но француз не унывая,
На море стоял. (bis).
Зимой вылазки чинили,
Много войска положили,
Все из-за туров [3]). (bis).
Посылай хоть нам Хрулева
Выжить турка из Козлова,—
Наша не взяла. (bis).

---

[1]) Сочинена несколькими лицами, но главным образом графом Л. Н. Толстым.
[2]) Маркелы—мортиры.
[3]) Мешки с песком.

Просит Меньщик [1]) подкрепленья;
Царь ему во утешенье
Сакена [2]) прислал. (bis).
Меньщик—умный адмирал,
Царю прямо отписал:
Батюшка—наш царь, (bis).
Ерофеич [3]) твой не крепок.
От твоих же малолеток
Проку ничего. (bis).
Царь на Меньщика серчает,
Как в ту пору захворает
На одном смотру. (bis).
И отправился на небо.—
Верно, в нем была потреба.
Хоть давно пора. (bis).
А когда он умирал,
Свому сыну наказал:
Ты теперь смотри. (bis).
Сын же Меньщику писал:
Мой любезный адмирал
К чорту, брат, тебя. (bis).
Назначаю я иного—
Того князя Горчакова,
К турке что ходил. (bis).
Много войск ему не надо,
Будет пусть ему награда—
Красные штаны. (bis).

Если вспомнить те обстоятельства, при которых слагались эти песни, все эти ужасы смерти, стоны раненых, кровь, пожары, убийства, наполнявшие собою атмосферу Севастополя, невольно приходишь в удивление перед той силой духа, которая оставляла место для добродушных шуток над самими собой под постоянной угрозой страданий и смерти.

Между тем в кружке петербургских литераторов Толстой приобретал все больше и больше известности. Одного из первых строгих критиков своих он покорил Тургенева. Читатели помнят рассказ Головачевой-Панаевой, приведенный в предыдущей главе, о том, как Тургенев подтрунивал над Панаевым за его восторги.

В 54-м году он между прочим пишет из Спасского Е. Я. Колбасину, одному из сотрудников «Современника»:

«...Очень рад я успеху «Отрочества». Дай только Бог Толстому пожить, а он, надеюсь, еще удивит нас всех—это талант первостепенный. Я здесь познакомился с его сестрой (она тоже за графом Толстым)—премилая, симпатичная женщина»... [4]).

Когда же появились «Севастопольские рассказы», то и сам Тургенев приходит в восторг и так выражает его в письме к Панаеву:

Спасское, 10 июля 1855 г. [5]).

«Статья Толстого о Севастополе—чудо! Я прослезился, читая ее, и кричал: ура! Мне очень лестно желание его посвятить мне свой новый рассказ. Об'явление о «Современнике» я прочел в «Московских Ведомостях». Хорошо, дай Бог, чтобы вы могли сдержать ваши обещания, т.-е. чтобы проходили статьи, чтобы Толстого не убили и т. д. Это вам поможет сильно. Статья Толстого произвела здесь фурор всеобщий»...

Вообще после появления «Севастопольских рассказов» Лев Николаевич становится уже на высоту первоклассных писателей. Интересный отзыв Писемского об этих рассказах приводит А. Ф. Кони в биографии П. Ф. Горбунова.

---

[1]) Князь Меньшиков.
[2]) Граф Дмитрий Ерофеевич Сакен.
[3]) Отчество графа Сакена.
[4]) Первое собрание писем И. С. Тургенева. Изд. Общ. для пособия литераторам и ученым. Спб. 1885 г., стр. 9.
[5]) „Литературные воспоминания И. И. Панаева". 1888 г.

«Около этого же времени,—говорит он,—Писемский, писавший тогда такую замечательную вещь, как «Тысяча душ», угрюмо сказал Горбунову о начинающем «великом писателе земли русской» по поводу «Севастопольских рассказов», отрывки из которых он только-что прослушал: «этот офицеришка всех нас заклюет, хоть бросай перо»... [1]).

После сдачи Севастополя Л. Н-ч был послан курьером в Петербург.

Перед от'ездом из Севастополя Льву Николаевичу пришлось приложить свои литературные силы к составлению отчета о последнем сражении. Сам Лев Николаевич так рассказывает об этом отчете в своей статье: «Несколько слов по поводу «Войны и мира»:

«После потери Севастополя начальник артиллерии Крыжановский прислал мне донесение артиллерийских офицеров со всех бастионов и просил, чтобы я составил из этих более чем 20-ти донесений—одно. Я жалею, что не списал этих донесений. Это был лучший образец той наивной, необходимой военной лжи, из которой составляются описания. Я полагаю, что многие из тех товарищей моих, которые составляли тогда эти донесения, прочтя эти строки, посмеются воспоминанию о том, как они, по приказанию начальства, писали то, чего не могли знать» [2]).

Бывали во время военной службы у Толстого и столкновения с начальством и с сослуживцами из-за его любви к справедливости.

По обычаю тогдашнего времени, командиры частей, и в том числе командир батареи, получая казенные деньги на содержание батареи, могли оставлять себе все, что они с'экономят. Это составляло для большинства командиров порядочный доход и, разумеется, вело ко многим злоупотреблениям.

Толстой, заметив остаток казенных денег при сведении счетов, записал его на приход, т.-е. отказался от него. Этот поступок, вызвал, конечно, неудовольствие других командиров. Генерал Крыжановский вызвал его и сделал ему замечание.

Об этом свидетельствует в своих воспоминаниях Н. А. Крылов, переведенный в 1856 году в 14-ю батарею, из которой только-что выбыл Л. Н. Толстой. В бригаде он оставил по себе память как ездок, весельчак и силач. Так, он ложился на пол, на руки ему ставился в пять пудов мужчина, и он, вытягивая руки, подымал его вверх; на палке никто не мог его перетянуть. Он же оставил много остроумных анекдотов, которые рассказывал мастерски... Графа обвиняли в том, что он проповедывал офицерам возвращать в казну даже те остатки фуражных денег, когда офицерская лошадь не с'ест положенного ей по штату [3]).

В Петербурге Льва Николаевича ждала совершенно иная жизнь, которой он и отдается со всею, присущей ему, молодой энергией.

ГЛАВА IX.

Петербург.

Присланный курьером в Петербург, Лев Николаевич был зачислен в ракетную батарею под начальство генерала Константинова и больше уже не возвращался к армии.

Прибыв в Петербург 21-го ноября 1855 г., он сразу попал в кружок «Современника» и был принят там с распростертыми об'ятиями.

Вот как рассказывает Лев Николаевич об этом времени в своей «Исповеди»:

---

[1]) Биографический очерк: „И. Ф. Горбунов". А. Ф. Кони (Предисловие к Собранию сочинений), стр. 115.

[2]) Несколько слов по поводу книги: „Война и мир". „Русский Архив", 1868 г. Выпуск 3-й, стр. 515, ст. Л. Н. Толстого.

[3]) „Русские Ведомости", 1900 г. № 136.

«В это время я стал писать из тщеславия, корыстолюбия и гордости. В писаниях своих я делал то же самое, что и в жизни. Для того, чтобы иметь славу и деньги, для которых я писал, надо было скрывать хорошее и высказывать дурное,— я так и делал. Сколько раз я ухитрялся скрывать в писаниях своих, под видом равнодушия и даже легкой насмешливости, те мои стремления к добру, которые составляли смысл моей жизни. И я достиг этого: меня хвалили.

«Двадцати семи лет я приехал после войны в Петербург и сошелся с писателями. Меня приняли как своего, льстили мне» [1]).

Конечно, за 20 лет до написания этих строк Лев Николаевич был обуреваем другими чувствами, хотя зачатки этого скептицизма, этого беспощадного самоанализа и тогда уже проявлялись и удивляли его товарищей.

«Современник» был журнал, основанный А. С. Пушкиным и Плетневым. Первый № его вышел в 1836 году; по смерти Пушкина, с 1838—46 г., его издавал Плетнев, и журнал совершенно заглох. В 1847 году право на его издание было приобретено И. И. Панаевым и Н. А. Некрасовым, которые в сотрудничестве с известным критиком Белинским быстро сумели привлечь к участию в журнале лучшие литературные силы, и до своего прекращения, по распоряжению властей, в 1866 г., журнал этот представлял собою главный прогрессивный орган русской художественной, критической и публицистической литературы.

Ко времени появления в Петербурге Льва Николаевича Толстого более интимный кружок «Современника» составляли литераторы, изображенные на двух известных группах, т.-е. Панаев, Некрасов, Тургенев, Толстой, Дружинин, Островский, Гончаров, Григорович и Соллогуб. Можно назвать еще из не изображенных на группах В. П. Боткина, Фета и др.

Главные сотрудники «Современника» связаны были некоторыми артельными обязательствами по отношению к участию в журнале и участвовали в дележе дивиденда. Эти обязательства часто тяготили участников и служили причиной различных неприятных столкновений в литературной среде. Издатели и редакторы других журналов выпрашивали у знаменитых писателей литературные милостыни, на что обижалась администрация «Современника», и наоборот. Об одном из таких столкновений рассказывает немецкий биограф Лёвенфельд:

«Между Тургеневым и Катковым возникла ссора, в которую был запутан и Толстой, хотя отчасти и по своей вине. Тургенев был прежде прилежным сотрудником Каткова, и последнему, конечно, было неприятно потерять такого выдающегося писателя. Он поручил своему брату ежедневно посещать обоих молодых писателей и просить у них статей для своего журнала. Тургенев, утомленный этим вечным напоминанием, как-то раз обещал дать что-нибудь для Каткова, но не мог исполнить этого обещания. Катков страшно рассердился и стал публично оскорблять Тургенева, доказывая, что раз Тургенев обязался сотрудничать в его журнале, то он не имел права труды пера своего отдавать «исключительно» «Современнику». Но как член артели «Современника», он также не имел права давать обещания работать для катковского журнала. Его мягкая, уступчивая натура и в этот раз сослужила ему недобрую службу.

Толстой вступился за своего друга. Он написал Каткову длинное письмо в оправдание Тургенева. «Кротость характера Тургенева, его любезность,—писал Толстой в письме,—заставили его дать обещание обеим сторонам». Он просил Каткова опубликовать это оправдательное письмо. Катков соглашался, но с условием опубликовать также и свой на него ответ, и прислал Толстому план своего письма. Но содержание этого ответа было такого рода, что Толстой предпочел устранить себя от вмешательства» [2]).

Артель «Современника» просуществовала недолго и перешла в обычную журнальную организацию.

---

[1]) „Исповедь", Изд. Черткова. Стр. 6.
[2]) Р. Лёвенфельд. „Гр. Л. Н. Толстой". Москва. Стр. 125.

Белинского Толстой не застал в «Современнике»; как известно, Белинский умер в 48-м году, много потрудившись над постановкой журнального дела. Его энтузиазм вдохнул душу в этот умиравший журнал и надолго упрочил его существование. Но на Льве Николаевиче прямого влияния Белинского не заметно.

С одной стороны, причиною тому простая разность эпох; Белинский был человеком 40-х годов в полном смысле этого слова, а Лев Николаевич выступил на литературную деятельность в 50-х годах и застал только продолжателей Белинского, уже не имевших его привлекательной силы. С другой стороны, та среда, в которой воспитался Толстой, не способствовала его сближению с литературными «разночинцами», как они сами себя называли. Он держался своего кружка более близких ему по воспитанию людей и даже среди них был всегда замкнутым, независимым, большею частью протестующим и, конечно, влияющим, но мало воспринимающим влияния извне. Можно указать и на более глубокую причину, принципиальную. Хотя в 50-х годах у Л. Н-ча еще не сложилось никакого определенного мировоззрения, но направление «Современника» никогда не привлекало его.

Наконец, по собственному признанию Льва Николаевича, на его литературную деятельность оказывали влияние всегда более художественные таланты, а не публицистические.

Наибольшее философское влияние еще в юности он испытал со стороны Руссо.

Говоря о французской литературе с посетившим его весною 1901 года парижским профессором Буайэ, Лев Николаевич выразился так о своих двух учителях Руссо и Стендале:

«К Руссо были несправедливы, величие его мысли не было признано, на него всячески клеветали. Я прочел всего Руссо, все двадцать томов, включая «Словарь музыки». Я более чем восхищался им,—я боготворил его. В 15 лет я носил на шее медальон с его портретом вместо нательного креста. Многие страницы его так близки мне, что мне кажется, я их написал сам.

«Что касается Стендаля,—продолжал он,—то я буду говорить о нем только как об авторе «Chartreuse de Parme» и «Rouge et noir». Это два великие, неподражаемые произведения искусства. Я больше, чем кто-либо другой, многим обязан Стендалю. Он научил меня понимать войну. Перечтите в «Chartreuse de Parme» рассказ о битве при Ватерлоо. Кто до него описал войну такою, т.-е. такою, какова она есть на самом деле? Помните Фабриция, переезжающего поле сражения и «ничего» не понимающего. И как гусары с легкостью перекидывают его через труп лошади, его прекрасной, генеральской лошади? Потом брат мой, служивший на Кавказе раньше меня, подтвердил мне правдивость стендалевских описаний. Он очень любил войну, но не принадлежал к числу тех, кто верит в Аркольский мост. «Все это прикрасы,—говорил он мне,—а на войне нет прикрас». Вскоре после этого в Крыму мне уже легко было все это видеть собственными глазами. Но, повторяю вам, все, что я знаю о войне, я прежде всего узнал от Стендаля» [1]).

Укажем еще названия некоторых произведений литературы, из списка, уже цитированного нами, читающихся Л. Н-чем в это время.

В период от 20 до 35 лет на Льва Николаевича произвели наибольшее влияние следующие произведения:

Названия произведений.	Степень влияния.
Гёте. Герман и Доротея.	Очень большое.
В. Гюго. Собор Парижской Богоматери.	Очень большое.
Тютчев. Стихотворения.	Большое.
Кольцов. Стихотворения.	Большое.
Фет. Стихотворения.	Большое.
Платон (в переводе Кузена). Федон и Пир.	Очень большое.
Одиссея и Илиада, читанные по-русски.	Очень большое.

[1]) Paul Boyer. „Le Temps“, 28 Août 1901.

Таким образом мы получаем более или менее полную картину литературного воспитания Толстого.

В кружок петербургских литераторов Лев Николаевич принес свою сильную, художественную, впечатлительную натуру и свой непреклонный, часто задорный характер и произвел бурю в этой спокойной, умеренной среде.

Вот как рассказывает о появлении Льва Николаевича в Петербурге Фет в своих воспоминаниях:

«Тургенев вставал и пил чай (по-петербургски) весьма рано, и в короткий мой приезд я ежедневно приходил к нему к десяти часам потолковать на просторе. На другой день, когда Захар отворил мне переднюю, я в углу заметил полусаблю с аннинской лентой.

«— Что это за полусабля?—спросил я, направляясь в дверь гостиной.

«— Сюда пожалуйте,—вполголоса сказал Захар, указывая налево в коридор,— это полусабля графа Толстого, и они у нас в гостиной почуют. А Иван Сергеевич в кабинете чай кушают.

«В продолжение часа, проведенного мною у Тургенева, мы говорили вполголоса, из боязни разбудить спящего за дверью графа. «Вот все время так,—говорил с усмешкой Тургенев.—Вернулся из Севастополя с батареи, остановился у меня и пустился во все тяжкие. Кутежи, цыгане и карты во всю ночь; а затем до двух часов спит, как убитый. Старался удерживать его, но теперь махнул рукой».

«В этот же приезд мы и познакомились с Толстым, но знакомство это было совершенно формально, так как я в то время еще не читал ни одной его строки и даже не слыхал о нем как о литературном имени, хотя Тургенев толковал об его рассказах из «Детства». Но с первой минуты я заметил в молодом Толстом невольную оппозицию всему общепринятому в области суждений. В это короткое время я только однажды видел его у Некрасова вечером в нашем холостом литературном кругу и был свидетелем того отчаяния, до которого доходил кипятящийся и задыхающийся от спора Тургенев на видимо сдержанные, но тем более язвительные возражения Толстого.

«— Я не могу признать,—говорил Толстой,—чтобы высказанное вами было вашими убеждениями. Я стою с кинжалом или саблею в дверях и говорю: «пока я жив, никто сюда не войдет». Вот это убеждение. А вы друг от друга стараетесь скрывать сущность ваших мыслей и называете это убеждениями.

«— Зачем же вы к нам ходите?—задыхаясь и голосом, переходящим в тонкий фальцет (при горячих спорах это постоянно бывало), говорил Тургенев.—Здесь не ваше знамя! Ступайте к княгине Б-й-Б-й.

«— Зачем мне спрашивать у вас, куда мне ходить! И праздные разговоры ни от каких моих приходов не превратятся в убеждения.

«Припоминая теперь это едва ли не единственное столкновение Толстого с Тургеневым, которому я в то время был свидетелем, не могу не сказать, что хотя я понимал, что дело идет о политических убеждениях, но вопрос этот так мало интересовал меня, что я не старался вникнуть в его содержание. Скажу более. По всему слышанному мною в нашем кружке полагаю, что Толстой был прав и что если бы люди, тяготившиеся современными порядками, были принуждены высказать свой идеал, то были бы в величайшем затруднении формулировать свои желания.

«Кто из нас в те времена не знал веселого собеседника, товарища всяческих проказ и мастера рассказывать смешной анекдот, Дмитрия Васильевича Григоровича, славившегося своими повестями и романами? Вот что между прочим передавал мне Григорович о столкновениях Толстого с Тургеневым на той же квартире Некрасова: «Голубчик, голубчик,—говорил, захлебываясь и со слезами смеха на глазах, Григорович, гладя меня по плечу.—Вы себе представить не можете, какие тут были сцены. Ах, Боже мой! Тургенев пищит, пищит, зажмет рукою горло и с глазами умирающей газели прошепчет: «не могу больше! у меня бронхит!» и громадными шагами начинает ходить вдоль трех комнат. «Бронхит,—ворчит Толстой вслед,— бронхит—воображаемая болезнь. Бронхит—это металл.» Конечно, у хозяина Некра-

сова душа замирает: он боится упустить и Тургенева и Толстого, в котором чует капитальную опору «Современника», и приходится лавировать. Мы все взволнованы, не знаем, что говорить. Толстой в средней проходной комнате лежит на сафьяновом диване и дуется, а Тургенев, раздвинув полы своего короткого пиджака, с заложенными в карманы руками, продолжает ходить взад и вперед по всем трем комнатам. В предупреждение катастрофы подхожу к дивану и говорю: «Голубчик Толстой, не волнуйтесь! Вы не знаете, как он вас ценит и любит!»

«— Я не позволю ему,—говорит с раздувающимися ноздрями Толстой,—ничего делать мне на зло! Это вот он нарочно теперь ходит взад и вперед мимо меня и виляет своими демократическими ляжками» [1]).

Д. В. Григорович в своих «литературных воспоминаниях» рассказывает еще один подобный же эпизод из времени первого знакомства Льва Николаевича с петербургскими литераторами.

«Вернувшись из Марьинского в Петербург, я встретился с графом Л. Н. Толстым; знакомство мое с ним началось еще в Москве, у Сушковых, когда он носил военную форму. Он жил в Петербурге, на Офицерской улице, в нижнем этаже небольшой квартиры, как раз окно в окно с квартирой литератора М. Л. Михайлова. С ним, кажется, он не был знаком. Наем постоянного жительства в Петербурге был необ'ясним для меня; с первых же дней Петербург не только сделался ему несимпатичным, но все петербургское заметно действовало на него раздражительно.

«Узнав от него в самый день свидания, что он сегодня зван обедать в редакцию «Современника», и, несмотря на то, что уже печатал в этом журнале, никого там близко не знает, я согласился с ним ехать. Дорогой я счел необходимым предупредить его, что там не следует касаться некоторых вопросов и преимущественно удерживаться от нападок на Ж. Занд, которую он сильно не любил, между тем как перед нею фанатически преклонялись в то время многие из членов редакции. Обед прошел благополучно; Толстой был довольно молчалив, но к концу он не выдержал. Услышав похвалу новому роману Ж. Занд, он резко об'явил себя ее непавистником, прибавив, что героинь ее романов, если бы они существовали в действительности, следовало бы, ради назидания, привязывать к позорной колеснице и возить по петербургским улицам. У него уже тогда вырабатался тот своеобразный взгляд на женщин и женский вопрос, который потом выразился с такою яркостью в романе «Анна Каренина».

«Сцена в редакции могла быть вызвана его раздражением против всего петербургского, но скорее всего—его склонностью к противоречию. Какое бы мнение ни высказывалось и чем авторитетнее казался ему собеседник, тем настойчивее подзадоривало его высказать противоположное и начать резаться на словах. Глядя, как он прислушивался, как всматривался в собеседника из глубины серых, глубоко запрятанных глаз, и как иронически сжимались его губы, можно было подумать, что он как бы заранее обдумывал не прямой вопрос, но такое мнение, которое должно было озадачить, сразить своею неожиданностью собеседника. Таким представлялся мне Толстой в молодости. В спорах он доходил иногда до крайностей. Я находился в соседней комнате, когда начался у него раз спор с Тургеневым; услышав крики, я вошел к спорившим. Тургенев шагал из угла в угол, выказывая все признаки крайнего смущения; он воспользовался отворенною дверью и тотчас же скрылся. Толстой лежал на диване, но возбуждение его настолько было сильно, что стоило не мало трудов его успокоить и отвезти домой. Предмет спора мне до сих пор остался незнаком» [2]).

Это оппозиционное направление Толстого видно еще из следующего эпизода, рассказанного в воспоминаниях Г. П. Данилевского:

«Я познакомился с Толстым в Петербурге, в конце пятидесятых годов, в семействе одного известного скульптора-художника. Тогда автор «Севастопольских

---

[1]) „Мои воспоминания“. А. Фет. Ч. I, стр. 105.
[2]) Полн. собр. соч. Д. В. Григоровича, т. XII, стр. 326.

рассказов» только-что приехал в Петербург и был молодым и статным артиллерийским офицером. Его очень схожий портрет того времени помещен в известной фотографической группе Левицкого, где вместе с ним изображены: Тургенев, Гончаров, Григорович, Островский и Дружинин. Граф Л. Н. Толстой, как теперь помню, вошел тогда в гостиную хозяйки дома во время чтения вслух нового произведения Герцена. Тихо став за креслом чтеца и дождавшись конца чтения, он сперва мягко и сдержанно, а потом с такою горячностью и смелостью напал на Герцена и на общее тогдашнее увлечение его сочинениями и говорил с такою искренностью и доказательностью, что в этом семействе впоследствии я уже не встречал изданий Герцена» [1]).

Мы знаем, что впоследствии Лев Николаевич изменил свое мнение о Герцене, и мы скажем об этом в своем месте.

Евг. Гаршин, в своих воспоминаниях о Тургеневе, передает следующее интересное мнение Тургенева о Толстом, дающее нам уже заранее тот элемент раз'единения, который едва не привел их отношения к роковому концу:

«У Толстого,—рассказывал Тургенев,—рано сказалась черта, которая затем легла в основание всего его довольно мрачного миросозерцания, мучительного прежде всего для него самого. Он никогда не верил в искренность людей. Всякое душевное движение казалось ему фальшью, и он имел привычку необыкновенно проницательным взглядом своих глаз насквозь пронизывать человека, когда ему казалось, что тот фальшивит. Иван Сергеевич говорил мне, что он никогда в жизни не переживал ничего тяжелее этого испытующего взгляда, который, в соединении с двумя-тремя словами ядовитого замечания, способен был привести в бешенство всякого человека, мало владеющего собой. Предметом своих испытаний граф Толстой избрал между прочим (и почти исключительно) своего друга Тургенева. Ему, как рассказывал Иван Сергеевич, не давало покоя известное самообладание нашего писателя и душевная ровность в тот период блестящего расцвета его литературной дятельности, и граф Толстой как бы задался целью вывести из себя этого спокойного, доброго человека, работающего с уверенностью, что он делает дело. Но в том-то и заключалась беда, что граф Толстой ни во что это не верил, и ему казалось, что люди, которых мы считаем добрыми, только притворяются такими или стараются проявлять в себе такое качество, что они напускают на себя уверенность в пользе взятых на себя задач.

«Тургенев понимал ясно, как относится к нему граф Толстой, но хотел во что бы то ни стало выдержать характер и сохранить свое самообладание. Он стал избегать Толстого, нарочно уехал в Москву и затем к себе в деревню, но граф Толстой следовал за ним по пятам, «как влюбленная женщина», выразился Иван Сергеевич, рассказывая всю эту историю» [2]).

Из всех этих указаний на отношения двух писателей можно видеть, что настоящей духовной близости между ними не могло быть. Но поток освободительного течения нес их обоих по одному направлению, и они считали себя товарищами по работе. Кроме того, принадлежность их обоих к высшему привилегированному классу, образование, первенство их талантов в их писательском кружке помимо их воли внешним образом сближало их. Но как увидят читатели из последующего рассказа, как только они пытались перейти эту товарищескую черту, так происходило столкновение, порой подвергавшее опасности их дорогие жизни. Надо отдать им справедливость, что и тот и другой ясно сознавали свое взаимное расстояние, открыто в глаза и за глаза высказывали это и, что еще ценнее, употребляли большие нравственные усилия к поддержанию, если не дружественных, то добрых отношений, основанных на взаимном уважении. И в этом отношении они могут дать поучительный пример последующим поколениям.

---

[1]) „Поездка в Ясную Поляну". Г. П. Данилевского. „Исторический Вестник", март 1886 г., стр. 529.

[2]) Евг. Гаршин. „Воспоминания об И. С. Тургеневе". „Исторический Вестник", ноябрь 1883 года.

Вот еще рассказ Головачевой-Панаевой, свидетельницы первых дней знакомства Тургенева и Толстого,—рассказ, подтверждающий только-что высказанную мысль.

«Я должна вернуться назад и рассказать о появлении графа Льва Николаевича в кружке «Современника». Он был тогда еще офицер и единственный сотрудник «Современника», носивший военную форму. Его литературный талант настолько уже проявился, что все корифеи литературы должны были признать его за равного себе. Впрочем, граф Толстой был не из робких людей, да и сам сознавал силу своего таланта, а потому держал себя, как мне казалось тогда, с некоторою даже напускной развязностью.

«Я никогда не вступала в разговоры с литераторами, когда они собирались у нас, а только молча слушала и наблюдала за всеми. Особенно мне интересно было следить за Тургеневым и Л. Н. Толстым, когда они сходились вместе, спорили или делали свои замечания друг другу, потому что оба они были очень умные и наблюдательные.

«Мнения Толстого о Тургеневе я не слышала, да и вообще он не высказывал своих мнений ни о ком из литераторов, по крайней мере, при мне. Но Тургенев, напротив, имел какую-то потребность изливать о всяком свои наблюдения.

«Когда Тургенев только-что познакомился с графом Толстым, то сказал о нем:

«— Ни одного слова, ни одного движения в нем нет естественного. Он вечно рисуется перед нами, и я затрудняюсь, как об'яснить в умном человеке эту глупую кичливость своим захудалым графством!

«— Не заметил я этого в Толстом,—возразил Панаев.

«— Ну, да ты много чего не замечаешь,—ответил Тургенев.

«Через несколько времени Тургенев нашел, что Толстой имеет претензию на дон-жуанство. Раз как-то граф Толстой рассказывал некоторые интересные эпизоды, случившиеся с ним на войне. Когда он ушел, то Тургенев произнес:

«— Хоть в щелоке вари три дня русского офицера, а не вываришь из него юнкерского ухарства; каким лаком образованности ни отполируй такого суб'екта, все-таки в нем просвечивает зверство.

«И Тургенев принялся критиковать каждую фразу Толстого, тон его голоса, выражение лица и закончил:

«— И все это зверство, как подумаешь, из одного желания получить отличие.

«— Знаешь ли, Тургенев,—заметил ему Панаев,—если бы я тебя не знал так хорошо, то, слушая все твои нападки на Толстого, подумал бы, что ты завидуешь ему.

«— В чем это я могу завидовать ему? В чем? Говори!—воскликнул Тургенев.

«— Конечно, в сущности, ни в чем: твой талант равен его!.. Но могут подумать...

«Тургенев засмеялся и с каким-то сожалением в голосе произнес:

«— Ты, Панаев, хороший наблюдатель, когда дело идет о хлыщах, но не советую тебе порываться высказывать свои наблюдения вне этой сферы!

«Панаев обиделся:

«— Я тебе это заметил для твоей же пользы,—сказал он и ушел.

«Тургенев продолжал кипятиться и с досадой говорил:

«— Только Панаеву могла притти в голову нелепая мысль, что я мог завидовать Толстому. Уж не его ли графству?

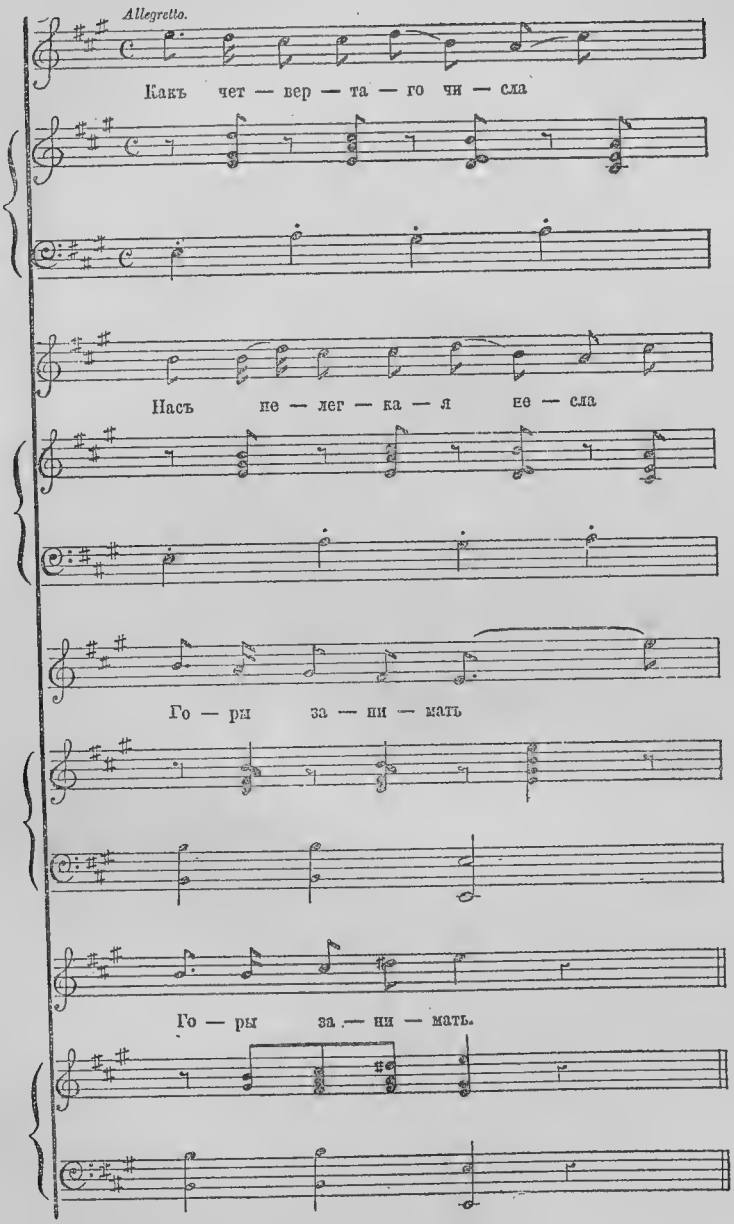
«Некрасов все это время мало говорил, потому что болезнь горла совершенно подавляла его. Он только заметил Тургеневу:

«— Да брось ты рассуждать о том, что вздумалось сказать Панаеву. Точно в самом деле можно тебя заподозрить в такой нелепости!» [1]).

Тургенев, как честная, правдивая натура, много раз заявлял перед публикой

---

[1]) „Воспоминания А. Головачевой-Панаевой". Стр. 274.



Ноты к Севастопольской песне, сочиненной Львом Николаевичем.

свое преклонение перед талантом Толстого и даже в разговоре с одним французским писателем употребил выражение Иоанна Крестителя, обращенное им ко Христу: «я не достоин развязать ремень у обуви его». Но тем не менее отношения их никогда не были сердечно близкими.

Только лежа на смертном одре, в своем предсмертном письме, он с нежностью и умилением, прося Льва Николаевича вернуться к литературной деятельности, дал ему имя, которого не носил еще до него ни один русский писатель,—имя «великого писателя русской земли». И это славное имя перейдет в вечность.

Чтобы дать читателю представление об установившихся отношениях между Толстым и Тургеневым в первое время их знакомства, мы, забегая немного вперед в нашем изложении, приведем несколько писем Тургенева к Толстому, писанных в том же году:

Л. Н. Толстому. Париж. 16 ноября 1856 г.

«Любезнейший Толстой!

Письмо ваше от 15 октября ползло ко мне целый месяц—я его получил только вчера.—Я подумал хорошенько о том, что вы мне пишете,—и мне кажется, что вы неправы. Я точно не могу быть совершенно искренен с вами, потому что не могу быть совершенно откровенен; мне кажется, мы познакомились неловко и в неладную минуту, и когда увидимся опять, дело пойдет гораздо легче и глаже. Я чувствую, что люблю вас как человека (об авторе и говорить нечего); но многое меня в вас коробит, и я нашел под конец удобнее держаться от вас подальше. При свидании попытаемся опять пойти рука об руку—авось удастся лучше; а в отдалении (хотя это звучит довольно странно) сердце мое к вам лежит как к брату—и я даже чувствую нежность к вам.—Одним словом, я вас люблю—это несомненно; авось из этого со временем выйдет все хорошее.

Я слышал о вашей болезни и огорчился; а теперь прошу вас выкинуть воспоминание о ней из головы. Ведь вы тоже мнительны—и, пожалуй, думаете о чахотке, но, ей-Богу, у вас ее нет.

Очень жаль мне вашей сестры; кому бы быть здоровой, как не ей,—то-есть, я хочу сказать—если кто заслуживает быть здоровой, так это она; а вместо того она все мучится. Хорошо бы, если бы московское лечение помогло ей. Что вы не выпишете вашего брата? Что ему за охота сидеть на Кавказе? Или он хочет сделаться великим воином? Меня дядя известил, что вы все уже выехали в Москву; и потому я это письмо адресую в Москву на имя Боткина.

«Французская фраза мне так же противна, как вам,—и никогда Париж не казался мне столь прозаически плоским. Довольство не идет ему; я видел его в другие мгновения, — и он мне тогда больше нравился. Меня удерживает неразрывная связь с одним семейством и моя дочка, которая мне очень нравится: милая и умная девушка. Если бы не это, я бы давно уехал в Рим, к Некрасову. Я от него получил два письма из Рима; он скучает слегка, да оно и понятно—все, что в Риме есть великого, только окружает его; он не живет с ним; а редкими мгновениями невольного сочувствия и удивления долго пробавляться нельзя. Впрочем, ему все-таки легче, чем в Петербурге,—и здоровье его поправляется. Фет теперь в Риме с ним; он написал несколько грациозных стихотворений и подробные путевые записки, где много детского, но также много умных и дельных слов—и какая-то трогательно-простодушная искренность впечатлений. Он, точно, душка, как вы его называете.

Теперь о статьях Чернышевского. Мне в них не нравится их бесцеремонный и сухой тон, выражение черствой души; но я радуюсь возможности их появления, радуюсь воспоминаниям о Белинском, выпискам из его статей, радуюсь тому, что, наконец, произносится с уважением это имя. Впрочем, вы этой моей радости сочувствовать не можете. Анненков пишет мне, что на меня это потому действует, что я за границей,—а что у них это, мол, теперь дело отсталое; им уже теперь не того нужно. Может быть, ему на месте видней; а мне все-таки приятно.

«Вы окончили 1-ю часть «Юности»—это славно. Как мне обидно, что я не могу услыхать ее! Если вы не свихнетесь с дороги (и, кажется, нет причин предполагать это), вы очень далеко уйдете. Желаю вам здоровья, деятельности—и свободы, свободы духовной.

«Что касается до моего «Фауста», не думаю, чтобы он вам очень понравился. Мои вещи могли вам нравиться—и, может-быть, имели некоторое влияние на вас—только до тех пор, пока вы сами сделались самостоятельны. Теперь вам меня изучать нечего, вы видите только разность манеры, видите промахи и недомолвки; вам остается изучать человека, свое сердце—и действительно великих писателей. А я писатель преходящего времени—и гожусь только для людей, находящихся в переходном состоянии. Ну, прощайте и будьте здоровы. Напишите мне. Мой адрес теперь: Rue de Rivoli, № 206.

«Благодарю вашу сестру за два приписанных слова, кланяюсь ей и ее мужу. Спасибо Вареньке [1]), что она меня не забывает.

«Я было хотел поговорить с вами о здешних литераторах,—но до другого разу. Крепко жму вам руку.

«Я не франкирую письма, и вы так же поступайте» [2]).

8-го декабря 1856 г. он писал Толстому:

«Милый Толстой, вчера мой добрый гений провел меня мимо почты, и я вздумал зайти справиться, нет ли мне писем poste-restante, хотя по моему расчету все мои друзья уж давно должны знать мой парижский адрес,—и нашел ваше письмо, где вы мне говорите о моем «Фаусте»,—вы легко поймете, как мне было весело его читать. Ваше сочувствие меня искренно и глубоко обрадовало. Да и кроме того, это всего письма веяло чем-то кротким и ясным, какой-то дружелюбной тишиной. Мне остается протянуть вам руку через «овраг», который уже давно превратился в едва заметную щель, да и о ней упоминать не будем—она этого не стоит.

«Боюсь я говорить вам об одном, упомянутом вами, обстоятельстве: это вещи нежные,—от слова завянуть могут, пока не созреют, а созреют, так их, пожалуй, и молотом не раздробишь. Дай Бог, чтобы все устроилось благополучно и правильно, а вам это может принести ту душевную оседлость, в которой вы нуждались, когда я вас знал. Вы, я вижу, теперь очень сошлись с Дружининым и находитесь под его влиянием. Дело хорошее, только, смотрите, не об'енитесь и его. Когда я был ваших лет, на меня действовали только энтузиастические натуры; но вы другой человек, чем я, да, может-быть, и время теперь настало другое. С нетерпением ожидаю присылки «Б. для чт.». Мне хочется прочесть статью о Белинском, хотя, вероятно, она меня порадует мало. А что «Современник» в плохих руках—это несомненно. Панаев начал-было писать мне часто, уверял, что не будет действовать «легкомысленно», и подчеркивал это слово, а теперь присмирел и молчит, как дитя, которое, сидя за столом, наклало в штаны. Я обо всем написал подробно Некрасову в Рим, и весьма может статься, что это заставит его вернуться ранее, чем он предполагал. Напишите мне, в котором именно № «Современника» появится ваша «Юность»; да кстати сообщите мне ваше окончательное впечатление о «Лире», которого вы, вероятно, прочли хотя бы для-ради Дружинина».

У нас нет точных сведений о том, какого мнения был Л. Н—ч о короле Лире в переводе Дружинина; но из приводимого нами ниже письма Боткина к Дружинину можно видеть, что перевод Дружинина понравился Толстому [3]).

Вот это письмо:

«А каков успех вашего «Лира»,—пишет Боткин,—для меня он был несомнен,—но как увеличивается удовольствие, когда внутреннее убеждение делается очевидностью. Вот и знаменитая антипатия Толстого к Шекспиру, против которой так ратовал Тургенев! Не могу не отдать себе справедливости в том, что я убе-

---

[1]) Племянница Л. Н—ча.
[2]) „Первое собр. писем Тургенева". Стр. 27.
[3]) „Первое собрание писем И. С. Тургенева". Стр. 33.

жден был, что эта антипатия исчезнет при первом же случае; но я радуюсь, что случаем этим послужил ваш прекрасный перевод» [1]).

Нам кажется, что радость Боткина была преждевременна, так как Л. Н—ч еще надолго сохранил антипатию к Шекспиру. Но об этом мы скажем в одной из следующих глав.

В декабре 1856 г. Тургенев между прочим писал Дружинину из Парижа:

«Вы, говорят, очень сошлись с Толстым—и он стал очень мил и ясен. Очень этому радуюсь. Когда это молодое вино перебродит, выйдет напиток, достойный богов. Что его «Юность», присланная вам на суд? Я ему писал два раза, второй раз в Москву, на имя Васеньки» (Боткина) [2]).

«Юность» действительно была прислана на суд Дружинину; он ее прочел и ответил следующим интересным письмом:

«О «Юности» надо написать двадцать листов. Я читал ее с озлоблением, с криками и ругательствами—не по случаю литературного ее достоинства, а по случаю тетради и почерков. Это смешение двух рук, знакомой и незнакомой, отвлекало мое внимание и мешало толковому чтению. Будто два голоса кричали мне в ухо и нарочно меня сбивали, и я знаю, что оттого впечатление не имело должной полноты. Однако, скажу вам, что смогу. Задача ваша ужасна, и вы ее выполнили очень хорошо. Ни один из теперешних писателей не мог бы так схватить и очертить волнующийся и бестолковый период юности. Для людей развитых ваша «Юность» доставляет великое наслаждение, и если кто вам скажет, что эта вещь хуже «Детства и Отрочества», тому вы можете плюнуть в физиономию. Поэзии в вашем труде бездна—все первые главы превосходны, только вступление сухо, до описания весны и выставления рам. Потом превосходен приезд в деревню, перед тем описание семейства Нехлюдовых, об'яснение отца пред вступлением в брак, глава «Новые товарищи» и «Я проваливаюсь». От многих глав пахнет поэзией старой Москвы, никем еще не подсмотренной, как должно. Кучер у барона З. удивителен (я все говорю с точки зрения понимающих людей). Некоторые главы сухи и длинны,—например, все договоры с Дмитрием Нехлюдовым, изображение отношений к Варенькe и та, где говорится о семейном *понимании*. Длинна также пирушка у Яра и перед ней визит графа с Иленькой. Рекрутство Семенова нецензурно.

«Рассуждений не бойтесь,—они все умны и оригинальны. Есть у вас поползновение к чрезмерной тонкости анализа, которое может разрастись в большой недостаток. Иногда вы готовы сказать: у такого-то ляжка показывала, что он желает путешествовать по Индии. Обуздать эту наклонность вы должны, но гасить ее не надо ни за что на свете. Вся ваша работа над своим анализом должна быть в таком роде. Каждый ваш недостаток имеет свою часть силы и красоты,—почти каждое ваше достоинство имеет в себе зернышки недостатков.

«Слог ваш совершенно подходит к этому заключению; вы сильно безграмотны, иногда безграмотностью новообводителя и сильного поэта, переделывающего язык на свой лад и навсегда, иногда же безграмотностью офицера, пишущего к товарищу и сидящего в каком-нибудь блиндаже. Наверно можно сказать, что все страницы, писанные с любовью, у вас превосходны,—но чуть вы холодеете, у вас слог путается и являются адские обороты речи. Поэтому места, писанные с холодностью, надо бы пересмотреть и выправить. Я пробовал-было выправлять местами и кинул,—эту работу только вы сами можете и должны сделать. Главное только—избегайте длинных периодов. Дробите их на два и на три, не жалейте точек... С частицами речи поступайте без церемонии, слова *что, который* и *это* марайте десятками. При затруднении берите фразу и представляйте себе, что вы ее кому-нибудь хотите передать гладким разговорным языком.

«Пора кончить, а надо бы говорить еще много, много. Для массы читателей.

---

[1]) Из бумаг А. В. Дружинина. XXV лет—сборник, изд. общ. пос. литерат. и учен. СПБ. 1884 г.

[2]) Там же. Стр. 32.

мало развитых, «Юность» понравится гораздо менее, чем «Детство и Отрочество». За эти две вещи говорит их малый об'ем и некоторые эпизоды, в роде рассказа Карла Ивановича. Самый пустой человек хранит несколько детских воспоминаний и радуется, когда ему истолковывают их поэзию, но период юности (той смутной и нескладной юности, обильной щелчками и унижениями, которую вы перед нами раскрываете) обыкновенно затаивается в душе, а оттого меркнет и забывается.

«Приблизить ваш труд к пониманию масс можно весьма долгим трудом, двумя, тремя забавными эпизодами и т. д., но сделать его совершенно по вкусу большинству всему—едва ли кто может.

«По замыслу и по сущности труда ваша юность будет гастрономическим куском лишь для людей мыслящих и чующих поэзию.

«Уведомьте, переслать ли вам рукопись или отдать ее Панаеву. Ею вы не сделали огромного шага в какую-нибудь новую сторону, но показали, что в вас есть и чего еще от вас дождешься».

Уж одно то, что Дружинин мог так писать Толстому, показывает, что между ними действительно существовали близкие отношения и что Дружинин имел влияние на Толстого.

Пребывание Л. Н. в Петербурге с ноября по май было прервано короткой деловой поездкой в Орел, по семейным делам.

2-го февраля Л. Н. получил известие о смерти своего брата Дмитрия; личность его ярко изображена Л. Н—чем в его воспоминаниях, приведенных нами в главе «Юность». Здесь мы приводим 2-ю часть этих воспоминаний, касающуюся его последующей жизни, болезни и смерти.

«Когда мы делились, мне, по обычаю, отдали имение, в котором жили, Ясную Поляну. Сереже, так как он был охотник до лошадей, а в Пирогове был конный завод, отдали Пирогово; он и желал этого. Митеньке и Николеньке отдали остальные два имения: Николеньке—Никольское, Митеньке—курское имение Щербачевку, доставшуюся от Перовской. У меня теперь есть записка Митеньки о том, как он смотрел на владение крепостными. Мысли о том, что этого не должно было быть, что надо было их отпустить, среди нашего круга в 40-х годах совсем не было. Владение крепостными по наследству представлялось необходимым условием, и все, что можно было сделать, чтобы это владение не было дурно, это то, чтобы заботиться не только о материальном, но и нравственном состоянии крестьян. И в этом смысле была написана записка Митеньки очень серьезно, наивно и искренно. Он, малый двадцати лет (когда он кончил курс), брал на себя обязанность, считал, что не мог не взять обязанность руководить нравственность сотен крестьянских семей и руководить угрозами наказаний и наказаниями. Так, как написано у Гоголя в письме к помещику. Я думаю, и помнится, что Митенька читал эти письма, что на них указал ему острожный священник. Так и начал Митенька свои помещичьи обязанности, но, кроме этих обязаностей помещика к крепостным, в то время была другая обязанность, неисполнение которой казалось немыслимо,—это служба военная или гражданская. И Митенька, окончив курс, решил служить по гражданской части. Для того же, чтобы решить, какую именно службу избрать, он купил адрес-календарь и, рассмотрев все отрасли гражданской службы, решил, что самая важная отрасль это законодательство, и, решив это, поехал в Петербург и там поехал к статс-секретарю второго отделения во время его приема. Воображаю удивление Танеева, когда в числе просителей он остановился перед высоким, сутуловатым, плохо одетым (Митенька всегда одевался только для того, чтобы прикрыть тело), с спокойными, прекрасными глазами, лицом, и, спросив, что ему надо, получил ответ, что он русский дворянин, кончил курс и, желая быть полезен отечеству, избрал своею деятельностью законодательство.

— Ваша фамилия?

— Граф Толстой.

— Вы нигде не служили?

«— Я только окончил курс, и мое желание только в том, чтобы быть полезным.

«— Какое же место вы желаете иметь?

«— Мне все равно, такое, в котором я мог бы быть полезен.

«Серьезность, искренность так поразили Танеева, что он повез Митеньку во второе отделение и там передал его чиновнику.

«Должно быть, отношение чиновников к нему и, главное, к делу, оттолкнуло Митеньку, и он не поступил во второе отделение. Знакомых у Митеньки в Петербурге не было никого, кроме правоведа Д. А. Оболенского, который, в наше казанское время, был там стрянчим. Митенька пришел к Оболенскому на дачу. Оболенский рассказывал мне, посмеиваясь.

«Оболенский был очень светский, с тактом, честолюбивый человек. Он рассказывал, как в то время, как у него были гости (вероятно, из высшего круга, которого всегда держался Оболенский), Митенька пришел к нему через сад в фуражке, в пальтовом пальто. «Я сначала не узнал его, но, когда узнал, постарался le mettre à son aise [1]), познакомил его с гостями и предложил ему снять пальто, но оказалось, что под пальто ничего не было». Он находил это излишним. Он сел и тотчас же, не стесняясь присутствием гостей, обратился к Оболенскому с тем же вопросом, как и к Танееву: где лучше служить, чтобы принести больше пользы? Оболенскому, вероятно, с его взглядами на службу, представляющую только средство удовлетворения честолюбия, такой вопрос, вероятно, никогда не представлялся. Но, с свойственным ему тактом и внешним добродушием, он ответил, указав на различные места, и предложил свои услуги. Митенька, очевидно, остался недоволен и Оболенским и Танеевым и уехал из Петербурга, не поступив там на службу. Он уехал к себе в деревню и в Судже, кажется, поступил в какую-то дворянскую должность и занялся хозяйством, преимущественно крестьянским.

«После выхода его, да и моего, из университета я потерял его из виду, знаю, что он жил тою же строгою, воздержанною жизнью, не зная ни вина, ни табаку, ни, главное, женщин, до 26 лет, что было большою редкостью в то время. Знаю, что он сходился с монахами и странниками и очень сблизился с очень оригинальным человеком, жившим у нашего опекуна Воейкова, происхождение которого никто не знал. Звали его отцом Лукою. Он ходил в подряснике, был очень безобразен: маленький ростом, косой, черный, но очень чистоплотный и необыкновенно сильный. Он жал руку, как клещами, и говорил всегда как-то значительно и загадочно. Жил он у Воейкова подле мельницы, где построил маленький дом и развел необыкновенный цветник. Этого отца Луку Митенька и водил с собой. Как я слышал, он водился еще со стариком старого закала, скопидомом-помещиком, соседом Самойловым.

«Кажется, я был тогда уже на Кавказе, когда с Митенькой случился необыкновенный переворот. Он вдруг стал пить, курить, мотать деньги и ездить к женщинам. Как это с ним случилось, не знаю, я не видал его в это время. Знаю только, что соблазнителем его был очень внешне привлекательный, но глубоко безнравственный человек, меньшой сын Исленева. Про него расскажу после, если успею. И в этой жизни он был тем же серьезным, религиозным человеком, каким он был во всем. Ту женщину, проститутку Машу, которую он первую узнал, он выкупил и взял к себе. Но вообще эта жизнь продолжалась недолго. Думаю, что не столько дурная, нездоровая жизнь, которую он вел несколько месяцев в Москве, сколько внутренняя борьба укоров совести,—сгубили сразу его могучий организм. Он заболел чахоткой, уехал в деревню, лечился в городах и слег в Орле, где я в последний раз видел его уже после севастопольской войны. Он был ужасен: огромная кисть его руки была прикреплена к двум костям локтевой части, лицо было— одни глаза и те же прекрасные, серьезные, теперь выпытывающие. Он беспрестанно кашлял и плевал и не хотел умереть, не хотел верить, что он умирал.

---

[1]) Ободрить его.

Рябая, выкупленная им Маша, повязанная платочком, была при нем и ходила за ним. При мне, по его желанию, принесли чудотворную икону. Помню выражение его лица, когда он молился на нее.

Я был особенно отвратителен в эту пору. Я приехал в Орел из Петербурга, где я ездил в свет и был весь полон тщеславия. Мне жалко было Митеньку, но мало. Я повернулся в Орле и уехал, и он умер через несколько дней.

Право, мне кажется, мне в его смерти было самое тяжелое то, что она помешала мне участвовать в придворном спектакле, который тогда устраивался и куда меня приглашали [1]).

12-го марта был заключен мир, и это обстоятельство облегчило возможность Льву Николаевичу получить отпуск.

Из литературных произведений за эту зиму он закончил «Метель», «Два гусара», «Встреча в отряде» и «Утро помещика». Льву Николаевичу пришлось уже разделять свои произведения на три журнала: так, первые две повести были еще напечатаны в «Современнике», а третья уже в «Библиотеке для чтения» и четвертая в «Отечественных Записках».

В это время Л. Н., между прочим, писал своей тетке Т. А.:

«Я кончил своих «Гусаров» (повесть) и ничего нового не начал, да и Тургенев уехал, которого я чувствую теперь, я очень полюбил, несмотря на то, что мы все ссорились. Так что мне бывает ужасно скучно».

Из этого письма видно, что во Льве Н—че происходили постоянные колебания по отношению к Тургеневу.

Петербургская жизнь, видимо не удовлетворяла Толстого. Вскоре по приезде он стал хлопотать об отставке и стал собираться за границу.

В письме к брату от 25 марта 1856 года он, между прочим, пишет:

«Я тронусь за границу на 8 месяцев; ежели пустят, то поеду. Я писал об этом Николеньке и звал его ехать. Ежели бы мы все трое устроились ехать вместе, это было бы отлично. Ежели каждый возьмет по 1000 рублей, то можно съездить отлично.—Пиши, пожалуйста, мне. Как понравилась тебе «Метель»? Я ею недоволен—серьезно. А теперь, писать многое хочется, но решительно некогда в этом проклятом Петербурге. Во всяком случае, пустят ли меня или нет (за границу), я в апреле намерен взять отпуск и быть в деревне».

13-го мая, еще находясь в Петербурге, он записывает в своем дневнике:

«Могучее средство к истинному счастью в жизни—это без всяких законов пускать из себя во все стороны, как паук, целую паутину любви и ловить туда все, что попало: и старушку, и ребенка, и женщину, и квартального».

Можно думать, что дела «Современника», и материальные и литературные, мало удовлетворяли главных сотрудников «Современника»; причиною этого, надо полагать, была индивидуальная рознь убеждений, взглядов, привычек, воспитания и среды, всегда так мешающих общему делу, затеваемому интеллигентными людьми. Очень скоро во всяком интеллигентном кругу происходит деление на группы: терпимое отношение между ними заменяется вскоре равнодушием, затем возникает соревнование, которое переходит в открытую вражду. Так было и с «Современником».

Уже в начале 1856 года возникает у некоторых сотрудников мысль об отделении и основании нового журнала. Об этом свидетельствует письмо Дружинина к Толстому, в котором он, между прочим, пишет:

«Пользуясь сим приливом энергии, спешу поговорить с вами о деле, которое нас занимало при последнем нашем свидании и которое теперь занимает собой многих наших читателей в Петербурге. Потребность в чисто литературном жур-

[1]) Из доставленных мне и отданных в мое распоряжение черновых, неисправленных записок Л. Н. Т.

нале с критикой, энергически противодействующего всем теперешним неистовствам и безобразиям, чувствуется в сильной степени. Гончаров, Ермин, Анненков, Майков, Михайлов, Авдеев и многие еще встретили эту мысль с высшим одобрением. Если к этому сборищу присоединитесь вы, Островский, Тургенев и, пожалуй, наш юродивый Григорович (хотя без него можно и обойтись), то можно решительно сказать, что вся изящная словесность, наконец, соединится в одном журнале. Какой будет этот орган, новый ли журнал или «Библиотека для чтения», взятая компанией на аренду, придумайте и сообщите ваше предложение. Здесь большая часть клонит к аренде, и издатель согласен за недорогую цену. Я с своей стороны не говорю ни за, ни против, но предлагаю себя всего к услугам чисто литературного журнала, на каких бы основаниях он ни составился.

«По ученой части можно считать усердными сотрудниками или просто участниками профессоров: Горлова, Устрялова, Благовещенского, Березина, Зернина и теперешних сотрудников (я называю самых даровитых) Лаврова, Лыховского, Коневича, Водовозова, Думнина. Тургенев, хотя работник ненадежный, будет драгоценным человеком по своей хлопотливости и вообще по положению в литературе. Но теперь не до подробностей, главное—надо согласиться в общем и решить основные пункты.

«Судя по участию, какое вы изъявили во всем деле, я рассчитываю получить от вас предложения ваши на этот счет. Между прочим, передаю вам и следующую просьбу: так как я все-таки остаюсь при моих настоящих занятиях, а составление нового журнала может протянуться еще надолго, то я en attendant прошу у вас позволения включить вас в число сотрудников «Библиотеки для чтения». Не располагайте всеми вашими статьями, не оставивши для меня к осени какой-нибудь вещи, по вашему усмотрению, на условиях, какие вы сами назначите. Надоедать же вам на этот счет я не стану, зная, что вы и без моих упрашиваний сделаете для меня все от вас зависящее.

«Черкните мне несколько слов обо всем этом и вообще о вашем житье, предположениях и о здоровье Марьи Николаевны, которой передайте мой низкий и усердный поклон. Да сообщите ваш адрес. По делу о новом журнале нам необходимо списываться, я боюсь, чтобы опять силы не раздробились, а их достаточно только на одно хорошее издание. Все равно, на каком основании предприятие будет задумано, лишь бы мы все в нем собрались. Поэтому летом, когда вы будете часто видеться с Тургеневым, постарайтесь взять над ним влияние и направить сего милейшего, но шаткого . . . . . к одной общей цели. По всему, что он мне говорил стократно, его должна занять мысль о журнале такого рода, но как полагаться на то, что им было высказываемо. Пусть он сообразит, до какой похабной степени доведены наши журналы раздроблением сил: один «Русский Вестник» держался хорошо, и тот вылинял с отделением Атенея, Атеней же все-таки бледен. Про Петербург и говорить нечего».

17-го мая Л. Н—ч уезжает в Москву.

26-го мая он проводит день в семье доктора Берса, женатого на его подруге детства, Пославиной, и живнего тогда на даче под Москвой, в Покровском. В дневнике Льва Николаевича есть такая краткая фраза об этом посещении: «Дети нам прислуживали. Что за милые, веселые девочки». Одна из них, младшая, стала через 6 лет его женой.

Затем он продолжает путь и 28 мая приезжает в Ясную Поляну.

На другой день он пишет брату, Сергею, письмо, в котором, между прочим, говорит следующее: «В Москве я пробыл 10 дней... чрезвычайно приятно без шампанского и цыган, а немножко влюбленный—в кого, расскажу после».

По приезде в Ясную он, конечно, едет здороваться с соседями, к сестре Марье Николаевне, к Тургеневу и другим.

По двум следующим письмам к брату мы видим, что в конце лета Льва Николаевича постигла серьезная болезнь. Он пишет брату в начале сентября 1856 года:

Теперь только, в 9 часов вечера, понедельник, могу дать тебе хороший ответ, а то все было хуже и хуже; привозили двух докторов, пускали еще 40 пиявок, но сию минуту только я заснул и, проснувшись, почувствовал себя значительно лучше. Раньше дней 5—6 все-таки и думать нельзя мне ехать. Так до свидания; пожалуйста, уведомь, когда ты уедешь и точно ли есть большие упущения у тебя в хозяйстве, и не очень без меня выбивай места. Собак, может-быть, пошлю завтра».

В письме от 15-го сентября он, между прочим, сообщает:

«Любезный друг Сережа. Здоровье мое и поправилось и нет. Боли той нет и воспаления нет, но какая-то тяжесть в груди, покалывает и к вечеру болит. Может-быть, оно и пройдет понемногу само собой, но я не скоро решусь ехать в Курск, и ежели не скоро, то и совсем нечего ехать. Скорее, ежели недели две не будет лучше, я съезжу в Москву».

Вскоре он снова перебрался в Петербург, откуда писал брату 10-го ноября 1856 года:

«Извини, любезный друг Сережа, что пишу два слова,—все некогда. Мне все неудачи с моего отъезда, никого нет здесь, кого я люблю. В «Отечественных Записках», говорят, обругали меня за военные рассказы,—я еще не читал, но, главное, Константинов объявил мне, только-что я приехал, что великий князь Михаил, узнав, что я будто бы сочинил песню, недоволен особенно тем, что будто бы я учил ей солдат. Это гнусно. Я объяснялся по этому случаю с начальником штаба. Хорошо только то, что здоровье мое хорошо и что Шишулинский сказал, что у меня грудь здоровешенька».

26-го ноября 1856 года Лев Николаевич вышел в отставку. Мы можем упомянуть здесь об одном добром деле, сделанном им в конце своей службы.

Командир батареи, в которой служил Лев Николаевич, штабс-капитан Кореницкий, после войны должен был быть предан суду, но благодаря влиянию и хлопотам Льва Николаевича был от этого избавлен.

С выходом Льва Николаевича в отставку начинается новый период его жизни, литературно-общественный, с прорывающимся стремлением к личному счастью.

Несмотря на свою резкость суждений, на непризнание авторитетов, Л. Н. Толстой был желанным гостем и драгоценным членом литературного кружка «Современника».

Но самого Л. Н—ча эта среда далеко не удовлетворяла. И оно не могло быть иначе. Стоит прочесть воспоминания литераторов того времени, как, например, Герцена, Панаева, Фета и др., самого разнородного направления, чтобы притти к весьма грустным выводам о нравственной слабости этих людей, мнивших себя руководителями человечества; вспомните некрасовские обеды, попойки Герцена, Кетчера и Огарева, тургеневскую утонченную еду, все эти дружеские беседы, немыслимые тогда без большого количества шампанского, охоты, карт и т. д.,—и вам горько станет за праздность и низменность интересов этих людей, не видавших всего зла этих оргий, перемешанных с проповедью народолюбия и всяческого прогресса. Среди всего этого бесстыдства, продолжающегося, быть-может, в иной форме и до сего дня, раздался лишь один голос обличения и самобичевания человека, душа которого не могла вынести этого самообмана. Это был голос Л. Н—ча Толстого.

В своей исповеди он дает такую картину нравов тогдашнего литературного общества, т.-е. общества конца 50-х и начала 60-х годов. Вот его слова:

«И не успел я оглянуться, как сословные писательские взгляды на жизнь тех людей, с которыми я сошелся, усвоились мною и уже совершенно изгладили во мне все мои прежние попытки сделаться лучше. Взгляды эти под распущенность моей жизни подставили теорию, которая ее оправдывала.

«Взгляды на жизнь этих людей, моих сотоварищей по писанию, состояли в том, что жизнь вообще идет развиваясь и что в этом развитии главное участие принимаем мы, люди мысли, а из людей мысли главное влияние имеем мы—ху-

дожники, поэты. Наше призвание—учить людей. Для того же, чтобы не представился тот естественный вопрос самому себе: что я знаю и чему мне учить,—в теории этой было выяснено, что этого и не нужно знать, а что художник и поэт бессознательно учат. Я считался чудесным художником и поэтом, и потому мне очень естественно было усвоить эту теорию. Я—художник, поэт—писал и учил, сам не зная чему. Мне за это платили деньги, у меня было прекрасное кушанье, помещение, женщины, общество; у меня была слава. Стало-быть, то, чему я учил, было очень хорошо.

«Вера эта в значении поэзии и в развитие жизни была вера, и я был одним из жрецов ее. Быть жрецом ее было очень приятно и выгодно. И я довольно долго жил в этой вере, не сомневаясь в ее истинности. Но на второй и в особенности на третий год такой жизни я стал сомневаться в непогрешимости этой веры и стал ее исследовать. Первым поводом к сомнению было то, что я стал замечать, что жрецы этой веры не все были согласны между собой. Одни говорили: мы—самые хорошие и полезные учители; мы учим тому, что нужно, а другие учат неправильно. А другие говорили: нет—мы настоящие, а вы учите неправильно. И они спорили, ссорились, бранились, обманывали, плутовали друг против друга.

«Кроме того, было много между нами людей и не заботящихся о том, кто прав, кто неправ, а просто достигающих своих корыстных целей с помощью этой нашей деятельности. Все это заставило меня усомниться в истинности этой веры.

«Кроме того, усомнившись в истинности самой веры писательской, я стал внимательнее наблюдать жрецов ее и убедился, что почти все жрецы этой веры, писатели, были люди безнравственные и в большинстве люди плохие, ничтожные по характерам—много ниже тех людей, которых я встречал в моей прежней разгульной и военной жизни, но самоуверенные и довольные собой; как только могут быть довольны люди совсем святые или такие, которые и не знают, что такое святость. Люди эти мне опротивели, и сам себе я опротивел, и я понял, что вера эта—обман.

«Но странно то, что, что хотя всю ложь этой веры я понял скоро, и отрекся от нее, но от чина, данного мне этими людьми,—от чина художника, поэта, учителя—я не отрекся. Я наивно воображал, что я поэт, художник и могу учить всех, сам не зная, чему я учу. Я так и делал.

«Из сближения с этими людьми я вынес новый порок—до болезненности развившуюся гордость и сумасшедшую уверенность в том, что я призван учить людей, сам не зная чему» [1]).

Тем не менее, живя в кругу этих людей, Толстой проникался их интересами и был одним из деятельных участников их товарищеских предприятий. Так, одно из важных литературных учреждений—«общество пособия литераторам и ученым», так называемый «литературный фонд»,—во многом обязано ему своим возникновением. Обыкновенно считают Дружинина основателем этого фонда. В дневнике же Льва Николаевича мы находим такую записку:

2-го января 1857 года: «Писал проект фонда у Дружинина .

Таким образом к числу основателей фонда можно с полным правом присоединить имя Толстого.

К этому времени следует отнести более основательное знакомство Льва Николаевича с произведениями Пушкина и увлечение им.

По рассказам Льва Николаевича, он серьезно оценил Пушкина, прочтя французский перевод, сделанный Мериме, «Цыган» Пушкина; чтение этого произведения, изложенного в прозаической форме, с особенной силой показало Льву Н—чу всю силу поэтического гения Пушкина.

В дневнике Льва Николаевича от 4-го января 1857 года находим следующую запись:

«Обедал у Боткина с одним Панаевым; он читал мне Пушкина; я пошел в

---

[1]) „Исповедь". Изд. Черткова.

комнату Боткина и там написал письмо Тургеневу, потом сел на диван и зарыдал беспричинными, но блаженными, поэтическими слезами. Я решительно счастлив все это время, упиваясь быстротой морального движения вперед».

И эта «быстрота морального движения вперед» не позволила Льву Николаевичу удовлетвориться этим сообществом и этой деятельностью, и он стал жадно искать какого-либо выхода. И как всегда мятущийся дух проявляет беспокойство и во внешних действиях, так и Толстой проявлял беспокойную деятельность, и одним из актов этой деятельности была поездка его за границу, повидимому, без определенной цели. Вот что он говорит об этом в «Исповеди», с присущей ему искренностью, судя себя и окружающую его среду:

Так я жил, предаваясь этому безумию, еще шесть лет, до моей женитьбы. В это время я поехал за границу. Жизнь в Европе и сближение мое с передовыми и учеными европейскими людьми утвердили меня еще больше в той вере совершенствования вообще, в которой я жил, потому что ту же веру я нашел и у них. Вера эта приняла во мне ту обычную форму, которую она имеет у большинства образованных людей нашего времени. Вера эта выражалась словом «прогресс». Тогда мне казалось, что этим словом выражается что-то. Я не понимал еще того, что, мучимый, как всякий живой человек, вопросами, как мне лучше жить, я, отвечая: жить сообразно с прогрессом,—отвечаю совершенно то же, что ответит человек, несомый в лодке по волнами и по ветру, на главный и единственный для него вопрос: «куда держаться», если он, не отвечая на вопрос, скажет: «нас несет куда-то» [1]). Но еще до этой поездки за границу Л. Н—чу пришлось отдать дань исканию личного, семейного счастья.

ГЛАВА X.

Роман.

В этой главе мне придется передать читателям один из важнейших эпизодов из жизни Льва Николаевича, историю его сердечных отношений к одной девушке, отношений, хотя и не завершившихся браком, но имевших, по моему мнению, большое влияние на его личную жизнь. В этом эпизоде, как и во многих других, с поразительной ясностью выступают некоторые черты характера Льва Николаевича. Именно: его страстная, увлекающая натура, затем сила его высшего руководителя—разума, держащего эту страстную натуру в повиновении у себя и направляющего ее на благо, и, наконец, простую, в высшей степени правдивую и рыцарски благородную душу Льва Николаевича, проявляющуюся как в выработке высших идеалов, так и в ничтожных житейских мелочах.

История эта поучительна и в самом прямом смысле, как история, отношений мужчины к женщине, как серьезный и мудрый опыт, могущий уберечь молодых людей от многих несчастий.

Припомним, как в письме из Севастополя Лев Николаевич жаловался брату на недостаток женского общества, выражая боязнь отвыкнуть от него, боязнь лишиться навсегда семейной жизни, которую он страстно любил.

В предыдущей жизни его уже были попытки любви, кончившиеся, впрочем, ничем. Самая сильная любовь была детская, к Сонечке Калошиной. Потом была любовь в студенческие годы к Зинаиде Молоствовой. Любовь эта была больше в воображении. Зин. Мол. едва ли знала что-нибудь про это. Потом казачка в станице, о чем мы упоминали в своем месте. Потом светское увлечение Щербатовой, которая

---

[1]) „Исповедь". Изд. Черткова.

тоже, вероятно, мало знала про это чувство, так как Лев Николаевич всегда был робок, застенчив в этих делах.

Наконец, еще более сильная и серьезная—это была любовь к Валерии Арсеньевой.

С возвращением домой из похода мысль о женщине, о семье неотступно преследовала Л. Н—ча, и вот он обращает внимание, проездом через Москву, на миловидную девушку из семьи соседних помещиков. И романическая история не замедлила разыграться между ними.

Как всегда, я стараюсь везде, где возможно, давать Льву Николаевичу говорить о себе самому, и здесь я могу это сделать благодаря доброте Льва Николаевича, предоставившего в мое распоряжение пачку писем, писанных им к этой особе.

Первое письмо Лев Николаевич пишет из Ясной Поляны в Москву, куда уехала барышня, предмет его любви. Семья, в которой она жила, состояла из тетки, светской барыни с придворными вкусами, трех сестер, ее племянниц, Валерии, Ольги и Женички и француженки—их компаньонки M-lle Vergani. Проведя лето в Судакове, недалеко от Ясной Поляны, они в августе переехали в Москву, чтобы присутствовать на торжестве коронации Александра II, бывшей 26 августа 1856 г.

Барышня очень веселилась на коронационных торжествах и описала восторг свой в письме к тетке Льва Николаевича. Для него это письмо было первым разочарованием. Почувствовав сердечное влечение к этой барышне, он не мог уже смотреть на нее иначе, как на будущую подругу своей жизни, и ощутил потребность передать ей все свои высшие идеалы общественной и семейной жизни и сразу натолкнулся на полное непонимание их, на самое легкомысленное отношение к важнейшим жизненным вопросам. Но его не оставляла надежда повлиять на нее, он надеялся на молодую восприимчивую натуру и, видя ее взаимное расположение к нему, всеми силами старался ей внушить серьезный взгляд на их отношения, настоящие и будущие. И потому все письма его дышат самой нежной заботливостью о ее душе, наполнены всяческими наставлениями, от самых мелочных до самых общих, философских вопросов. Временами, огорченный непониманием, он впадает в горький, саркастический тон, временами смягчается до самой нежной ласки отца к своему ребенку.

В следующем письме он выражает весь свой ужас отчаяния от того, что он узнал, как изменны, по его понятиям, интересы предмета его любви:

23 августа 1856.

Судаковские барышни! Сейчас получили *милое* письмо ваше, и я, в первом письме об'яснив, почему я позволяю себе писать вам,—пишу, но теперь под совершенно противоположным впечатлением тому, с которым я писал первое. Тогда я всеми силами старался удерживаться от сладости, которая так и лезла из меня, а теперь от тихой ненависти, которую в весьма сильной степени пробудило во мне чтение письма вашего к тетеньке, и не тихой ненависти, а грусти и разочарования в том, что: chassez le naturel par la porte, il revient par la fenêtre. Неужели какая-то смородина de toute beauté, haute volée и флигель-ад'ютанты останутся для вас вечно верхом всякого благополучия? Ведь это жестоко! Для чего вы писали это? Меня, вы знали, как это подерет против шерсти. Для тетеньки?. Поверьте, что самый дурной способ дать почувствовать другому: «вот я какова», это придти и сказать ему: «вот я какова!» Во-первых, коли молчать о всех тех вещах, которые льстят нашему тщеславию, выгода одна та, что предполагают гораздо больше и выгоднее того, что вы расскажете; во-вторых, ежели это расскажет посторонний, то еще получаешь новую заслугу—скромность. Это не поэзия и не философия, а чистый расчет в делах, которые действительно лестны. Вы должны были быть ужасны в смородине de toute beauté и, поверьте, в миллион раз лучше в дорожном платье.

«Любить haute volée [1]), а не человека нечестно, потом опасно, потому что из нее чаще встречаются дряни, чем из всякой другой volée, а вам даже и невыгодно, потому что вы сами не haute volée, а потому ваши отношения, основанные на хорошеньком личике и смородине, не совсем-то должны быть приятны и достойны — dignes. Насчет флигель-ад'ютантов — их человек 40, кажется, а я знаю положительно, что только два не негодяи и дураки, стало быть радости тоже нет. — Как я рад, что измяли вашу смородину на параде, и как глуп этот незнакомый барон, спасший вас! Я бы на его месте с наслаждением превратился бы в толпу и размазал бы вашу смородину по белому платью. Это я говорю потому, что, верно, вы не были в серьезной опасности. Это только Никвик, историю которого вы не читали, чуть было не погиб на параде; а чтоб барышня, приехавшая учиться музыке на коронации, погибла от столь невинной и приятной забавы, как парад, этого я никогда не слыхивал с тех пор, как живу, поэтому этого и быть не могло. У нас в деревне погода чудная, и я нынче шлялся на охоте с 6 часов утра и до 8 вечера и так наслаждался, как не удастся ни одному обер-камер-фурьеру и ни одной барыне в платье broché [2]) чем-то. Поэтому, хотя мне и очень хотелось бы приехать в Москву, позлиться, глядя на вас, я не приеду, а, пожелав вам всевозможных тщеславных радостей, с обыкновенных их горьким окончанием, остаюсь ваш покорнейший, неприятнейший слуга

Гр. Л. Толстой».

«Avec des sentiments distingués [3]), виноват, забыл вписать эту милую фразу, в которой так много смысла.

«Нет, без шуток, если вы мне простите это письмо, то вы добрый человек. M-lle Vergani, заступитесь за меня!»

Ответ на это письмо долго не приходил, Лев Николаевич волновался, писал еще, просил извинения и, наконец, добился благоприятного ответа.

По содержанию его писем видно, что семья после коронации вернулась в Судаково, что он *там бывал* и их взаимное влечение определилось и окрепло.

Но Лев Николаевич не хотел слепо, очертя голову, отдаться ему. Он решается подвергнуть чувство свое и ее испытанию временем и на расстоянии и решается уехать в Петербург на два месяца.

С дороги, из Москвы, 2-го ноября он пишет письмо, которым он начинает воспитывать свою невесту и которое вместе с тем показывает, что того, что обыкновенно называют «страстной любовью», между ними не существовало.

«Вчера приехал ночью, сегодня встал и с радостью почувствовал, что первая мысль моя была о вас, и что сажусь писать не для того, чтобы выполнить обещание, а потому, что хочется, тянет. Ваш фаворит, глупый человек, во все время дороги совершенно вышел из повиновения, рассуждал такой вздор и делал такие нелепые, хотя и милые планы, что я начинал бояться его. Он дошел до того, что хотел ехать назад с тем, чтобы вернуться в Судаково, наговорить вам глупостей и никогда больше не расставаться с вами. К счастью, я давно привык презирать его рассуждения и не обращать на него никакого внимания. Но когда он пустился в рассуждения, его товарищ, хороший человек, которого вы не любите, тоже стал рассуждать и разбил глупого человека вдребезги. Глупый человек говорил, что глупо рисковать будущим, искушать себя и терять хоть минуту счастья. «Ведь ты счастлив, когда ты с ней, смотришь на нее, слушаешь, говоришь, — говорил глупый человек, — так зачем же ты лишаешь себя этого счастья, может быть, тебе только день, только час впереди, и, может быть ты так устроен, что ты не можешь любить долго, а все-таки это самая сильная любовь, которую ты в состоянии испытывать, ежели бы ты только свободно предался ей. Потом, не гадко ли с твоей стороны отвечать таким холодным рассудительным чувством на ее чистую,

---

[1]) Высокое положение. [2]) Застегнутой. [3]) С отменными чувствами.

преданную любовь?» Все это говорил глупый человек, но хороший человек, хотя и растерялся немного сначала, на все это отвечал вот как: «Во-первых, ты врешь, что я с ней счастлив; правда, я испытываю наслажденье слушать ее, смотреть ей в глаза, но это не счастье, это даже не хорошее наслажденье, простительное для Мортье, а не для тебя; потом, часто мне тяжело бывает даже с ней, а главное, что я нисколько не теряю счастья, как ты говоришь, я и теперь счастлив ею, хотя не вижу ее. Насчет того, что ты называешь моим холодным чувством, я скажу тебе, что оно в 1000 раз сильнее и лучше твоего, хотя я и удерживаю его. Ты любишь ее для своего счастья, а я люблю ее для ее счастья». Вот как они рассуждали, и хороший человек 1000 раз прав. Полюбите его немного. Ежели бы я отдался чувству глупого человека и вашему, я знаю, что все, что могло бы произойти из этого, — это месяц безалаберного счастья. Я отдавался ему теперь перед моим отъездом и чувствовал, что становлюсь дурен и недоволен собой; я ничего не мог говорить вам, кроме глупых нежностей, за которые мне совестно теперь. На это будет время, и счастливое время! Я благодарю Бога, что он внушил мне мысль и поддержал в намерении уехать, потому что я один не мог бы этого сделать. Я верю, что он руководил мной для нашего общего счастья. Вам простительно думать и чувствовать так, как глупый человек, но мне бы было постыдно и грешно. Я уже люблю в вас вашу красоту, но я только начинаю любить в вас то, что вечно и всегда драгоценно,—ваше сердце, вашу душу. Красоту можно узнать и полюбить в час и разлюбить так же скоро, но душу надо узнать. Поверьте, ничего в мире не дается без труда, даже любовь, самое прекрасное и естественное чувство. Простите за глупое сравнение: любить так, как любит глупый человек, это играть сонату без такту, без знаков, а постоянно педалью, но с *чувством*, не доставляя этим ни себе, ни другим истинного наслаждения. Но для того, чтобы позволить себе отдаться чувству музыки, нужно прежде удерживаться, трудиться, работать, и поверьте, что нет наслаждения в жизни, которое давалось бы так. Все приобретается трудом и лишениями. Но зато, чем тяжелее труд и лишения, тем выше награда. А нам предстоит огромный труд —понять друг друга и удержать друг к другу любовь и уважение. Неужели вы думаете, что ежели бы мы отдались чувству глупого человека, мы теперь бы поняли друг друга? Нам бы показалось, но потом мы бы увидали огромный овраг, и истратив чувство на глупые нежности, уже ничем бы его не заравняли. Я берегу чувство, как сокровище, потому что оно одно в состоянии прочно соединить нас во всех взглядах на жизнь, а без этого нет любви. — Я в этом отношении много ожидаю от нашей переписки, мы будем рассуждать спокойно, я буду вникать в каждое ваше слово, и вы делайте то же, и я не сомневаюсь, что мы поймем друг друга. Для этого есть все условия и чувство и честность с обеих сторон. Спорьте, указывайте, учите меня, спрашивайте об'яснений. Вы, пожалуй, скажете, что мы и теперь понимаем друг друга. Нет, мы только верим друг другу; я иногда, глядя на вас, готов согласиться, что il n'y a rien de plus beau au monde qu'une robe brochè d'or [1]), но не согласны еще во многом. Я дорогой перебирал 1000 предметов, писем или разговоров. В следующем письме напишу вам план образа жизни Храповицких [2]), потом о ваших родных, о Киреевских, с которыми ваши отношения для меня неприятнее, чем бывшие с Мортье, о Vergani и миллион вопросов, которые не столько важны по тому, как мы их решим, как по тому, как мы будем согласаться, толкуя о них.

Нынче видел вас во сне, что Сережа вас сконфузил чем-то, и вы от конфуза делаетесь рябая и курносая, и я так испугался этого, что проснулся. Теперь даю волю глупому человеку. Вспоминаю я несколько недоконченных наших разговоров. 1) Какая ваша особенная молитва? 2) Зачем вы у меня спрашивали, случается ли мне просыпаться ночью и вспоминать, что было. Вы что-то хотели сказать и не кончили.—Я вас вспоминаю особенно приятно в 3 видах: 1) когда вы на бале попрыги-

---

[1]) Нет в мире ничего более красивого, чем платье с золотой застежкой.

[2]) Этим именем Лев Николаевич называл шутя свою будущую семью.

ваете, как-то наивно на одном месте, и держитесь ужасно прямо, 2) когда вы говорите слабым болезненным голосом немножко с кряхтеньем и 3) как вы на берегу Грумантского пруда в тетенькиных вязаных огромных башмаках злобно закидываете удочку. Глупый человек всегда с особенной любовью представляет вас в этих 3-х видах. Нет ли у m-lle Vergani вашего лишнего портрета или нельзя-ли отобрать у тетеньки назад, я бы очень желал иметь его. — Про себя писать нечего, потому что никого не видал еще. Пожалуйста, ежели ваше здоровье не хорошо, то напишите мне о нем подробно; последние два дня вы были плохи. Ежели бы милейшая Женичка написала мне несколько строчек об этом предмете и о вашем расположении духа с своей всегдашней правдивостью, она бы меня очень порадовала. Пожалуйста, *ходите* гулять каждый день, какая бы ни была погода. Это отлично вам скажет каждый доктор, и корсет носите и чулки одевайте сами и вообще в таком роде делайте над собой разные улучшения. Не отчаивайтесь сделаться совершенством. Но это все пустяки. Главное, живите так, чтобы, ложась спать, можно было бы сказать себе: нынче я сделала 1) доброе дело для кого-нибудь, 2) сама стала жить немножко лучше. Попробуйте, *пожалуйста, пожалуйста*, определять себе вперед занятия дня и вечером поверять себя. Вы увидите, какое спокойное и большое наслаждение каждый день сказать себе: нынче я стала лучше, чем вчера. Нынче я добилась делать ровно триоли на четверти или поняла, прочувствовала хорошее произведение поэзии или искусства или, лучше всего, сделала добро тому-то и заставила его любить и благодарить за себя Бога. Это наслаждение и для себя одной, а теперь вы знаете, что есть человек, который все больше и больше, до бесконечности, будет любить вас за все хорошее, что вам не трудно приобретать, преодолев только лень и апатию. Прощайте, милая барышня, глупый человек любит вас, но глупо, хороший человек est tout disposé [1]) и любит вас самой сильной и нежной и вечной любовью. Отвечайте мне подлиннее, пооткровеннее, посерьезнее, кланяйтесь ваним. Христос с вами, да поможет он нам понимать и любить друг друга хорошо. Но чем бы все это ни кончилось, я всегда буду благодарить Бога за то настоящее счастье, которое я испытываю благодаря вам, чувствовать себя лучше и выше и честнее. Дай бог, чтобы вы так же думали».

Вскоре Льву Николаевичу представилось новое испытание, уже не наложенное им самим на себя, но пришедшее извне. Он узнал из достоверных источников, уже живя в Петербурге, что его «милая барышня» допустила ухаживанье за собой учителя музыки Мортье и сама влюбилась в него. И все это произошло на несчастной коронации. Видимо, барышня сама боролась с этим чувством и даже прекратила всякие сношения с Мортье, но самый факт этого легкомысленного увлечения был страшным ударом для Льва Николаевича, и, под влиянием горького чувства, вызванного этим открытием, он пишет ей письмо, полное упреков, которое даже не решился послать ей, но обещал показать при свидании. Затем он пишет другое письмо, которое уже отсылает. Намек на эти отношения есть уже в предыдущем письме, но, очевидно, Лев Николаевич узнал новые факты, которые и побудили его вновь поднять этот вопрос. Вот это замечательное письмо от 8 ноября из Петербурга:

«Любезная Валерия Владимировна!

«Что было, того уже не будет вновь», сказал Пушкин. Поверьте, ничто не забывается, и не проходит и не возвращается. Уже никогда мне не испытывать того спокойного чувства привязанности к вам, уважения и доверия, которые я испытывал до вашего от'езда на коронацию. Тогда я с радостью отдавался своему чувству, а теперь я его боюсь. Сейчас я написал, было, вам длинное письмо, которое не решился послать вам, а покажу когда-нибудь после. Оно было написано

---

[1]) Вполне расположен.

под влиянием ненависти к вам. В Москве один господин, который вас не знает, рассказывал мне, что вы влюблены в Мортье, что вы каждый день бываете у него, что вы в переписке с ним. — Мне очень приятно было это слышать, и многое, и многое я холодно передумал и написал по этому случаю в письме, которое не посылаю. *То,* Мортье, было увлечение натуры холодной, которая еще не способна любить, и это то же; одно уже прошло немного под влиянием времени и другого увлечения, другое еще нет; но любви вы еще не способны испытывать. Даже, если подумать хорошенько, какое было истиннее и сильнее, то вы сами сознаетесь, если захотите быть искренни, что первое было сильнее и гораздо. В первом вы жертвовали многим и все-таки признавались себе и другим в своей любви; во втором, напротив, вы ничем не жертвуете. Одно спасенье есть время и время. Как бы хорошо было, ежели бы вы пожили в Москве...

«Жду ваших писем с жадностью.

«Мне грустно, скучно, тяжело; во всем неудача, все противно, но ни за что не увижусь с вами до тех пор, пока не почувствую, что совсем прошло чувство глупого человека, и что я совершенно верю вам, как прежде.

«Прощайте, так просто, и прощайте всю мою неровность, не я один виноват в ней. О двух вещах умоляю вас: трудитесь, работайте над собой, думайте пристальнее, отдавайте себе искренний отчет в своих чувствах, и со мной будьте искренни самым невыгодным для себя образом. Рассказывайте все, что было и есть в вас дурного. Хорошего я невольно предполагаю в вас слишком много. Например, если бы вы мне рассказали всю историю вашей любви к Мортье с уверенностью, что это чувство было хорошо, с сожалением к этому чувству, и даже сказали бы, что у вас осталась еще к нему любовь, мне бы было приятнее, чем это равнодушие и будто бы презренье, с которым вы говорите об нем и которое доказывает, что вы смотрите на него не спокойно, но под влиянием нового увлечения. Вы говорите и думаете, что я холодно-равнодушен; да, не дай Бог вам столько и так тяжело перечувствовать, сколько я перечувствовал за эти пять месяцев. Ну-с, прощайте-с, Христос с вами; постарайтесь не сердиться на меня за это письмо. Я не боюсь высказываться таким, каким я есть, хотя и очень плохим с этой нерешительностью, сомненьем и всякой гадостью; делайте и вы так же. Ведь главный вопрос в том, можем ли мы сойтись и любить друг друга. Для этого-то и надо высказать все дурное, чтобы знать, в состоянии ли мы помириться с ним, а не скрывать его, чтобы потом неожиданно не разочароваться. Мне бы больно, страшно больно было потерять теперь то чувство увлечения, которое в вас есть ко мне, но уж лучше потерять его теперь, чем вечно упрекать себя в обмане, который бы произвел ваше несчастье. — Ежели вас интересуют дамы и барышни петербургские и московские, то могу вам сказать, что их до сих пор решительно для меня нет.

«Ваш гр. Л. Толстой».

Внимательный читатель легко заметит, что открытие, сделанное Львом Николаевичем, о продолжающихся отношениях его невесты с Мортье нанесли неизлечимую рану его начавшему крепнуть чувству, и если он не прекращает с ней отношений сразу, то только потому, что хотел предоставить природе и времени с меньшей болью произвести эту операцию. Но с этих пор отношения их становятся более дружественными, и только изредка, и то, я думаю, больше в воображении, вспыхивает слабое пламя страстной любви.

Он отсылает это письмо, но его беспокоит, какое действие произведет оно, и на другой день он пишет еще, уже в примирительном тоне.

Петербург, 9 ноября.

«Мне так больно подумать о вчерашнем моем письме к вам, милая Валерия Владимировна, что теперь не знаю, как приняться за письмо, а думать о вас мне надо—писать так и тянет. Посылаю вам книги, попробуйте читать, начните с

маленьких и сказок—они прелестны; и напишите свое *искреннее* мнение. Насчет Николеньки еще не успел сделать и книгу ему пришлю с следующей почтой. Б. положительно тот самый, и есть мерзавец неописанный, и грешно думать равнодушно, что за него выйдет хорошая девочка. Напишите, ежели правда эта свадьба, я напишу тогда К—вой. Видел во все это время только моих приятелей литературных, из которых люблю немногих, общественных же знакомых избегаю и до сих пор не видел никого. Работал нынче целый вечер с Ив. Ив. в первый раз и тем очень доволен. Да, что я пишу про себя, может быть, вы, под влиянием того письма, не только питаете ко мне тихую ненависть, но не питаете ровно ничего. Посылаю вам еще повести Тургенева, прочтите и их, ежели не скучно,— опять, по-моему, почти все прелестно, а ваше мнение все-таки катайте прямо, как бы оно ни было нелепо. Wage nur zu irren und zu träumen [1]), Шиллер сказал. Это ужасно верно, что надо ошибаться смело, решительно, с твердостью, только тогда дойдешь до истины. Ну, для вас это еще непонятно и рано. Отчего вы мне не пишете, хоть бы такие же мерзкие письма, как я, отчего вы мне не пишете?

«N. N. вас не любит, это правда, т.-е. не не любит, а мало ценит, но Костенька хорош, как я не ожидал его найти. В нем произошла большая перемена, тексты из свящ. писания не шутка, он понял недавно великую вещь, что добро— хорошо, помните, что я у вас спрашивал часто. А вы поймете это, но со временем, и—грустно сказать—эту великую истину нельзя понять иначе, как выстрадать, а он выстрадал, а вы еще не жили, не наслаждались, не страдали, а веселились и грустили. Иные всю жизнь не знают ни наслаждений, ни страданий—моральных, разумеется. Часто мне кажется, что вы такая натура, и мне ужасно это больно, скажите, ежели вы ясно понимаете вопрос, такая вы или нет? Но во всяком случае вы милая, точно милая, ужасно милая натура. Отчего вы мне не пишете? Все, что я хотел писать вам об образе жизни Храповицких, я не решаюсь писать без отголоска от вас, и особенно на второе письмо. Однако, по правде сказать—руку на сердце—я теперь уже много меньше и спокойнее думаю о вас, чем первые дни, однако все-таки больше, чем когда-нибудь я думал о какой-нибудь женщине. Пожалуйста, на этот вопрос отвечайте мне сколько можете искренно в каждом письме: *в какой степени и в каком роде вы думаете обо мне?* Особенное чувство мое в отношении к вам, которое я ни к чему не испытывал, вот какое: как только со мной случается маленькая или большая неприятность—неудача, щелчок самолюбию и т. п., я ту же секунду вспоминаю о вас и думаю: «все это вздор, там есть одна барышня, и мне все ничего». Это приятное чувство. Как вы живете? Работаете ли вы? Ради Бога пишите мне. Не смейтесь над словом «работать». *Работать* умно, полезно, с целью добра—превосходно, но даже просто работать вздор, палочку строгать, что-нибудь, но в этом первое условие естественной хорошей жизни, поэтому счастья. Например, я нынче *работал*, совесть спокойна, чувствую маленькое не гордое самодовольство и чувствую от этого, что я добр. Нынче я бы ни за что не написал вам такого злого письма, как вчера, нынче я чувствую ко всему миру приязнь и к вам именно то чувство, которое я бы желал именно весь век чувствовать. Ах, ежели бы вы могли понять и почувствовать, выстрадать так, как я, убеждение, что единственно возможное, единственно истинное, вечное и высшее счастье дается тремя вещами: трудом, самоотвержением и любовью! Я это знаю, ношу в душе это убеждение, но живу сообразно с ним какие-нибудь два часа в продолжение года, а вы с вашей честной натурой, вы бы отдали себя этому убеждению, так, как вы способны себя отдавать людям, m-lle Vergani и т. д. А два человека, соединенные этим убеждением, да это верх счастия. Прощайте, словами это не доказывается, а внушает Бог, когда приходит время. Христос с вами, милая, истинно милая, Валерия Владимировна. Не знаю, чего до сих пор вы мне больше доставили, страданий моральных или наслажде-

[1]) Рискуй только заблуждаться и мечтать.

Л. Н-ч Толстой в 1856 году в Петербурге, перед выходом в отставку.

ний. Но я так глуп в такие минуты, как теперь, что и за то и за другое благодарен.

«Да пишите же, ради Бога, каждый день. Впрочем, ежели нет потребности, не пишите, или нет, когда не хочется писать, напишите только следующую фразу: *сегодня, такого-то числа, не хочется вам писать*, и пошлите. Я буду рад. Ради Бога не придумывайте своих писем, не перечитывайте, вы видите—я, который мог бы щеголять этим перед вами, — а неужели вы думаете, что мне не хочется кокетничать перед вами—я хочу щеголять перед вами одной честностью, искренностью; а уж вам надо тем паче—умнее вас я знаю много женщин, но честнее вас я не встречал. Кроме того ум слишком большой противен, а честность чем больше, полнее, тем больше ее любишь. Видите, мне так сильно хочется любить вас, что я учу, чем заставить меня любить вас. И действительно, главное чувство, которое я имею к вам, это еще не любовь, а страстное желание любить вас изо всех сил.—Пишите же, ради Бога, поскорее, побольше и как можно неискладнее и побезобразнее и поэтому искренно.

«Отлично можно жить на свете, коли уметь трудиться и любить, трудиться для того, что любишь, и любить то, над чем трудишься. Ежели вам случится хотеть написать мне что-нибудь и не решитесь, то, *пожалуйста*, намекните, о чем. Надо все вопросы раз'яснить смело. Я вам делаю много и грубых, а вы никогда».

Не дождавшись ответа и, вероятно, успокоившись сознанием, что pas de nouvelles—bonnes nouvelles [1]), он продолжает руководить жизнью своей более воспитанницы, чем невесты, и пишет ей обстоятельное письмо об их возможной будущей совместной жизни.

Петербург 12 ноября 1856 г.

«Чувствую, что я глуп, но не могу удержаться, милая барышня, и, не получив все-таки от вас ни строчки, опять пишу вам. Теперь уже за 12 часов ночи, и вы сами знаете, как это время располагает к нежности, следовательно к глупости. Напишу вам о будущем образе жизни Храповицких, ежели суждено им жить на свете.

Образ жизни мужчины и женщины зависит: 1) от их наклонности, а 2) от их средств. Разберем и то и другое. Храповицкий, человек морально старый, в молодости делавший много глупостей, за которые поплатился счастьем лучших годов жизни, и теперь нашедший себе дорогу и призвание—литературу,—в душе презирает *свет*, обожает тихую, семейную, нравственную жизнь и ничего в мире не боится так, как жизни рассеянной, светской, в которой пропадают все хорошие, честные, чистые мысли и чувства и в которой делаешься рабом светских условий и кредиторов.

«Он уже поплатился за это заблуждение лучшими годами жизни, так это убеждение в нем не фраза, а убеждение, выстраданное жизнью. Милая госпожа Дембицкая [2]) еще ничего этого не испытала, для нее счастье бал, голые плечи, карета, бриллианты, знакомства с камергерами, генерал-ад'ютантами и т. д. Но так случилось, что Хр. и Демб. как будто бы любят друг друга (я, может быть, лгу перед самим собой, но опять в эту минуту я вас страшно люблю). Итак, эти люди с противоположными наклонностями будто бы полюбили друг друга. Как же им надо устроиться, чтобы жить вместе? Во-первых, они должны делать уступки друг другу; во-вторых, тот должен делать больше уступок, чьи наклонности менее нравственны. Я бы готов был жить всю свою жизнь в деревне. У меня бы было три занятия: любовь к Д. и заботы о ее счастьи, литература и хозяйство, так, как я его понимаю, т.-е. исполнение долга в отношении людей, вверенных мне. При этом одно не хорошо: я бы невольно отстал от века, а это грех.—Г-жа Д. мечтает о том, чтобы жить в Петербурге, ездить на 30 балов в зиму,

---

[1]) Нет известий—значит, хорошие вести.
[2]) Этим именем Л. Н. называл шутя свою предполагаемую жену.

принимать у себя хороших приятелей и кататься по Невскому в своей карете. Середина между этими двумя требованиями есть жизнь 5 месяцев в Петербурге без балов, без кареты, без необыкновенных туалетов с гипюрами и point d'Alençon [1]) и совершенно без света, и 7 месяцев в деревне. У Храп. есть 2.000 р. сер. дохода с имения (т.-е. если он не будет тянуть последнего, как делают все, с несчастных мужиков), есть у него еще около 1.000 р. сер. за свои литературные труды в год (но это неверно, он может поглупеть или быть несчастлив и не напишет ничего). У г-жи Д. есть какой-то запутанный вексель в 20.000, с которого, ежели бы она получила его, она бы имела процентов 800 р.—итого, при самых выгодных условиях 3.800 р. Знаете ли вы, что такое 3.800 р. в Петербурге? Для того, чтобы с этими деньгами прожить 5 месяцев в Петербурге, надо жить в 5-м этаже, иметь 4 комнаты, иметь не повара, а кухарку, не сметь думать о том, чтобы иметь карету и попелиновое платье с point d'Alençon, или голубую шляпку, потому что такая шляпка jurera [2]) со всей остальной обстановкой. Можно с этими средствами жить в Туле или Москве, и даже изредка блеснуть перед Лазаревичами, но за это—merci. Можно тоже и в Петербурге жить в третьем этаже, иметь карету и point d'Alençon и прятаться от кредиторов, портных и магазинщиков, и писать в деревню, что все, что я приказал для облегчения мужиков, это вздор, а тяни с них последнее, и потом самим ехать в деревню и со стыдом сидеть там годы, злясь друг на друга; и за это — merci. Я испытал это.—Есть другого рода жизнь в пятом этаже (бедно, но честно), где все, что можно употреблять на роскошь домашнюю, на отделку этой квартирки на 5-м этаже, на повара, на кухню, на вина, чтобы друзьям радостно было притти на этот 5-й этаж, на книги, ноты, картины, концерты, квартеты дома, а не на роскошь внешнюю для удивления Лазаревичей, холопей и болванов.

«Прощайте, ложусь спать, жму вашу милую руку и слишком, слишком много думаю о вас. Завтра буду продолжать, теперь же буду писать в желтую книжечку, и опять о вас. Я дурак...».

Лев Николаевич не кончил этого письма, очевидно, потеряв терпение от долгого молчания той, которая так сильно занимала всю его глубокую душу, и он заключает это письмо на другой день короткой, сдержанной запиской:

Петербург, 12 ноября.

«Буду продолжать это письмо в другой раз, получив от вас; а теперь как-то это не занимает, и в голове другое. Последний раз пишу вам. Что с вами? Больны вы или вам снова совестно отчего-нибудь передо мной, или вы стыдитесь за те отношения, которые установились между нами? Но что бы то ни было, напишите строчку. Сначала я нежничал, потом злился, теперь чувствую, что становлюсь уже равнодушен, и слава Богу. Какой-то инстинкт давно говорил мне, что кроме вашего и моего несчастья, ничего из этого не выйдет. Лучше остановиться вовремя.

«Когда я люблю вас, мне часто хочется приехать к вам и сказать вам все, что чувствую; но в такие минуты, как теперь, когда я злюсь на вас и чувствую себя совершенно равнодушным, мне еще больше хочется видеть вас и высказать вам все, что накипело, и доказать вам, что мы никогда не можем понимать и поэтому любить друг друга, и что в этом никто не виноват, кроме Бога и нас, ежели мы будем обманывать друг друга.

«Во всяком случае, ради истинного Бога, памятью вашего отца и всего, что для вас есть священного, умоляю вас, будьте искренни со мной, совершенно искренни, не позволяйте себе увлекаться. Прощайте, дай вам Бог всего хорошего.

Ваш гр. Л. Толстой».

---

[1]) Название французского кружева.
[2]) Не будет соответствовать.

Наконец, он был награжден за свое терпение, получив сразу несколько запоздалых писем, и между двумя друзьями снова устанавливаются нежные отношения, о чем свидетельствуют несколько следующих друг за другом писем, из которых мы приводим здесь наиболее характерные, служащие продолжением прерванного предыдущего. Письма эти не нуждаются ни в каких комментариях.

Петербург, 17 ноября.

«Я не лгал в последнем письме, говоря, что «чувствую себя совершенно к вам равнодушным». Т.-е. равнодушным совсем я не был, а думал реже, и когда думал, то думал со злобой, что именно и доказывает, что я не был равнодушен. И во всем виновата отвратительная почта. Я нынче получил ваши оба письма, оба письма милые, добрые, честные, в которых меня многое сильно душевно порадовало и кое-что не понравилось, а что—я и говорить не стану. Простите меня за мое последнее и предпоследнее письма; они оба писаны под влиянием глупого чувства, от которого во мне осталось теперь только воспоминание. Они выражены со злостью, но от содержания их я не отрекаюсь. Я теперь совершенно спокойно и благоразумно смотрю на вас (не сердитесь за это) и все-таки вижу в вас очень и очень хорошую барышню, с которою я был бы счастлив, если бы мог быть другим.—Мне кажется иногда, что уже и теперь я имею право назвать вас милый друг Валеренька (как вам подписала Женичка),—но ежели это не правда, ведь, это грех и бесчестно. Ежели я скажу, что эта соната хороша, а потом скажу, что она гадкая, от этого другому никакой беды не будет, но ежели я вам скажу, что вы мне друг, и это неправда, а вы поверите этому, то, ведь, вам нехорошо будет и мне тоже будет нехорошо, ежели я буду верить вашим словам, которым вы цену и значение которых вы сами не знаете. Но будет об этом, скажу вам, что меня особенно заняло в ваших письмах. Ваши письма очень, очень мне были радостны, повторяю вам, и они были такие, какие я ожидал, прямые, честные, продолжайте так, не бойтесь самым нелепым образом выразить мне мысль, которая придет вам. Все, что вы скажете, я растолкую себе гораздо лучше, чем то, про что вы промолчите... Вы знаете мой характер сомнения во всем, которое не есть следствие характера, но известной степени развития. Знайте, что ничто не дается даром. Ежели я понимаю больше вещей, чем Гимбут, то зато я уже не имею той свежести чувства, как он. У меня невольно во всякой вещи существуют pour et contre [1]). Я во всем мире сомневаюсь, исключая, что добро—добро, и этим одним меня можно держать на веревочке. Ежели бы Иисус Христос меня жарил на огне, я бы богохульствовал, может быть, но никогда бы не посмел сказать, что И. Х. нехорош. Нравственное добро, т.-е. любовь к ближнему, поэзия, красота, что все одно и то же,—одно, в чем я никогда не сомневаюсь, я преклоняюсь всегда, хотя почти никогда не пратикируя. И я к вам могу иметь влечение, потому что мне кажется, что вы можете быть *добры*, как я понимаю это слово. Но вам скучна эта философия. Напрасно вы сердитесь на тетеньку. Это доказывает, что вы молоды и неопытны и не можете быть беспристрастны. Я вам говорил не раз, что она вас любит и спит и видит, чтобы назвать вас своей племянницей. Но перед от'ездом я ей говорил, какие наши отношения, чисто дружеские, ничем не связанные, и что я еду, чтобы испытать себя. Она сердилась, зачем я еду в Петербург, а не в церковь, и говорила «encore des épreuves» [2]). Но она любит и меня и вас, и ей больно бы было, чтобы я поступил бесчестно, по ее понятиям, относительно вас, т.-е. monter la tête à une jeune personne [3]), и больно, что вас это заставит страдать; вследствие этого она, не надеясь на мое постоянство, хочет вам сделать менее чувствительным удар, по ее понятиям, который вас ожидает.—Она душка! Надо только вникнуть в ее простодушные и милые расчеты с самой собой, которые она всю свою жизнь делает на основании

[1]) За и против.
[2]) Еще испытания.
[3]) Вскружить голову молодой девице.

любви и самоотвержения. Она прелесть, а вы восторгаетесь Наташей. Наташа добрая, но пустая голова, немножко подленькая натурка и без правил, с которой вы можете находить удовольствие только потому, что она льстит вашему чувству, но которой contact [1]) я бы не желал вам. —

«Занятия ваши радуют меня, но мало, ей-Богу, мало, вечера пропадают, принуждайте себя . . . . . точки означают разные нежные имена, которые даю вам мысленно, умоляя вас больше работать. Вы мельком говорите в одном месте, что вы читали с наслаждением. Что с наслаждением? И что понимали? Это мне ужасно интересно. На . . . . родной (?) бал однако вам бы не мешало поехать. Вам самим должно быть интересно испытать себя. Сделайте это г . . . . . и напишите искренно ваше впечатление. Я почти не испытывал себя, т.-е. никого не видел женщин, нигде не был и la main sur la conscience [2]) могу сказать, что в эти 3 недели ни одна женщина не обратила моего внимания нисколько. Зато вашей главной соперницей—литературой—во все это время я занимался много и с удовольствием. Написал маленький рассказ в Библиотеку и готовлю другой в О. З. У меня хорошенькая, тихая квартирка, стоят фортепианы, и наши перья с И. И. скрипят с утра до вечера. Хотел я вам продолжать письмо об образе жизни Хран., но мне пришло в голову, продолжайте вы: как, где, что они должны делать, а я все-таки напишу свое мнение. Г . . . . . ., не бойтесь, говорите свое мнение. Ежели вы ошибаетесь, то мило, как честная, любящая натура. Портрет, боюсь, не скоро придет из Москвы, но целую ручки за него у тех, кому я обязан. Свою рожу изображу и пошлю завтра. Прощайте, Христос с вами . . . . . .».

Петербург, 23 ноября.

«Сейчас получил ваше славное, чудесное, отличное письмо от 15-го ноября. Не сердитесь на меня, голубчик, что я в письмах так называю вас. Это слово так идет к тому чувству, которое я к вам имею. Именно *голубчик*. И сколько раз, разговаривая с вами, мне ужасно хотелось назвать вас так, не каким-нибудь другим именем, а именно так. Письмо это должно быть коротко, ежели я не увлекусь, потому что у меня дела пропасть, и самого спешного, самого мучительного, от которого я несколько дней не сплю ночи. Вы знаете, что мы заключили условие с «Современником» печатать свои вещи только там с 1857 года, а я обещал Дружинину и Краевскому в «Отеч. Зап.», и надо написать это к 1-му декабря. Дружинину я написал кое-как маленький рассказ, но Краевскому не идет на лад; я написал, но сам недоволен, чувствую, что надо переделать, некогда и я не в духе, а все-таки работаю. С одной стороны, надо держать слово, с другой, — боюсь уронить свое литературное имя, которым я, признаюсь, дорожу очень, почти так же, как одной вам известной госпожой.—Я в гадком расположении духа, недоволен собой, поэтому всем на свете злюсь, зачем я давал слово, хочу работать над старыми—отвращение, и как на беду лезут в голову новые планы сочинений, которые кажутся прелестны.—В таком настроении застало меня ваше последнее письмо и утешило меня во всем. Бог с ними со всеми, только бы вы меня любили и были такой, какой я вас желаю видеть, т.-е. отличной; а по письму мне показалось, что вы и любите меня, и начинаете понимать жизнь посерьезнее и любить добро и находить наслаждение в том, чтобы следить за собой и итти все вперед по дороге к совершенству. Дорога бесконечная, которая продолжается и в той жизни, прелестная и одна, на которой в этой жизни находим счастье. Помогай вам Бог, мой голубчик, идите вперед, любите, любите не одного меня, а весь мир Божий, людей, природу, музыку, поэзию и все, что в нем есть прелестного, и развивайтесь умом, чтобы уметь понимать вещи, которые достойны любви на свете. Любовь—главное назначение и счастие на свете. Хотя, что я скажу, пейдет вовсе к нашему разговору, но вот еще великая причина, по которой женщина должна

[1]) Общение.
[2]) По совести.

развиваться. Кроме того, что назначение женщины быть женой, главное ее назначение быть матерью, а чтобы быть *матерью, а не маткой* (понимаете вы это различие?), нужно развитие.—Не сердитесь, голубчик (ужасно весело мне вас так называть), за замечания, которые я вам сделаю. 1) Вы всегда говорите, что ваша любовь чистая, высокая и т. д. По-моему, говорить, что моя любовь высокая и т. д., это все равно, что говорить, что у меня нос и глаза очень хороши. Об этом надо предоставить судить другим, а не вам. 2) В отличном вашем дополнении плана жизни Хран. не хорошо то, что вы хотите жить в деревне и ездить в Тулу. Избави Бог! Деревня должна быть уединением и занятием, про которые я писал в предпоследнем письме, и больше ничего. Но такой деревни вы не выдержите, а тульские знакомства порождают провинциализм, который ужасно опасен. Храповицкие сделаются оба провинциальными и будут тихо ненавидеть друг друга за то, что они провинциалы. Я видел такие примеры. Да я к тетеньке испытывал тихую ненависть за провинциализм главное. Нет-с, матушка, Храповицкие или никого не будут видеть, или лучшее общество во всей России, т.-е. лучшее общество не в смысле царской милости и богатства, а в смысле ума и образования. У них комнаты будут в 4-м этаже, но собираться в них будут самые замечательные люди в России. Избави Бог вследствие этого быть грубыми с тульскими знакомыми и родными, но надо удаляться их,—их не нужно; а я вам говорил, что сношения с людьми ненужными всегда вредны. 3) Увы! Вы заблуждаетесь, что у вас есть вкус, т.-е. может быть, есть, но такту нет. Например, известного рода наряды, как голубая шляпка с белыми цветами, прекрасна; но она годится для барыни, ездящей на рысаках в аглицкой упряжке и входящей на свою лестницу с зеркалами и камелиями; но при известной скромной обстановке 4-го этажа, извозчичьей кареты и т. д., эта же шляпка ридикюльна, а уж в деревне в тарантасе и говорить нечего. Потом, есть известные женщины, почти в роде Щербачевой и даже гораздо хуже, которые в этом роде élégance [1]) ярких цветов, взъерошенных куафюр и всего необыкновенного—горностаевых мантилий, малиновых салопов и т. д.—всегда перещеголяют вас, и выходит только то, что вы похожи на них. И девушки и женщины, мало жившие в больших городах, всегда ошибаются в этом. Есть другого рода élégance, скромная, боящаяся всего необыкновенного, яркого, но очень взыскательная в подробностях, как башмаки, воротнички, перчатки, чистота ногтей, аккуратность прически и т. д., за которую я стою горой, ежели она не слишком много отнимает заботы от серьезного, и которую не может не любить всякий человек, любящий изящное. Elégance ярких цветов еще простительна, хотя и смешна, для дурносопой барышни, но вам, с вашим хорошеньким личиком, непростительно этак заблуждаться. Я бы на вашем месте взял себе правилом туалета—простота, но самое строгое изящество во всех мельчайших подробностях.

«Прогулки по гостиному двору?!!! Боже мой! Но это все ничего, ежели бы вы мечтали даже ездить учиться музыке на Тульский оружейный завод, и это было бы ничего в сравнении с чудной искренностью и любовью, которыми дышат ваши письма. Ради Бога, чтобы замечания мои не испортили ваше лучшее качество—искренность.

«Прощайте, голубчик, голубчик, голубчик, 1000 раз голубчик; сердитесь или нет, а все-таки написал. Христос с вами .

Петербург, 28 ноября 1856 г.

«Вчера получил ваше письмо после говения, а нынче другое. Не знаю, потому ли, что письма не хороши, или потому, что я начинаю перемениться, или потому, что в последнем вы упоминаете о Мортье, письма не произвели на меня такого приятного впечатления, как первые.

«Поздравляю вас от души и радуюсь, что вы так серьезно на это смотрите. Одно не хорошо: надо меньше говорить, чтобы больше чувствовать. И не надо

[1]) Изящества.

слишком увлекаться надеждой, что все пойдет новое, и что этим таинством вы разрываете связь с прошедшим. Оно помогает много и в жизни и духовно очищает, но не так, как вы думаете. Например, что вы говорите, что после говенья вы будете наблюдать за собой, и трудиться и работать (это я прибавляю за вас)— это отлично, и поддержи вас Бог в этих мыслях, но история Мортье остается историей Мортье. Первое нехорошо, что у вас время, как я вижу, проходит праздно. Это плохо. Вчера я был у О. Тургеневой и слышал там Бетховенское трио, которое до сих пор у меня в ушах,—восхитительно! Я не могу видеть женщину, чтобы не сравнить ее с вами. Эта госпожа отличная во всех отношениях, но она мне просто не нравится, но должно ей отдать справедливость. Можете себе представить, я узнал от ее тетки, что она встает в 7 часов в Петербурге и до 2 каждый день играет, а вечера читает, и, действительно, в музыке она сделала громадные успехи, хотя у нее таланта меньше, чем у вас. Второе нехорошо, и ужасно нехорошо, что вы не пригласили Мортье приехать в Тулу и Судаково. Я говорил, говорил и вам, и Женичке, что для вас необходимо видеться с ним, чтобы прекратить ваши отношения, но мне не хотят верить.—Постарайтесь не досадовать, не воображать, что я ревную, а просто спокойно постарайтесь влезть в мою шкуру и видеть моими глазами. Госпожа Дембицкая была влюблена в Passe-Passe [1]). она сама призналась в этом Женичке. Не ахайте, это не беда, это даже мило. Passe-Passe, как г-жа Дембицкая убеждена, страстно влюблен в нее. Их отношения *прервались*, но *не прекратились*. Поймите меня, я убежден совершенно, что вы теперь не имеете ничего к Passe-Passe, но ему это не доказано, он остановился на том, что вы ему показывали расположение. Понимаете ли вы, что половина пути, самая трудная, уже пройдена для него? Помните, мы с вами говорили у фортепиан: что будет, если вы влюбитесь, и вы сказали, что этого не может быть, потому что вы не допустите себя дойти до интимности и взаимности, которые необходимы для того, чтобы любовь была опасна. Это правда. И понимаете,—вы с Мортье дошли до того, что он имеет право думать: или что вы имели к нему любовь, или что вы такая госпожа, которая способна иметь ее к многим, и вследствие этого разлука и сухое письмо с выдумками не уничтожения отношений и не могут успокоить Храповицкого.—Именно только ваши отношения с Мортье беспокоят Храповицкого. Отчего ему весело и приятно говорить с вами про вашу любовь к милейшему Иславину, отчего, ежели он будет мужем г-жи Дембицкой, он (ежели встретится в этом необходимость) совершенно спокойно отправит г-жу Храп. на 2 года путешествовать с Иславиным и т. п., но Мортье другое. Г-жа Демб. убеждена, что он ее любит, а он, г-н Хр., который жил больше ее на свете, знает, что значит эта *высокая* любовь,—это больше ничего, как желание целовать ручки хорошенькой девушке, понимаете? Это доказывает и Вертер и то, что он никогда не думал о том, чтобы было лучше госпоже Демб., и даже в музыке, в одном, в чем он мог бы быть полезен, он глупой лестью и т. п. путал и вредил ей. Кроме того, это такой род любви, который от подобострастия ужасно быстро переходит к дерзости. Я мужчина, и все *28 ноября* это знаю. Разумеется, я никому не мог запретить иметь к моей жене любовь такого рода, но она не опасна, когда между *ей* и *им* нет ничего общего, но когда пройдена эта первая половина дороги, тогда опасно. И опасно вот в каком смысле, что ежели бы г-н Мортье написал моей жене любовное письмо или поцеловал бы ее руку и она скрыла бы это от меня (а кто ему мешает теперь?), то ежели бы я любил жену, я бы застрелился, а нет, то сию секунду развелся бы и бежал на край света из уважения к ней, к своему имени, и из разочарования в моих мечтах будущности. И это не фраза, клянусь вам Богом, что я это знаю, как себя знаю. От этого-то я так боюсь брака, что слишком строго и серьезно смотрю на это. Есть люди, которые женясь думают: «ну, не удалось тут найти счастье, у меня еще жизнь впереди...». Эта мысль мне никогда не приходит, я все кладу на эту карту. Ежели я

[1]) Кого-то.

не найду совершенно счастья, то я погублю все, свой талант, свое сердце, сопьюсь, картежником сделаюсь, красть буду, ежели не достанет духу зарезаться. А вам это шуточки, приятное чувство, высокое, *нежное* и т. д. Я не люблю нежного и высокого, а люблю честное и хорошее. Постарайтесь спокойно стать на мое место и подумать, призовите и Женечку на совет, прав ли я или нет, желая, чтобы вы стали с Мортье в отношения музыкального учителя и ученицы. Может быть, это трудно, но что же делать, а повторяю—лгать ему в письмах (как вы не чувствовали этого, говея?), это унижать себя, бояться его. Очень весело будет Хран. бегать от Мортье, чтобы его жена вдруг не растаяла перед выражением его страсти. Хран. имеет правилом и держится его—не иметь врагов, не иметь во всем мире ни одного человека, с которым бы ему тяжело было встретиться; а вы, любя его, хотите поставить в это гнусное, унизительное положение. Постарайтесь стать на мою точку зрения, у вас хорошее сердце и вы меня еще любите, как же вам не понять этого? Ревновать уж унизительно, а к Мортье каково? Вы думаете, что кончены все нотации. Нет, дайте все высказать. Три дня вы не решились сказать мне вещи, которая, вы знаете, как меня интересует, и вы сказываете ее, как будто гордясь своим поступком. Да, ведь, это первое условие самой маленькой дружбы, а не *высокой и нежной* любви. Я не шутя говорил, что ежели бы моя жена делала мне в сюрприз подушку, ковыряшку какую-нибудь и делала бы от меня тайно, я бы на другой день убежал бы от нее на край света и мы бы стали чужие, что делать, я такой и не скрываю этого, и не преувеличиваю. Думайте хорошенько, можете ли вы любить такого урода? А в вещи, такой близкой вашему и моему сердцу, вы задумываетесь. Поверьте, что я не так поступаю в отношении вас. С тех пор, как я уехал, нет вещи, которой бы я не мог сказать вам, и говорю и скажу все, что может вам быть интересно. За это-то я и люблю, главное, мои отношения к вам, что они поддерживают меня на пути всего хорошего. Что вы спрашиваете меня о попах, напомнило мне то, что я давно хотел сказать вам. Какие бы ни были наши будущие отношения, *никогда не будем говорить о религии и все, что до нее касается.* Вы знаете, что я верующий, но очень может быть, что моя вера разойдется с вашей, и этот вопрос не надо трогать никогда, особенно между людьми, которые хотят любить друг друга. Я радуюсь, глядя на вас. Религия великое дело, особенно для женщин, и она в вас есть. Храните ее, никогда не говорите о ней, и, не впадая в крайности, исполняйте ее догматы. Занимайтесь больше и больше, приучайте себя к труду. Это первое условие счастия в жизни. Прощайте, милая Валерия Владимировна, изо всех сил жму вашу руку. Перед получением ваших последних писем я думал о том, что вместо того, чтобы испытывать себя, мы нашими письмами еще больше монтируем друг друга. Ну, это письмо, кажется, не такого рода. На-днях кончаю работу и пускаюсь в свет. Прощайте, Христос с вами, милая барышня».

Читатели заметили, наверное, в последних письмах зародыш сомнения, закравшегося в душу Льва Николаевича. Сквозь продолжающиеся еще чувства нежности все чаще и чаще прорывается чувство тягости от некоторой искусственности установившихся отношений. Разумеется, эта фальшивая нота их отношений стала заметна и Валерии Владимировне, и интенсивность их взаимного чувства начинает слабеть, и они начинают искать честного исхода.

В письме к своей тетке Т. А. Ергольской Лев Николаевич уже сознается в охлаждении своего чувства и просит совета в трудном деле. Это письмо уже написано из Москвы, куда он переехал в начале декабря и остался до нового года.

Москва, 5 декабря 1856 г.

«Вы мне пишете про В. опять в том же тоне, в котором вы всегда мне говорили про нее, и я отвечаю опять так же, как всегда. Только-что я уехал, и неделю после этого мне казалось, что я был влюблен, что называется, но с моим воображением это нетрудно. Теперь же и после этого, особенно как я пристально занялся работой, я бы желал и очень желал мочь сказать, что я влюблен или про-

сто люблю ее, но этого нет. Одно чувство, которое я имею к ней,—это благодарность за ее любовь и еще мысль, что из всех девушек, которых я знал и знаю, она лучше всех была бы для меня женой, как я думаю о семейной жизни. Вот в этом-то я и желал бы знать ваше откровенное мнение—ошибаюсь ли я или нет, и желал бы слышать ваши советы, во-первых, потому, что вы знаете и ее и меня, и главное, потому, что вы меня любите, а люди, которые любят, никогда не ошибаются. Правда, я очень дурно поисповтывал себя, потому что с тех пор, как уехал, вел жизнь скорее уединенную, чем рассеянную, и видел мало женщин, но несмотря на это часто мне приходили минуты досады на себя, что я сошелся с ней, и я раскаивался в этом. Все-таки я говорю, что ежели бы я убедился, что она—натура постоянная и будет любить меня всегда, хоть не так, как теперь, а больше, чем всех, то я бы ни минуты не задумался бы жениться на ней. Я уверен, что тогда моя б любовь к ней все увеличивалась бы и увеличивалась и что посредством этого чувства из нее бы можно было сделать хорошую женщину».

И письма к Валерии становятся уже более холодными, рассудочными. Хотя он и употребляет еще слово «влюбленный», но уже шутя, без прежнего увлечения. Он пишет ей в Петербург, куда она переехала провести зимний сезон, о чем давно мечтала:

Москва, 6 декабря.

«Очень благодарен вам, любезная Валерия Владимировна, за вашу добрую память. Хотя я вовсе не ожидал его, письмо ваше доставило мне большое удовольствие. Не хорошо, что вы не веселы и не радуетесь жизни так, как бы следовало. Чего вам еще? Вы мечтаете о независимой жизни в Петербурге, и у вас теперь есть все, о чем имеет право мечтать человек: молодость, красота, независимое состояние, друг Верганичка, и даже роскошь имеете, Т., который страстно влюблен в вас и только об этом просит, чтобы ему позволено было сделаться вашим рабом. Во всяком случае нужна решительность. Ежели, несмотря на все эти выгодные условия, вам не хорошо там, где вы живете, постарайтесь устроить лучше. Поезжайте за границу, выходите замуж, ступите в монастырь, заройтесь в деревню, но не будьте ни секунды в нерешительности. Это самое тяжелое и даже вредное состояние. Извините, что по старой привычке я увлекся подаванием советов.

«Радуюсь, что вы много занимаетесь музыкой. Искусство всегда и везде большое и чистое наслаждение. А музыка—ваше искусство, вы должны успевать в нем. Я живу все это время в Москве, немного занимаюсь своим писанием, немного семейной жизнью, немного сижу в здешний *свет*, немного вожусь с *умными*, и выходит жизнь так себе: ни очень хорошо, ни худо. Впрочем, скорей хорошо. Сердце мое, не могу сказать, чтобы было пусто; напротив, слава Богу, оно беспрестанно наполняется то тем, то другим, разным вздором, но в том смысле, в котором вы разумеете, в coeur libre [1])—совершенно libre.

«Братья третьего дня приехали сюда, и мы живем все вместе. Машенька хворает зубами последнее время. В Петербург я вовсе не собираюсь, но, должно быть, придется быть к новому году. Тогда мы еще подробно переговорим о всем, что теперь желал бы написать; итак, до свиданья, от души жму вашу руку и Верганичкину.

Ваш гр. Л. Толстой».

Холодный тон писем не ускользнул от нее, она пишет ему с упреком и с любовью. И вот два хорошие письма от нее, и в нем снова поднимается волна любви, и письмо окрашивается розовым цветом и дышит сердечной теплотой.

В одном из следующих писем Л. Н. пишет так:

«С прошедшей почтой послал вам книгу, прочтите эту прелесть. Вот где учиться жить: видишь различные взгляды на жизнь, на любовь, с которыми мо-

[1]) Свободном сердце.

жешь ни с одним не согласиться, но зато свой собственный становится умнее и яснее. Я опять *преподаю*, но что делать, я не понимаю без этого отношений с человеком, которого люблю. И вы мне иногда преподаете, и я радуюсь ужасно, когда вы правы. В этом-то и любовь. Не в том, чтобы у пупунчика целовать руки (даже мерзко выговорить), а в том, чтобы друг другу открывать душу, поверять свои мысли по мыслям другого, вместе думать, вместе чувствовать».

Именно в том, что такое любовь, они и не могли сойтись, и чем искреннее и задушевнее выражал Лев Николаевич свои мысли и чувства к ней, тем менее проникали они в ее душу и тем сильнее вызывали отпор. Такой же отпор вызвало и последнее письмо его, и ответ на него заставляет его уже переменить тон, и любовь заменяется дружбой.

Москва, 12 декабря.

«Вот уже второй день, что я получил ваше последнее письмо, и все был в нерешительности, отвечать ли на него или нет, и как отвечать на него. Чем заболел, тем и лечись, клин клином вышибают. Буду опять искренен, сколько могу. Подумав хорошенько, я убедился, что мое письмо действительно было грубо и нехорошо, и что вы могли и должны были оскорбиться, получив его. Но все-таки я от него не отрекаюсь. Это был не припадок ревности, а убеждение, которое я выразил слишком грубо и которое я сохраняю до сих пор.

«Насчет вашего письма я думал вот как: или вы никогда не любили меня, что бы было прекрасно и для вас и для меня, потому что мы слишком далеки друг от друга; или вы притворились и под влиянием Женички, которая посоветовала вам холодностью разжечь меня. Мне кажется, что тут il y a du [1]) Женичка. Mais c'est un mauvais moyen [2]) со мной, j'envisage la chose trop sérieusement pour que les petits moyens naïfs puissent avoir prise sur moi. Je vois depuis longtemps le fond de votre cœur [3]), и эти миленькие хитрости для меня не скрывают, а засоряют его.

«То, что я говорю, что было бы прекрасно, ежели бы вы никогда не любили меня, я тоже говорю искренно, и тоже, хотя и прежде я чувствовал это, меня особенно навело на мысль *последнее* письмо. Вы гневаетесь, что я только *умею читать нотации*. Ну вот, видите ли, я вам пишу мои планы о будущем, мои мысли о том, как надо жить, о том, как я понимаю добро, и т. д. Это все мысли и чувства самые дорогие для меня, которые я пишу чуть не со слезами на глазах (верьте этому), а для вас это *нотации* и *скука*. Ну что же есть между нами общего? Смотря по развитию, человек и выражает любовь. Оленькин жених выражает ей любовь, говоря о том, как они будут целоваться; вы выражаете любовь, говоря о высокой любви; а меня хоть убейте, я не могу говорить об этих вздорах. Верьте еще одному, что во всех моих и ваших отношениях я был искренен, сколько мог, что я имел и имею к вам дружбу, что я искренно думал, что вы лучшая из всех девушек, которых я встречал, и которая, ежели захочет, я могу быть с ней счастлив и дать ей счастье, как я понимаю его. Но вот в чем я виноват, и в чем прошу у вас прощения: это, что, не убедившись в том, захотите ли вы понять меня, я как-то невольно зашел с вами в об'яснения, которые не нужны, и, может быть, часто сделал вам больно. В этом я очень и очень виноват; но постарайтесь простить меня, и останемтесь добрыми друзьями. Любовь и женитьба доставляли бы нам только страдания, а дружба, я это чувствую, полезна для нас обоих. И я не знаю, как вы, но я чувствую в себе силы удержаться в границах ее. Кроме того, мне кажется, что я не рожден для семейной жизни, хотя люблю ее больше всего на свете. Вы знаете мой гадкий, подозрительный, переменчивый характер, и Бог знает, в состоянии ли что изменить его. Нешто сильная любовь, которой я никогда не испытывал и в которую я не верю. Из всех женщин, которых

---

[1]) Есть от.

[2]) Но это плохое средство.

[3]) Я смотрю на дело слишком серьезно, чтобы мелкие наивные средства могли действовать на меня; я уже давно вижу дно души вашей.

я знал, я больше всех любил и люблю вас, но все это еще очень мало. Прощайте, Христос с вами, милая Валерия Владимировна. Вы хоть в Ясную дайте знать, могу ли я все-таки приехать посмотреть на вас в январе месяце.

Ваш гр. Л. Толстой».

После этого письма наступает перерыв около трех недель. Очевидно, что отношения их уже изменились и перешли в дружеские. Лев Николаевич в это время переехал в Петербург из-за своих литературных дел. Там он получил от нее большое письмо, на которое отвечает следующее:

Петербург, 1 января 1857 г.

«Милая Валерия Владимировна! Очень, очень вам благодарен за последнее большое письмо ваше. Оно успокоило меня и уменьшило те упреки, которые я себе делал за те письма, которые я вам писал и которые вас рассердили. Я ужасно гадок и груб был, и главное, мелок в отношении вас. Когда вас увижу, то постараюсь подробно об'яснить, почему я себе так гадок.

«Нынче Новый Год, очень приятно мне думать, что я начинаю его письмом к вам, дай Бог, чтобы он вам принес больше радостей, чем прошлый, и вообще столько, сколько вы стоите, а вы заслуживаете счастья. Меня задержала здесь праздники книжка «Современника» и хлопоты неожиданные с цензурой и хлопоты о паспорте за границу. Однако, надеюсь через недельки две увидать вас, а может быть и нет. Что вам рассказать, как я прожил время своего молчания. Скучно и большей частью грустно, отчего, сам не знаю. Одиночество для меня тяжело, а сближение с людьми невозможно. Я сам дурен, а привык быть требователен. Притом я ничем не занят это время, и от этого грустно. Много слушаю музыки это время, и вчера даже встретил Новый Год, слушая прелестнейшее в мире трио Бетховенское, и вспомнил о вас, как бы оно на вас подействовало. Ноты завтра, как отопрут магазины, пришлю вам, и хорошие».

Ответом на это письмо последовало с ее стороны запрещение писать ей. Но он продолжает писать ей, уже каясь в своей вине перед ней и перед собой. Вот это трогательное письмо, полное смирения и человеческого достоинства:

Петербург, 14 января 1857 г.

«Любезная Валерия Владимировна! Что я виноват перед собой и перед вами—ужасно виноват, это несомненно. Но что же мне делать? То, что я вам писал в ответ на ваше маленькое письмо, в котором вы запрещали мне писать вам, было совершенно справедливо, и больше я вам сказать ничего не могу. Я не переменился в отношении вас, и чувствую, что никогда не перестану любить вас *так, как я любил*, т.-е. дружбой, никогда не перестану больше всего на свете дорожить вашей дружбой, потому что никогда ни к какой женщине у меня сердце не лежало и не лежит так, как к вам. Но что же делать, я не в состоянии дать вам того же чувства, которое ваша хорошая натура готова дать мне. Я всегда это смутно чувствовал, но теперь наша 2-месячная разлука, жизнь с новыми интересами, деятельностью, обязанностями даже, с которыми несовместна семейная жизнь, доказали мне это вполне. Я действовал в отношении вас дурно—увлекался, но ежели бы теперь я приехал к вам, и, разумеется, опять бы увлекся, я поступил бы еще хуже. Надеюсь, что вы настолько меня уважаете, что верите, что во всем, что я теперь пишу, нет слова нескреннего; а ежели так, то вы меня не перестанете любить немного. Я на-днях еду в Париж и вернусь в Россию—когда? не знаю. Нечего вам говорить, что ежели вы мне напишете несколько строк, я буду счастлив и спокоен. Адрес: Paris, rue de Rivoli, № 206.

«Прощайте, милая Валерия Владимировна, тысячу раз благодарю вас за вашу дружбу и прошу прощения за ту боль, которую она, может быть, вам сделала.

«Ради Бога, попросите m-lle Vergani написать мне несколько хоть бранных строк. Это, может быть, покажется вам фразой, но, ей-Богу, я чувствую и знаю,

что вы сделаете счастье хорошего, прекрасного человека, но я, в смысле сердца, не стою вашего ногтя и сделал бы ваше несчастье.

«Прощайте, милая В. В., Христос с вами, перед вами так же, как и передо мной, своя большая прекрасная дорога, и дай Бог вам по ней притти к счастью, которое вы 1000 раз заслуживаете.

Ваш гр. Л. Толстой».

12-го января Л. Н. едет в Москву, оттуда пишет своей тетке, касаясь своего романа.

„Chère tante! J'ai reçu mon passe-port pour l'étranger et je suis venu à Moscou pour y passer quelques jours avec Marie et puis aller à Ясная arranger mes affaires et prendre congé de vous [1]).

«Но теперь я раздумал, особенно по совету Машеньки, и решился пробыть с ней здесь неделю или две и потом ехать прямо через Варшаву в Париж. Вы, верно, понимаете, chère tante, почему мне не хочется, даже не следует приезжать теперь в Ясную или, скорее, в Судаково. Я, кажется, поступил очень дурно в отношении Валерии, но ежели бы я теперь свиделся с ней, я поступил бы еще хуже. Как я вам писал, я к ней более чем равнодушен, и чувствую, что не могу более обманывать ни себя, ни ее. А приезжай я, может быть, от слабости характера и опять стал бы надувать себя.

„Vous rappellez-vous, chère tante, comme vous vous êtes moqué de moi, quand je vous ai dit que je partais pour P-g pour m'éprouver, et cependant c'est à cette idée que je suis redevable de n'avoir pas fait le malheur de la jeune personne et le mien, car ne croyez pas, que ce soit de l'inconstance ou de l'infidélité, personne ne m'a plu pendant ces deux mois, mais tout bonnement j'ai vu que je me trompais moi-même et que non seulement jamais je n'ai eu, mais jamais je n'aurai pour V. le moindre sentiment d'amour véritable. La seule chose qui me fait beaucoup de peine, c'est que j'ai fait du tort à la demoiselle et que je ne pourrai prendre congé de vous avant de partir. Je compte revenir en Russie au mois de Juillet, mais si vous le desirez, je viendrai à Iasnaia pour vous embrasser, car j'aurai le temps de recevoir votre réponse à Moscou“ [2]).

После этого Лев Николаевич, действительно, уехал за границу и из Парижа уже написал последнее из дошедших до нас писем к Вал. Вл-не:

Париж, 20 февраля—4 марта 1857 г

«Письмо ваше, которое я получил нынче, любезная Валерия Владимировна, ужасно обрадовало меня. Оно доказало мне, что вы не видите во мне какого-то злодея или изверга, а просто человека, с которым вы чуть было не сошлись в более близкие отношения, но к которому вы продолжаете иметь дружбу и уважение. Что мне отвечать на вопрос, который вы мне делаете: почему? Даю вам честное слово (да и к чему честное слово, я никогда не лгал, говоря с вами), что перемене, которую вы находите во мне, не было никаких причин. Да и перемены, собственно,

---

[1]) Дорогая тетенька! Я получил мой заграничный паспорт и приехал в Москву, чтобы провести несколько дней с Машенькой и потом ехать в Ясную устроить мои дела и проститься с вами.

[2]) Помните ли, дорогая тетенька, как вы смеялись надо мной, когда я вам сказал, что я уезжаю в Петербург, чтобы испытать себя, а между тем этому решению я обязан тем, что не сделал несчастия молодой особы и себя; не подумайте, что это было непостоянство или неверность; никто не понравился мне в течение этих двух месяцев, просто я увидел, что я сам себя обманывал, что у меня не только не было, но и никогда не будет по отношению к В. малейшаго чувства настоящей любви. Единственное, что меня очень огорчает, это то, что я повредил девушке и что мне не удастся проститься с вами перед отъездом. Я надеюсь вернуться в Россию в июле, но если вы пожелаете, я приеду в Ясную, чтобы обнять вас; еще есть время получить ваш ответ в Москве.

не было. Я всегда повторял вам, что не знаю, какого рода чувство я имел к вам, и что мне всегда казалось, что что-то не то. Одно время, перед отъездом моим из деревни, одиночество, частые свидания с вами, а главное ваша милая наружность и особенно характер сделали то, что я почти готов был верить, что я влюблен в вас, но все что-то говорило мне, что *не то*, что я и не скрывал от вас, и даже вследствие этого уехал в Петербург. В Петербурге я вел жизнь уединенную, но, несмотря на то, одно то, что я не видал вас, показало мне, что я никогда не был и не буду влюблен в вас. А ошибиться в этом деле была бы беда и для меня и для вас. Вот и вся история. Правда, что эта откровенность была неуместна. Я мог делать опыты с собой, не увлекая вас; но в этом я отдал дань своей неопытности, и каюсь в этом, прошу у вас прощения и это мучает меня; но не только в бесчестности,—в скрытности меня упрекать нельзя.

«Что делать, запутались, но постараемся остаться друзьями. Я с своей стороны сильно желаю этого, и все, что касается вас, будет сильно интересовать меня. Вергашичка в своем письме поступила, как отличная женщина, чем она никогда не перестанет для меня быть, т.-е. она поступила не логически, но горячо, так, как она любит.

«Я вот уже две недели живу в Париже. Не могу сказать, чтобы мне было весело, даже не могу сказать, чтобы было приятно, но занимательно чрезвычайно.

«Скоро думаю ехать в Италию.

«Как вы поживаете в своем милом Судакове? Занимаетесь ли музыкой и чтением? Или неужели вы скучаете? Избави Бог, вам этого не следует делать.

«Французы играют Бетховена, к моему великому изумлению, как боги, и вы можете себе представить, как я наслаждаюсь, слушая эту musique d'ensemble [1]), исполненную лучшими в мире артистами.

«Прощайте, любезная соседка, от души жму вашу руку и остаюсь вам истинно преданный

гр. Л. Толстой».

Тетушка Льва Н—ча, Татьяна Александровна, повидимому, не была довольна этим разрывом, давно желая своему племяннику тихого семейного счастья под своим крылышком. Она делает ему упреки в непоследовательности, даже обвиняет его в неблагородстве по отношению к той девушке, которую он так долго и напрасно мучил сомненьями и ожиданьями. На это Л. Н-ч отвечает Т. А-не следующим интересным письмом:

„D'après votre lettre, chère tante, je vois que nous ne nous comprenons pas du tout au sujet de l'affaire de S. Quoique j'avoue que je suis fautif d'avoir été inconséquent et que la chose aurait pu se passer tout autrement, je crois avoir agi tout à fait honnêtement. Je n'ai pas cessé de dire que je ne connais pas le sentiment que j'ai pour la jeune personne, mais que cela n'est pas de l'amour et que je tiens à m'éprouver moi-même. L'épreuve m'a montré que je me trompais et je l'ai écrit à V. aussi sincèrement que j'ai pu le faire.

Après cela mes relations ont été tellement pures que je suis sûr que le souvenir ne lui sera jamais désagréable si elle se mariait, et c'est pour cela que je lui ai écrit, que je voudrais qu'elle m'écrive. Je ne vois pas pourquoi un jeune homme doit absolument être amoureux d'une jeune personne et l'épouser et ne pas avoir des relations d'amitié, car pour de l'amitié et de l'intérêt, j'en conserverai toujours beaucoup pour elle. Si M-lle Vergani qui m'a écrit une lettre aussi ridicule, voulait se rappeler toute ma conduite vis-à-vis de Valerie, comment je tâchais de venir le plus rarement possible, comment c'est elle qui m'engageait à venir plus souvent et à entrer dans des relations plus proches. Je comprends qu'elle soit fâchée de ce

---

[1]) Согласованную музыку.

qu'une chose, qu'elle a beaucoup désiré ne s'est pas faite (j'en suis fâché peut-être plus qu'elle), mais ce n'est pas une raison pour dire à un homme qui s'est efforcé d'agir le mieux possible, qui a fait des sacrifices de peur de faire le malheur des autres, de lui dire, qu'il est un свинья, et de le faire accroire à tout le monde. Je suis sûr que Toula est convaincu que je suis le plus grand des monstres" [1]).

По этому письму можно судить о том впечатлении, которое произвел этот разрыв на его невесту и на окружающих ее.

Через несколько времени, узнав из письма тетушки о том, что сестра его бывшей невесты выходит замуж, он снова возвращается к своему прежнему чувству и пишет так:

„Pour ce qui concerne V. je ne l'ai jamais aimé d'un amour véritable, mais je me suis laissé entraîner au méchant plaisir d'inspirer l'amour, ce qui me procurait une jouissance que je n'avais jamais éprouvée.

Mais le temps que j'ai passé loin d'elle m'a prouvé que je ne sentais aucun désir de la revoir, non seulement de me marier avec elle. J'avais peur seulement à l'idée des devoirs que je serais obligé de remplir envers elle sans l'aimer, et c'est pour cela que je me suis décidé à partir plus tôt que je ne le pensais. J'ai très mal agi, j en ai demandé pardon à Dieu et j'en demande à tous ceux auxquels j'ai fait du chagrin, mais réparer la chose est impossible et à présent rien au monde ne pourrait faire que la chose se renouvelle. Je désire beaucoup le bonheur à Olga, je suis enchanté de son mariage, mais je vous avoue, chère tante, que la chose au monde qui me ferait le plus de plaisir, ce serait d' apprendre que V. se marie à un homme qu'elle aime et qui la vaut, parce que, quoique je n'aie au fond du coeur pas un petit brin d'amour pour elle, je trouve toujours qu'elle est une très bonne et honnête demoiselle" [2]).

---

[1]) Судя по вашему письму, дорогая тетенька, я вижу, что мы совсем не понимаем друг друга в деле С. Хотя я и признаюсь, что я виноват в непоследовательности, и что все могло произойти совсем иначе, я считаю, что я действовал вполне честно. Я не перестал говорить, что я не знаю чувства, которое я испытываю к молодой особе, но что это не любовь и что я сам желаю испытать себя. Испытание показало мне, что я ошибался, и я написал это В., как только мог искренно.

После этого мои отношения к ней были настолько чисты, что я уверен, что воспоминание о них никогда не будет ей неприятно, если она выйдет замуж. Поэтому-то я и написал ей, что я хотел бы, чтоб она мне писала. Я не вижу, почему молодой человек должен непременно быть влюбленным в молодую особу и жениться на ней, а не иметь с ней дружественных отношений; что касается дружбы и участия к ней, я их сохраню навсегда.

Если-бы M-lle Vergani, написавшая мне столь странное письмо, припомнила бы все мое поведение по отношению к В., как я старался приходить как можно реже и как именно она звала меня бывать чаще и войти в более близкие отношения. Я понимаю, что она сердится, что то, чего она так желала,—не произошло (я, быть может, жалею об этом больше, чем она), но это еще не причина говорить человеку, который старался поступать наилучшим образом, который пожертвовал многим из страха сделать несчастие других, говорить ему, что он свинья, и стараться уверить в этом всех. Я уверен, что в Туле убеждены, что я самое ужасное чудовище.

[2]) Что касается В., я никогда не любил ее настоящей любовью; я увлекся нехорошим желанием внушить любовь, что доставляло мне никогда еще не испытанное наслаждение. Но время, которое я провел вдали от нея, доказало мне, что у меня даже не было желания увидать ее, не только жениться на ней. Мне было страшно подумать об обязанностях, которые должен буду выполнять по отношению к ней, не любя ее; и это заставило меня уехать раньше, чем я думал. Я очень плохо поступил, я просил Бога простить меня и прошу этого у всех, кому причинил огорчение; но поправить это дело невозможно, и теперь ничто в мире не может возобновить этого.

Я желаю много счастья Ольге, я в восторге от ее замужества, но я признаюсь вам, дорогая тетенька, что если что может мне доставить наибольшую радость, так это узнать, что В. выходит замуж за человека, котораго она любит и который ее стоит; потому что, хотя в глубине души у меня нет ни малейшей любви к ней, я все-таки нахожу, что она добрая и достойная девушка.

Так кончился этот короткий, трогательный и поучительный по своей искренности роман, представляющий одну из интереснейших глав биографии Льва Николаевича, открывающий нам целую интимную область его души и ставящий с необычайной силой и ясностью многие философские и психологические вопросы и решающий некоторые из них. Этот ряд писем представляет богатый материал для критического анализа, неуместного здесь, в биографии, но который, несомненно, будет сделан в ближайшем будущем компетентными в этом деле людьми. Прибавим к этому, что сам Лев Николаевич, пережив и, так сказать, отжив эти треволнения, сам воспользовался этим эпизодом своей жизни и пережитыми чувствами и изобразил их в художественной форме; после прочтения этих писем прочтите этот роман, и, несмотря на фактическую разницу, вы узнаете знакомые мотивы; мы говорим о «Семейном счастье».

Можно сказать так: то, что в действительности только могло бы быть, но чего еще не было, в романе стало уже реальным фактом. Действительный роман был началом, или, лучше, прологом романа написанного. В своем художественном воображении Лев Николаевич продолжил действительные линии до их воображаемого пересечения, и получилась прелестная картина.

Можно думать с некоторой вероятностью, что найдутся легкомысленные и злобные критики, которые нападут на Льва Николаевича за тот мелкобуржуазный идеал, выражаясь на современном жаргоне, который он изобразил в письмах к своей невесте. И мне хотелось бы в нескольких словах высказать свое мнение, которое, быть может, если не предупредит, то хотя смягчит такое осуждение.

Квартира в 4-м этаже, фортепьяно, хорошая музыка, хорошее вино, хорошее общество, хорошие книги, скромно-изящная обстановка и на фоне всего этого воркованье молодой четы — какая пошлость, какая неизмеримая пропасть от этой картины до картины обливающегося пóтом пахаря или бродяги, освободившегося от всех условий современной ложной культуры! Да, расстояние большое во внешних условиях жизни. Но во-первых, Лев Николаевич в то время, когда он писал эти письма, был артиллерийским офицером аристократического происхождения и воспитания, уже окруженным славою молодым талантливым писателем и вовсе не исповедывал никаких демократических и социалистических убеждений. Во-вторых, эти письма были обращены к девушке, для которой описанная картина была недосягаемым идеалом, которая мечтала о флигель-ад'ютантах и придворных балах и для которой наставления Льва Николаевича были, может быть, лучшей, наиболее светлой страницей в ее жизни. Для обеих сторон он дал все, что могло дать хорошего чистое, правдивое чувство, вспыхнувшее, осветившее их жизнь и понемногу угасшее, когда потребность в нем прекратилась.

В-третьих, читатель не может не заметить те нравственные усилия, ту борьбу, которую вел тогда Лев Николаевич с самим собой, для себя и для любимого существа, то постоянное стремление к правде и чистоте, которым преисполнены эти страницы, которые превосходят и опережают всевозможные идеалы современных общественных теорий и которые с такой силой развиты им и проведены в жизнь за последнее время. Это все тот же священный огонь, который, хотя и тихо, но горел уже и тогда, задавленный кучей трудно горючего материала, и пробивался сквозь этот покров лишь временными яркими вспышками. Теперь же он горит ярким пламенем и светит и греет тем, кто ищет тепла и света.

ЧАСТЬ IV.

ЛИТЕРАТУРНАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Группа литераторов, сотрудников „Современника".

Стоят: Л. Н. Толстой и Д. В. Григорович.
Сидят: Гончаров, Тургенев, Дружинин, Островский.

Пансион Каттерер, в Швейцарии, близ Кларана, где жил Л. Н. Толстой в 1858 году.

ГЛАВА XI.

Первое заграничное путешествие. Московская жизнь.

Л. Н-ч выехал из Москвы 29-го января 1857 г. в «мальпосте», т.-е. на почтовых, до Варшавы, а из Варшавы уже по железной дороге в Париж, куда прибыл 21-го февраля нового стиля.

Там его ждал Тургенев, еще 23-го января писавший Дружинину:

«Толстой мне пишет, что он собирается сюда ехать, и отсюда весной в Италию; скажите ему, чтобы он спешил, если хочет застать меня. Впрочем, я ему сам напишу. По письмам я вижу, что с ним совершаются самые благодатные перемены, и я радуюсь тому, «как пянька старая». Я прочел его «Утро помещика», которое чрезвычайно понравилось мне своей искренностью и почти полной свободой воззрения; говорю «почти», потому что в том, как он себе задачу поставил, скрывается еще (может быть, бессознательно для него самого) некоторое предубеждение. Главное нравственное впечатление этого рассказа (не говорю о художественном) состоит в том, что пока будет существовать крепостное состояние, нет возможности сближения и понимания обеих сторон, несмотря на самую бескорыстную и честную готовность сближения, и это впечатление хорошо и верно; но при нем бежит другое, побочное, пристяжное, а именно то, что вообще просвещать мужика, улучшать его быт—ни к чему не ведет, и это впечатление неприятно. Но мастерство языка, рассказа, характеристики—великое» [1]).

Уже после свидания с Толстым Тургенев пишет Полонскому:

«Толстой здесь. В нем произошла перемена к лучшему, весьма значительная. «Этот человек пойдет далеко и оставит за собой глубокий след».

В письме к Колбасину от 8-го марта из Парижа Тургенев говорит:

«Я здесь часто вижу Толстого, а от Некрасова получил на-днях очень милое письмо из Рима.

«С Толстым я все-таки не могу сблизиться окончательно: слишком мы врозь глядим» [2]).

А вот отзыв того же времени Толстого о Тургеневе и Некрасове, которого Л. Н. застал еще в Париже,—отзыв, приводимый Боткиным в письме к Дружинину от 8-го марта 1857 года:

Вот что пишет Толстой о свидании своем с ними:

«...Оба они блуждают в каком-то мраке, грустят, жалуются на жизнь, ничего не делают и тяготятся, как кажется, каждый своими респективными отношениями». Тургенев пишет, что Некрасов внезапно собрался и уехал опять в Рим. Письмо Толстого всего занимает только одну страничку, но исполнено свежести и бодрости. Германия очень заинтересовала его, и он хочет потом поближе узнать ее. Через месяц едет он в Рим» [3]).

---

[1]) „Первое собрание писем И. С. Тургенева". Стр. 44. СПБ. 1885 г.
[2]) „Первое собрание писем И. С. Тургенева". Стр. 50.
[3]) Из бумаг Дружинина. XXV лет. Сборник. СПБ. 1884 г.

Из всей этой переписки видно, что отношения Толстого и Тургенева всегда колебались, и, несмотря на все их старание, они не могли тесно сблизиться.

В марте месяце Толстой с Тургеневым совершили прогулку в Дижон, пробыв там несколько дней. В эти дни Лев Николаевич написал рассказ о музыканте Альберте. Затем они снова возвращаются в Париж, где Лев Николаевич, как рассказывает он в своей «Исповеди», был свидетелем смертной казни, которая оставила в нем неизгладимое впечатление. В его дневнике он кратко записывает это впечатление:

«6-го апреля 1857 года. Встал в 7-м часу и поехал смотреть на экзекуцию. Толстая, белая, здоровая шея и грудь, целовал евангелие и потом—смерть. Что за бессмыслица! Сильное и не даром прошедшее впечатление. Я не политический человек. Мораль и искусство. Я знаю, люблю и могу... Гильотина долго не давала спать и заставляла оглядываться».

Вот что он пишет об этом в «Исповеди»:

«В бытность мою в Париже вид смертной казни обличил мне шаткость моего суеверия прогресса. Когда я увидал, как голова отделилась от тела, и то и другое враз застучало в ящике, я понял—не умом, а всем существом,—что никакие теории разумности существующего прогресса не могут оправдать этого поступка и что если бы все люди в мире, по каким бы то ни было теориям, с сотворения мира, находили, что это нужно,—я знаю, что это не нужно, что это дурно и что поэтому судья тому, что хорошо и что дурно,—не то, что говорят и делают люди, и не прогресс, а я со своим сердцем».

Поездку в Рим Толстой отложил до осени, а весной прямо из Парижа отправился в Швейцарию, в Женеву, откуда пишет между прочим своей тетке Т. А.:

„J'ai passé un mois et demi à Paris, et si agréablement, que tous les jours je me suis dit, que j'ai bien fait de venir à l'étranger. Je suis très peu allé ni dans la société, ni dans le monde littéraire, ni dans le monde des cafés et des bals publics, mais malgré cela j'ai trouvé ici tant de choses nouvelles et intéressantes pour moi, que tous les jours, enme couchant, je me dis, quel dommage que la journée est passée si vite, je n'ai même pas eu le temps de travailler ce que je me proposais de faire.

Le pauvre Тургенев est très malade physiquement et encore plus moralement. Sa malheureuse liaison avec M-me V. et sa fille le retiennent ici dans un climat qui lui est pernicieux et il fait pitié de voir. Je n'aurai jamais cru, qu'il pût aimer ainsi“ [1]).

Из Женевы Л. Н. совершил прогулку в Пьемонт с приехавшими туда Боткиным и Дружининым и затем поселился на берегу Женевского озера, в местечке Кларан, откуда пишет своей тетке Т. А. восторженное письмо:

18-го мая 1857 г.

„Je viens de recevoir votre lettre, chère tante, qui m'a trouvé, comme vous devez le savoir d'après ma dernière lettre, aux environs de Genève, à Clarens, dans ce même village, où a demeuré la Julia de Rousseau... Je n'essaierai pas de vous dépeindre la beauté de ce pays, surtout à présent, quand tout est en feuilles et en fleurs, je vous dirai seulement, qu'à la lettre il est impossible de se détacher de ce lac et de ces rivages et que je

[1]) Я провел полтора месяца в Париже, и так приятно, что каждый день я говорил себе, что я хорошо сделал, что поехал за границу. Я очень мало посещал общество и литературный мир, а также кафэ и публичные балы, но, несмотря на это, я здесь нашел столько новаго и интереснаго для меня, что каждый день, ложась спать, я говорю себе: какая жалость, что день прошел так скоро, и я не успел сделать всего того, что предполагал сделать.

Бедный Тургенев очень болен физически и еще более морально. Его несчастная связь с M-me V. и его дочь держат его здесь в климате, который вреден ему, и на него жалко смотреть. Я никогда не думал, чтобы он мог так любить.

passé la plus grande partie de mon temps à regarder et à admirer en me promenant ou bien en me mettent seulement à la fenêtre de ma chambre. Je ne cesse de me feliciter de l'idée que j'ai eu de quitter Paris et de venir passer le printemps ici, quoique cela m'ait mérité de votre part le reproche d'inconstance. Vraiment, je suis heureux [1]) и начинаю чувствовать выгоды в рубашечке родиться».

Il y a ici une société charmante de russes [2]): les Пущин, les Карамзин, les Мещерские, и все, Бог знает, за что, меня полюбили, я это чувствую, и мне так было тут мило и хорошо, тепло этот месяц, что я провел, что грустно думать об от'езде».

Лев Николаевич прожил около двух месяцев в Кларане и решил дальше продолжать путь пешком. Он познакомился там с одним русским семейством и пригласил мальчика Сашу, вероятно лет 10-ти, с собой пешком в горы. Первоначальное их намерение было дойти пешком до Фрибурга, перевалив через ущелье Jaman. Но, совершив перевал, они передумали и свернули в Château d'Oex, откуда уже поехали в Туи в почтовом дилижансе.

В неизданных рукописях Льва Николаевича сохранились его путевые заметки этого путешествия. Мы заимствуем оттуда несколько картин швейцарской природы.

Сначала Лев Николаевич ехал на пароходе из Кларана в Монтрё.

«15/27 мая. Погода была ясная; голубой, ярко-синий Леман, с белыми и черными точками парусов и лодок, почти с трех сторон сиял перед глазами; около Женевы, в дали яркого озера, дрожал и темнел жаркий воздух, на противоположном берегу круто поднимались зеленые Савойские горы с белыми домиками у подошвы и с расселинами скалы, имеющей вид громадной белой женщины в старинном костюме. Налево отчетливо и близко над рыжими виноградниками в темнозеленой гуще фруктовых садов виднелось Montreux с своей прилепившейся на полускате грациозной церковью; Вильнев на самом берегу, с ярко-блестящим на полуденном солнце железом домов, таинственное ущелье Vallais с нагроможденными друг на друга горами; белый, холодный Шильон над самой водой и воспетый островок, выдуманно, но все-таки прекрасно торчащий против Вильнева. Озеро чуть рябило, солнце прямо сверху ударяло на его голубую поверхность и распущенные по озеру паруса, казалось, не двигались.

«Удивительное дело, я два месяца прожил в Кларане, но всякий раз, когда я утром или особенно перед вечером после обеда отворял ставни окна, на которое уже зашла тень, и взглядывал на озеро и далее синие горы, отражавшиеся в нем, красота ослепляла меня и мгновенно с силой неожиданной действовала на меня. Тотчас же мне хотелось любить, я даже чувствовал в себе любовь к себе и жалел о прошедшем, надеялся на будущее, и жить мне становилось радостно, хотелось жить долго, долго, и мысль о смерти получала детский, поэтический ужас. Иногда даже, сидя один в тенистом садике и глядя, все глядя на эти берега и это озеро, я чувствовал как будто физическое впечатление, как красота через глаза вливалась мне в душу».

Но вот они идут в горы.

«... Над над нами заливались лесные птицы, которых не слышно над озером, пахло сыростью, лесом и рубленой елью. Было так хорошо итти, что нам жалко было проходить скоро. Вдруг нас поразил необыкновенный, счастливый, белый весенний запах. Саша побежал в лес и сорвал вишневых цветов, но они почти не

[1]) Я только-что получил ваше письмо, дорогая тетушка, которое застало меня, как вы это должны знать из моего последняго письма, в окрестностях Женевы, в Кларане, в том самом местечке, где жила Юлия Руссо... Не буду пытаться описывать вам всю красоту этого края, особенно теперь, когда все в зелени и цветах. Я вам скажу только, что буквально невозможно оторваться от этого озера, от этих берегов и что я провожу большую часть моего времени в созерцании и восхищении, гуляя или просто стоя у окна моей комнаты. Я не перестаю радоваться пришедшей мне мысли оставить Париж и приехать сюда провести здесь весну, хотя этим я и заслужил от вас упрек в непостоянстве. Право, я счастлив...

[2]) Здесь прелестное русское общество.

пахли. С обеих сторон были видны зеленые деревья и кусты без цвета. Сладкий, одуревающий запах все усиливался и усиливался. Пройдя сотню шагов, с правой стороны кусты открылись, и покатая, огромная белозеленая долина с несколькими разбросанными на ней домиками открылась перед глазами.

«Саша побежал на луг рвать обеими руками белые нарциссы и принес мне огромный, невыносимо пахучий букет, но со свойственной детям разрушительной жадностью побежал еще топтать и рвать чудесные, молодые, сочные цветы, которые так нравились ему».

В Аванах ночевали. После восхождения на вершину Лев Николаевич записывает следующие мысли:

«16/28 мая. Правду мне говорили, что чем выше идешь в горы, тем легче итти; мы шли уже с час и оба не чувствовали ни тяжести мешков, ни усталости. Хотя мы еще и не видели солнца, но оно через нас, задевая несколько утесов и сосен на горизонте, бросало свои лучи на возвышение напротив, потоки все слышны были внизу, около нас только сочилась снеговая вода, и на повороте дороги мы снова стали видеть озеро и Валэ на ужасной глубине под нами. Низ Савойских гор был совершенно синий, как озеро, только темнее его; верх, освещенный солнцем, совершенно белорозовый. Снеговых гор было больше, они казались выше и разнообразнее. Паруса и лодки, как чуть заметные точки, были видны на озере. Это было что-то красивое, даже необыкновенно красивое, но это не природа, а что-то такое хорошее. Я не люблю этих, так называемых, величественных и знаменитых видов: они холодны как-то.

«... Я люблю природу, когда она со всех сторон окружает меня и потом развивается бесконечно вдаль, но когда я нахожусь в ней. Я люблю, когда со всех сторон окружает меня жаркий воздух, и этот же воздух, клубясь, уходит в бесконечную даль, когда те самые сочные листья травы, которые я раздавил, сидя на них, делают зелень бесконечных лугов, когда те самые листья, которые, шевелясь от ветра, двигают тень по моему лицу, составляют синеву далекого леса, когда тот самый воздух, которым вы дышите, делает глубокую голубизну бесконечного неба, когда вы не одни ликуете и радуетесь природой, когда около вас жужжат и вьются мириады насекомых, сцепившись ползают коровки, везде кругом заливаются птицы.

«А эта голая, холодная, пустынная, серая площадка и где-то там красивое что-то подернуто дымкой дали. Но это что-то так далеко, что я не чувствую главного наслаждения природы, не чувствую себя частью этого всего бесконечного и прекрасного далека. Мне дела нет до этой дали».

Продолжая путь дальше, к июлю Лев Николаевич попадает в Люцерн, откуда пишет своей тетке Татьяне Александровне:

„Je crois vous avoir écrit, chère tante, que je suis parti de Clarens avec l'intention d'entreprendre un assez grand voyage par le Nord de la Suisse, le Rhin et de la Hollande en Angleterre. De là je compte de nouveau passer par la France et Paris et au mois d'Août passer quelque temps à Rome et Naples. Si je supporte les trajets sur mer, ce que je verrai à mon passage de la Haye à Londres, je crois revenir par la Méditerranée, Constantinople et la mer Noire et Odessa. Mais tout cela ne sont que des plans, que je ne réaliserai peut-être pas, à cause de mon humeur changeante, que vous me reprochez avec raison, chère tante. Je suis arrivé à Luzern—c'est une ville au nord de la Suisse, pas loin du Rhin et déjà je retarde mon voyage pour pouvoir passer quelques jours dans cette délicieuse petite ville. Je suis de nouveau tout seul et je vous vous avouerai, que très souvent la solitude m'est pénible, car les connaissances qu'on fait dans les hôtels et en chemin de fer ne sont pas des ressources, mais cet isolement a du moins le bon côté de me pousser au travail. Je travaille un peu, mais cela va mal, comme d'ordinaire en été“ [1]).

[1]) Кажется, я писал вам, дорогая тетушка, что я уехал из Кларана с намерением предпринять довольно большое путешествие через северную Швейцарию, Рейн,

В это-то пребывание Льва Николаевича в Люцерне с ним произошел случай, рассказанный им в «Записках князя Нехлюдова». Рассказ этот помечен 57 годом и потому должен относиться к этому путешествию.

В этом рассказе, как известно, чудное описание швейцарской природы сменяется выражением негодования над извращением этой природной гармонии в угоду богатым туристам, по большей части англичанам.

Контраст между мертвенным приличием табльдота и дикой, но мягкой, живительной красотой озера поражает автора. И чувство это усиливается, когда он слышит песню уличного певца с гитарой. Эта песня каким-то волшебством привлекла всеобщее внимание и настроила душу в тон невыразимой гармонии.

«Все спутанные, невольные впечатления жизни вдруг получили для меня значение и прелесть. В душе моей как будто распустился свежий, благоухающий цветок. Вместо усталости, рассеянния, равнодушия ко всему на свете, которое я испытывал за минуту перед этим, я вдруг почувствовал потребность любви, полноту надежды и беспричинную радость жизни. Чего хотеть, чего желать?—сказалось мне невольно,—вот она, со всех сторон обступает тебя красота и поэзия. Вдыхай ее в себя широкими, полными глотками, насколько у тебя есть силы, наслаждайся, чего тебе еще надо! Все твое, все благо»...

И опять мертвые, приличные англичане черной рамкой оттеняют этот чудный цветок поэзии.

Певец кончил и протянул руку со шляпой под окнами богатого отеля, на балконе которого стояла толпа разряженных слушателей, но ему никто ничего не дал.

Толстой, пораженный каменным бесчувствием этой толпы, бежит за музыкантом и приглашает его в ресторан выпить бутылку вина. Его вызывающее поведение производит скандал в отеле, но этого-то ему и хочется, ему хочется уязвить самодовольных богачей, хочется выразить свое негодование за их бесчувственность. Но скандал проходит почти незаметно, и в авторе остается чувство горечи от несправедливости людей и неспособности их понять высшее счастье, простое, человечное и вместе с тем гармоничное отношение к природе, и он обращается к людям с обличительной речью:

«Как вы, дети свободного, человечного народа, вы, христиане, вы, просто люди, на чистое наслаждение, которое вам доставил несчастный просящий человек, ответили холодностью и насмешкою? Но нет, в вашем отечестве есть приюты для нищих.—Нищих нет, их не должно быть, и не должно быть чувства сострадания, на котором основано нищенство. — Но он трудился, он радовал вас, он умолял вас дать ему что-нибудь от вашего излишка за свой труд, которым вы воспользовались. А вы с холодной улыбкой наблюдали его, как редкость, из своих высоких блестящих палат, и из сотни вас, счастливых, богатых, не нашлось ни одного, ни одной, которая бы бросила ему что-нибудь! Пристыженный, он пошел прочь от вас, и бессмысленная толпа, смеясь, преследовала и оскорбляла не вас, а его за то, что вы холодны, жестоки и бесчестны; за то, что вы украли у него наслажденье, которое он вам доставил, за это *его* оскорбляли.

«*Седьмого июля 1857 года в Люцерне, перед отелем Швейцерхофом, в котором останавливаются самые богатые люди, странствующий нищий-певец в продолжение получаса пел песни и играл на гитаре. Около ста человек слушали его. Певец три*

Голландию и оттуда в Англию. Оттуда я снова рассчитываю проехать через Францию и Париж и в августе провести некоторое время в Риме и Неаполе. Если я перенесу морские путешествия, что я увижу на моем переезде из Гаги в Лондон, я думаю вернуться через Средиземное море, Константинополь, Черное море и Одессу. Но все это только планы, которые я, быть-может, не осуществлю, по причине моего изменчивого настроения, за которое вы меня справедливо упрекаете, дорогая тетушка. Я приехал в Люцерн. Это город в северной Швейцарии, недалеко от Рейна, и я уже задерживаюсь в пути, чтобы провести несколько дней в этом очаровательном городке. Я опять совсем один и признаюсь вам, уединение часто бывает очень тяжело мне, так как знакомства, которые делаешь в отелях и по железной дороге, меня не удовлетворяют. Но в этом уединении есть и хорошая сторона: оно заставляет меня работать. Я немного работаю, но дело идет плохо, как обыкновенно летом.

раза просил всех дать ему что-нибудь. Ни один человек не дал ему ничего и многие смеялись над ним.

«Это не выдумка, а факт положительный, который могут исследовать те, которые хотят, у постоянных жителей Швейцергофа, справившись по газетам, кто были иностранцы, занимавшие Швейцергоф 7 июля.

«Вот событие, которое историки нашего времени должны записать огненными неизгладимыми буквами».

И из души его вырывается крик удивления перед непостижимостью всего этого хаотического сцепления фактов людских отношений с их мелкими чувствами перед лицом гармоничного величия могучей природы. В патетической художественной форме изливает автор настроение своей души и так заканчивает рассказ:

«Несчастное, жалкое создание человек со своей потребностью положительных решений, брошенный в этот вечно движущийся, бесконечный океан добра и зла, фактов, соображений, противоречий! Веками бьются и трудятся люди, чтобы отодвинуть к одной стороне благо, к другой неблаго. Проходят века, и где бы, что бы ни прикинул беспристрастный ум на весы доброго и злого, весы не колеблются, и на каждой стороне столько же блага, сколько и неблага. Ежели бы только человек выучился не судить и не мыслить резко и положительно и не давать ответы на вопросы, данные ему только для того, чтобы они вечно оставались вопросами! Ежели бы только он понял, что всякая мысль и ложна и справедлива! Ложна односторонностью, по невозможности человека обнять всей истины, и справедлива по выражению одной стороны человеческих стремлений. Сделали себе подразделения в этом вечно движущемся, бесконечном, бесконечно-перемешанном хаосе добра и зла, провели воображаемые черты по этому морю, и ждут, что море так и разделится. Точно нет миллионов других подразделений совсем с другой точки зрения, в другой плоскости. Правда, вырабатываются эти новые подразделения веками, но и веков прошли и пройдут миллионы. Цивилизация—благо; варварство—зло; свобода — благо; неволя—зло. Вот это-то воображаемое знание уничтожает инстинктивные, блаженнейшие первобытные потребности добра в человеческой натуре. И кто определит мне, что̀ свобода, что̀ деспотизм, что̀ цивилизация, что̀ варварство? И где границы одного и другого? У кого в душе так непоколебимо это мерило добра и зла, чтоб он мог мерить им бегущие запутанные факты? У кого так велик ум, чтобы хоть в неподвижном прошедшем обнять все факты и взвесить их? И кто видел такое состояние, в котором бы не было добра и зла вместе? И почему я знаю, что вижу больше одного, чем другого, не оттого, что стою не на настоящем месте? И кто в состоянии так совершенно оторваться умом хоть на мгновение от жизни, чтобы независимо сверху взглянуть на нее? Один, только один есть у нас непогрешимый руководитель, Всемирный Дух, проникающий нас всех вместе и каждого, как единицу, влагающий в каждого стремление к тому, что должно; тот самый Дух, который в дереве велит ему расти к солнцу, в цветке велит ему бросить семя к осени и в нас велит нам бессознательно жаться друг к другу.

«И этот-то один непогрешимый блаженный голос заглушает шумное торопливое развитие цивилизации. Кто больше человек и кто больше варвар: тот ли лорд, который, увидав затасканное платье певца, с злобой убежал из-за стола, за его труды не дал ему миллионной доли своего состояния, и теперь, сытый, сидя в светлой, покойной комнате, спокойно судит о делах Китая, находя справедливыми совершаемые там убийства,—или маленький певец, который, рискуя тюрьмой, с франком в кармане, двадцать лет, никому не делая вреда, ходит по горам и долам, утешая людей своим пеньем, которого оскорбили, чуть не вытолкали нынче, и который, усталый, голодный, пристыженный пошел спать куда-нибудь на гниющей соломе?»

В это время из города, в мертвой тишине ночи, Лев Николаевич далеко-далеко услыхал гитару маленького человека и его голос.

«Нет, казалось мне невольно,—продолжает он свои мысли,—ты не имеешь права жалеть о нем и негодовать на благосостояние лорда. Кто свесил внутреннее счастие, которое лежит в душе каждого из этих людей? Вот он сидит теперь где-нибудь

на грязном пороге, смотрит на блестящее лунное небо и радостно поет среди тихой, благоуханной ночи; в душе его нет ни упрека, ни злобы, ни раскаяния. А кто знает, что делается теперь в душе всех этих людей, за этими богатыми высокими стенами? Кто знает, есть ли в них всех столько беззаботной, кроткой радости жизни и согласия с миром, сколько ее живет в душе этого маленького человека? Бесконечна благость и премудрость Того, Кто позволил и велел существовать всем этим противоречиям. Только тебе, ничтожному червяку, дерзко, беззаконно пытающемуся проникнуть Его законы, Его намерения, только тебе кажутся противоречия. Он кротко смотрит со своей светлой, неизмеримой высоты и радуется на бесконечную гармонию, в которой вы все противоречиво, бесконечно движетесь. В своей гордости ты думал вырваться из законов общего. Нет, и ты со своим маленьким, пошленьким негодованьицем на лакеев, и ты тоже ответил на гармоническую потребность вечного и бесконечного». [1]).

Из Люцерна Л. Н-ч через Берн вернулся в Женеву и в Кларан около половины июля. В конце этого месяца он снова пускается в путь и уже окончательно покидает Швейцарию. Лев Николаевич продолжает путь по Рейну, в Шафгаузен, Баден, Штутгарт, Франкфурт и Берлин.

8-го августа он был уже в Штеттине и оттуда на пароходе прибыл 11 августа (30 июля) в Петербург.

В Петербурге он пробыл неделю, посещал кружок «Современника», бывал у Некрасова и между прочим прочел ему свой рассказ «Люцерн», который был напечатан в сентябрьской книжке «Современника» в том же 1857 году. 6-го августа он выехал в Москву и, почти не останавливаясь, проехал в Тулу.

По приезде в Ясную Поляну он снова окунулся в хозяйство.

В дневнике того времени мы, между прочим, находим такую запись:

«Вот как дорогой я ограничил свое назначение: главное — литературные труды, потом—семейные обязанности, потом—хозяйство; но хозяйство я должен оставить на руках старосты, сколько возможно; смягчать его, улучшать и пользоваться только двумя тысячами, остальное употреблять на крестьян. Главное—мой камень преткновения есть тщеславие либерализма. А так жить для себя—по доброму делу в день и довольно».

Немного позже писал он:

«Самоотвержение не в том, что берите с меня, что хотите, а трудись, и думай, и хитри, чтобы отдать себя».

Август месяц он посвящает чтению, читал две замечательные книги—Илиаду и Евангелие. И та и другая произвели на него сильное впечатление: «дочел необразимо прелестный конец Илиады», так выражается он, и красота этих обеих книг заставляет его жалеть, что между ними нет связи. «Как мог Гомер не знать, что добро—любовь», восклицает он, мысленно сравнивая эти две книги. И сам отвечает: «Откровение—нет лучшего об'яснения».

В половине октября Толстой переселяется с своим старшим братом Николаем и сестрой Марией в Москву. Его дневник доказывает нам, что он уже 17-го числа был в Москве. 22-го он на несколько дней уезжает в Петербург.

Рассказ Льва Николаевича «Люцерн» («Из записок князя Нехлюдова»), напечатанный, как выше было сказано, в сентябрьской книжке «Современника», был не понят критикой и потому прошел почти незамеченным.

Молчание критиков служит прямым и резким обличением их односторонности, узости и близорукости. Вообще с 1857 по 1861, по замечанию Зелинского, издавшего сборник критических статей о Толстом, несмотря на все его старание, он за эти года не нашел отдельных критических статей и рецензий о произведениях Льва Николаевича Толстого, несмотря на то, что за это время им напечатаны такие замечательные произведения, как «Юность», «Люцерн», «Альберт», «Три смерти», «Семейное счастье».

---

[1]) Полн. собр. соч. Л. Н. Т., т. II. Люцерн.

От Льва Николаевича не ускользнуло это равнодушие критиков, и он записывает в своем дневнике после поездки в Петербург в октябре 1857 года:

«Петербург сначала огорчил, потом оправил меня. Репутация моя пала или чуть скрипит, и я внутренно сильно огорчился; но теперь я спокоен,—я знаю, что у меня есть что сказать и силы сказать сильно; а потом что хочешь говори, публика. Но надо работать добросовестно, положить все свои силы, тогда... пусть плюют на алтарь».

30-го октября Лев Николаевич возвращается в Москву. В свое пребывание в Москве, Лев Николаевич часто посещал Фета, который так рассказывает об этом в своих воспоминаниях:

«Однажды вечером, во время чая, явился к нам неожиданно Л. Н. Толстой и сообщил, что они, Толстые, т.-е. он, старший его брат, Николай Николаевич, и сестра, графиня Мария Николаевна, поселились все вместе в меблированных комнатах Варгина, на Пятницкой. Мы все скоро сблизились» [1]).

Московская жизнь Льва Николаевича в эти годы (конец 50-х) ничем особенным не выделялась. Физическая природа его была в то время в полной силе и блеске и влекла его к честолюбивым играм, забавам и вообще различным светским удовольствиям.

Фет рассказывает, что у них «иногда по вечерам составлялись дуэты, на которые приезжала пианистка и любительница музыки графиня М. Н. Толстая, иногда в сопровождении братьев—Николая и Льва или же одного Николая, который говорил:

«—А Левочка опять надел фрак и белый галстук и отправился на бал» [2]).

О подобном препровождении времени свидетельствует следующий отрывок из воспоминаний Фета:

«И. П. Борисов, бывший сам человеком недюжинным и видавший Льва Толстого еще на Кавказе, не мог, конечно, с первой встречи с ним в нашем доме не подпасть под влияние этого богатыря. Но в то время увлечение Льва Толстого щегольством бросалось в глаза, и, видя его в новой бекеше с седым бобровым воротником, с вьющимися темнорусыми волосами под блестящей шляпой, надетою на бекрень, и с модною тростью в руке, выходящего на прогулку, Борисов говорил про него словами песни: «Он и тросточкой подпирается, он калиновой похваляется».

«В то время у светской молодежи входили в моду гимнастические упражнения, между которыми первое место занимало прыганье через деревянного коня. Бывало, если нужно захватить Льва Николаевича во втором часу дня, надо отправляться в гимнастический зал на Большой Дмитровке. Надо было видеть, с каким одушевлением он, одевшись в трико, старался перепрыгнуть через коня, не задевши кожаного, набитого шерстью конуса, поставленного на спине этого коня. Неудивительно, что подвижная, энергичная натура 29-тилетнего Льва Толстого требовала такого усиленного движения, но довольно странно было видеть рядом с юношами старцев с обнаженными черепами и выдающимися животами. Один молодой, но женатый человек, дождавшись очереди, в своем розовом трико, каждый раз с разбегу упирался грудью в круп коня и спокойно отходил в сторону, уступая место следующему» [3]).

В начале января 1858 года Москву посетила графиня Александра Андреевна Толстая, друг молодости Льва Николаевича. Лев Николаевич проводил ее до Клина по Николаевской железной дороге и оттуда поехал к княжне Волконской, о которой мы уже упоминали в главе о предках Льва Николаевича со стороны его матери. Эта княжна Волконская была двоюродная сестра матери Льва Николаевича, жила по-

---

[1]) „Мои воспоминания 1848—1889“, А. Фета. Ч. I, стр. 214.
[2]) Там же, стр. 216.
[3]) Там же.

долгу с ней в Ясной Поляне и могла много интересного рассказать Льву Николаевичу про его мать и ее отца.

Лев Николаевич сохранил самое приятное воспоминание об этом посещении и, живя у ней, написал рассказ «Три смерти».

Как видно, мысль о смерти начинала серьезно волновать его, и, как всегда, возможное решение этого вопроса он находил—в гармонии разума с природой. Отступление от этого—невыразимое страдание; следование этому—вечное благо, и «жало» смерти исчезает.

В феврале он возвращается в Ясную Поляну. Потом опять едет в Москву и в марте на две недели в Петербург. В апреле он снова в Ясной Поляне, где уже проводит все лето. За это время Лев Николаевич много времени отдает также музыке и даже основывает музыкальное общество в Москве с содействием Боткина, Перфильева, Мортье и других. Г-жа Киреевская дает свою залу для концертов, устраиваемых этим обществом. Из этого общества впоследствии образовалась Московская консерватория. В этом же году он в Москве близко сошелся с семьей старика С. Т. Аксакова.

Весна действовала на Льва Николаевича возбуждающим образом. И этот прилив энергии, который он ощущал, хорошо выражен им в письме к тетке, гр. А. А. Толстой, написанном именно в этом 1858 году:

«Бабушка! [1]) Весна!..

Отлично жить на свете хорошим людям: даже и таким, как я, хорошо бывает. В природе, в воздухе, во всем—надежда, будущность, и прелестная будущность... Иногда ошибаешься и думаешь, что не одну природу ждет будущность и счастье, а и тебя тоже, и хорошо бывает. Я теперь в *таком* состоянии, и с свойственным мне эгоизмом тороплюсь писать вам о предметах, только для меня интересных. Я очень хорошо знаю, когда обсужу здраво, что я старая, промерзлая и еще под соусом сваренная картофелина; но весна так действует на меня, что я иногда застаю себя в полном разгаре мечтаний о том, что я—растение, которое распустилось вот только теперь, вместе с другими, и станет спокойно, просто и радостно расти на свете Божием. По этому случаю, к этому времени идет такая внутренняя переборка, очищение и порядок, какой никто, не испытавший этого чувства, не может себе представить. Все старое—прочь! все условия света, всю лень, весь эгоизм, все пороки, все запутанные, неясные привязанности, все сожаления, даже раскаяния—все прочь!.. Дайте место необыкновенному цветку, который надувает почки и вырастает вместе с весной!..» И т. д... Это письмо довольно длинное и столь же интересное. Оно интересно еще и по своему концу, в котором Лев Николаевич выражает следующую просьбу: «Прощайте, милая бабушка, не сердитесь на меня за этот вздор и ответьте умное и пропитанное добротой—и христианскою добротой!—словечко. Я давно хотел написать вам, что вам удобнее писать по-французски, а мне женская мысль понятнее по-французски» [2]).

Этою же весной, при проезде из Москвы в свое имение, навестили Льва Николаевича в Ясной Поляне Фет с женой.

В своих воспоминаниях Фет так рассказывает об этой поездке, давая вместе с тем интересную характеристику тетушки и воспитательницы Льва Николаевича Татьяны Александровны Ергольской:

«Купивши теплую и укладистую рогожную кибитку, мы с одною горничною (оноэтизированной Толстым Марьюшкой [3]) отправились на почтовых в Мценск. О железной дороге тогда не было еще и помину, а про поставленные вдоль шоссе телеграфные столбы говорили в народе, что тянут эту проволоку, а потом по ней и пустят из Питера волю. К этому времени мы уже настолько сошлись с Львом

---

[1]) Свою тетку, гр. А. А. Толстую, недавно умершую, Лев Николаевич шутя называл „бабушкой“.

[2]) Ив. Захарьин (Якунин). „Воспоминания о гр. А. А. Толстой“. „Вестник Европы“. Июнь 1904.

[3]) См. „Семейное счастье“.

Николаевичем Толстым, что я счел бы для себя большим лишением не заехать к нему передохнуть на денек в Ясную Поляну. Там мы с женой представились прелестной старушке—тетке Толстого, Татьяне Александровне Ергольской, принявшей нас с тою старинною приветливостью, которая сразу облегчает вступление в чужой дом. Татьяна Александровна не предавалась воспоминаниям о временах давно прошедших, а жила всей полнотой окружающего ее настоящего.

«Она говорила о том, что «на-днях проехал к себе в Пирогово Сереженька Толстой, а Николенька, пожалуй, еще пробудет в Москве с Машенькой, но приятель Левочки Дьяков был на-днях и жаловался на нервные боли жены своей». В затруднительных вопросах Татьяна Александровна обращалась к Левочке и окончательно успокаивалась его решением. Так, проезжая с ним осенью в Тулу, она, взглянув в окно кареты, вдруг спросила:

«Mon cher Léon, как это пишут письмо по телеграфу?».

«Пришлось,—рассказывал Толстой,—с возможною простотою об'яснять действие телеграфного снаряда, одинакового на обеих сторонах проволоки,—и под конец услыхать: «oui, oui, je comprends, mon cher!» [1]).

«Не спуская вслед затем более получаса глаз с проволоки, тетушка, наконец, спросила: «mon cher Léon, как же это так? За целые полчаса я не видала ни одного письма, пробежавшего по телеграфу».

«— Сидим мы иногда,—рассказывал Лев Николаевич,—с тетушкой целый месяц, не видя никого, и вдруг, разливая суп, тетушка скажет: «mais savez vous, cher Léon, on dit...» [2]).

Приведем здесь же вторую часть воспоминаний Льва Николаевича об этом замечательном человеке, Татьяне Александровне, имевшей на него такое огромное влияние.

«Помню осенние и зимние длинные вечера, и эти вечера остались для меня чудесным воспоминанием. Этим вечерам я обязан лучшими своими мыслями, лучшими движениями души. Сидишь на кресле, читаешь, думаешь, изредка слушаешь ее разговоры с Натальей Петровной или с Дунечкой, горничной, всегда доброй, ласковой, перекинешься с ней словом, и опять сидишь, читаешь, думаешь. Это чудное кресло и теперь стоит у меня, но оно уже не то, и другой диван, на котором спала добрая старушка Наталья Петровна, жившая с ней, не для нее, а потому, что ей негде было жить. Между окнами под зеркалом был ее письменный столик с баночками и вазочкой, в которых были сладости: пряники, финики, которыми она угощала меня. У окна два кресла, и направо от двери вышитое, покойное кресло, на котором она любила, чтобы я сидел по вечерам.

«Главная прелесть этой жизни была в отсутствии всякой материальной заботы, в добрых отношениях ко всем, в твердых, несомненно добрых отношениях к ближайшим лицам, которые никем не могли быть нарушены, и в неторопливости, в несознавании убегающего времени.

«Тогда можно было сказать: Wer darauf sitzt, der ist glücklich, und der glückliche bin ich [3]).

«И действительно, я был истинно счастлив, когда сидел на этом кресле. После дурной жизни в Туле у соседей с картами, цыганами, охотой, глупым тщеславием, вернешься домой, придешь к ней, по старой привычке поцелуешься с ней рука в руку, я—ее милую энергическую, она—мою грязную, порочную руку, поздоровавшись тоже по старой привычке по-французски, пошутишь с Натальей Петровной и сядешь на покойное кресло. Она знает все, что я делал, жалеет об этом, но никогда не упрекнет, всегда с той же лаской, любовью. Сижу на кресле, читаю, думаю, прислушиваюсь к разговору ее с Натальей Петровной. То вспоминают старину, то раскладывают пасьянс, то замечают предзнаменования, то шутят о чем-нибудь, и обе старушки смеются, особенно тетенька, детским, милым смехом, ко-

---

[1]) Да, да, я понимаю, дорогой мой.
[2]) А знаете, дорогой Лев, говорят... „Мои воспоминания“, А. Фета. Стр. 233.
[3]) Кто на нем сидит, тот счастлив, и счастливец этот я.

торый я сейчас слышу. Рассказываю я про то, что жена знакомого изменила мужу, и говорю, что муж, должно быть, рад, что освободился от нее. И вдруг тетенька, сейчас только говорившая с Натальей Петровной о том, что нарост на свечке означает гостя, поднимает брови и говорит, как дело, давно решенное в ее душе, что муж не должен этого делать, потому что погубит совсем жену. Потом она рассказывает мне про драму на дворне, про которую рассказывала ей Дунечка. Потом перечитывает письмо от сестры Машеньки, которую она любит если не больше, то так же, как меня, и говорит про ее мужа, своего родного племянника, не осуждая, но грустя о том горе, которое он сделал Машеньке. Потом я опять читаю, она перебирает свои вещицы—все воспоминания. Главное свойство ее жизни, которое невольно заражало меня, была ее удивительная, всеобщая доброта ко всем без исключения. Я стараюсь вспомнить и не могу ни одного случая, когда бы она рассердилась, сказала резкое слово, осудила бы, и не могу вспомнить ни одного случая за 30 лет жизни. Она говорила добро про другую тетушку родную, которая жестоко огорчила ее, отняв нас у нее, не осуждала и мужа сестры, очень дурно поступившего с ней. Про прислугу и говорить нечего. Она выросла в понятиях, что есть господа и люди, но пользовалась своим господством только для того, чтобы служить людям. Никогда она не выговаривала мне прямо за мою дурную жизнь, хотя страдала за меня. Брата, Сергея, которого она тоже горячо любила, она также не упрекала и тогда, когда он сошелся с цыганкой. Единственный оттенок беспокойства за нас было то, что когда он долго не приезжал, она говаривала: «что-то наш Сергейус?» Только вместо Сережи—Сергейус. Никогда она не учила тому, как надо жить, словами, никогда не читала нравоучений. Вся нравственная работа была переработка в ней внутри, а наружу выходили только ее дела—и не дела—дел не было, а вся ее жизнь—спокойная, кроткая, покорная и любящая не тревожной, любующейся на себя, а тихой, незаметной любовью.

«Она делала внутреннее дело любви, и потому ей не нужно было никуда торопиться. И эти два свойства—любовность и неторопливость—незаметно влекли в общество к ней и давали особенную прелесть в этой близости.

«От этого, как я не знаю случая, чтобы она обидела кого, я не знаю никого, кто бы не любил ее. Никогда она не говорила про себя, никогда о религии, о том, как надо верить, о том, как она верит и молится. Она верила во все, но отвергала только один догмат—вечных мучений. Dieu, qui est la bonté même, ne peut pas vouloir nos souffrances[1]).

«И кроме, как на молебнах и панихидах, я никогда не видал, как она молится. Я только по особенной приветливости, с которой она иногда встречала меня, когда я иногда поздно вечером после прощания на ночь заходил к ней, догадывался, что я прервал ее молитву. «Заходи, заходи,—скажет она, бывало.—А я только что говорю Нат. Петр., что Nicolas зайдет еще к нам». Она часто называла меня именем отца, и это мне было особенно приятно потому, что показывало, что представление о мне и отце соединяется в ее любви к обоим. По этим поздним вечерам она бывала уже раздета, в ночной рубашке, с накинутым платком, с цыплячьми ножками в туфлях, и в таком же неглиже Нат. Петр. «Садись, садись»,—говорила она, видя, что мне не хочется спать или тяжело одиночество. И эти незаконные, поздние сидения мне особенно милы по памяти. Бывало, скажет что-нибудь смешное Нат. Петр. или я—и она добродушно смеется, и тотчас же рассмеется Нат. Петр., и обе старушки долго смеются, сами не знают—чему, а как дети, только тому, что они всех любят и им хорошо.

«Не одна любовь ко мне была радостна. Радостна была эта атмосфера любви ко всем присутствующим, отсутствующим, живым и умершим людям и даже животным.

«Я еще буду, если придется раскопать мою жизнь, много говорить про нее. Теперь скажу только про отношение народа, яснополянских крестьян к ней, выра-

---

[1]) Бог, который сама доброта, не может хотеть наших страданий.

зившееся во время ее похорон: когда мы несли ее по деревне, не было ни одного двора из 60, из которого не выходили бы люди и не требовали бы остановки и панихиды. «Добрая была барыня, никому зла не сделала»,—говорили все. И ее любили, и сильно любили за это. Лао-Дзе говорит, что вещи ценны тем, чего в них нет. Так же и жизнь: главная цена ее в том, чтобы не было в ней дурного. И в жизни тетушки Татьяны Александровны не было дурного. Это легко сказать, но трудно сделать. И я знал только одного такого человека.

«Умирала она тихо, постепенно засыпая, и умерла, как хотела, не в той комнате, где жила, чтобы не испортить ее для нас.

«Умирала она, почти никого не узнавая. Меня она узнавала всегда, улыбаясь, просиявала, как электрическая лампочка, когда нажмешь кнопку, и иногда шевелила губами, и стараясь произнесть Nicolas, перед смертью совсем уже нераздельно соединив меня с тем, кого она любила всю жизнь.

«И ей-то, ей-то я отказывал в той маленькой радости, которую ей доставляли финики, шоколад и не столько для себя, а чтобы угощать меня же, и возможность дать ей немного денег тем, кто просил ее. Этого не могу вспомнить без мучительного укора совести. Милая, милая тетенька, простите меня. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait [1]), не в смысле того блага, которого для себя не взял в молодости, а в смысле того блага, которого не дал, и зла, которое сделал тем, которых уже нет» [2]).

Лето 1858 года Лев Николаевич хотя и не постоянно живет в Ясной Поляне, уезжая на время в Москву, но жизнь народная интересует его все более и более и он делает попытки сближения.

Фет в своих воспоминаниях приводит рассказ Ник. Ник. Толстого о его брате Льве, относящийся к этому времени и переданный с тонким юмором, свойственным Ник. Ник.

«На расспросы наши о Льве Николаевиче граф с видимым наслаждением рассказывал о любимом брате: «Левочка,—говорил он,—усердно ищет сближения с сельским бытом и хозяйством, с которыми, как и мы все, до сих пор знаком поверхностно. Но уж не знаю, какое тут выйдет сближение: Левочка желает все захватить разом, не упуская ничего, даже гимнастики. И вот у него под окном кабинета устроен бар. Конечно, если отбросить предрассудки, с которыми он так враждует, он прав: гимнастика хозяйству не помешает; но староста смотрит на дело несколько иначе: «придешь, говорит, к барину за приказанием, а барин, зацепившись одною коленкой за жердь, висит в красной куртке головою вниз и раскачивается; волосы отвисли и мотаются, лицо кровью налилось; не то приказания слушать, не то на него дивиться». Понравилось Левочке, как работник Юфан растопыривает руки при пахоте. И вот Юфан для него эмблема сельской силы, в роде Микулы Селяниновича. Он сам, широко расставляя локти, берется за соху и юфанствует» [3]).

В мае того же года Л. Н. Толстой писал Фету из Ясной Поляны:

«Драгоценный дяденька!

«Пишу два слова, только чтобы сказать, что обнимаю вас изо всех сил, что письмо ваше получил, что М. П. целую руки, всем вашим кланяюсь. Тетенька очень благодарна за память и кланяется; и сестра кланяется. Что за весна была и есть чудная! Я в одиночке смаковал ее чудесно! Брат Николай должен быть в Никольском (Вяземском); поймайте его и не пускайте,—я в этом месяце хочу притти к вам. Тургенев поехал в Виницг до августа, лечить свой пузырь.

«Чорт его возьми! Надоело любить его. Пузыря не вылечит, а нас лишит.

«Затем прощайте, любезный друг; ежели до моего прихода не будет стихотворения, уж я его из вас выжму.

Ваш гр. Л. Толстой.

---

[1]) Если бы юность знала, если бы старость могла.

[2]) Из доставленных мне и отданных в мое распоряжение черновых неисправленных записок Л. Н. Толстого.

[3]) „Мои воспоминания“, А. Фета. Стр. 237.

«Какой Троицын день был вчера! Какая обедня с вянущей черемухой, седыми волосами и ярко-красным кумачом и горячее солнце!»

А затем он же:

«Ау, дяденька! Ауу! Во-первых, сами не отзоветесь ничем, когда весна, и знаете, что все о вас думают, и что я, как Прометей, прицеплен к скале и все-таки алкаю вас видеть и слышать. Или бы приехали или хоть позвали бы к себе хорошенько. А во-вторых, зажилили брата, и очень хорошего брата, по прозвищу «Фирдуси». Главная тут преступница, я думаю, Мария Петровна, которой очень кланяюсь и прошу возвратить собственного нашего брата. Без шуток, он велел сказать, что на той неделе будет; Дружинин тоже будет; приезжайте и вы, голубчик дяденька».

После летних занятий по хозяйству мы видим Льва Николаевича и за общественными делами.

Осенью того же 1858 года в Туле происходил с 1-го по 4-е сентября с'езд дворян всей губернии для избрания депутатов в тульский губернский комитет улучшения быта крестьян. На этом с'езде, на основании устава о дворянских выборах, дозволяющего дворянам представлять свои соображения о местных нуждах и потребностях своей губернии, 105 дворян подали тульскому губернскому предводителю, для передачи на обсуждение губернского комитета, следующее мнение:

«Мы нижеподписавшиеся, в видах улучшения быта крестьян, обеспечения собственности помещиков и безопасности тех и других, полагаем необходимым отпустить крестьян на волю не иначе, как с наделом некоторого количества земли в потомственное владение,—и чтобы помещики, за уступаемую ими землю, получили бы полное, добросовестное денежное вознаграждение посредством какой-либо финансовой меры, которая не влекла бы за собою никаких обязательных отношений между крестьянами и помещиками,—отношений, которые дворянство предполагает необходимым прекратить». (Следуют подписи 105 тульских дворян, в числе которых подписался, конечно, и «крапивенский помещик граф Лев Толстой».)

Переходим опять к воспоминаниям Фета:

«Со времени нашего с женою от'езда в Москву, осенью 1858 г.,—рассказывает он,—Лев Николаевич Толстой успел, как видно из следующего его письма, присланного мне в Москву из Новоселок, поохотиться с Борисовым, который и сдал ему на время своего доезжачего Прокофия с лошадью и гончими.

«24 октября граф писал мне в Москву:

«Душенька, дяденька, Фетенька! Ей-Богу душенька, и я вас ужасно, ужасно люблю! Вот-те и все! Повести писать глупо, стыдно. Стихи писать... Пожалуй, пишите; но любить хорошего человека очень приятно. А может-быть, против моей воли и сознания не я, а сидящая во мне, еще не назревшая, повесть заставляет любить вас. Что-то иногда так кажется. Что ни делай, а между навозом и коростой нет-нет да возьмешь и сочинишь. Спасибо, что еще писать себе не позволяю и не позволю. Изо всех сил благодарю вас за хлопоты о ветеринаре и пр. Нашел я тульского и начал лечение. Что будет—не знаю. Да и чорт с ними со всеми! Дружинин просит по дружбе сочинить повесть. Я, право, хочу сочинить. Такую сочиню, что уж ничего не будет. Шах персидский курит табак, а я тебя люблю. Вот она штука-то! Без шуток, что ваш Гафиз? Ведь как ни вертись, а верх мудрости и твердости для меня—это только радоваться чужою поэзиею, а свою собственную не пускать в люди в уродливом наряде, а самому есть с хлебом насущным. А иногда так вдруг захочется быть великим человеком, и так досадно, что до сих пор еще этого не сделалось. Даже поскорее торопишься вставать или доедать обед, чтобы начинать. Всех так называемых глупостей не переговоришь, но приятно хотя одну сказать такому дяденьке, как вы, который живет только одними так называемыми глупостями «закурдалами». Пришлите мне одно самое здоровое, переведенное вами стихотворение Гафиза me faire venir l'eau à la bouche [1]), а я вам пришлю образчик пшеницы. Охота надоела—смерть. Погода стоит прелестная, но я один не езжу.

[1]) Поднести воду ко рту.

«Тетенька очень благодарит за память; и это не фраза, а всякий раз, как я прочту ей вашу приписку, она улыбается, наклонив голову, и скажет: «однако (почему однако?) какой славный человек этот Фет». А я знаю, за что славный—за то, что она думает, что он меня очень любит. Ну-с, прощайте. Пописывайте мне иногда без возбудителя ветеринара».

В декабре 1858 года [1]) со Львом Николаевичем произошел на охоте случай, едва не стоивший ему жизни. Вот как об этом рассказывает Фет:

«Не помню, при каких обстоятельствах братья Толстые—Николай и Лев—познакомились с Ст. Ст. Громекой; вероятно, это произошло у нас в доме. Все трое очень скоро сблизились между собою, так как оказались страстными охотниками.

«15 декабря 1858 года Громека писал:

«Согласно вашей просьбе, спешу уведомить вас, милый Афанасий Афанасьевич, что на этих днях, около 18 или 20 числа, я еду на медведя. Передайте Толстому, что мною куплена медведица с двумя медвежатами (годовыми) и что если ему угодно участвовать в нашей охоте, то благоволит к 18 или 19 числу приехать в Волочек, прямо ко мне, без всяких церемоний, и что я буду ждать его с распростертыми об'ятиями: для него будет приготовлена комната. Если же он не приедет, то прошу вас уведомить меня к тому же времени.

«Я полагаю, что охота состоится именно 19-го числа. Следовательно, всего лучше и даже необходимо приехать 18-го.

«Если же Толстой пожелает отложить до 21-го, то уведомьте; дольше ждать невозможно».

«Для большей убедительности известный вожак на медвежьих охотах, Осташков, явился в квартиру Толстых. Его появление в среде охотников можно только сравнить с погружением раскаленного железа в воду. Все забурлило и зашумело. В виду того, что каждому охотнику на медведя рекомендовалось иметь с собой два ружья, граф Лев Николаевич выпросил у меня мою немецкую двухстволку, предназначенную для дроби. В условленный день наши охотники (Лев Николаевич и Николай Николаевич) отправились на Николаевский вокзал. Добросовестно передам здесь слышанное мною от самого Льва Николаевича и сопровождавших его на медвежьей охоте товарищей.

«Когда охотники, каждый с двумя заряженными ружьями, были расставлены вдоль поляны, проходившей по изборожденному в шахматном порядке просеками лесу, то им рекомендовали пониже отоптать вокруг себя глубокий снег, чтобы таким образом получить возможно большую свободу движений. Но Лев Николаевич, становясь на указанном месте чуть не по пояс в снег, об'явил отаптывание лишним, так как дело состояло в стрелянии в медведя, а не в ратоборстве с ним. В таком соображении граф ограничился поставить свое заряженное ружье к стволу дерева, так, чтобы, выпустив свои два выстрела, бросить свое ружье и, протянув руку, схватить мое. Поднятая Осташковым с берлоги громадная медведица не заставила себя долго ждать. Она бросилась к долине, вдоль которой расположены были стрелки, по одной из перпендикулярных к ней продольных просек, выходивших на ближайшего справа ко Л. Н—чу стрелка, вследствие чего граф даже не мог видеть приближения медведицы Но зверь, быть-может, учуяв охотника, на которого все время шел, вдруг бросился по поперечной просеке и внезапно очутился в самом недалеком расстоянии на просеке против Толстого, на которого стремительно помчался. Спокойно прицелился Лев Николаевич, спустил курок, но, вероятно промахнулся, так как в клубе дыма увидал перед собой набегающую массу, по которой выстрелил почти в упор и попал пулею в зев, где она завязла между зубами. Отпрянуть в сторону граф не мог, так как не отоптанный снег не давал ему простора, а схватить мое ружье не успел, получивши в грудь сильный толчок, от которого навзничь повалился на снег. Медведица с разбега перескочила через него. «Ну,—подумал граф,—все кончено. Я дал промах и не

[1]) В воспоминаниях Фета это происшествие ошибочно отнесено к тем же числам января 1858 года.

успею выстрелить по ней другой раз». Но в ту же минуту он увидал над головой что-то темное. Это была медведица, которая, мгновенно вернувшись назад, старалась прокусить череп раненому ее охотнику. Лежащий навзничь, как связанный, в глубоком снегу Толстой мог оказать только пассивное сопротивление, стараясь по возможности втягивать голову в плечи и подставлять лохматую шапку под зев животного. Быть-может, вследствие таких инстинктивных приемов, зверь, промахнувшись зубами раза два, успел дать только одну значительную хватку, прорвав верхними зубами щеку под левым глазом и сорвав нижними всю левую половину кожи со лба. В эту минуту случившийся поблизости Осташков, с небольшой, как всегда, хворостиной в руке, подбежал к медведице и, расставив руки, закричал свое обычное: «куда ты? куда ты?»—Услыхав это восклицание, медведица бросилась прочь со всех ног, и ее, как помнится, вновь обошли и добили на другой день.

«Первым словом поднявшегося на ноги Толстого, с отвисшею на лицо кожею со лба, которую тут же перевязали платками,—было: «что-то скажет Фет?» Этим словом я горжусь и поныне» [1]).

Сам Лев Николаевич, оправившись, спешит уведомить тетку о случившемся и в письме от 25 декабря так рассказывает этот случай:

«Во-первых, поздравляю вас, во-вторых, я боюсь, что до вас дойдет как-нибудь с прибавлениями мое приключение, и потому сам спешу известить вас о нем.

„Nous avons été avec Nicolas à la chasse à l'ours, le 21 j'ai tué un ours, le 22 nous sommes allés de nouveau et il m'est arrivé une chose des plus extraordinaires. L'ours sans me voir s'est jeté sur moi, j'ai tiré sur lui à 6 pas, je l'ai manqué du premier coup, du deuxième coup à 2 pas je l'ai blessé à mort, mais il s'est jeté sur moi, il m'a renversé par terre et pendant, qu'on accourait, il m'a mordu 2 fois au front au-dessus et au-dessous de l'oeil. Par bonheur cela n'a duré que 10 ou 15 secondes, l'ours s'est enfui et je me suis relevé avec une petite blessure, qui ne me défigure ni ne me fait souffrir. Ni l'os du crâne ni l'œil ne sont endommagés, de sorte que j'en suis quitté pour une petite cicatrice, qui me restera au front. A présent je suis à Moscou et je me porte parfaitement bien. Je vous écris la pure verité sans rien cacher, pour que vous ne vous inquiétiez pas. A présent tout est passé et il n'y a qu'à remercier Dieu, qui m'a sauvé d'une manière si extraordinaire“ [1]).

Этот эпизод послужил Льву Николаевичу темой для его рассказа «Охота пуще неволи», помещенного в «книжках для чтения». В этом рассказе много художественных подробностей, пропущенных Фетом, но так как в художественной обработке очень трудно отличить фактическую сторону рассказа от добавлений художественной фантазии, мы предпочли этому рассказу воспоминания друга Льва Николаевича и его собственное письмо, как более соответствующие нашей цели.

Первые месяцы 1859 года Лев Николаевич проводит в Москве, а в апреле едет в Петербург, где проводит 10 дней в обществе своего друга, А. А. Толстой. Об этой поездке у него сохранились самые лучшие воспоминания.

В конце апреля он снова в Ясной Поляне, где остается все лето.

Летом Лев Николаевич навестил Тургенева в его Спасском.

---

[1]) „Мои воспоминания“. А. Фета. Ч. I, стр. 226.

[1]) Мы были с Николенькой на медвежьей охоте, 21-го я убил медведя, 22-го мы снова пошли, и со мной случилось нечто самое необыкновенное. Медведь, не видя меня, бросился на меня; я выстрелил в него с 6-ти шагов, первый раз промахнулся, со второго выстрела в 2-х шагах я его смертельно ранил, но он бросился на меня, повалил на землю и пока ко мне бежали, он укусил меня 2 раза в лоб над и под глазом. По счастью, это продолжалось не более 10 или 15 секунд; медведь убежал, и я поднялся с небольшой раной, которая не уродует меня и не причиняет мне страданий. Ни кость черепа, ни глаз не повреждены,—так что я отделался небольшим шрамом, который останется на лбу. Теперь я в Москве и чувствую себя совсем хорошо. Я пишу вам чистую правду, ничего не скрывая, чтобы вы не беспокоились. Теперь все прошло, и остается только благодарить Бога, который меня спас столь необычайным образом.

В своем стихотворении, посланном Фету от 16-го июля 1859 года, Тургенев пишет следующее:

„Толстого Николая поцелуйте
И Льву Толстому поклонитесь, также
Сестре его. Он прав в своей приписке:
Мне „не за что“ к нему писать. Я знаю,
Меня он любит мало и его люблю я мало—
Слишком в нас различны
Стихии; но дорог на свете много:
Друг другу мы мешать не захотим“ [1]).

Эти строки показывают, что отношения между ними продолжались взаимно уважительные, но дружелюбно-холодные.

Тем не менее это свидание прошло благополучно. 9-го октября того же года в письме к Фету Тургенев так отзывается об этом свидании:

«Дамы наши очень кланяются вам всем. С Толстым мы беседовали мирно и расстались дружелюбно. Кажется, недоразумений между нами быть не может, потому что мы друг друга понимаем ясно и понимаем, что тесно сойтись нам невозможно. Мы из разной глины слеплены» [2]).

В августе Лев Николаевич снова в Москве, где проводит осень.

1860 год он встречает уже в душевной тревоге:

«Тягота хозяйства, тягота одинокой жизни, всевозможные сомнения и пессимистические чувства обуревают душу».

Хотя зимой 59—60 года он еще находит отдохновение и умиление в школах. В «Исповеди» он так говорит об этом времени:

«Вернувшись из-за границы, я поселился в деревне и попал на занятие крестьянскими школами. Занятие это было мне особенно по сердцу, потому что в нем не было той, ставшей для меня очевидной, лжи, которая уже резала мне глаза в деятельности литературного учительства. Здесь я тоже действовал во имя прогресса, но я уже относился критически к самому прогрессу. Я говорил себе, что прогресс в некоторых явлениях своих совершался неправильно и что вот надо отнестись к первобытным людям, крестьянским детям, совершенно свободно, предлагая им избрать тот путь прогресса, который они захотят. В сущности же я вертелся все около одной и той же неразрешимой задачи, состоящей в том, чтобы учить, не зная чему. В высших сферах литературной деятельности я понял, что нельзя учить, не зная чему, потому что я видел, что все учат различному и, споря между собой, скрывают только сами от себя свое незнание; здесь же, с крестьянскими детьми, я думал, что можно обойти эту трудность тем, чтобы предоставить детям учиться, чему они хотят. Теперь мне смешно вспомнить, как я вилял, чтобы исполнить свою похоть— учить, хотя очень хорошо знал в глубине души, что я не могу учить ничему такому, что нужно, потому что сам не знаю, что нужно».

Это постоянное чувство неудовлетворения собой, это искание смысла жизни было непрестанно действующей силой, неудержимо влекущей его вперед на пути его нравственного прогресса.

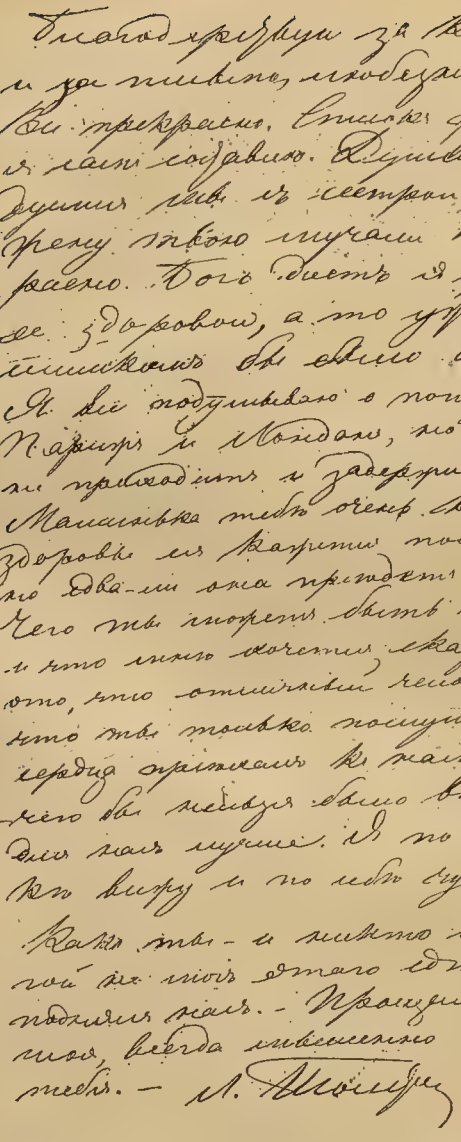
В феврале 1859 года Лев Николаевич был избран членом Московского Общества Любителей Российской Словесности.

4-го февраля 1859 года состоялось заседание этого общества под председательством А. С. Хомякова.

На этом заседании в числе вновь избранных членов присутствовал и Лев Николаевич Толстой и, по обычаю этого общества, произнес вступительную речь, в которой, как говорится в протоколе общества, «коснулся вопроса о преимуществе художественного элемента в литературе над всеми ее временными направлениями». К сожалению, эта речь не дошла до нас. В протоколах общества значится, что сначала было определено напечатать эту речь в трудах общества, но потом, так как изда-

---

[1]) „Мои воспоминания“, А. Фета. Ч. I, стр. 305.
[2]) Там же, стр. 311.



Автограф письма Л. Н-ча Толстого к его другу Д. А. Дьякову, 1860 года.

ние этих трудов не состоялось, было решено возвратить ее автору [1]), у которого она, вероятно, и осталась в архиве 50-х годов.

Некоторое представление об этой речи мы можем себе сделать по прекрасной ответной речи А. С. Хомякова, которую и приводим здесь целиком:

«Общество Любителей Российской Словесности, включив вас, граф Лев Николаевич, в число своих действительных членов, с радостью приветствует вас как деятеля чисто художественной литературы. Это чисто художественное направление защищаете вы в своей речи, ставя его высоко над всеми другими временными и случайными направлениями словесной деятельности. Странно было бы, если бы общество вам не сочувствовало в том; но позвольте мне сказать, что правота вашего мнения, вами столь искусно изложенная, далеко не устраняет прав временного и случайного в области слова. То, что всегда справедливо, то, что всегда прекрасно, то, что неизменно, как самые коренные законы души,—то, без сомнения, занимает и должно занимать первое место в мыслях, побуждениях и, следовательно, в речи человека. Оно, и оно одно, передается поколением поколению, народом народу как дорогое наследие, всегда множимое и никогда не забываемое. Но, с другой стороны, есть, как я имел уже честь сказать, постоянное требование самообличения в природе человека и в природе общества; есть минуты, и минуты важные в истории, когда это самообличение получает особенные, неопровержимые права и выступает в общественном слове с большею определенностью и с большею резкостью. Случайное и временное в историческом ходе народной жизни получает значение всеобщего, всечеловеческого, уже и потому, что все поколения, все народы могут понимать и понимают болезненные стоны и болезненную исповедь одного какого-нибудь поколения или народа. Права словесности—служительницы вечной красоты не уничтожают прав словесности обличительной, всегда сопровождающей общественное несовершенство, а иногда являющейся целительницей общественных язв. Есть бесконечная красота в невозмутимой правде и гармонии души; но есть истинная, высокая красота и в покаянии, восстановляющем правду и стремящем человека или общество к нравственному совершенству. Позвольте мне прибавить, что я не могу разделять мнения, как мне кажется, одностороннего, германской эстетики. Конечно, художество вполне свободно: в самом себе оно находит оправдание и цель. Но свобода художества, отвлеченно понятого, нисколько не относится к внутренней жизни самого художника. Художник не теория, не область мысли и мышлений деятельности: он человек, всегда человек своего времени, обыкновенно лучший его представитель, весь проникнутый его духом и его определившимися или зарождающимися стремлениями. По самой впечатлительности своей организации, без которой он не мог бы быть художником, он принимает в себя, и более других людей, все болезненные, так же как и радостные, ощущения общества, в котором он родился. Посвящая себя всегда истинному и прекрасному, он невольно, словом, складом мысли и воображения, отражает современное в его смеси правды, радующей душу чистую, и лжи, возмущающей ее гармоническое спокойствие. Так сливаются две области, два отдела литературы, о которых мы говорили; так писатель, служитель чистого художества, делается иногда обличителем, даже без сознания, без собственной воли и иногда против воли. Вас самих, граф, позволю я привести в пример. Вы идете верно и неуклонно по сознанному и определенному пути; но неужели вы вполне чужды тому направлению, которое назвали обличительной словесностью? Неужели хоть в картине чахоточного ямщика, умирающего на печке в толпе товарищей, повидимому, равнодушных к его страданиям, вы не обличили какой-нибудь общественной болезни, какого-нибудь порока? Описывая эту смерть, неужели вы не страдали от этой мозолистой бесчувственности добрых, но не пробужденных душ человеческих? Да,—и вы были, и вы будете невольно обличителем. Идите с Богом по тому прекрасному пути, который вы избрали. Идите с тем же успехом, которым вы увенчались до сих пор, или еще с большим, ибо ваш

[1]) Моск. Общ. Люб. Росс. Слов. Сборник протоколов. Редкий экз., хранящийся в Британском музее.

дар не есть дар преходящий и скоро исчерпываемый; но верьте, что в словесности вечное и художественное постоянно принимает в себя временное и преходящее, превращая и облагораживая его, и что все разнообразные отрасли человеческого слова беспрестанно сливаются в одно гармоническое целое» [1]).

Пророчество Хомякова сбылось: не говоря уже об обличительном элементе во всех произведениях первого периода, через 20 лет Лев Николаевич выступил сам с покаянием и затем с обличением современного зла. И посвятил этому делу свои могучие художественные и нравственные силы.

ГЛАВА XII.

Второе заграничное путешествие. Смерть брата.

В феврале 1860 года Фет обратился к Толстому письменно, прося совета по поводу задуманного им намерения купить имение и заняться хозяйством. Лев Николаевич отвечал ему вполне сочувственно, одобряя намерение, обещая содействие и указывая на разные продающиеся земли, и после этой практической части письма, не имеющей, по нашему мнению, общего интереса, он высказывает следующие значительные мысли по поводу произведений Тургенева и Островского:

«Прочел я «Накануне». Вот мое мнение: писать повести вообще напрасно, а еще более таким людям, которым грустно и которые не знают хорошенько, чего они хотят от жизни. Впрочем, «Накануне» много лучше «Дворянского гнезда», и есть в нем отрицательные лица превосходные: художник и отец. Другие же не только не типы, но даже замысел их, положение их не типическое, или уж они совсем пошлы. Впрочем, это всегдашняя ошибка Тургенева. Девица из рук вон плоха: «Ах, как я тебя люблю»... у нее ресницы были длинные... Вообще меня всегда удивляет в Тургеневе, как он со своим умом и поэтическим чутьем не умеет удержаться от банальности даже до приемов. Больше всего этой банальности в отрицательных приемах, напоминающих Гоголя. Нет человечности и участия к лицам, а представляются уроды, которых он бранит, а не жалеет. Это как-то больно жюрирует с тоном и смыслом либерализма всего остального. Это хорошо было при царе Горохе и при Гоголе (да еще надо сказать, что ежели не жалеть своих самых ничтожных лиц, надо их уж ругать так, чтобы небу жарко было, или смеяться над ними так, чтобы животики подвело), а не так, как одержимый хандрой и диспепсией Тургенев. Вообще же сказать, никому не написать теперь такой повести, несмотря на то, что она успеха иметь не будет.

«Гроза» Островского есть, по-моему, плачевное сочинение, а будет иметь успех. Не Островский и не Тургенев виноваты, а время: теперь долго не родится тот человек, который бы сделал в поэтическом мире то, что сделал Булгарин. А любителям антиков, к которым и я принадлежу, никто не мешает читать серьезно стихи и повести и серьезно толковать о них. Другое теперь нужно. Не нам нужно учиться, а нам нужно Марфутку и Сараску выучить хотя немножко тому, что мы знаем. Прощайте, любезный друг».

Лев Николаевич, действительно, решил, что человек, одаренный разумом и обогащенный знаниями, обязан, прежде чем наслаждаться ими, делиться с теми, у кого их нет, и потому он посвящает часы, свободные от хозяйства, школе. В этих занятиях проходит зима 59—60 года. В то же время за чтением серьезных книг ему приходят такие мысли:

---

[1]) „Русский Архив“ 1896 года, 11, стр. 401. Статья В. Н. Лясковского: „А. С. Хомяков, его биография и учение“.

1-го февраля. «Читал: «La Dégénérescence de l'esprit humain» [1]) и о том, как есть физическая высшая степень развития ума. Я в этой степени машинально вспоминал молитву. Молиться кому? Что такое Бог, представляемый себе так ясно, что можно просить его, сообщаться с ним? Ежели я и представляю себе такого, то он теряет для меня всякое величие.

«Бог, которого можно просить и которому можно служить,—есть выражение слабости ума. Тем-то он Бог, что все его существо я не могу представить себе. Да он и не существо: он закон и сила.

«Пусть останется эта страничка памятником моего убеждения в силе ума».

Затем он читает рассказы Ауэрбаха и «Рейнеке Лис» Гёте и, наконец, около того же времени он записывает такую мысль:

«Странная религия моя и религия нашего времени, религия прогресса. Это сказали одному человеку, что прогресс хорошо. Это только отсутствие верования и потребность сознанной деятельности, облеченная в верование. Человеку нужен порыв—Schwung—да».

Эта мысль получила свое полное развитие в педагогических сочинениях, как мы увидим ниже, а также в самоанализе исповеди, в приведенной выше заметке.

Друзья Толстого с напряженным вниманием следили за его литературной деятельностью, относясь снисходительно и полушутливо к «дури и чудачеству», как они называли, большей частью не понимая этих проявлений глубокой внутренней работы Льва Николаевича.

Так, Боткин писал между прочим Фету 6-го марта 1860 года:

«Из письма Тургенева я с радостью узнал, что Лев Толстой опять принялся за свой кавказский роман. Как бы он ни дурил, а я все-таки скажу, что этот человек с великим талантом и для меня всякая дурь его имеет больше достоинства, чем благоразумнейшие поступки других» [2]).

Так же относился к нему Тургенев. Вот отрывок из его письма к Фету того же года:

«А Лев Толстой продолжает чудить. Видно, так уже написано ему на роду. Когда он перекувыркнется в последний раз и встанет на ноги?» [3]).

Весной 1860 года супруги Феты по обыкновению по пути переезда из города в деревню заехали в Ясную Поляну.

Фет делает следующую краткую заметку об этом пребывании в Ясной Поляне:

«Конечно, мы не отказали себе в удовольствии заехать на два дня в Ясную Поляну, где к довершению радости застали дорогого Н. Н. Толстого, заслужившего самобытною восточною мудростью прозвание Фирдуси. Сколько самых отрадных планов нашего пребывания в яснополянском флигеле со всеми подробностями возникали между нами в эти два дня! Никому из нас не приходила в голову полная несостоятельность этих планов» [4]).

Далее Фет рассказывает о приезде к ним Николая Николаевича Толстого.

«Однажды приехавший к нам в половине мая Ник. Ник. Толстой об'явил, что сестра его графиня М. Н. Толстая вместе с братьями убедили его ехать за границу от несносных приливов кашля. Исхудал он, бедный, к этому времени очень, невзирая на обычную свою худобу; и по временам сквозь добродушный смех прорывалась свойственная чахоточным раздражительность. Помню, как он рассердился, отдернув руку от руки приехавшего за ним кучера, ловившего ее для лобзания. Правда, он и тут ничего не сказал в лицо своему крепостному; но когда он ушел к лошадям, он с раздражением в голосе стал жаловаться мне и Борисову: «С чего вдруг этот скот выдумал целовать руку? От роду этого не было» [5]).

Так как в дальнейшем рассказе придется говорить об отношении Льва Николае-

---

[1]) Вырождение человеческого духа.
[2]) „Мои воспоминания". А. Фета. Стр. 324.
[3]) Там же. Стр. 325.
[4]) Там же. Стр. 326.
[5]) Там же. Стр. 324.

вича к своему брату во время жизни и при смерти его, то мы считаем нелишним привести характеристику этого замечательного человека, сделанную Фетом.

«Граф Н. Н. Толстой, бывавший у нас чуть не каждый вечер, приносил с собой нравственный интерес и оживление, которое трудно передать в немногих словах. В то время он ходил еще в своем артиллерийском сюртуке, и стоило взглянуть на его худые руки, большие умные глаза и ввалившиеся щеки, чтобы убедиться, что неумолимая чахотка беспощадно вцепилась в грудь этого добродушно-насмешливого человека. К сожалению, этот замечательный человек, про которого мало сказать, что все знакомые его любили, а следует сказать — обожали, приобрел на Кавказе столь обычную в то время между тамошними военными привычку к горячим напиткам. Хотя впоследствии я коротко знал Николая Толстого и бывал с ним в отъезжем поле на охоте, где, конечно, ему сподручнее было выпить, чем на каком-либо вечере, тем не менее, в течение трехлетнего знакомства, я ни разу не замечал в Николае Толстом даже тени опьянения. Сядет он, бывало, в кресло, придвинутое к столу, и понемножку прихлебывает чай, приправленный коньяком. Будучи от природы крайне скромен, он нуждался в расспросах со стороны слушателя. Но наведенный на какую-либо тему, он вносил в нее всю тонкость и забавность своего добродушного юмора. Он, видимо, обожал младшего своего брата Льва. Но надо было слышать, с какой иронией он отзывался об его великосветских похождениях. Он так ясно умел отличать действительную сущность жизни от ее эфемерной оболочки, что с одинаковой иронией смотрел и на высший и на низший слой кавказской жизни. И знаменитый охотник, старовер, дядюшка Епишка (в «Казаках» гр. Л. Толстого—Ерошка), очевидно, подмечен и выщупан до окончательной художественности Николаем Толстым». [1]).

Н. Н. мало писал; до нас дошли только его «Записки охотника», напечатанные в «Современнике».

Евг. Гаршин в своих воспоминаниях о Тургеневе приводит такое мнение Ивана Сергеевича о Н. Н. Толстом:

«То смирение перед жизнью,—говорил нам Иван Сергеевич,—которое Лев Толстой развивал теоретически, брат его применил непосредственно к своему существованию. Он жил всегда в самой невозможной квартире, чуть не в лачуге, где-нибудь в отдаленном квартале Москвы, и охотно делился всем с последним бедняком. Это был восхитительный собеседник и рассказчик, но писать было для него почти физически невозможно. Его затруднял самый процесс письма, как затрудняет простого человека, у которого всегда натружены руки и перо плохо держится в пальцах» [2]).

Поездка за границу Николая Николаевича действительно состоялась, к общей, хотя и недолгой, радости его друзей.

Он выехал за границу через Петербург с братом Сергеем.

Тургенев любивший его, сильно беспокоился об его здоровье и писал Фету так от 1 июня 1860 года из Содена:

«То, что вы мне сообщили о болезни Николая Толстого, глубоко меня огорчило. Неужели этот драгоценный, милый человек должен погибнуть, и как можно было запустить так болезнь? Неужели он не решился победить свою лень и поехать за границу полечиться? Ездил он на Кавказ в тарантасах и чорт знает в чем. Что бы ему приехать в Соден! Здесь на каждом шагу встречаешь больных грудью: соденские воды едва ли не лучшие для таких болезней. Я вам все это говорю за две тысячи верст, как будто слова мои могут что-нибудь помочь... Если Толстой уже не уехал, то он не уедет... Вот как нас всех ломает судьба!» [3]).

То же самое он повторяет в postscriptum того же письма:

«Если Николай Толстой не уехал, бросьтесь ему в ноги, а потом гоните его в

---

[1]) Там же. Стр. 217.

[2]) „Исторический Вестник“. Ноябрь, 1883 г. Евг. Гаршин. „Воспоминания о Тургеневе“.

[3]) „Мои воспоминания“. А. Фета. Часть I, стр. 328.

лею за границу. Здесь, например, такой мягкий воздух, какого в России никогда и нигде не бывает» [1]).

Конечно, и Лев Николаевич был сильно встревожен болезнью брата. К этому времени относится следующее письмо его к Фету, в котором, кроме заботы о брате, он выражает еще очень интересные сельскохозяйственные соображения:

«Не только не обрадовался и не возгордился вашим письмом, любезный друг Аф. Аф., но ежели бы поверил ему совсем, то очень бы огорчился. Это без фразы. Писатель вы, писатель и есть, и дай Бог и вам и нам. Но что вы сверх того хотите найти место и на нем копаться, как муравей, эта мысль не только должна была притти к вам, но вы и должны осуществить ее лучше, чем я. Должны вы это сделать потому, что вы и хороший, и здраво смотрящий на жизнь человек. Впрочем не мне и теперь докторальным тоном одобрять или не одобрять вас: я в большом разладе сам с собою. Хозяйство в том размере, в каком оно ведется у меня, давит меня; юфанство где-то вдали виднеется только мне; семейные дела, болезнь Николеньки, от которого из-за границы нет еще известий, и от'езд сестры (она уезжает от меня через три дня)—с другой стороны давят и требуют меня. Холостая жизнь, т.-е. отсутствие жены, и мысль, что уж становится поздно,—с третьей стороны мучает. Вообще все мне не складно теперь. По причине беспомощности сестры и желания видеть Николая я завтра на всякий случай беру паспорт за границу и, может-быть, поеду с ними; особенно ежели не получу или получу дурные вести от Николая. Как бы я дорого дал, чтобы видеть вас перед от'ездом, сколько бы хотелось вам сказать и от вас узнать; но теперь это едва ли возможно. Однако, ежели бы это письмо пришло рано, то знайте, что мы поедем из Ясной в четверг, а скорее в пятницу.—Теперь о хозяйстве: цена, которую с вас просят, недорога, а ежели место вам по душе, то надо купить. Одно, зачем так много земли? Я трехлетним опытом дошел, что со всевозможною деятельностью невозможно вести хлебопашество успешно и приятно более чем на 60-ти, 70-ти десятинах, т.-е. десятинах по 10-ти, 15-ти в поле (в 4). Только при этих условиях можно не дрожать за всякий огрех, потому что вспашешь не два, а три и четыре раза, за всякий пропущенный работником час, за лишний рубль в месяц работнику, потому что можно довести 15 десятин до того, чтобы они давали 30—40% с капитала основного и оборотного, а 80—100 десятин—нельзя. Пожалуйста, не пропустите этого совета мимо ушей, это не «так себе болтовня», а вывод, до которого я дошел «боками». Кто вам скажет противное, тот или лжет или не знает. Мало того, и с 15 десятинами нужна деятельность, поглощающая всего. Но тогда может быть награда, одна из самых приятных в жизни, а с 90 десятинами есть труд почтовой лошади и не может быть успеха. Не нахожу слов обругать себя, что я раньше не написал вам, тогда бы вы верно приехали.

«Теперь прощайте. Душевный поклон Марье Петровне и Борисову» [2]).

В это время в литературной деятельности Льва Николаевича и его друга Фета, слабо, но последовательно отражавшего в себе процесс внутренней жизни Толстого, происходит затишье.

И вот Дружинин пишет Толстому и Фету убедительные письма, ободряя их на литературную работу. Особенно интересно его письмо к Толстому:

«Тороплюсь отвечать на письмо ваше, любезный друг Лев Николаевич, и как вы, вероятно, догадываетесь, по поводу того, что вы пишете о вашем отношении к литературе. На всякого писателя набегают минуты сомнения и недовольства собою, и, как ни сильно и ни законно это чувство, никто еще из-за него не прекращал своей связи с литературой, а всякий писал до конца. Но у вас все стремления, добрые и недобрые, держатся с особенным упорством, потому вам нужнее, чем кому другому, подумать о том и дружески обсудить все дело.

[1]) Там же, стр. 329.
[2]) „Мои воспоминания“, А. Фета. Стр. 329.

Прежде всего вспомните то, что после поэзии и труда мысли все труды кажутся дрянью. Qui a bu, boira [1]), и в 30 лет оторваться от деятельности писателя значит лишить себя половины всех интересов в жизни. Но это лишь одна трудность дела, есть кое-что еще важнее.

На всех нас лежит ответственность, корень которой в теперешнем огромном значении литературы посреди русского общества. Англичанин или американец может расхохотаться тому, что в России не только 30-летние люди, но седовласые помещики 2000 душ потеют над повестью в 100 страниц, которая появилась в журнале, пожирается всеми и возбуждает на целый день толки в обществе. Каким художеством ни об'ясняй этого дела, его не об'яснишь художеством. То, что в других землях дело празднословия, беззаботного диллетантизма,—у нас выходит совсем другим. У нас дела сложились так, что повесть—это потеха и мельчайший род словесности—выходит чем-нибудь из двух: или дрянью, или голосом передового человека в целом царстве. Мы, например, все знаем слабость Тургенева, но между самой его дрянной повестью и самыми лучшими романами госпожи Евгении Тур, с ее полуталантом,—целый океан. Публика русская по какому-то странному чутью выбрала себе из толпы писателей четверых или пятерых глашатаев и ценит их как передовых людей, не желая знать никаких соображений и выводов. Вы частью по талантам, частью по светским качествам вашего духа, а частью просто по стечению счастливых обстоятельств стали в такое благоприятное отношение к публике. Стало быть, тут уходить и прятаться нельзя, а надо работать, хотя бы до истощения сил и средств. Это одна сторона дела, а вот другая. Вы член литературного круга, по возможности честного, независимого и влиятельного, который десять лет при гонениях и невзгодах (и несмотря на свои собственные пороки) твердо держит знамя всего, что либерально и просвещенно, и выносит весь этот гнет похабства житейского, не сделавши ни одной подлости. При всей холодности света и необразованности и смотрении свысока на литературу, этот круг награжден почетом и нравственной силой. Слова нет, что в нем есть людишки пустые и даже глуповатые, в общей связи и они что-нибудь значат, и они не были бесполезны. В этом круге вы опять-таки, несмотря на то, что пришли недавно, имеете место и голос, каких, например, не имеет Островский, огромно-талантливый и в нравственном отношении столько же почтенный, как и вы. Отчего это случилось, было бы слишком долго разбирать, да и не в том дело. Оторвавшись от круга литературного и предавшись бездеятельности, вы соскучитесь и лишите себя важной роли в обществе. На этом месте прекращаю мою диссертацию по поводу места в письме,—если эти мысли вас займут собой, то вы сами их разовьете и пополните».

С тем же дружеским советом он обращается и к Фету:

Добрый и многоуважаемый Афан. Афан.

Насчет вашего намерения не писать и не печатать более—скажу вам то же, что Толстому: пока не напишется что-нибудь хорошего, исполняйте ваше намерение, а когда напишется, то сами вы и без чужого побуждения измените этому намерению.

Держать хорошие стихи и хорошую книгу под спудом—невозможно, хотя бы вы давали тысячу клятв, а потому лучше и не собирайтесь. Эти два или три года и Толстой и вы находитесь в непоэтическом настроении, и оба хорошо делаете, что воздерживаетесь; но чуть душа зашевелится и создастся что-нибудь хорошее, оба вы позабудете воздержание. Итак, не связывайте себя обещаниями, тем более, что их от вас обоих никто не требует. В решительности вашей и Толстого, если я не ошибаюсь, нехорошо только то, что она создалась под влиянием какого-то раздражения на литературу и публику. Но если писателю обижаться на всякое проявление холодности или бранную статью, то некому будет и писать, разве кроме Тургенева, который как-то умеет быть всеобщим другом. К сердцу принимать литературные дрязги, по-моему, то же, что сидя верхом, сердиться на то, что ваша лошадь не-

[1]) Кто пил, будет пить.

вежничает, в то время, когда вы, может-быть, сидя на ней, находитесь в поэтическом настроении мыслей. Про себя могу сказать вам, что я бывал обругиваем и оскорбляем, как лучше требовать нельзя, однако же не лишался от того и частички аппетита, а, напротив, находил особенное наслаждение в том, чтобы сидеть крепко и двигаться вперед, и, конечно, не брошу писать до тех пор, пока не скажу всего, что считаю нужным высказать» [1]).

Конечно, Дружинин неправильно приписывал причину этого молчания— раздражению на публику. Если такое раздражение и было, то оно исходило из одного и того же источника, как и решимость не писать, из сознания того, что ни писатели, ни читатели не имели прочной духовной основы и связи для взаимного понимания.

Писатели не знали, что писать, а читатели—в лице критиков—не знали, чего требовать от писателей. Так продолжалось до того времени, пока какое-нибудь крупное явление жизни или истории не поражало ума и чувства писателя и не вызывало их к деятельности.

Возвратимся к болезни Н. Н. Толстого.

По дороге за границу он писал между прочим Фету из Петербурга:

«Любезные друзья, Афанасий Афанасьевич и Иван Петрович, исполняю обещание мое даже раньше, чем обещал; я хотел писать из-за границы, а пишу из Петербурга. Мы уезжаем в субботу, т.-е. завтра. Я советовался с Здекауэром; он— петербургский доктор, а вовсе не берлинский, как мне показалось, читая письмо Тургенева. Воды, на которых Тургенев теперь находится, Соден,—нас туда же посылают. Следовательно, мой адрес тоже на Франкфурт-на-Майне, poste-restante».

Вслед за этим Фет получил от него второе письмо уже из Содена:

«Не дождавшись от вас послания, пишу к вам, чтобы вас уведомить, что я благополучно приехал в Соден; впрочем, при моем приезде из пушек не стреляли. В Содене мы застали Тургенева, который жив, здоров, и здоров так, что сам признается, что он «совершенно» здоров. Нашел какую-то немочку и восхищается ею. Мы (это относится к милейшему Ивану Сергеевичу) поигрываем в шахматы, но как-то нейдет; он думает о своей немочке, а я о своем выздоровлении. Если я нынешней осенью пожертвовал, то к будущей осени я должен быть молодцом. Соден прекрасное место; нет еще недели, как я приехал, а я чувствую себя уже очень и очень лучше. Живем мы с братом на квартире, три комнаты, двадцать гульденов в неделю, table d'hôte—гульден, вино запрещено, поэтому вы можете видеть, какое скромное место Соден, а мне он нравится. Против окон моих стоит очень неказистое дерево, но на нем живет птичка и поет себе каждый вечер; она мне напоминает флигель в Новоселках.

«Засвидетельствуйте мое почтение Марии Петровне и будьте здоровы, друзья мои, да пишите почаще. Я в Содене, кажется, надолго, недель на шесть по крайней мере. Путешествия не описывал, потому что все время был болен. Еще раз прощайте» [2]).

28-го июня 1860 года Л. Н. пишет уже из Москвы Фету, что решил ехать за границу с сестрой, и просит его сделать некоторые хозяйственные распоряжения о лошадях в связи с своим от'ездом.

3-го июля Лев Николаевич с сестрой Марией Николаевной и с ее детьми отправился на пароходе из Петербурга в Штетин и Берлин.

Болезнь брата была только поводом, ускорившим выезд Льва Николаевича за границу. К этой поездке он был готов давно. Целью ее было ознакомление с тем, что сделано в Европе по народному образованию.

«После года, проведенного в занятиях школой,—говорит Лев Николаевич в своей «Исповеди»,—я в другой раз поехал за границу, чтобы там узнать, как бы это так сделать, чтобы, самому ничего не зная, уметь учить других» [3]).

---

1) „Мои воспоминания". А. Фета. Стр. 332.
2) „Мои воспоминания", А. Фета. Стр. 334.
3) „Исповедь". Изд. Черткова. Стр. 12.

Но такую строгую оценку цели своей поездки Лев Николаевич мог сделать только через 20 лет, тогда же он отдался со всей страстностью своего темперамента этому изучению.

И болезнь, а потом смерть брата не прекращает этого изучения, а только делит всю поездку на две половины.

Из Штетина Лев Николаевич приехал с сестрой в Берлин, оттуда сестра его продолжает свой путь к брату в Соден, а Лев Николаевич остался в Берлине на несколько дней [1]).

Он посетил университет, где присутствовал на лекциях профессора истории Дройзена и на лекциях физики и физиологии Дюбуа-Реймона. Кроме того, Лев Николаевич посетил вечерние курсы в собрании ремесленников, Handswerkverein, где чрезвычайно заинтересовался популярными лекциями одного выдающегося профессора и особенно «вопросным ящиком». Этот способ народного образования был еще не известен Толстому и поразил его живостью и свободою обмена мыслей между представителем науки и народом. К сожалению, с тех пор прошло более сорока лет, а Россия до сих пор не дожила до этого простого способа народного образования.

Затем Лев Николаевич посетил в Берлине Моабитскую тюрьму, где была недавно введена новая усовершенствованная наукой система пытки, известная под названием одиночного заключения; конечно, это изобретение не оставило во Льве Николаевиче благоприятного впечатления.

14-го июля он покидает Берлин.

Останавливается на один день в Лейпциге для осмотра школ, и 16-го июля, проехав поразившую его своей красотой так называемую Саксонскую Швейцарию, он приезжает в Дрезден, где видится с известным писателем-народником Бертольдом Ауэрбахом.

Американский писатель Скайлер, в своих воспоминаниях о Толстом, так передает рассказ Л. Н-ча об этом свидании, дополняя его потом собранными сведениями:

«Помогая Толстому приводить в порядок его библиотеку, я помню,—говорит Скайлер, что собранию сочинений Ауэрбаха было дано первое место на первой полке, и, вынув два тома «Ein neues Leben» [2]), Толстой сказал мне, чтобы я прочел их, когда лягу спать, как весьма замечательную книгу, и прибавил:

«— Этому писателю я был обязан, что открыл школу для моих крестьян и заинтересовался народным образованием. Когда я во второй раз вернулся в Европу, я посетил Ауэрбаха, не называя себя. Когда он вошел в комнату, я сказал только: «я—Евгений Бауман» [3]), и когда он показал смущение, я поспешил прибавить: «не действительно по имени, но по характеру». И тогда я сказал ему, кто я, как сочинения его заставили меня думать, и как хорошо они на меня подействовали».

«Случай привел меня,—продолжает Скайлер,—следующей зимой провести несколько дней в Берлине, где в гостеприимном доме американского посланника Банкрофта я имел удовольствие встретить Ауэрбаха, с которым во время моего пребывания там я хорошо познакомился; в разговоре о России мы говорили и о Толстом, и я напомнил ему об этом случае.

«— Да,—сказал он,—я всегда вспоминаю, как я испугался, когда этот странно глядящий господин сказал мне, что он—Евгений Бауман, потому что я боялся, что он будет грозить мне за пасквиль или диффамацию» [4]).

---

[1]) Интересные подробности этого второго заграничнаго путешествия мы заимствуем из книги Р. Лёвенфельда „Граф Л. Н. Толстой, его жизнь и сочинения“, где это путешествие описано весьма подробно, исправляя некоторые неточности по частным письмам Льва Николаевича к его родным.

[2]) „Новая жизнь“.

[3]) Герой повести Ауэрбаха.

[4]) „Л. Н. Толстой“. Воспоминания Евг. Скайлера. „Русская Старина“, октябрь 1890 г., стр. 261.

Осмотр саксонских школ не удовлетворил Льва Николаевича.

В его путевых заметках мы находим следующую краткую характеристику этих школ: «Был в школе. Ужасно. Молитва за короля, побои, все наизусть, напуганные, изуродованные дети».

19-го июля он поехал дальше и прибыл в Киссинген, приблизясь таким образом к брату. По дороге он читает историю педагогики.

Оттуда Лев Николаевич писал своей тетке 5-го августа 1860 года:

«Не писал я вам так долго, chère tante, потому что хотелось сообщить вам известия не об одном себе, но и о всех наших. Но вот уже 10 дней напрасно жду от них писем. Мы с Машенькой доехали благополучно до Берлина. Покачало и порвало нас только один день.

«В Берлине мы с Машей и Варенькой были у знаменитого доктора Траубе. Он здоровье Маши нашел хорошим и послал ее только для руки в Соден. Вареньке велел морские купанья и тоже нашел, что ее сердце и легкие невредимы. Мне посоветовал Киссинген, где я нахожусь. В Берлине у меня сделалась страшная зубная боль, так что Маша, пробыв 4 дня, поехала в Соден, а я остался. В Берлине мы имели письмо от братьев, в котором Николай пишет, что ему Соден, *кажется*, помог. Вот все, что я них знаю. В Берлине я пробыл дней 10 очень приятно и полезно для себя. Зубная боль промучила меня 4 дня. Киссинген, как можно судить по 9 дням, кажется, мне очень поможет от моих мигреней и геморроидальных припадков. Здесь я нашел Ауэрбаха [1]) с страшными глазами, которому я очень рад, и его пискливую жену, которой я не рад. Адрес мой En Bavière Kissingen. Надеюсь, что вы напишете мне. Прощайте, целую ваши ручки. Старосте велите мне напоподробнейшим образом написать о работах, уборке и о лошадях и болезни. Учителю велите написать о школе, сколько учеников ходят и хорошо ли учатся. Я вернусь осенью непременно и более, чем когда-либо, займусь школой, поэтому желал бы, чтобы без меня не пропала репутация школы и чтоб побольше с разных сторон было школьников».

В Киссингене он продолжает много читать: по естествознанию читает Бэкона, по религии Лютера, из политической области Риля. Вероятно, в это время он читал и Герцена, так как о нем есть краткая заметка в его дневнике:

«Герцен—разметавшийся ум, больное самолюбие, но ширина, ловкость и доброта, изящество—русские».

В Киссингене Толстой познакомился с немецким социологом Юлием Фребелем, автором «Системы социальной политики», и племянником педагога Фребеля, учредителя детских садов.

По рассказам Фребеля, Толстой удивлял его резкостью своих воззрений, бывших совершенно новыми для немецкого ученого и поразивших его несоответствием с его «системой».

«Прогресс в России,—говорил Толстой,—должен исходить из народного образования, которое даст у нас лучшие результаты, чем в Германии, потому что русский народ еще не испорчен; тогда как немцы походят на ребенка, который в течение нескольких лет подвергался неправильному воспитанию».

Народное образование, по его мнению, не должно быть обязательным: если оно благо,—говорил он,—то его потребность должна вызываться сама собой, подобно тому, как потребность в питании вызывается голодом.

Он с живым интересом высказывал свой взгляд на общинное крестьянское землевладение и видел в «артели» будущность социального строя. Фребель часто улыбался, слушая подобные мнения Толстого о германском народе. Толстой был поражен, что ни в одном немецком крестьянском доме не нашел он ни «Деревенских рассказов», ни произведений Гебеля. Русские крестьяне,—говорил он,—проливали бы слезы над подобными книгами.

Впечатления, полученные им от Бертольда Ауэрбаха в Дрездене и от Фребеля

---

[1]) Сосед, тульский помещик, однофамилец писателя.

во время их совместных прогулок, укрепили его в той задаче, план которой только еще носился перед его умственным взором. Автор «Системы социальной политики» указал ему на родственные ему по взглядам сочинения Риля, и Толстой, со всем пылом юности, накинулся на «Естественную историю народа как основание немецкой социальной политики».

Племянник Фридриха Фребеля был по своему внутреннему призванию тоже педагог. Он познакомил Толстого с мыслями своего дяди, учредителя детских садов.

В Киссингене Толстой посетил все окрестности, богатые красотами природы и историческими воспоминаниями. Он прошел Гарц, побывал в тюрингенских городах и из Эйзенаха проехал в Вартбург.

Личность немецкого реформатора, чью тяжелую борьбу напоминает собою Вартбург, живо интересовала Толстого. Разрыв с старыми традициями, смелая и искренняя реформаторская деятельность и идеи, воплощением которых был Лютер, увлекали Толстого, и он, посетив ту комнату, где были написаны первые слова Библии на немецком языке, записал в свой дневник короткую фразу: «Лютер велик».

Между тем больной Николай Николаевич Толстой писал Фету от 19-го июля:

«Я бы давно написал вам, любезные друзья мои, но мне хотелось написать вам обо всех, составляющих нашу толстовскую колонию, но тут произошла ужасная путаница, которая, наконец, распуталась следующим образом: сестра с детьми приехала в Соден и будет в нем жить и лечиться, дядя Леушка остался в Киссингене, в пяти часах от Содена, и не едет в Соден, так что я его не видал. Письмо ваше я отправил к Левочке с братом Сергеем, который будет в Киссингене проездом в Россию. Он скоро у вас будет и все вам подробно расскажет. Извините, добрейший Афанасий Афанасьевич, что я прочитал ваше письмо к брату, много в нем правды, но только где вы говорите в общем; а где говорите о самом себе, там вы не правы, все тот же недостаток практичности: себя и кругом себя ничего не знаешь. Но ведь не боги горшки обжигали; бросьтесь в практичность, окунитесь в нее с головой, и я уверен, что она вытеснит из вас байбака, да еще выжмет из вас какую-нибудь лирическую штучку, которую мы с Тургеневым да еще несколько человек прочтем с удовольствием. А на остальной мир—плевать! За что я вас люблю, любезнейший Аф. Аф.,—за то, что все в вас правда, все, что из вас, то в вас, нету фразы, как, например, в милейшем и пр. Иване Сергеевиче. А очень стало мне без него пусто в Содене, не говоря уже о том, что шахматный клуб расстроился. Даже аппетит у меня стал не тот, с тех пор, как не сидит подле меня его толстая и здоровая фигура и не требует придачи то моркови к говядине, то говядины к моркови. Мы часто о вас говорили с ним, особенно последнее время: «вот Фет собирается, вот Фет едет, наконец, Фет стреляет». Иван Сергеевич купил собаку,—черный полукровный пойнтер. Я воды кончил; намерен делать разные экскурсии, но все-таки моя штаб-квартира в Содене и адрес тот-же».

От Ник. Ник. Толстого осталось так мало литературных произведений, что мы помещаем еще его несколько писем к общему другу братьев Толстых, Дмитрию Алексеевичу Дьякову. Хотя они не особенно содержательны, но тем не менее отражают на себе его добродушие.

Из Содена он писал Дьяковым два раза:

«Любезный Дьяков, получил ли ты мое письмо из Петербурга? Если получил, то грех тебе не отвечать. Что с вами? Надеюсь, что все твои здоровы. Ради Бога отвечай, едет ли Дарья Александровна за границу? Когда, куда, не уехала ли уже; если б я знал все это, то я бы сейчас поехал к ней навстречу; воды пить я кончил и теперь отдыхаю; сестра тоже в Содене, пробудет в нем четыре недели.

Здоровье мое поправилось, но не совсем; мне сдается, что, вероятно, то же можно сказать и про твое хозяйство. Ради Бога пиши, как идет хозяйство, какие планы и пр. Левочка в Киссингене; Сережа был со мной в Содене, профершпилился в рулетку и уехал назад в Россию; он, вероятно, будет у тебя.

«19 июля нов. штиля. Весь твой гр. Н. Толстой».

«Не знаю, как благодарить вас, Дарья Александровна, за вашу приписку; значит, вы не забыли вашего соседа. Как ваше здоровье? Как здоровье Маши? Надеюсь, что мы увидимся нынешний год, и думаю об этом с наслаждением; напишите только, когда вы будете за границей, где вы, и я сейчас явлюсь. Сестра моя тоже в Содене и просит меня напомнить вам о себе. Мы с ней вместе проклинаем погоду—вообразите, что здесь лета не было—холода, ветры и дожди все время, и это не в одном Содене, но во всей Европе. Но да не испугает вас это, приезжайте и привезите нам хорошую погоду. С истинным почтением и уважением

преданнейший ваш граф Н. Толстой».

«Боюсь, любезный Дмитрий, что письмо это вас не застанет; если ты его получишь, отвечай сейчас, куда вы едете, где будете осень.—Вот главное. Адрес мой пока все-таки в Соден, потому что я сам не знаю, куда я отсюда поеду, мне предписывают виноград и хороший климат, а ни того, ни другого нынешний год в Европе нет. Сестра тебе кланяется.

28 августа. Весь твой Н. Толстой».

Но вот из Содена стали приходить неутешительные известия. Ник. Ник. Толстой приятно провел несколько недель в красивом местечке, в обществе сестры, ее детей и брата Сергея, но его здоровье не поправлялось. Врачи советовали ему переехать в Италию.

6-го августа Сергей Николаевич Толстой отправился на родину. Он воспользовался случаем заехать в Киссинген, лежащий в расстоянии 5-ти часов пути, чтобы навестить брата Льва и сообщить ему серьезные опасения за здоровье Николая. Три дня спустя, именно в тот день, когда Сергей Николаевич продолжал свой путь на родину, приехал в Киссинген и брат Николай. Сестра же с детьми оставались в Содене для окончания лечения.

Ник. Ник. недолго пробыл в Киссингене и снова вернулся в Соден, а Лев Николаевич пробыл еще некоторое время в Гарце, наслаждаясь природой и посвящая свободное время чтению книг.

Наконец, 26-го августа он приехал в Соден. Там все было приготовлено к от'езду, и 29 августа Лев Николаевич с братом отправились во Франкфурт.

Вероятно, сильные индивидуальные качества делали Льва Николаевича очень оригинальным даже по внешнему виду. Мы уже видели, как он напугал Ауэрбаха. Во Франкфурте произошло тоже нечто подобное. Вот как вспоминает об этом его тетушка А. А. Толстая:

«Мы переехали во Франкфурт. Однажды у меня в гостях сидел принц Александр Гессенский с супругой. Вдруг отворяется дверь гостиной, и появляется Лев Николаевич в самом странном костюме, напоминающем те, в которых изображают на картинах испанских разбойников. Я так и ахнула от изумления... Лев Николаевич остался, видимо, недоволен моими гостями и в скорости ушел.

„— Qui est donc ce singulier personnage?—спросили гости с удивлением.

„— Mais c'est Léon Tolstoy.

„— Ah, mon Dieu, pourquoi ne l'avez-vous pas nommé? Après avoir lu ses admirables écrits nous mourrions d'envie de le voir [1]),—упрекнули они меня» [2]).

Из Франкфурта Толстые все вместе переехали в Гиеру, на берег Средиземного моря, по совету врачей. Но бедному Николаю это не помогло, и он там прожил недолго.

---

[1]) Кто эта странная личность?—Да это Лев Толстой.—Ах. Боже мой, зачем вы его не назвали? Прочитавши его очаровательные писания, мы страстно желали его увидать.

[2]) Ив. Захарьин (Якунин). „Графиня Александра Андреевна Толстая". „Вестник Европы". Июнь 1904 года.

Через несколько дней по приезде Л. Н. пишет тетушке Т. А. письмо, в котором еще заметна надежда на выздоровление Н. Н.:

„L'état de la santé de Nicolas est toujours le même, mais ce n'est qu'ici, qu'il faut espérer une amélioration, parce que le genre de vie qu'il a mené à Soden, le voyage et le mauvais temps ont du, au contraire, lui faire du mal. Ici le temps est admirable ces trois jours et ici on dit, que le temps a été toujours beau. Il y a ici une princesse Galitzine, qui habite le pays depuis 9 ans. Marie a fait sa connaissance et cette princesse dit, qu'elle est venue ici dans un état beaucoup pire, que celui de Nicolas, et à présent c'est une femme forte et tout à fait bien portante [1]).

Но ему становилось все хуже и хуже. За несколько дней до смерти он пишет Дьякову, в Париж, и почерк его становится слабым, дрожащим, и он сам сознается в упадке сил:

«Пишу тебе несколько строк, чтобы было тебе известно, где я. Я и сестра проводим зиму в Hières. Вот мой адрес и Левочки тоже: à Hières, dans la maison de Mad. Sénéquier, rue du Midi Увы, мне приехать в Париж невозможно: эта поездка мне не по силам, я очень слаб. Как приедешь и найдешь это письмо, пиши, где остановился, как доехал и прочее. Если нельзя видеться, будем переписываться.

Весь твой Н. Толстой».

20 сентября нового стиля 1860 года он скончался, и Л. Н. так извещает об этом свою тетушку Т. А.:

«Chère tante!

«Черная печать вам все скажет. То, чего я ждал две недели с часу на час, случилось нынче в 9 часов вечера. Только со вчерашнего дня он позволил мне помочь ему раздеться, нынче первый день, что он решительно лег и разделся и потребовал garde-malade. Все время он был в памяти, за четверть часа до смерти он выпил молока и сказал мне, что ему хорошо. Нынче еще он шутил и интересовался моими делами о воспитании. Только за несколько минут до смерти он прошептал несколько раз: «Боже мой, Боже мой!». Мне кажется, что он чувствовал свое положение, но обманывал нас и себя. Машенька нынче только часа за четыре уехала от нас, т.-е. из Hyères, за 4 версты, где она живет. Она никак не ожидала этого так скоро. Я только-что закрыл ему глаза. Я скоро теперь буду к вам и все расскажу изустно. Тело его я не думаю перевозить. Похороны устроит княгиня Голицына, которая взялась за все.

«Прощайте, chère tante. Утешать вас не могу. Воля Божья—вот одно. Сереже я теперь не пишу. Он, должно быть, на охоте, вы знаете, где. Поэтому и известите его или пошлите это письмо».

На другой день после похорон он пишет о том же брату Сергею:

«Ты, я думаю, получил известие о смерти Николеньки. Мне жаль тебя, что ты не был тут; как это ни тяжело, мне хорошо, что все это было при мне и что это подействовало на меня, как должно было. Не так, как смерть Митеньки, о которой я узнал, вовсе не думая о нем. Впрочем, это совсем другое дело. С Митенькой были связаны воспоминания детства и родственное чувство и только; а это был положительно человек для тебя и для меня, которого мы любили и *уважали* положительно больше всех на свете. Ты это знаешь, эгоистическое чувство, которое последнее время приходило, что чем скорее, тем лучше; а теперь страшно это писать и вспо-

[1]) Состояние здоровья Николеньки все то же, но только здесь можно ожидать улучшения, потому что образ жизни, который он вел в Содене, путешествие и плохая погода должны были, напротив, принести ему вред. Здесь погода превосходна в эти три дня и здесь, говорят, что погода все время была прекрасная. Здесь есть княгиня Голицына, которая живет здесь уже 9 лет. Машенька познакомилась с ней, и эта княгиня говорит, что она приехала сюда в еще худшем состоянии, чем Николенька, а теперь это сильная и вполне здоровая женщина.

минать, что это думал. До последнего дня он с своей необычайной силой характера и сосредоточенностью делал все, чтобы мне не быть в тягость. В день своей смерти он сам оделся и умылся, и утром я его застал одетого на кресле. Это было часов за девять до смерти, что он покорился болезни и попросил себя раздеть. Первое было в нужнике. Я вышел вниз и слышу—дверь его отворилась; я вернулся, его нет нигде. Сначала я боялся войти,—он не любил,—но тут он мне сам сказал: «помоги мне».

«И он покорился и стал другой: кроткий, добрый этот день; не стонал, ни про кого не говорил, всех хвалил и мне говорил: «благодарствуй, *мой друг*». Понимаешь, что это значит в наших отношениях. Я сказал ему, что слышал, как он кашлял утром, но не вошел из-за fausse honte [1]). «Напрасно, это бы меня *утешило*». Страдать—он страдал, но он только раз сказал дня за два до смерти: «что за ужасные ночи без спа. К утру давит кашель, месяц! и что грезится—Бог знает. Еще такие ночи две—это ужасно». Ни разу ясно он не сказал, что чувствует приближение смерти. Но он только не говорил. В день смерти он заказал комнатное платье и вместе с тем, когда я сказал, что если не будет лучше, то мы с Машенькой не поедем в Швейцарию, он сказал: «разве ты думаешь, что мне будет лучше?» таким голосом, что, видно, он чувствовал, но для меня не говорил, а я для него не показывал: однако, с утра я знал как-будто и все был у него. Он умер совсем без страданий, наружных, по крайней мере. Реже, реже дышал, и кончилось. На другой день я сошел к нему и боялся открыть лицо. Мне казалось, что оно будет еще страдальческее, страшнее, чем во время болезни, и ты не можешь вообразить, что это было за прелестное лицо с его лучшим веселым и спокойным выражением.

«Вчера его похоронили тут. Я одно время думал перевезти, телеграфировать тебе, да раздумал. Нечего ковырять рану. Мне жалко тебя, что тебя известие это застанет на охоте, в рассеянности и не прохватит так, как нас. Это здорово. Я чувствую теперь то, что слыхал часто, что как потеряешь такого человека, как он для нас, так много легче самому становится думать о смерти.

«Твое письмо пришло в самую минуту, как его отпевали. Да, уж не будешь полевать с ним.

«Два дня до смерти читал он мне свои записки об охоте и много говорил о тебе. Он говорил о тебе, что ты всем от Бога сделан счастливым человеком и сам себя мучаешь. Я только на второй день хватился сделать его портрет и маску. Портрет уже не застал его удивительного выражения, но маска прелестна».

Смерть его произвела сильное впечатление на Льва Николаевича, и сначала она оттолкнула его от жизни и расшатала его веру в добро. Вот какую запись он делает в своем дневнике:

13 октября 1860 года: «Скоро месяц, что Николенька умер. Страшно оторвало меня от жизни это событие. Опять вопрос: зачем? Уж недалеко от отправления туда. Куда? Никуда. Пытаюсь писать, принуждаю себя—и не идет, только оттого, что не могу приписывать работе того значения, какое нужно приписывать для того, чтобы иметь силу и терпение работать. Во время самых похорон пришла мне мысль написать матерьялистическое евангелие, жизнь Христа-матерьялиста».

В письме от 17 октября 1860 года к Фету, когда уже улеглись первые впечатления горя и сознание снова взяло верх, Лев Николаевич так описывает кончину брата:

«Мне думается, что вы уже знаете то, что случилось. 20 сентября он умер буквально на моих руках. Ничто в жизни не делало на меня такого впечатления. Правду он говаривал, что хуже смерти ничего нет. А как хорошенько подумать, что она все-таки конец всего, так и хуже жизни ничего нет. Для чего хлопотать, стараться, коли от того, что был Николай Николаевич Толстой, для него ничего не осталось? Он не говорил, что чувствует приближение смерти, но я знаю, что он за каждым шагом ее следил и верно знал, что еще остается. За несколько минут перед

---

[1]) Ложный стыд.

смертью он задремал и вдруг очнулся и с ужасом прошептал: «да что ж это такое?» Это он ее увидал, это поглощение себя в ничто. А уж коли он не нашел ничего, за что ухватиться, что же я найду? Еще меньше. И уж верно ни я и никто так не будет до последней минуты бороться с нею, как он. Дня за два я ему говорил: «нужно бы тебе удобство в комнату поставить».

— Нет,—говорит,—я слаб, но еще не так; мы еще поломаемся.

«До последней минуты он не отдавался ей, все сам делал, все старался заниматься, писал, меня спрашивал о моих писаниях, советовал. Но все это, мне казалось, он делал уже не по внутреннему стремлению, а по принципу. Одно: природа—это осталось до конца. Накануне он пошел в свою спальню и упал от слабости на постель у открытого окна. Я пришел, он говорит со слезами на глазах: «как я наслаждался теперь целый час». Из земли взят и в землю пойдешь. Осталось одно—смутная надежда, что там, в природе, которой частью сделаешься в земле, останется и найдется что-нибудь.

«Все, кто знали и видели его последние минуты, говорят: «как удивительно спокойно, тихо он умер», а я знаю, как страшно мучительно, потому что ни одно чувство не ускользнуло от меня. Тысячу раз я говорю себе: «оставьте мертвым хоронить мертвых», но надо же куда-нибудь девать силы, которые еще есть. Нельзя уговаривать камень, чтобы он падал кверху, а не книзу, куда его тянет. Нельзя смеяться шутке, которая наскучила. Нельзя есть, когда не хочется. К чему все, когда завтра начнутся муки смерти со всею мерзостью лжи, самообмана и кончится ничтожеством, нулем для себя? Забавная штучка. Будь полезен, будь добродетелен, счастлив, покуда жив, говорят люди друг другу; а ты, и счастье, и добродетель, и польза состоят в правде. А правда, которую я вынес из тридцати двух лет, есть та, что положение, в которое мы поставлены, ужасно. «Берите жизнь, какая она есть; вы не сами поставили себя в это положение». Как же! Я и беру жизнь, как она есть. Как только дойдет человек до высшей степени развития, так он увидит ясно, что все дичь, обман, и что правда, которую он все-таки любит лучше всего, что эта правда ужасна, что, как увидишь ее хорошенько, ясно, так очнешься и с ужасом скажешь, как брат: «да что ж это такое?» Но разумеется, покуда есть желание знать и говорить правду, стараешься знать и говорить. Это одно, что осталось у меня из морального мира, выше чего я не могу стать. Это одно я и буду делать, только не в форме вашего искусства. Искусство есть ложь, а я уже не могу любить прекрасную ложь...

«Я зиму проживу здесь по той причине, что все равно жить, где бы то ни было. Пишите мне, пожалуйста. Я вас люблю так же, как брат вас любил и помнил до последней минуты...

Л. Толстой».

Лев Николаевич, живший в Севастополе среди тысячи смертей, видел их тогда только телесными очами. Тут на смерть любимого брата он в первый раз взглянул духовными очами и ужаснулся. Как искренний человек, он с необычайною правдивостью признал себя побежденным ею, несостоятельным перед ее могуществом. И эта правдивость спасла его. С этой минуты, можно сказать, мысль о смерти не покидала его; она приводит его к неизбежному духовному кризису и победе над нею.

Еще через месяц по поводу новой смерти он пишет следующее:

«Умер в мучениях мальчик 13 лет от чахотки. За что? Единственное об'яснение дает вера в возмездие будущей жизни. Ежели ее нет, то нет и справедливости и не нужно справедливости и потребность справедливости есть суеверие.

«Справедливость составляет существеннейшую потребность человека к человеку. То же отношение человек ищет в своем отношении к миру. Без будущей жизни его нет. Целесообразность—единственный, неизменный закон природы, скажут естественники. Ее нет в явлениях души человека—любви, поэзии; в лучших явлениях ее нет. Все это было и умерло, часто не выразившись. Природа далеко переступила свою цель, давши человеку потребность поэзии и любви, ежели один закон ее—целесообразность .

Еще позднее, в «Исповеди», он пишет о смерти брата так:

«Другой случай сознания недостаточности для жизни суеверия прогресса была смерть моего брата. Умный, добрый, серьезный человек, он заболел молодым, страдал более года и мучительно умер, не понимая, зачем он жил, и еще менее понимая, зачем он помирает. Никакие теории ничего не могли ответить на эти вопросы ни мне, ни ему во время его медленного и мучительного умирания» [1]).

Наконец уже после просветления своего сознания он пишет книгу «О жизни», которую заключает словами: «Жизнь человека есть стремление к благу; к чему он стремится, то и дано ему: жизнь, не могущая быть смертью, и благо, не могущее быть злом».

Есть интересные сведения о жизни Льва Николаевича с семьей его сестры в Гиере после смерти брата, рассказанные Сергеем Шаксиным, бывшим тогда еще маленьким мальчиком и жившим с своею матерью в том же пансионе. Вот как он рассказывает о поселении и жизни Толстых на вилле Тош:

«Семейство графа заняло верхний этаж виллы, при чем Лев Николаевич поставил свой письменный стол в стеклянной галлерее с видом на море. Лев Николаевич, живя в Гиере, часто бывал у сестры на даче, проводя там целые дни.

«Неутомимый ходок, Лев Николаевич составлял нам маршрут, изобретая все новые места для прогулок. То мы отправлялись смотреть на выварку соли на полуострове «Porquerollo», то подымались на священную гору, где построена каплица с чудотворной статуей Пресвятой Девы, то ходили к развалинам какого-то замка, почему-то носившего название «Trou des fées» [2]).

«По дороге Лев Николаевич рассказывал нам, детям, разные сказки. Помню я какую-то о золотом коне и о гигантском дереве, с вершины которого видны были все моря и города. Зная мою слабую грудь, он нередко сажал меня на свои плечи, продолжая рассказывать на ходу свои сказки. Надо ли говорить, что мы души в нем не чаяли?..

«За обедом, вечером, Лев Николаевич рассказывал нашим добродушным хозяевам всевозможные забавные небылицы о России, и те не знали, верить ему или не верить, пока графиня или моя мать не отделяли правды от вымысла.

«Сейчас же после обеда мы располагались, смотря по погоде, или на обширной террасе, или в зале, и начиналась возня. Под звуки фортепиано мы изображали балет и оперу, немилосердно терзая слух наших зрителей: маменек, Льва Николаевича и моей бонны Лизы. Балет и опера сменялись гимнастическими упражнениями, при чем профессором являлся тот же Лев Николаевич, направивший главным образом на развитие мускулов.

«Ляжет, бывало, на пол во всю длину и нас заставляет лечь и подниматься без помощи рук; он же устроил нам в дверях веревочные приспособления и сам кувыркался с нами, к общему нашему удовольствию и веселью.

«Когда мы слишком расшалимся и маменьки упросят Льва Николаевича нас унять,—он нас усаживал вокруг стола и приказывал принести чернила и перья.

«Вот образец наших занятий со Львом Николаевичем.

«— Слушайте,—сказал он нам как-то,—я вас буду учить!

«— Чему? — спросила востроглазая Лизанька [3]), предмет моих нежных чувств.

«Не удостоив племянницу ответом, Лев Николаевич продолжал:

«— Пишите!..

«— Да что писать-то, дядя?—настаивала Лиза.

«— А вот слушайте: я вам дам тему!..

«— Что дашь?—не унималась Лиза.

---

[1]) „Исповедь". Изд. Черткова, стр. 11.

[2]) „Пещера волшебниц".

[3]) Лизанька, Варя и Коля—дети Марьи Николаевны Толстой, сестры Л. Н—ча.

«— Тему!—твердо повторил Лев Николаевич. — Пишите: чем отличается Россия от других государств. Пишите тут же, при мне, и друг у друга не списывать! Слышите!—прибавил он внушительно.

«И пошло у нас писание, как говорится á qui mieux-mieux [1]).

«Коля, бывало, как тщательно ни наклоняет голову на бок, но у него все линейки ползут в правый верхний угол бумаги. Пыхтит он, пыхтит, издавая носом неопределенные звуки, но ничего бедняге не помогает, а между тем Лев Николаевич строго запрещал нам писать по графленым линейкам, говоря, что это «одно баловство». «Надо привыкать писать без них». Пока мы таким образом излагали наши мысли, графиня и моя мать сидели на диване и читали вполголоса какое-нибудь новое произведение французской литературы, а граф Лев Николаевич ходил по комнате из угла в угол, чем вызывал иногда восклицание первой графини:

«— Что это ты, Левушка, как маятник, слоняешься. Хоть бы присел!..

«Через полчаса наши «сочинения» были готовы, и мое было первым, к которому прикоснулся наш ментор. Он пытался-было нам прочесть его, но тщетно стараясь что-либо разобрать в спустившихся к подпебесью линейках, возвратил мне мою рукопись, сказав:

«— Прочти-ка сам,—и я громогласно стал читать, что Россия отличается от других государств тем, что в ней на масленице блины едят и с гор катаются, а на Пасхе яйца красят.

«— Молодец!—похвалил Лев Николаевич и стал разбирать рукопись Коли, у которого Россия отличалась «снегом», а у Лизы—«тройками».

«Обстоятельнее всех было написано у старшей из нас всех—Вари.

«В награду за наши вечерние занятия Лев Николаевич привез нам из Марселя, куда он почему-то часто ездил из Гиеры, акварельные краски и учил нас рисованию.

«Лев Николаевич проводил почти весь день с нами,—учил нас, участвовал в наших играх и вмешивался в наши споры, разбирая и доказывая, кто из нас прав, кто виноват» [2]).

Приведем еще рассказ сестры Л. Н—ча, М. Н—ны, об одном эпизоде из жизни Л. Н—ча в Гиере:

«Л. Н. всегда отличался оригинальностью, переходившей нередко в самодурство.

«Мы жили в Гиере после смерти брата. Л. Н. уже тогда был известен, и русское общество в Гиере и окрестностях искало знакомства с ним. Раз мы были приглашены на вечер к кн. Дондуковой-Корсаковой. Там собралось все высшее общество, и главным clou [3]) этого вечера должен был быть Л. Н., и как нарочно он долго не приходил. Общество стало уже унывать, у хозяйки истощился весь запас занимания общества, и она с грустью думала о своем soirée manquée [4]). Но, наконец, уже очень поздно, доложили о приезде графа Толстого. Хозяйка и гости оживились, и каково же было их удивление, когда в гостиную вошел Л. Н. в дорожной одежде и в деревянных *сабо*. Он совершал какую-то длинную прогулку, с этой прогулки, не заходя домой, явился прямо на вечер и стал всех уверять, что деревянные сабо самая лучшая, самая удобная обувь и что он всем советует сю обзавестись. Ему и тогда уже все прощалось, и вечер из-за этого стал еще более интересным. Л. Н. был очень оживлен. На вечере много пели и заставляли его аккомпанировать».

В Гиере, временами, Л. Н—ч отдавался писательству; там были начаты «Казаки» и написана статья «О народном образовании».

Лев Николаевич остался в Гиере до начала декабря и затем отправился через Марсель в Женеву, расстался там с своей сестрой, которая также переехала туда

---

[1]) Кто кого лучше.

[2]) С. Плаксин. „Граф Л. Н. Толстой среди детей". Москва. 1903 г.

[3]) Гвоздь.

[4]) Неудавшемся вечере.

Л. Н-ч Толстой, мировой посредник и педагог в 1861 году.

с своими детьми, и снова отправился в путь—сначала в Италию. Ницца, Ливорно, Флоренция, Рим, Неаполь—вот главные пункты этого путешествия.

В Италии, по его собственным словам, он испытал первое живое впечатление природы и древности.

В Париж Толстой снова поехал через Марсель, куда он заезжал несколько раз во время своего заграничного путешествия. Очевидно, жизнь большого французского торгового города привлекала и интересовала его.

Вот как описывает Лев Николаевич свое пребывание в Марселе в одной из своих педагогических статей:

«Год тому назад я был в Марселе и посетил все учебные заведения для рабочего народа этого города. Отношение учащихся к населению так велико, что, за малым исключением, все дети ходят в школу в продолжение трех, четырех и шести лет. Программы школ состоят в изучении наизусть катехизиса, священной и всеобщей истории, четырех правил арифметики, французской орфографии и счетоводства. Каким образом счетоводство может составлять предмет преподавания, я никак не мог понять, и ни один учитель не мог об'яснить мне. Единственное об'яснение, которое я сделал себе, рассмотрев, как ведутся книги учениками, окончившими этот курс,—есть то, что они не знают и трех правил арифметики, а выучили наизусть операции с цифрами, и потому так же наизусть должны выучить tenue des livres [1]). (Кажется, нечего доказывать, что tenue des livres, Buchhaltung [2]), преподающееся в Германии и в Англии, есть наука, требующая четыре часа об'яснения для всякого ученика, знающего четыре правила арифметики.) Ни один мальчик в этих школах не умел решить, т.-е. постановить самой простой задачи сложения и вычитания. Вместе с тем с отвлеченными числами они делали операции, помножая тысячи с ловкостью и быстротой. На вопросы из истории Франции отвечали наизусть хорошо, но по разбивке я получил ответ, что Генрих IV убит Юлием Цезарем.

«...Видел я еще в Марселе одну светскую и одну монашескую школу для взрослых. Из 250.000 жителей меньше 1.000 учащихся, и только 200 мужчин посещают эти школы. Преподавание то же самое: механическое чтение, которого достигают в год и более, счетоводство без знания арифметики, духовные поучения и т. п. Видел я после светской школы ежедневные поучения в церквах, видел salles d'asile [3]), в которых четырехлетние дети по свистку, как солдаты, делают эволюции вокруг лавок, по команде поднимают и складывают руки и дрожащими и страшными голосами поют хвалебные гимны Богу и своим благодетелям, и убедился, что учебные заведения города Марселя чрезвычайно плохи. Ежели бы кто-нибудь каким-нибудь чудом видел все эти заведения, не видав народа на улицах, в мастерских, кафе, в домашней жизни, то какое бы мнение он себе составил о народе, воспитываемом таким образом? Он, верно, подумал бы, что это народ невежественный, грубый, лицемерный, исполненный предрассудков и почти дикий. Но стоит войти в сношение, поговорить с кем-нибудь из простолюдинов, чтобы убедиться, что, напротив, французский народ почти такой, каким он сам себя считает: понятливый, умный, общительный, вольнодумный и действительно цивилизованный. Посмотрите на городского работника лет тридцати: он уже напишет письмо не с такими ошибками, как в школе, иногда совершенно правильное; он имеет понятие о политике, следовательно, о новейшей истории и географии; он знает уже несколько историю из романов; он имеет несколько сведений из естественных наук; он очень часто рисует и прилагает математические формулы к своему ремеслу. Где же он приобрел все это?

«Я невольно нашел этот ответ в Марселе, начав после школ бродить по улицам, гингетам, кафешантанам, музеумам, мастерским, пристаням и книжным лавкам. Тот самый мальчик, который отвечал мне, что Генрих IV убит Юлием Цеза-

[1]) Ведение книг.
[2]) Ведение книг, бухгалтерия.
[3]) Приюты.

рем, знал очень хорошо историю «Четырех мускатеров» и «Монте-Кристо». В Марселе я нашел 28 дешевых изданий, от пяти до десяти сантимов, иллюстрированных. На 250.000 жителей их расходится до 30.000,—следовательно, если положить, что 10 человек читают и слушают один нумер, то все их читают. Кроме того,—музей, публичные библиотеки, театры, кафе, два большие кафешантана, в которые, за потребление 50 сантимов, имеет право войти всякий и в которых перебывает ежедневно до 25.000 человек, не считая маленьких кафе, имеющих столько же; в каждом из этих кафе даются комедийки, сцены, декламируются стихи. Вот уже, по самому бедному расчету, пятая часть населения, которая изустно поучается ежедневно, как поучались греки и римляне в своих амфитеатрах. Хорошо или дурно это образование—это другое дело; но вот оно, бессознательное образование, в сколько раз сильнейшее принудительного; вот она, бессознательная школа, подкопавшаяся под принудительную школу и сделавшая содержание ее почти ничем. Осталась только одна деспотическая форма почти без содержания. Я говорю «почти»—исключая одно механическое уменье складывать буквы и выводить слова, единственное знание, приобретаемое пяти- или шестилетним ученьем» [1]).

В январе 1861 года Толстой был уже в Париже. Как и везде, он старался там наблюдать уличные нравы.

«Когда я был в Париже,—рассказывал он Скайлеру,—я обыкновенно проводил половину дней в омнибусах, забавляясь просто наблюдением народа; и могу вас уверить, что каждого из пассажиров я находил в одном из романов Поль де-Кока».

Лев Николаевич в разговоре с Скайлером совершенно отрицал так называемую безнравственность Поль де-Кока.

«Во французской литературе,—говорил он Скайлеру,— я высоко ценю романы Александра Дюма и Поль де-Кока».

На изумление, выраженное Скайлером, он продолжал:

«Нет, не говорите мне ничего о той бессмыслице, что Поль де-Кок безнравственен. Он, по английским понятиям, несколько неприличен. Он более или менее то, что французы называют beste и gaulois, но никогда не безнравственность. Что бы он ни говорил в своих сочинениях и вопреки его маленьким вольным шуткам, направление его совершенно нравственное. Он—французский Диккенс. Характеры его все заимствованы из жизни и так же совершенны.

«А что касается Дюма, каждый романист должен знать его сердцем. Интриги у него чудесные, не говоря об отделке; я могу его читать и перечитывать, но завязки и интриги составляют его главную цель».

В Париже Лев Николаевич виделся с Тургеневым, и это свидание несколько сблизило их.

Затем Лев Николаевич поехал в Лондон и виделся там с Герценом. Он прожил в Лондоне полтора месяца и видался с Герценом почти каждый день. Они много беседовали и касались в своей беседе самых интересных вопросов. К сожалению, ни у Герцена, ни у Льва Николаевича ничего не осталось записанным из этих бесед.

В воспоминаниях Тучковой-Огаревой есть несколько строк, посвященных этому свиданию:

«Посетил Герцена и Лев Николаевич Толстой, которого Д., О. и Ю. гремели в читающем мире. Герцен восхищался этими вещами; особенно удивлялся Герцен смелости Толстого говорить о таких тонких, глубоко затаенных чувствах, которые, быть-может, испытываются многими, но которые никем высказаны не были. Что касается до его философских воззрений, Герцен находил их слабыми, туманными, часто бездоказанными» [2]).

Кроме того, мы можем передать изустный рассказ дочери Герцена, Натальи Александровны, смутно помнящей одно свидание. Она была тогда маленькой девоч-

---

[1]) Полное собр. соч. Л. Н. Толстого, т. IV, стр. 24.
[2]) „Русская Старина“, 1894 года.

кой и уже читала первые произведения Толстого и восхищалась ими. Узнав от отца, что Толстой будет у него, она выпросила позволение присутствовать при этом свидании... В назначенный день и час она забралась к отцу в кабинет и села в кресло в самом дальнем углу, стараясь быть незамеченной. Вскоре лакей доложил о приезде графа Толстого. Она с замиранием сердца ждала его появления, и каково же было ее разочарование, когда увидала франтовато, по последней английской моде одетого человека, с светскими манерами, вошедшего к отцу и начавшего с увлечением рассказывать ему о петушиных боях и о состязании боксеров, которых он уже насмотрелся в Лондоне; ни одного задушевного слова, которое бы соответствовало ее ожиданию, ей не удалось услышать в это единственное, оставшееся в ее воспоминании, свидание Льва Николаевича с ее отцом, при котором ей удалось присутствовать.

Однако, надо полагать, что разговоры двух великих русских писателей не ограничились этим предметом спорта, так как при расставании Герцен снабдил Толстого рекомендательным письмом к Прудону.

Кроме того, в Англии, как и везде, Лев Николаевич посещал школы и был в парламенте, где слышал речь Пальмерстона, говорившего под ряд три часа.

Там же он узнал о своем назначении на должность мирового посредника, и в день об'явления воли, т.-е. 19-го февраля 1861 г. по русскому стилю или 3-го марта по новому, Лев Николаевич выехал из Лондона в Россию через Бельгию, Брюссель, где с письмом Герцена посетил Прудона. Этот энергичный, самостоятельный мыслитель, вышедший из народа, произвел на Льва Николаевича сильное впечатление и, вероятно, имел влияние на выработку его миросозерцания. Как-то в разговоре Лев Николаевич сказал мне, что Прудон оставил в нем впечатление сильного человека, у которого есть «le courage de son opinion» [1]). Известный афоризм Прудона—«la propriété c'est le vol» [2]) может быть поставлен эпиграфом любого экономического этюда Толстого.

В Брюсселе Лев Николаевич посетил также польского историка и политического деятеля Лелевеля, который жил в Брюсселе уже дряхлым стариком и в большой бедности. В Брюсселе же была Львом Николаевичем написана повесть «Поликушка». 13-го апреля Лев Николаевич выехал из Брюсселя и направился через Германию в Россию.

Первым городом, который он посетил в Германии, был Веймар. Там он был гостем русского посланника, фон-Мальтица, который познакомил его с гофмаршалом Больe-Марконэ, а этот в свою очередь представил его великому герцогу Карлу-Александру. Мальтиц дал ему также возможность 16-го апреля посетить жилище Гёте, которое было тогда закрыто для простых смертных. Но Толстого больше интересовали детские фребелевские сады, которые тогда велись под руководством Минны Шельгорн, непосредственной ученицы Фребеля, и она с радостью рассказывала любознательному русскому графу о своем учителе и показывала ему занятия и игры детей.

Доктор фон-Бодэ недавно поместил в веймарском педагогическом журнале «Der Säemann» (сеятель) интересную статью под заглавием: «Толстой в Веймаре», где он, кроме уже общеизвестных фактов, передает рассказ только в 1905 году умершего Юлия Штецера, лично знавшего Л. Н., который посетил в Веймаре его школу. Вот этот рассказ:

«В пятницу на Пасхе, когда началось ученье, в час дня я был во втором классе и хотел начинать ученье, когда ученик семинарии отворил дверь и, просунув голову, сказал: «Вас хочет посетить какой-то господин».

«За ним вошел господин, не называя себя, и я принял его за немца, потому что он говорил по-немецки так же хорошо, как и мы. «Какой урок у вас сегодня после обеда?»—спросил он.—Сначала история, потом немецкий язык,—отвечал я.

---

[1]) Смелость своего мнения.
[2]) Собственность—кража.

«— Очень рад. Я посетил уже школы южной Германии, Франции и Англии и хотел бы также познакомиться и с северо-германскими. Сколько классов в вашей школе?

«— Семь. Это второй. Но я еще не знаком с моими учениками, так как мы только-что начинаем. И потому я не могу удовлетворить вашему любопытству.

«— Это мне все равно. Мне важен план и метод обучения. Скажите же, пожалуйста, какого плана держитесь вы для обучения истории?

«Я сам выработал себе план преподавания истории и изложил его перед иностранным школьным учителем, за какого я принял своего гостя.

«Он вынул из кармана записную книжку и стал в ней быстро записывать. Вдруг он сказал:

«— В этом столь обдуманном плане, мне кажется, не хватает одного—отечествоведения.

«— Нет, оно не забыто. Родиноведению посвящен следующий класс.

«Мне нужно было начинать урок, и я стал рассказывать о четырех степенях культуры. Иностранец продолжал записывать. Когда урок кончился, он спросил: «А теперь что будет?»

«— Немецкий язык. Я хотел, собственно говоря, начать чтение, но если вы желаете что-нибудь другое, то можно переменить.

«— Мне это очень приятно. Видите ли, я много думал о том, как сделать более свободным течение мысли (по-немецки буквально: сделать мысли текучими, flüssig).

«Этого выражения его я никогда не забуду. Я постарался удовлетворить его желанию и задал им небольшое изложение. Я назвал какой-то предмет, и дети должны были написать об этом письмо в своей тетради. Это очень заинтересовало иностранца, он стал ходить между скамейками, брать по-очереди тетради учеников и смотреть, как и что они пишут.

«Я оставался на кафедре, чтобы не развлекать детей. Когда работа приходила к концу, иностранец сказал:

«— Теперь могу я взять эти работы с собой? Они меня очень интересуют.

«Но это уже слишком» (Das ist doch stark), подумал я, но ответил ему вежливо, что этого нельзя сделать. Дети купили себе тетради, каждая стоит шесть грошей. Веймар—бедный город, и родители рассердятся, если им придется покупать новые тетради.

«— Этому можно помочь,—сказал он и вышел вон.

«Мне было не по себе, и я послал ученика за моим другом, директором Монгауптом, чтобы пришел в класс, так как у нас происходит что-то необыкновенное. Монгаупт пришел. «Ты мне славную штуку устроил, сказал я ему: прислал мне какого-то чудака, и он хочет отнять у учеников их тетради».—«Я тебе никого не присылал», сказал Монгаупт. «Но ведь ты же директор семинарии, а его привел семинарист». Тогда вспомнил Монгаупт, что в его отсутствие приходил к нему какой-то важный чиновник, который сказал его жене, что сопровождавшему его господину нужно оказать всякое содействие и все показать.

«Между тем иностранец вернулся, и в руках у него была большая пачка писчей бумаги, которую он купил в ближайшей лавке. Так как он был налицо, я должен был представить его директору, и они обменялись рекомендациями:

«— Директор Монгаупт.

«— Граф Толстой из России.

«Итак, это был граф, а не учитель. И был русский, так свободно говоривший по-немецки.

«Мы велели детям переписать написанное ими на листы принесенной бумаги. И Толстой, собрав все листы и свернув их, отдал их дожидавшемуся его на дворе слуге.

«От меня он пошел к директору реального училища Требсту, с которым был знаком, так как Требст был в России».

Доктор Бодэ заканчивает свою статью следующими словами, посвященными памяти старого учителя:

«Еще одно слово о старике Юлии Штецере. В светлое воскресенье 1905 г. он умер почти девяноста трех лет. Для меня он был очень замечательным человеком, так как он знал тех двух людей, из чьих книг я прочел и научился самому лучшему, что я знаю. Он знал Толстого и Гёте».

Продолжая путь через Германию, Л. Н. посетил Готу, побывал в тамошних фребелевских детских садах, знакомясь с выдающимися педагогами. В Иене Толстой познакомился с молодым математиком Коллером и уговорил его ехать с ним в Россию, чтобы помогать ему в педагогической деятельности. Заехал ненадолго в Дрезден, где снова виделся с Ауэрбахом. О нем он записывает в своем дневнике такой краткий, отрывочный отзыв:

«21 апреля, Дрезден. Ауэрбах прелестнейший человек. Ein Licht mir eingefangen [1]). Его рассказы: « О присяжном», «О первом впечатлении природы», «Versöhnung», «Abend» [2]), «О Клаузере-пасторе».

«*Христианство*—как дух человечества, выше которого нет ничего. Читает стихи восхитительно. О музыке, как «Pflichtloser Genuss» [3]). Поворот, по его мнению, к возвращению. Рассказ из «Schazkästlein» [4]). Ему 49 лет. Он прям, молод, верующ, не ноет отрицания».

Из Дрездена Л. Н. пишет своей тетке Т. А. между прочим следующее:

„Je me porte bien et brule d'envie de retourner en Russie. Mais une fois en Europe et ne sachant quand j' y retournerai, vous comprenez, que j'ai voulu profiter autant que possible de mon voyage. Et je crois l'avoir fait. Je rapporte une si grande quantité d'impressions, de connaissances, que je devrai travailler longtemps, avant de pouvoir mettre tout cela en ordre dans ma tête. Je compte rester à Dresde jusqu' au 10/22 et pour Pâques dans tous les cas je me propose d'être à Ясная. D' ici, si vers le 25 la navigation n'aura pas commencé, je vais par Varsovie à P-g, où il faut que je sois pour obtenir la permission pour le journal, que je compte rédiger à l' école de Ясная [5]). Я везу с собой немца из университета—учителя и приказчика, очень милого и образованного, но еще очень молодого и непрактического человека».

22 апреля он был уже в Берлине и познакомился с сыном знаменитого педагога Дистервега, директора учительской семинарии. Он думал найти в отце просвещенного человека, свободного от всяких предрассудков и вынесшего из своей многолетней практики самостоятельные педагогические взгляды, а нашел, по собственному выражению Л. Н-ча, холодного, бездушного педанта, который думал правилами и предписаниями развивать и руководить детские души.

В этот час, который они оба употребили на обсуждение школьных и воспитательных вопросов, темой их разговора служило главным образом различие между понятиями: воспитание, образование и преподавание. «Дистервег с злой иронией отзывался о людях, подразделяющих то и другое,—в его понятиях то и другое сливается. А вместе с тем мы говорили о воспитании, образовании и преподавании и

---

[1]) Свет охватил меня.
[2]) „Примирение“, „Вечер“.
[3]) Наслаждение, чуждое долгу.
[4]) Ценная шкатулка.
[5]) Я здоров и горю желанием вернуться в Россию. Но раз я в Европе и не зная, когда снова попаду сюда, вы понимаете, что я хотел как можно больше воспользоваться моим путешествием. И, кажется, я это сделал. Я везу такое количество впечатлений, знаний, что я должен буду долго работать, прежде чем уложить все это в моей голове. Я рассчитываю остаться в Дрездене до $^{10}/_{22}$ и к Пасхе во всяком случае предполагаю быть в Ясной. Отсюда, если к 25-му не откроется навигация, я еду через Варшаву в Петербург, где мне нужно быть, чтобы получить разрешение на журнал, который я намерен издавать при яснополянской школе.

ясно понимали друг друга» [1]). Мы позднее увидим, что Толстой был недоволен не только воззрениями этого педагога, но и всеми методами, с которыми он познакомился в западно-европейских школах, и что он пользовался в своих школьных занятиях в Ясной Поляне опытами, приобретенными им во Франции, Англии и Германии, только для того, чтобы итти еще более самостоятельным путем.

Берлин был последним городом за границей, где остановился Толстой. 23-го апреля 1861 года, после 9-тимесячного отсутствия, он переехал русскую границу.

Как и следовало ожидать, тяжеловесная немецкая наука не удовлетворила Толстого, несмотря на то, что он приложил все силы своего таланта и энтузиазма к ее изучению, как теоретическому, так и практическому, дополняя и раз'ясняя все недосказанное в трактатах личною беседою с самыми выдающимися ее представителями и наблюдениями в школах за практическим приложением их методов.

Изучение этой науки укрепило во Льве Николаевиче мысль о необходимости начать все сначала, т.-е. самому вполне самостоятельно приняться за дело народного образования, и он отдается ему со всей свойственной ему беззаветностью.

Немецкая наука не помогла Льву Николаевичу, потому что требования, пред'являемые им этой науке, были очень высоки, а он, как искренний человек, не мог их понизить и не мог потерпеть их лицемерного полупризнания. Несмотря на редкую добросовестность немецких ученых, деятельность их была не истинна в своем основании.

В основе деятельности этих, как и вообще европейских ученых, лежит редко признаваемое открыто стремление прежде всего добыть себе привилегированное положение и связанный с ними досуг, чтобы потом, в лучшем случае, употребить этот досуг на служение народу, который уже претерпел во время добывания этого досуга неисчислимые и неизлечимые страдания, вследствие чего общение с народом становится невозможным. Он, озлобленный или, в лучшем случае, кротко терпящий, —чуждается этих служителей, а эти служители, не понимая и снисходительно оскорбляя его, в лучшем случае могут только различными паллиативами залечить нанесенные ему ими самими жестокие физические и моральные раны.

Какого рода новый толчок дал Толстой педагогической науке, мы постараемся раз'яснить в одной из следующих глав.

ГЛАВА XIII.

Толстой и Тургенев. Освобождение крестьян. Посредничество.

Возвратившись из-за границы, Лев Николаевич проехал через Петербург и в начале мая был уже в Москве и вскоре потом в Ясной Поляне.

Россия праздновала наступление новой эры—освобождения крестьян от крепостной зависимости.

Все, что было в России передового, интеллигентного, честного, бросилось в общественную деятельность. Одним из первых пошел туда и Лев Николаевич.

Однако, мы должны оговориться, чтобы не ввести читателя в заблуждение: Л. Н. не был увлечен общим потоком возбужденной общественной жизни. Его самобытная, непокорная природа не позволяла ему итти по течению и заставляла его выбирать новые, особые пути.

Боясь ошибиться в этой трудной оценке отношения Льва Николаевича к так называемой «эпохе 60-х годов» и проводя параллель с теперешним общественным настроением, мы запросили об этом Льва Николаевича и получили следующий ответ:

«Что касается до моего отношения тогда к возбужденному состоянию всего

---

[1]) Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого, стр. 112 т. IV. Изд. 10-е. Москва. 1897 г.

общества, то должен сказать (и это моя хорошая или дурная черта, но всегда мне бывшая свойственной), что я всегда противился невольно влияниям извне, эпидемическим, и что если тогда я был возбужден и радостен, то своими особенными, личными, внутренними мотивами, теми, которые привели меня к школе и общению с народом.

«Вообще я теперь узнаю в себе то же чувство отпора против всеобщего увлечения, которое было и тогда, но проявлялось в робких формах».

Со вступлением его в общественную деятельность, жизнь его становится столь многосторонней, что нам приходится несколько уклониться от принятого нами строго хронологического порядка изложения и перейти к параллельному описанию главнейших родов его одновременной деятельности. Каждый род общественной деятельности переплетается, конечно, с фактами его личной и семейной жизни.

Общественная деятельность Льва Николаевича проявлялась в начале 60-х годов главным образом в двух сферах: в сфере административной—в должности мирового посредника, и в сфере педагогической, как учителя, устроителя народных школ и педагога-писателя.

Мы намерены рассказать отдельно о каждой из этих деятельностей, но прежде приведем некоторые факты из его личной жизни.

По приезде домой Лев Николаевич поспешил навестить своих добрых соседей, Фета и Тургенева. По этому поводу у них завязалась переписка. Тургенев писал Фету из Спасского:

«Fetti carissime! [1]) Посылаю вам записку от Толстого, которому я сегодня же написал, чтобы он непременно приехал сюда в начале будущей недели для того, чтобы совокупными силами ударить на вас в вашей Степановке, пока еще поют соловьи и весна улыбается «светла, блаженно-равнодушна». Надеюсь, что он услышит мой зов и прибудет сюда. Во всяком случае ждите меня в конце будущей недели, а до тех пор будьте здоровы, не слишком волнуйтесь, памятуя слова Гёте: «Ohne Hast, Ohne Rast», и хотя одним глазом поглядывайте на вашу осиротелую Музу».

В письмо была вложена следующая записка Л. Толстого:

«Обнимаю вас от души, любезный друг Афан. Афан., за ваше письмо и за вашу дружбу и за то, что вы есть Фет. Ивана Сергеевича мне хочется видеть, а вас в десять раз больше. Так давно мы не видались, и так много с нами обоими случилось с тех пор. Вашей хозяйственной деятельности я не нарадуюсь, когда слышу и думаю про нее. И немножко горжусь, что и я хоть немного содействовал ей. Не мне бы говорить, не вам бы слушать. Друг—хорошо; но он умрет, он уйдет как-нибудь, не поспеешь как-нибудь за ним; а природа, на которой женился посредством купчей крепости или от которой родился по наследству, еще лучше. Своя собственная природа. И холодная она, и несговорчивая, и важная, и требовательная, да зато уж это такой друг, которого не потеряешь до смерти, а и умрешь—все в нее же уйдешь. Я, впрочем, теперь меньше предаюсь этому другу,—у меня другие дела, втянувшие меня; но все, без этого сознания, что она тут, как повихнулся, есть за кого ухватиться—плохо бы было жить. Дай вам Бог успеха, успеха, чтобы радовала вас ваша Степановка. Что вы пишете и будете писать, в этом я не сомневаюсь. Марье Петровне жму руку и прошу меня не забывать. Особенное будет несчастье, ежели я не побываю у вас нынче летом, а когда, не знаю».

«Невзирая на любезные обещания,—рассказывает Фет в своих воспоминаниях,—показавшаяся из-за рощи коляска, быстро повернувшая с проселка к нам под крыльцо, была для нас неожиданностью; и мы несказанно обрадовались, обнимая Тургенева и Толстого. Неудивительно, что при тогдашней скудости хозяйственных строений Тургенев с изумлением, раскидывая свои громадные ладони, восклицал: «все мы смотрим, где же это Степановка, и оказывается, что есть только жирный блин и на нем шиш, и это и есть Степановка».

---

[1]) Дражайший Фет!

«Когда гости оправились от дороги и хозяйка воспользовалась двумя часами, оставшимися до обеда, чтобы придать последнему более основательный и приветливый вид, мы пустились в самую оживленную беседу, на какую способны бывают только люди, еще не утомленные жизнью» [1]).

В это посещение Толстым и Тургеневым Фета произошло печальное событие, ссора между Тургеневым и Толстым. Описание этого события довольно подробно изложено в воспоминаниях Фета, откуда мы заимствуем большую часть этого описания, дополняя некоторые пробелы и исправляя неточности по другим собранным нами материалам.

«Утром, в наше обыкновенное время,—рассказывает Фет,—т.-е. в восемь часов, гости наши вышли в столовую, в которой жена моя занимала верхний конец стола за самоваром, а я, в ожидании кофея, поместился на другом конце. Тургенев сел по правую руку хозяйки, а Толстой по левую. Зная важность, которую Тургенев в это время придавал воспитанию своей дочери, жена моя спросила его, доволен ли он своей английской гувернанткой. Тургенев стал изливаться в похвалах гувернантке и, между прочим, рассказал, что гувернантка с английской пунктуальностью просила Тургенева определить сумму, которою дочь его может располагать для благотворительных целей. «Теперь, сказал Тургенев, англичанка требует, чтобы моя дочь забирала на руки худую одежду бедняков и, собственноручно вычинив оную, возвращала по принадлежности».

«— И вы это считаете хорошим?—спросил Толстой.

«— Конечно, это сближает благотворительницу с насущною нуждою.

«— А я считаю, что разряженная девушка, держащая на коленях грязные и зловонные лохмотья, играет неискреннюю, театральную сцену.

«— Я вас прошу этого не говорить!—воскликнул Тургенев с раздувающимися ноздрями.

«— Отчего же мне не говорить того, в чем я убежден,—отвечал Толстой» [2]).

«Тургенев сказал: «Стало-быть, вы находите, что я дурно воспитываю дочь?»

«Лев Николаевич отвечал на это, что он думает то, что говорит, и что, не касаясь личностей, просто выражает свою мысль» [3]).

Не успел Фет крикнуть Тургеневу: перестаньте!—как, бледный от злобы, он сказал: «А если вы будете так говорить, я вам дам в рожу». С этими словами он вскочил из-за стола и, схватившись руками за голову, взволнованно зашагал в другую комнату. Через секунду он вернулся и сказал, обращаясь к жене Фета: «Ради Бога извините мой безобразный поступок, в котором я глубоко раскаиваюсь». С этим вместе он снова ушел. После этого гости раз'ехались.

Толстой, от'ехав станцию, из имения П. Н. Борисова, Новоселок, написал Тургеневу письмо с требованием удовлетворения. Затем поехал дальше в Богослов, на станцию, находившуюся на полдороге между имением Фета и имением Толстого, Никольским. Оттуда он послал в Никольское за ружьями и пулями, а Тургеневу, не дождавшись ответа на первое письмо, послал второе уж с вызовом за оскорбление.

В письме этом он писал Тургеневу, что не желает стреляться пошлым образом, т.-е. чтобы два литератора приехали с третьим литератором, с пистолетами и дуэль бы кончилась шампанским, а желает стреляться по настоящему, и просил Тургенева приехать в Богослов к опушке леса с ружьями.

Всю ночь Лев Николаевич не спал и ждал. Наконец пришло письмо, ответ от Тургенева на первое письмо. Тургенев писал:

«Милостивый государь, Лев Николаевич!

В ответ на ваше письмо я могу повторить только то, что я сам своей обязанностью почел об'явить вам у Фета: увлеченный чувством невольной неприязни,

---

[1]) „Мои воспоминания", А. Фета. Ч. I, стр. 368.
[2]) Там же.
[3]) Записки графини С. А. Толстой.

в причины которой теперь входить не место, я оскорбил вас без всякого положительного повода с вашей стороны и попросил у вас извинения. Происшедшее сегодня утром доказало ясно, что всякие попытки сближения между такими противоположными натурами, каковы ваша и моя, не могут повести ни к чему хорошему; а потому тем охотнее исполняю мой долг перед вами, что настоящее письмо есть, вероятно, последнее проявление каких бы то ни было отношений между нами. От души желаю, чтобы оно вас удовлетворило, и заранее об'являю согласие на употребление, которое вам заблагоразсудится сделать из него.

«С совершенным уважением имею честь оставаться, милостивый государь, ваш покорнейший слуга .

Ив. Тургенев.
27 мая 1861 г. Спасское».

Тут же следует приписка:

«10½ час. веч.

«Иван Петрович сейчас привез мне мое письмо, которое мой человек по глупости отправил в Новоселки, вместо того, чтобы отослать его в Богослов. Покорнейше прошу вас извинить эту нечаянную неприятную оплошность; надеюсь, что мой посланный застанет вас еще в Богослове».

Вероятно, в тот же день Толстой писал Фету:

«Я не удержался, распечатал еще письмо от г. Тургенева в ответ на мое. Желаю вам всего лучшего в отношении с этим человеком, но я его презираю, я ему написал и тем прекратил все сношения, исключая, ежели он захочет удовлетворения. Несмотря на все мое видимое спокойствие, в душе у меня было неладно, и я чувствовал, что мне нужно было потребовать более положительного извинения от г. Тургенева, что я и сделал в письме из Новоселок. Вот его ответ, которым я удовлетворился, ответив только, что причины, по которым я извиняю его, не противоположности натур, а такие, которые он сам понять может.

Кроме того, по промедлению, я послал другое письмо довольно жесткое и с вызовом, на которое не получил ответа; но ежели и получу, не распечатав возвращу назад. Итак, вот конец грустной истории, которая, ежели перейдет порог вашего дома, то пусть перейдет и с этим дополнением.

Л. Толстой».

А между тем Тургенев так отвечал на вызов:

«Ваш человек говорит, что вы желаете получить ответ на ваше письмо; но я не вижу, чтобы я мог прибавить к тому, что я написал. Разве то, что я признаю за вами право потребовать от меня удовлетворения вооруженной рукой: вы предпочли удовольствоваться высказанным и повторенным моим извинением. Это было в вашей воле. Скажу без фразы, что охотно бы выдержал ваш огонь, чтобы тем загладить мое действительно безумное слово. То, что я его высказал, так далеко от привычек всей моей жизни, что я могу приписать это ничему иному, как раздражению, вызванному крайним и постоянным антагонизмом наших воззрений. Это не извинение, я хочу сказать не оправдание, а об'яснение. И потому, расставаясь с вами навсегда,—подобные происшествия неизгладимы, невозвратимы,—считаю долгом повторить еще раз, что в этом деле правы были вы, а виноват я. Прибавляю, что тут вопрос не в храбрости, которую я хочу или не хочу показывать, а в признании за вами права привести меня на поединок, разумеется, в принятых формах (с секундантами), так и права меня извинить. Вы избрали, что вам было угодно, и мне остается покориться вашему решению.

Снова прошу вас принять уверение в моем совершенном уважении.

Ив. Тургенев».

Вероятно, Фет, от души желая примирения своих друзей, делал к этому какие-нибудь попытки, так как в своих воспоминаниях он рассказывает следующее:

«Л. Толстой прислал мне следующую записку:

«Тургенев..., что я прошу вас передать ему так же аккуратно, как вы передаете мне его милые изречения, несмотря на мои неоднократные просьбы о нем не говорить.

Гр. Л. Толстой.

«И прошу вас не писать ко мне больше, ибо я ваших, так же как и Тургенева, писем распечатывать не буду».

«Нечего говорить,—продолжает Фет,—что, отправившись в Спасское, я употребил все усилия привести дело, возникшее, к несчастью, в нашем доме, к какому бы то ни было ясному исходу.

«Помню, в какое неописанно-ироническое раздражение пришел незабвенный здравомысл Ник. Ник. Тургенев. «Что за неслыханное баловство, восклицает он: требовать, чтобы все были нашего мнения. А попался, так доводи дело до конца, с пистолетами в руках требуй формального извинения». Так говорил дядя мне, а что он говорил Ивану Сергеевичу—мне неизвестно. Все же мои попытки уладить дело кончились, как видно, формальным моим разрывом с Толстым, и в настоящую минуту я даже не могу припомнить, каким образом возобновились наши дружеские отношения» [1]).

«Прошло несколько времени, — рассказывает гр. С. А. Толстая, — Лев Николаевич, живя в Москве, как-то раз пришел в одно из тех прелестных расположений духа, которые в жизни его находили на него иногда, — смирения, любви, желания и стремления к добру и всему высокому. И в этом расположении ему стало невыносимо иметь врага. И вот 25 сентября 1861 г. он написал Тургеневу письмо, в котором жалел, что их отношения враждебны. Писал, «что если я оскорбил вас, простите меня, мне невыносимо грустно думать, что я имею врага». Письмо было послано в Петербург, книгопродавцу Давыдову, у которого были дела с Тургеневым. Письмо это почему-то не тотчас же было переслано Тургеневу, а он тем временем был встревожен какими-то нелепыми слухами, о чем так рассказывает в своем письме к Фету от 8-го ноября из Парижа:

«Кстати, «еще одно последнее сказание» о несчастной истории с Толстым. Проезжая через Петербург, я узнал от «верных людей» (ох, уж эти мне верные люди), что по Москве ходят списки с последнего письма Толстого ко мне (того письма, где он меня «презирает»), списки, будто бы распущенные самим Толстым. Это меня взбесило, и я послал ему отсюда вызов на время моего возвращения в Россию. Толстой отвечал мне, что это распространение списков—чистая выдумка, и тут же прислал мне письмо, в котором, повторив, что и как я его оскорбил, *просит у меня извинения и отказывается от вызова.* Разумеется, на этом дело и должно покончиться, и я только прошу вас сообщить ему (так как он пишет мне, что всякое новое обращение к нему от моего лица он сочтет за оскорбление), что я сам отказываюсь от всякого вызова и т. п. и надеюсь, что все это похоронено навек. Письмо его (извинительное) я уничтожил, а другое письмо, которое, по его словам, было послано ко мне через книгопродавца Давыдова, я не получил вовсе. А теперь всему этому делу de profundis» [2]).

Об этом письме к Толстому, упоминаемом в письме к Фету, мы находим такую запись в дневнике Льва Николаевича:

«Октябрь. Вчера получил письмо от Тургенева, в котором он обвиняет меня в том, что я рассказываю, что он трус, и распространяю копии с моего письма. Написал ему, что это вздор, и послал сверх того письмо: «Вы называете мой поступок бесчестным, вы прежде хотели мне дать в рожу, а я считаю себя виноватым, прошу извинения и от вызова отказываюсь».

«Письмо это,—прибавляет гр. Толстая в своих записках,—было написано под влиянием чувства, что если у Тургенева нет личной настоящей чести, а нужна

---

[1]) „Мои воспоминания“, А. Фета. Т. I, стр. 368,
[2]) Там же, стр. 381.

честь для публики, то вот ему для этого это письмо; но что Лев Николаевич стоит выше этого и мнение публики презирает. И на это Тургенев сумел быть слаб; он отвечал, что считает себя удовлетворенным».

В другом письме к Фету, от 7-го января 1862 года, Тургенев снова пишет о том же:

«А теперь без пунктов: видели ли вы Толстого? Я сегодня только получил письмо, посланное им в сентябре через книжный магазин Давыдова (хороша исправность гг. купцов русских) ко мне. В этом письме он говорит о своем намерении оскорбить меня, извиняется и т. д. А я почти в то же самое время, вследствие других сплетен, о которых я, кажется, писал вам, послал ему вызов и т. д. Из всего этого должно вывести заключение, что наши созвездия решительно враждебно двигаются в эфире, и потому нам лучше всего, как он сам предлагает, избегать свидания. Но вы можете написать ему или сказать (если вы увидите), что я (без всяких фраз и каламбуров) *издали* его очень люблю, уважаю и с участием слежу за его судьбой, но что вблизи все принимает другой оборот. Что делать! нам следует жить, как будто мы существуем на различных планетах или в различных столетиях» [1]).

Вероятно, Фет что-нибудь говорил Толстому по поручению Тургенева и вызвал в нем снова раздражение даже против себя, о чем и сообщил Тургеневу, потому что тот писал ему между прочим следующее:

14 января 1862 года. Париж.

«Любезнейший Афанасий Афанасьевич, прежде всего я чувствую потребность извиниться перед вами в той совершенно неожиданной черепице (tuile, как говорят французы), которая вам свалилась на голову по милости моего письма. Одно, что меня утешает несколько, это то, что я никак не мог предвидеть подобную выходку Толстого и думал все устроить к лучшему; оказывается, что это такая рана, до которой уже лучше не прикасаться. Еще раз прошу у вас извинения в моем невольном грехе» [2]).

Этим мы и закончим рассказ о печальном событии, которое, подобно грозовому удару, разрядило напряженную атмосферу между двумя великими людьми и потом, быть-может, послужило к их более искреннему и более правдивому сближению.

Прибавим к этому, что рассказ об этом же событии, помещенный в воспоминаниях Е. Гаршина о Тургеневе, напечатанных в «Историческом Вестнике» за ноябрь 1883 года, изобилует искажениями и места и времени, и, вероятно, был слышан им не из первых рук.

Прежде чем перейти к рассказу о деятельности Льва Николаевича Толстого как мирового посредника, скажем несколько слов об отношении Льва Николаевича к крестьянам до освобождения. На наш запрос Льву Николаевичу, были ли им приняты какие-либо меры по облегчению участи его крестьян до освобождения и во время надела землей, мы получили от него следующий ответ:

«До освобождения, года за четыре или за три, я отпустил крестьян на оброк. При составлении уставной грамоты я оставил у крестьян, как следовало по положению, ту землю, которая была в их пользовании,—это было несколько менее трех десятин на душу, и, к стыду своему, ничего не прибавил. Одно, что я сделал, или не сделал дурного, это то, что не переселял крестьян, как мне советовали, и оставил в их пользовании выгон; вообще не проявил тогда никаких бескорыстных чувств на деле».

В 1861 и 1862 г.г. Лев Николаевич Толстой состоял мировым посредником четвертого участка Крапивенского уезда. Деятельность Толстого в должности ми-

---

[1]) „Мои воспоминания“, А. Фета. Т. 1, стр. 384.
[2]) Там же.

рового посредника мало известна в литературе; к счастью, память о ней еще жива среди некоторых старожилов, близко стоявших в то время к Толстому. Отзывы этих лиц, несомненно, представляют собою значительный интерес.

Репутация Толстого как человека, ведущего хозяйство на новых началах, т.-е. попросту не угнетающего и не обирающего своих крестьян, чуть-было не стала сразу препятствием к назначению его мировым посредником. Возникла переписка и доносы на него по этому делу. Мы помещаем здесь наиболее характерные выдержки из доставленного нам по этому делу материала.

Губернский предводитель дворянства, В. П. Минин, писал об этом министру внутренних дел Валуеву, жалуясь на тульского губернатора Дарагана на назначение мировым посредником Л. Н. Толстого, в таких выражениях:

«Зная несочувствие к нему крапивенского дворянства за распоряжения его в своем собственном хозяйстве, г. предводитель опасается, чтобы при вступлении графа в эту должность не встретились какие-либо неприятные столкновения, могущие повредить мирному устройству столь важного дела».

Затем он указывает на нарушение губернатором некоторых формальностей процесса назначения, желая тем самым кассировать это назначение.

Министр внутренних дел отвечал предводителю дворянства, что тут, вероятно, есть какое-нибудь недоразумение и что он напишет об этом губернатору.

На запрос министра внутренних дел губернатор отвечал следующим интересным конфеденциальным донесением, показывающим, что в то время высшие правительственные сферы шли впереди еще не проснувшегося среднего русского общества:

Конфиденциально.

«К этому считаю долгом присовокупить, что поводом к возбуждению настоящей переписки может служит назначение в мировые посредники Крапивенского уезда отставного поручика графа Льва Николаевича Толстого, вопреки мнению как губернского, так и уездного предводителя дворянства, которые отстраняли его под предлогом несочувствия к нему местных дворян.

«Зная лично графа Толстого как человека образованного и горячо сочувствующего настоящему делу и приняв в соображение из'явленное мне некоторыми помещиками Крапивенского уезда желание иметь графа Толстого посредником, я не мог заменить его другим, мне неизвестным лицом. Тем более, что граф Толстой был указан мне и предместником вашего высокопревосходительства [1]) в числе некоторых других лиц, пользующихся лучшею известностью.

Генерал-лейтенант Дараган».

Затем последовало утверждение сенатом Льва Николаевича Толстого в должности мирового посредника.

Недавно опубликованы интересные материалы, касающиеся деятельности Льва Николаевича Толстого как мирового посредника.

Эти материалы бросают новый свет на характер личности Льва Николаевича, который во всех делах, копии с которых приводятся в материалах, является истинным народным заступником от грубого произвола помещиков и полицейских чинов, и позволяют думать, что опасения предводителя дворянства были не безосновательны.

Из 15 дел, приведенных в этих материалах, мы выбираем наиболее характерные.

Так, например, помещица Артюхова жаловалась на своего бывшего дворового, Марка Григорьева, что он ушел от нее, считая себя человеком «совершенно свободным».

Толстой, между прочим, писал помещице:

---

[1]) Ланским.

«Марк немедленно, по моему приказанию, уйдет с женою, куда ему угодно, вас же я покорнейше прошу: 1) удовлетворить его за прослуженные у вас противозаконно со времени об'явления положений три месяца с половиной и 2) за побои, нанесенные его жене, еще более противозаконно. Ежели вам не нравится мое решение, то вы имеете право жаловаться в мировой с'езд и в губернское присутствие. Я же по этому предмету более об'ясняться не буду. С совершенным почтением имею честь быть ваш покорный слуга гр. Л. Толстой».

Помещица жаловалась в с'езд; так как с'езд состоял из мировых посредников, которым не по нутру была деятельность Толстого, то в этом случае, как и во многих других, решение Толстого отменялось, с'езд брал сторону помещицы, и затем дело переносилось в губернское присутствие. К счастью, в губернском присутствии к деятельности Толстого относились сочувственно, и во многих случаях, как и в этом, оно утверждало постановленные Толстым решения.

Таким образом Марк Григорьев был освобожден, и жена его получила удовлетворение за нанесенные ей Артюховой побои.

Интересно дело о потраве луга крестьянами у помещика Михайловского.

Крестьяне пахали помещичье поле и во время отдыха потравили своими лошадьми соседний помещичий луг. Помещик пожаловался Толстому. Толстой прежде всего предложил помещику простить крестьянам этот проступок, надеясь, вероятно, этим самым несколько уладить отношения между помещиком и крестьянами, имевшими повод быть им очень недовольными. Помещик не соглашался простить и требовал оценки потравы и взыскания штрафа. И сам назначил цену штрафа 80 рублей.

По этому делу возникла целая литература. Помещик Михайловский, жалуясь в с'езд, так описывал действия Толстого:

«Вслед за сим гр. Толстой прибыл в село Панино, собрал трех крестьян ближайшего села Бородина в качестве добросовестных и с ними отправился на место потравленного луга. Добросовестные, коим гр. Толстой предложил оценить луг, об'явили, что потравленного луга должно быть десятины 3 и что цену потравы они полагают назначить за каждую десятину по 10 рублей серебром. Гр. Толстой с оценкою этою не согласился и предложил добросовестным ценить десятину в 5 рублей, не более. Добросовестные гр. Толстому не противоречили в этом. Таким образом дело о набеге крестьян села Панино на господские луга порешилось гр. Толстым тем, что крестьяне должны заплатить помещице, г-же Михайловской, за 3 десятины по 5 руб. за каждую».

Признавая это и другие действия гр. Толстого незаконными, Михайловский говорит: «Смело уверен в том, что правосудное правительство, озабоченное улучшением быта крестьян, не потерпит, чтобы улучшение это, обогащение крестьян, шло путем, указываемым мировым посредником гр. Толстым».

Уездный мировой с'езд по прошению Михайловского потребовал-было от гр. Толстого сведения, но Толстой, от 16 сентября 1861 года № 323, ответил с'езду, что «не считает нужным давать никаких сведений по жалобе г. Михайловского на основании ст. 29, 31 и 32 Полож. о губернск. и уезди. по крестьянским делам учреждениях». Последовавшее за сим по настоящему делу представление уездного с'езда в губернское присутствие—последним, без всякого письменного доклада, помечено: «к делу».

Еще одно, хотя и незначительное, дело ясно показывает нам, насколько чужд был Л. Н-ч в этих делах всякого честолюбия, готовый всегда признать свою ошибку, руководясь в своих поступках только самым искренним желанием справедливости.

Помещица Заслопина пожаловалась в с'езд на Толстого за его незаконную выдачу увольнительного паспорта ее дворовому человеку. Толстой, присутствуя на с'езде при разборе этого дела, сознался в сделанной им ошибке и предложил вознаградить помещицу за понесенные убытки.

Но не все дела кончались так благополучно. Толстому, отстаивавшему права на-

рода, приходилось вести борьбу с целой компанией крепостников, всеми силами отстаивавших свои старые права и произволы. Так, между помещиком Осиповичем и его бывшими крестьянами возникло следующее дело: часть деревни сгорела, и помещик не позволял крестьянам строиться на прежних местах, требовал перенесения их усадеб, не давал им достаточно пособия на постройку и не освобождал их от обязательных работ на время восстановления их разоренных хозяйств.

Толстой, с одной стороны, находил законными требования крестьян, с другой стороны, видел бедственное положение разорившегося мелкого помещика и не считал его в состоянии удовлетворить все требования крестьян. Тогда он обратился к дворянам с просьбою помочь своему разорившемуся собрату, чтобы он мог выручить из беды крестьян или просто оказать пособие крестьянам помимо помещика. И в том и другом ему было отказано, а крестьян стали принуждать выполнить все требования помещика.

Долго тянулось дело, переходя из одной инстанции в другую. Толстой заметил, что дело клонится не в пользу крестьян и что его мнением хотят пренебречь. Тогда он заявил снова свой протест, и на заседании с'езда, когда снова разбиралось это дело, он, видя, что члены с'езда намеренно извращают дело и что он уже не имеет силы дать делу надлежащий ход, демонстративно оставляет заседание, не подписав постановления по делам, которые слушались в его присутствии. С'езд жаловался на него в губернское присутствие, но жалоба эта была оставлена без последствий.

Далее видим, как помещик Костомаров оттягал у крестьян наделы, переименовывая их из крестьян в дворовых, т.-е. безземельных; Толстой заступился за них и, после многих мытарств, настоял на том, чтобы крестьяне остались при земле.

Помещики, стесненные в средствах, придумывали всякие хитрости, чтобы дать крестьянам земли как можно меньше и как можно хуже. Как только Толстой замечал подобные стремления, он не утверждал уставных грамот и добивался их уничтожения.

Конечно, симпатии Толстого к крестьянам были крайне неприятны для помещиков. Помещики заявляли, что Толстой бросил между крестьянами и помещиками «семя раздора» и окончательно разрушил «патриархальные» отношения между ними, что он производит волнения среди крестьян, которые допускают массу незаконных действий по его внушению и приказанию; будто бы и должностные лица крестьянского управления, с целью приобрести благоволение Толстого, не исполняют обязанностей, возложенных на них законом, и поэтому в деревне воцаряется совершенное безначалие и развитие беспорядков в виде воровства, своеволия и т. д.

Конечно, подобное поведение мирового посредника вызывало в народе большое доверие к нему, и это отношение к нему народа еще больше злило дворян-помещиков, и Толстому становилось все труднее и труднее вести свою линию, и вскоре он должен был сложить оружие в этой непосильной борьбе.

И сам Толстой чувствовал крайнее неудовлетворение. Еще в июле 1861 года он уже писал в своем дневнике:

«Посредничество дало мало материала и поссорило меня со всеми помещиками окончательно и расстроило здоровье».

От 12 февраля 1862 г. Толстой писал в губернское по крестьянским делам присутствие:

«Так как представленные на меня в губернское присутствие жалобы: г. Костомарова о перечислении его людей в крестьяне, г. Заслонина о невведении в действие его уставных грамот, г. Бранд и г-жи Артюховой о магазейном хлебе и купца Борхунова о проданном быке и другие—не имеют никакого законного основания, а вместе с тем дела эти и многие другие продолжают быть решенными противно моим постановлениям, так что почти каждое постановление во вверенном мне участке отменяется и даже старшины сменяются мировым с'ездом,—и так как, при таких условиях, возбуждающих недоверие к мировому посреднику как крестьян,

так и помещиков, деятельность мирового посредника не только не может быть успешна, но становится невозможна, я покорно прошу губернское присутствие поспешить произведением дознания чрез одного из своих членов о вышеупомянутых жалобах и вместе с тем считаю нужным уведомить губернское присутствие, что до произведения такого дознания я не считаю удобным вступать в исправление сданной старшему кандидату должности».

Девятого марта хотя Толстой и вступил в исправление должности, но исправлял таковую лишь до 30 апреля, когда он, под предлогом болезни, передал исправление должности старшему кандидату мирового посредника по 4-му участку. Наконец, правительствующий сенат, от 26 мая 1862 г. за № 24124, дал знать тульскому губернатору, что «он определил артиллерии поручика графа Льва Толстого по болезни уволить от предоставленной ему по утверждении правительствующего сената должности мирового посредника Крапивенского уезда» [1]).

Как неосновательны были заявления помещиков о несправедливом пристрастии Л. Н-ча к крестьянам, мы видим из следующего рассказа, приводимого биографом Лёвенфельдом. Из этого рассказа видно, что Л. Н-ч с одинаковой добросовестностью защищал и требования помещиков, если находил их справедливыми:

«Очевидец деятельности Толстого в качестве мирового посредника, управляющий одного помещика Тульской губернии, балтийский немец, рисует нам наглядным образом его обхождение с людьми. Г. Т., в качестве представителя своего патрона, навестил по делу Льва Николаевича в его Ясной Поляне. Причиной этого визита послужили спорные вопросы о наделе крестьян землей. Этот деловой вопрос мог разрешиться только на месте; и поэтому мировой посредник в апреле месяце отправился в имение своего соседа, в сопровождении 12-летнего крестьянского мальчика, его маленького землемера, как называл его в шутку граф, потому что он всюду возил с собою межевую цепь. Толстой принял крестьянскую депутацию, состоявшую из двух волостных старшин и одного члена схода. Все они пришли к мировому посреднику переговорить с ним о крестьянском наделе землей.

«— Ну, ребята, что же вы хотите?—приветствовал их граф.

«Выборный изложил просьбу сельского схода. Они хотели, вместо предназначенного для них выгона, получить другой клочок земли для увеличения их надела.

«— Мне очень жалко, что я не могу исполнить вашей просьбы, — сказал граф,—если бы я так сделал, то причинил бы большой ущерб вашему помещику.— И тут начал он ясно излагать им сущность дела.

«— Ну, как-нибудь сделайте, батюшка,—сказал выборный.

«— Нет, я сделать ничего не могу,—подтвердил граф.

«Мужики переглянулись, почесали затылки и упрямо твердили свое: «уж как-нибудь, батюшка!».

«— Если захочешь, батюшка,—снова заговорил выборный,—то уже непременно сделаешь!

«Остальные депутаты в знак одобрения закивали головами.

«Граф перекрестился и сказал: «Как Бог свят, клянусь вам, что я ни в чем вам помочь не могу».

«Но когда и после этого мужики твердили свое: «уж как-нибудь сделай, батюшка, смилуйся!» — граф гневно обернулся к управляющему и сказал ему: «Можно быть Амфионом и скорее двинуть горы и леса, чем убедить в чем-нибудь крестьян!».

«В продолжение всей беседы, тянувшейся почти час,—говорит рассказчик,—граф был воплощением терпения и дружественной ласки. Упорство крестьян не вызвало у него ни одного жесткого слова» [2]).

К этому же времени относятся и воспоминания приятеля Л. Н., кн. Дмитрия Дмитриевича Оболенского:

---

[1]) Д. П. Успенский. Архивные материалы для биографии Л. Н. Толстого. „Русская Мысль“, 1903 г., кн. IX.

[2]) „Гр. Л. Н. Толстой, его жизнь и сочинения“. Г Лёвенфельда. Стр. 228.

«В 1861 г. в Туле были вновь выборы и состоялся большой обед в честь мировых посредников, находившихся на выборах. И вот, в той же зале, где так недавно Волоцкой и князь Черкасский поссорились и должны были стреляться из-за крестьянского вопроса, первый Волоцкий выразил сочувствие князю Черкасскому как собрату по службе, тоже мировому посреднику... Обед этот мне был очень памятен. Мой дядя И. А. Раевский, как старший, председательствовал. На обед подписались некоторые из помещиков, и я, конечно, в том числе. Пришлось мне сидеть возле графа Льва Николаевича Толстого, тогда мирового посредника, с которым уже в то время я был близко знаком. Первый тост был, конечно, за царя-освободителя и принят с большим энтузиазмом.

«— Пью этот тост с особенным удовольствием,—сказал мне граф Лев Николаевич.—Больше бы и не нужно, так как, в сущности, государю одному мы обязаны эмансипацией...

«Но пошли и другие тосты. Особенно был удачен тост, предложенный П. Ф. Самариным, за *русский народ*,—вопрос тогда весьма щекотливый; но Петр Федорович провел очень ловко в своей речи то положение, что почти всюду, в нашей Тульской губернии, отношения к крестьянам установились добровольно и хорошо, потому что помещики умеренно пользовались своею властью, так что отношения были добрые, а теперь сделались еще лучше. И это верно: сравнительно с другими губерниями у нас реформа прошла благополучно».

«В год освобождения крестьян Лев Ничолаевич завел у себя ясно-полянскую школу, которая меня очень интересовала,—продолжает Оболенский.—Я стал часто посещать графа, а затем иногда осенью ездил с ним и на охоту, в от'езжее поле. Чудное время я проводил тогда! Кто бы узнал теперь в маститом философе лихого охотника, которому было ни по чем перескакивать рвы и канавы, и с которым приходилось полевать целыми днями? Такого собеседника представить себе трудно... Но мировым посредником граф, думается мне, был плохим, именно по своей рассеянности. Я, как теперь, помню первую уставную грамоту, поступившую от него. Подпись на ней буквально была следующая:

«К сей уставной грамоте, по просьбе таких-то, за безграмотностью их, такой-то дворовый человек руку приложил». Ни единого имени!.. Как граф диктовал, что, мол, пиши—за таких-то руку приложил,—так дворовый человек дословно и написал, не обозначив имен, ни крестьян, ни своего собственного. А граф и не прочел, что там написал дворовый человек, и отослал грамоту, скрепив ее, в тульское губернское присутствие. Грамоту эту получил мой вотчим, который был членом губернского по крестьянским делам присутствия и у которого я жил; он только пожимал плечами, получая такие бумаги» [1]).

Л. Н. оказался малоспособным к канцелярской работе, но сердце и разум его в деле посредничества работали превосходно, и потому деятельность его в этой области оставила по себе добрую память. С большим успехом, хотя и с меньшими препятствиями, Л. Н. подвизался на поприще педагогическом, к описанию которого мы приступаем в следующих главах.

ГЛАВА XIV.

Педагогическая деятельность Л. Н. Толстого. Теории.

Педагогическая деятельность Льва Николаевича подробно описана им самим в его педагогических статьях, собранных и напечатанных в 4-м томе полного собрания его сочинений. И нам остается только резюмировать содержание этих ста-

---

[1]) Кн. Дм. Дм. Оболенский. „Воспоминания". „Русский Архив", 1894 г.

Дом, в котором помещалась Яснополянская школа в 1860—62 году.

Общий вид деревни Ясная Поляна.

тей, дополнив наше изложение несколькими известными нам фактами, заимствованными нами из других источников.

Мы начнем с изложения теоретических взглядов Льва Николаевича на педагогику, поражающих читателя своей смелостью, оригинальностью и правдивостью и положенных Л. Н-чем в основу своей педагогической деятельности.

Главные основания своих педагогических воззрений Лев Николаевич развивает преимущественно в четырех своих статьях: 1) «О народном образовании», 2) «О методах обучения грамоте», 3) «Воспитание и образование» и 4) «Прогресс и определение образования».

Постараемся изложить вкратце сущность этих теорий.

«Народное образование всегда и везде представляло и представляет одно непонятное для меня явление,—так начинает Лев Николаевич свою первую статью.— Народ хочет образования, и каждая отдельная личность бессознательно стремится к образованию. Более образованный класс людей — общества, правительства — стремится передать свои знания и образовать менее образованный класс народа. Казалось, такое совпадение потребностей должно было бы удовлетворить как образовывающий, так и образовывающийся класс. Но выходит наоборот. Народ постоянно противодействует тем усилиям, которые употребляет для его образования общество или правительство как представители более образованного сословия, и усилия эти большею частью остаются безуспешными» [1]).

Одним из проявлений этого противоречия служит закон обязательного начального образования, существующий теперь в большей части европейских государств, т.-е. принудительное обучение народа грамоте. Закон, который, к сожалению, стремятся ввести и у нас в России.

Если есть принуждение, стало-быть, есть сопротивление. Почему же существует это сопротивление, если в народе, несомненно, существует потребность образования, и он сам собой везде учится и считает образование благом?

«Как при каждом столкновении,—продолжает Лев Николаевич,—так и при этом нужно было решить вопрос: что более законно—противодействие или самое действие? Нужно ли сломить противодействие или изменить действие?» [2]).

И вопрос почему-то всегда решался в пользу насилия. Но для совершения этого насилия нужны какие-нибудь разумные основания. Какие же они? На этот вопрос Лев Николаевич отвечает так: «Основания могут быть: религиозные, философские, опытные и исторические», и затем он разбирает каждое из этих оснований отдельно.

«В наше время, когда образование религиозное составляет только малую часть образования, вопрос о том, какое имеет основание школа принуждать учиться молодое поколение известным образом, остается нерешенным с религиозной точки зрения» [3]).

Философские доводы также не могут служить основанием к принуждению:

«Все философы,—говорит Лев Николаевич,—начиная от Платона и до Канта, стремятся к одному—освободить школу от исторических уз, тяготеющих над нею, хотят угадать то, что нужно человеку, и на этих, более или менее верно угаданных, потребностях строят свою новую школу. Лютер заставляет учить в подлиннике Священное Писание, а не по комментариям святых отцов. Бэкон заставляет изучать природу из самой природы, а не из книг Аристотеля. Руссо хочет учить жизни из самой жизни, как он ее понимает, а не из прежде бывших опытов. Каждый шаг философии педагогики вперед состоит только в том, чтоб освобождать школу от мысли обучения молодых поколений тому, что старые поколения считали наукою, к мысли обучения тому, что лежит в потребностях молодых поколений. Одна эта общая и вместе с тем противоречащая сама себе мысль чувствуется во

---

[1]) „О народном образовании". Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого. Т. IV, стр. 5. Изд. 10-е. Москва. 1897 год.

[2]) Там же, стр. 7.

[3]) Там же, стр. 11.

всей истории педагогики: общая потому, что все требуют большей меры свободы школ, противоречащая потому, что каждый предписывает законы, основанные на своей теории, и тем самым стесняет свободу [1]).

Педагогический опыт еще менее может нас убедить в законности педагогического насилия. Кроме того, что самый опыт плачевен, школа одуряет детей, искажая умственные способности, отрывает ребенка от семьи в самое драгоценное время его развития, лишает его жизнерадостной свободы и превращает его в «измученное, сжавшееся существо, с выражением усталости, страха и скуки, повторяющее одними губами чужие слова на чужом языке»,—кроме всего этого, опыт школьного дела, в сущности, не дает ничего, так как он совершается в несвободных условиях, уничтожающих самую возможность опыта.

«Школа, нам бы казалось,—говорит Лев Николаевич,—должна быть и орудием образования, и вместе с тем опытом над молодым поколением, дающим постоянно новые выводы. Только когда опыт будет основанием школы, только тогда, когда каждая школа будет, так сказать, педагогической лабораторией,—только тогда школа не отстанет от всеобщего прогресса, и опыт будет в состоянии положить твердые основания для науки образования» [2]).

Исторические основания не менее шатки. Прогресс жизни, техники, науки совершается быстрее прогресса школы, и потому школа отстает все более и более от общественной жизни и потому делается все хуже и хуже.

На возражение о том, что школы существовали и существуют и потому хороши, Лев Николаевич отвечает описанием своего личного опыта, исследования школьного дела в Марселе, Париже и других западно-европейских городах, приведшего его к заключению, что главная часть образования народа приобретается не из школы, а из жизни, и что уличное, свободное образование, путем публичных лекций, зрелищ, собраний, книжек, выставок и т. д., побеждает образование школьное.

Наконец, Лев Николаевич обращается специально к русским педагогам, говоря, что, если даже признать, несмотря на все их недостатки, что существование, например, немецких народных школ желательно, как имеющих исторический опыт, то все-таки остается вопрос: на каком основании нам, русским, защищать народную школу, которой у нас нет? Какое мы имеем историческое право говорить, что наши школы должны быть такие же, как европейские школы?

«Что же нам, русским, делать в настоящую минуту? Сговориться ли всем и взять за основание английский, французский, немецкий или северо-американский взгляд на образование и какой-нибудь из их методов? Или, углубившись в философию и психологию, открыть, что вообще нужно для развития души человека и для приготовления из молодых поколений наилучших людей, по нашим понятиям? Или воспользоваться опытом истории—не в смысле подражания тем формам, которые вырабатывала история, а в смысле уразумения тех законов, которые страданиями выработало человечество,—сказать себе прямо и честно, что мы не знаем и не можем знать того, что нужно будущим поколениям, но что мы чувствуем себя обязанными и хотим изучить эти потребности, не хотим обвинять в невежестве народ, не принимающий нашего образования, а будем себя обвинять в невежестве и гордости, ежели вздумаем образовать народ по-своему. Перестанем же смотреть на противодействие народа нашему образованию как на враждебный элемент педагогики, а, напротив, будем видеть в нем выражение воли народа, которою одной должна руководиться наша деятельность. Сознаем, наконец, тот закон, который так ясно говорит нам из истории педагогики и из истории всего образования, что для того, чтобы образовывающему знать, что хорошо и что дурно, образовывающийся должен иметь полную власть выразить свое неудовольствие или, по крайней мере,

---

[1]) Там же, стр. 13.
[2]) Там же, стр. 21.

уклониться от того образования, которое по инстинкту не удовлетворяет его, что критериум педагогики есть только один—свобода» [1]).

Статья заканчивается следующим признанием:

«Мы знаем, что доводы наши убедят немногих. Мы знаем, что основные убеждения наши в том, что единственный метод образования есть опыт, а единственный критериум его есть свобода, для одних прозвучит избитою пошлостью, для других—неясною отвлеченностью, для третьих—мечтою и невозможностью. Мы бы не дерзнули нарушать спокойствие педагогов-теоретиков и высказать столь противные всему свету убеждения, ежели бы должны были ограничиться рассуждениями этой статьи, но мы чувствуем возможность шаг за шагом и факт за фактом доказать приложимость и законность наших столь диких убеждений, и только этой цели посвящаем издание журнала *«Ясная Поляна»*.

Этот журнал «Ясная Поляна», представляющий также интересный педагогический опыт, существовал один год. Вышло двенадцать книжек.

Первая книжка начиналась следующим обращением:

«К публике.

«Выступая на новое для меня поприще, мне становится страшно и за себя, и за те мысли, которые годами вырабатывались во мне и которые я считаю за истинные. Я наперед убежден, что многие из этих мыслей окажутся ошибочными. Как бы я ни старался изучать предмет, я невольно смотрел на него с одной стороны. Надеюсь, что мои мысли вызовут противные мнения. Всем мнениям я с удовольствием дам место в своем журнале. Одного я боюсь: чтобы мнения эти не выражались желчно, чтоб обсуждение столь дорогого и важного для всех предмета, как народное образование, не перешло в насмешки, в личности, в журнальную полемику. Я не скажу, что насмешки и личности не могут меня затронуть, что я надеюсь стоять выше их. Напротив, я признаюсь, что боюсь за себя одинаково, как боюсь и за самое дело; боюсь увлечения полемикой личной, вместо спокойной и упорной работы над своим делом.

«Поэтому я прошу всех будущих противников моих мнений выражать свои мысли так, чтобы я мог об'ясняться и приводить доказательства там, где несогласие будет зависеть от недоразумений, и мог бы соглашаться там, где мне будет доказана несостоятельность моих мнений.

Гр. Л. Н. Толстой».

В каждой книжке помещалась одна или две теоретические статьи, затем отчеты о деятельности школ, находившихся под ближайшим руководством Льва Николаевича, библиография, описания школьных библиотек, отчеты о пожертвованиях, и в приложениях давались книжки для чтения.

Эпиграфом журнала было изречение: «Glaubst zu schieben, und wirst geschoben», т.-е. «Думаешь подвинуть, а тебя самого толкают вперед»,—афоризм, принадлежащий Гёте [2]).

Журнал этот уже давно составляет библиографическую редкость. Хотя главные статьи Льва Николаевича, помещавшиеся там, и включены в 4-й том полного собрания сочинений, но, кроме этих статей, в журнале было много разных мелких заметок, описаний и отчетов, представляющих огромный интерес для учителей как в теоретическом, так и в практическом смысле.

Прилагавшиеся к каждому № журнала книжки для чтения были впоследствии изданы отдельной серией под общим заглавием «Из Ясной Поляны»; эти книжки могут служить прекрасным образцом народной литературы.

---

[1]) Там же, стр. 32.

[2]) Слова Мефистофеля („Фауст". Вальпургиева ночь).

В своей статье «О методах обучения грамоте» Лев Николаевич прежде всего проводит ту мысль, что *грамотность* не есть *первая* ступень образования, а лишь она из посредствующих.

А если она не первая, то и не самая главная.

«Ежели мы хотим отыскать, — говорит Лев Николаевич, — начало, первую ступень образования, то почему нам отыскивать ее непременно в грамоте, а не гораздо глубже? Почему останавливаться на одном из бесконечного числа орудий образования и видеть в нем альфу и омегу образования, тогда как это только одно из случайных, мало значащих, обстоятельств образования?» [1]).

«Понятие «образование» не совпадает с понятием «грамотность».

«Мы видим людей, хорошо знающих все факты, необходимые для агрономии, и большое число отношений этих фактов, не знающих грамоты; или прекрасных военных распорядителей, прекрасных торговцев, управляющих, смотрителей работ, мастеров, ремесленников, подрядчиков и просто образованных жизнью людей с большими знаниями и здравым суждением, основанным на этих знаниях, не знающих грамоты, и, наоборот, видим знающих грамоту и не приобревших вследствие этого искусства никаких новых знаний» [2]).

Как на одну из причин противоречия между жизненными потребностями народа и навязываемой ему интеллигенцией грамотностью, Толстой указывает на исторический ход развития учебных заведений.

«Прежде основались не низшие, а высшие школы: сначала монастырские, потом средние, потом народные...

«Грамота есть последняя ступень образования в этой организованной иерархии заведений, или первая ступень с конца, и потому низшая школа отвечала при теперешнем порядке только на те потребности, которые заявляет высшая школа. Но есть другая точка зрения, с которой народная школа представляется самостоятельным учреждением, не обязанным нести на себе недостатки устройства высшего учебного заведения, но и имеющим свою независимую цель народного образования» [3]).

Школа грамоты существует в народе как мастерская и удовлетворяет своей ограниченной потребности, и потому грамотность для него есть особого рода ремесло или искусство.

Выяснив эту сущность грамотности и указав присущее ей место в народной жизни, Лев Николаевич переходит к рассмотрению различных методов обучения грамотности.

Разобрав достоинства и недостатки старинной методы буки-аз-ба, метод гласных и метод звуковой, остановившись несколько дольше на комизме немецкой педантической Lautiranchauungsunterrichtsmethode, он выводит заключение, что все методы хороши и все дурны, что искусство и талант учителя есть основание всякой методы, и, наконец, обращается к учителю с следующим советом:

«Всякий учитель грамоты должен твердо знать и опытом своим проверить одну, выработанную в народе методу; должен стараться узнавать наибольшее число метод, принимая их как вспомогательные средства; должен, принимая всякое затруднение понимания ученика не за недостаток ученика, а за недостаток своего учения, стараться развивать в себе способность изобретать новые приемы. Всякий учитель должен знать, что каждая изобретенная метода есть ступень, на которую должно становиться для того, чтобы итти дальше; должен знать, что ежели он сам того не сделает, то другой, усвоив себе эту методу, на основании ее пойдет дальше, и что, так как дело преподавания есть искусство, то оконченность и совершенство недостижимы, а развитие и совершенствование бесконечны» [4]).

---

[1]) „О методах обучения грамоте“ Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого. Т 17, стр. 41. Изд. 10-е. Москва, 1897 год.

[2]) Там же, стр. 43.

[3]) Там же, стр. 39.

[4]) Там же, стр. 63.

Еще более подробно и ясно развивает Лев Николаевич свои педагогические понятия в своей статье: «Воспитание и образование».

Прежде всего Толстой констатирует факт смешения этих двух понятий у большей части педагогов как русских, так и европейских. И затем он старается восстановить разницу этих понятий, давая свои определения трем главным педагогическим терминам: образование, воспитание и преподавание.

«*Образование* в обширном смысле, по нашему убеждению, составляет совокупность всех тех влияний, которые развивают человека, дают ему более обширное миросозерцание, дают ему новые сведения. Детские игры, страдания, наказание родителей, книги, работы, учение, насильственное или свободное, искусства, науки, жизнь—все образовывает».

«*Воспитание* есть воздействие одного человека на другого с целью заставить воспитываемого усвоить известные нравственные привычки».

«*Преподавание* есть передача сведений одного человека другому (преподавать можно шахматную игру, историю, сапожное мастерство). Учение, оттенок преподавания, есть воздействие одного человека на другого с целью заставить ученика усвоить известные физические привычки (учить петь, плотничать, танцовать, грести веслами, говорить наизусть). Преподавание и учение суть средства образования, когда они свободны, и средства воспитания, когда учение насильственно, и когда преподавание ведется исключительно, то-есть преподаются только те предметы, которые воспитатель считает нужными» [1]).

Воспитание насильственно, образование свободно. Но где же право на это насилие?

«Право воспитания не существует. Я не признаю его,—говорит Толстой,—не признает, не признавало и не будет признавать его все воспитываемое молодое поколение, всегда и везде возмущающееся против насилия воспитания» [2]).

Где же причины такого не признаваемого человечеством насилия? На этот вопрос Лев Николаевич отвечает так:

«Если существует веками такое ненормальное явление, как насилие в образовании—воспитание, то причины этого явления должны корениться в человеческой природе. Причины эти я вижу: 1) в семействе, 2) в религии, 3) в государстве и 4) в обществе (в тесном смысле—у нас, в кругу чиновников и дворянства)» [3]).

Не оправдывая первых трех причин насилия, Толстой говорит, что они понятны. Трудно воспрепятствовать родителям стараться воспитывать детей такими, каковы они сами, трудно верующему человеку не стремиться к тому, чтобы ребенок рос в вере его руководителя, наконец, трудно требовать от правительства, чтобы оно не воспитывало нужных ему чиновников.

Но какое право имеет привилегированное, либеральное общество воспитывать чуждый ему народ по своему шаблону — этого нельзя об'яснить ничем иным, как грубым, эгоистическим заблуждением.

Отчего же происходит это заблуждение?

«Я думаю,—говорит Толстой,—только оттого, что мы не слышим голоса того, кто нападает на нас, не слышим потому, что он говорит не в печати и не с кафедры. А это могучий голос народа,—надо прислушиваться к нему» [4]).

И вот Толстой приступает к рассмотрению орудий этого воспитательного насилия, т.-е. учебных заведений, от низших до высших, и не видит в них ничего отрадного. Особенной критике подвергает он устройство наших университетов.

Не отвергая в принципе университетского образования, Толстой говорит:

«Понятен университет, соответствующий своему названию и своей основной идее—собранию людей с целью взаимного образования. Такие университеты, не-

---

[1]) „Воспитание и образование". Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого. Т. IV, стр. 115. Изд. 10-е. Москва. 1897 год.

[2]) Там же, стр. 118.

[3]) Там же, стр. 121.

[4]) Там же, стр. 123.

известные нам, возникают и существуют в разных уголках России; в самых университетах, в кружках студентов, собираются люди, читают, толкуют между собой, и, наконец, постановляется правило, как собираться и толковать между собой. Вот настоящий университет. Наши же университеты, несмотря на все пустые толки о мнимой либеральности их устройства, суть заведения, ничем не отличающиеся по своей организации от женских учебных заведений и кадетских корпусов» [1]).

Кроме отсутствия свободы, самостоятельности, один из главных недостатков наших университетов—это оторванность их от жизни:

«Посмотрите, как сын крестьянина приучается быть хозяином, сын дьячка, читая на клиросе, быть дьячком, сын киргизца-скотовода быть скотоводом: он смолоду уже становится в прямые отношения с жизнью, с природой, с людьми, смолоду учится, плодотворно работая, и учится, обеспеченный с материальной стороны жизни, т.-е. обеспеченный куском хлеба, одеждой и помещением; и посмотрите на студента, оторванного от дома, от семьи, брошенного в чужой город, наполненный искушениями для его молодости, без средств к жизни (потому что средства рассчитываются родителями только на необходимое, а все уходят на увлечение), в кругу товарищей, своим обществом только усиливающим его недостатки, без руководителей, без цели, отстав от старого и не пристав к новому. Вот положение студентов за малыми исключениями. Из них выходит то, что должно выходить: или чиновники, только удобные для правительства, или чиновники-профессора, или чиновники-литераторы, удобные для общества, или люди, бесцельно оторванные от прежней среды, с испорченною молодостью, и не находящие себе места в жизни, так называемые люди *университетского образования*, развитые, т.-е. раздраженные, больные либералы. Университет есть первое и главное наше воспитательное заведение. Он первый присвоивает себе право воспитания и первый по результатам, которых достигает, доказывает незаконность и невозможность воспитания. Только с точки зрения общественной можно оправдывать плоды университета. Университет готовит не таких людей, каких нужно человечеству, а каких нужно испорченному обществу» [2]).

На эту радикальную постановку вопроса Толстой предвидит робкое возражение людей, боящихся перемены, и тут же отвечает на это возражение, заключая этим ответом свою статью:

«Но что же нам делать? Неужели так и не будет уездных училищ, так и не будет гимназий, не будет кафедры истории римского права? Что же станется с человечеством?—слышу я. Так и не будет, коли их не понадобится ученикам и вы не сумеете их сделать хорошими. Но ведь дети не всегда знают, что им нужно, дети ошибаются и т. д.,—слышу я. Я не вхожу в такой спор. Этот спор привел бы нас к вопросу: права ли перед судом человека природа человека и проч. Я этого не знаю и на это поприще не становлюсь; я только говорю, что, если мы можем знать, чему учить, то не мешайте мне учить насильно русских детей французскому языку, средневековой генеалогии и искусству красть. Я все докажу так же, как и вы. Так и не будет гимназий и латинского языка? Что же я буду делать?—опять слышу я.

Не бойтесь, будет и латынь и риторика, будут еще сотни лет, и будут только потому, что «лекарство куплено—надо его выпить» (как говорил один больной). Едва ли еще через сто лет мысль, которую я, может-быть, неясно, неловко, неубедительно выражаю, сделается общим достоянием: едва ли через сто лет отживут все готовые заведения: училища, гимназии, университеты, и вырастут свободно сложившиеся заведения, имеющие своим основанием свободу учащегося поколения» [3]).

---

[1]) Там же, стр. 135.
[2]) Там же, стр. 145.
[3]) Там же, стр. 106.

Конечно, такие *дерзкие* мысли не могли быть приняты педагогами, руководившими в 60-х годах в России общественным и народным образованием. Оскорбленная наука даже не удостоила этих мыслей серьезным возражением. В «Сборнике критической литературы о Толстом» Зелинского, составленном очень тщательно, находятся только две серьезные статьи, посвященные журналу «Ясная Поляна» и ясно-полянской школе, помещенные одна в «Современнике» в 1862 году [1]), другая в «Русском Вестнике» в 1862 году.

На одну из них, статью Е. Маркова, Лев Николаевич ответил в своем журнале статьей: «Прогресс и определение образования».

Сущность возражения Маркова, резюмированная им в конце его статьи, заключается в том, что Марков открыто признает за обществом право педагогического насилия и, стало-быть, отрицает свободное образование; затем он признает современные системы образования удовлетворительными, в практике же яснополянской школы, к которой он относился с восторгом, видит противоречие с теориями ее основателя и руководителя Л. Н. Толстого.

Толстой, возражая Маркову и повторяя и раз'ясняя сказанное уж им в предыдущих статьях, приходит к заключению, что главное разногласие его с Марковым основано на том, что Марков верит в прогресс, а у него этой веры нет.

И, об'ясняя свое отрицание прогресса, он говорит следующее:

«Во всем человечестве, с незапамятных времен, происходит процесс прогресса, говорит историк, верующий в прогресс, и доказывает это положение, сравнивая, положим, Англию 1685 года с Англией нашего времени. Но если бы даже и можно было доказать, сравнивая Россию, Францию и Италию нашего времени с древним Римом, Грецией, Карфагеном и т. д., что благосостояние новых народов более благосостояния древних, меня при этом всегда поражает одно непонятное явление—выводят общий закон для всего человечества из сравнения одной малой части человечества Европы в прошедшем и настоящем. Прогресс есть общий закон для человечества, говорят они, только кроме Азии, Африки, Америки, Австралии, кроме миллиарда людей. Нами замечен закон прогресса в герцогстве Гогенцоллерн-Зигмарингенском, имеющем 3.000 жителей. Нам известен Китай, имеющий 200 миллионов жителей, опровергающий всю нашу теорию прогресса, и мы ни на минуту не сомневаемся, что прогресс есть общий закон всего человечества и что мы, верующие в прогресс, правы, а неверующие в него виноваты, и мы с пушками и ружьями идем внушать китайцам идею прогресса. Здравый смысл говорит мне, что, ежели большая часть человечества, весь так называемый Восток, не подтверждает закона прогресса, а, напротив, опровергает его, то закона этого не существует для всего человечества, а существует только верование в него известной части человечества. Я, как и все люди, свободные от суеверия прогресса, вижу только, что человечество живет, что воспоминания прошедшего так же увеличиваются, как и исчезают; что труды прошедшего часто служат основой для новых трудов настоящего, часто служат и преградой для них; что благосостояние людей то увеличивается в одном месте, в одном слое и в одном смысле, то уменьшается; что, как бы мне ни желательно было, я не могу найти никакого общего закона в жизни человечества, а что подвести историю под идею регресса так же легко, как подвести ее под идею прогресса или под какую хотите историческую фантазию. Скажу более: я не вижу никакой необходимости отыскивать общие законы в истории, не говоря уже о невозможности этого. Общий вечный закон написан в душе каждого человека. Закон прогресса, или совершенствования, написан в душе каждого человека, и только вследствие заблуждения переносится в историю. Оставаясь личным, этот закон плодотворен и доступен каждому; перенесенный в историю, он делается пустою, праздною болтовнею, ведущей к оправданию каждой бессмыслицы и фатализма. Прогресс вообще в человечестве есть факт недоказанный и несуществующий для

[1]) Впоследствии, в 70 и 80-х годах, по возобновлении педагогической деятельности Л. Н—ча, о ней было много писано, и обсуждение ее продолжается и до сих пор. *Прим. П. Б.*

всех восточных народов, и потому сказать, что прогресс есть закон человечества, столь же неосновательно, как сказать, что все люди бывают белокурые, за исключением черноволосых» [1]).

Положения, высказанные в этой цитате, подробно развиваются Львом Николаевичем в его статье, но это уже выходит несколько из рамок нашего обозрения.

Мы закончим наше изложение, упомянув еще об одной статье, под названием: «Проект общего плана устройства народных училищ». Статья эта представляет остроумную критику и беглый обзор вышедшего в 1862 году нового правительственного положения об училищах.

Общие критические замечания Льва Николаевича на это положение можно резюмировать в следующих пунктах: 1) В основу этого положения легла американская система, обложение народа школьной податью и содержание правительством всех школ на эту собранную подать. Но то, что хорошо в демократической республике, то может быть очень плохо в деспотическом государстве, где закон, выражающий «волю народа», обращается в грубое насилие над ним. 2) Общая несостоятельность проекта—это неприспособленность его к народным потребностям, основанная на полном незнании русской народной жизни его составителями, и, наконец, 3) Регламентация народного образования, утверждаемая этим положением, послужит тормазом уже существующего и распространяющегося свободного народного образования.

Заканчивая этим беглый обзор педагогических взглядов Льва Николаевича, мы выскажем наше заключение, совершенно противоположное заключению г-на Маркова, а именно, что практика ясно-полянской школы нисколько не является противоречием этим взглядам, а, напротив, их непосредственным приложением, проведенным с неподражаемым и блестящим успехом. Мы воспользуемся описаниями, сделанными самим Львом Николаевичем, как автобиографическим материалом.

ГЛАВА XV.

Устройство и практика яснополянской школы.

Лев Николаевич несколько раз принимался за педагогическую деятельность.

Еще в 1849 году, когда он возвратился в Ясную Поляну из Петербурга, он завел народную школу, вместе с другими учреждениями и реформами, посредством которых он пытался сблизиться с народом. Мы знаем из его «Утра помещика»; как неудачно кончилась эта первая попытка. С его от'ездом на Кавказ школа, конечно, закрылась. Он возобновил ее, возвратясь в Ясную Поляну по выходе в отставку и после первой заграничной поездки. Мы упоминали об этом в своем месте.

Возобновив свои педагогические занятия, Лев Николаевич почувствовал недостаток теоретических знаний и поспешил пополнить этот пробел своего образования чтением, заграничной поездкой, личными сношениями с выдающимися педагогами и практическими занятиями в разных школах. Почувствовав себя в силах, он с новым рвением в третий раз принялся за школьное дело и довел его до небывалой высоты.

Вот как он сам рассказывает в одной из педагогических статей об этих своих попытках и подготовке к школьному делу:

«15 лет тому назад [2]), когда я взялся за дело народного образования без всяких предвзятых теорий и взглядов на дело, с одним только желанием прямо, непо-

---

[1]) „Прогресс и определение образования". Полн. собр соч. Л. Н. Толстого. Т. IV, стр. 172. Изд. 10-е. Москва. 1897 год.

[2]) Статья, из которой мы цитируем, написана в 1874 году, и потому время, котором он говорит, относится к 1859 г. *Прим. П. Б.*

средственно содействовать этому делу, будучи учителем в своей школе, я тотчас же столкнулся с двумя вопросами: 1) чему нужно учить? и 2) как нужно учить?

«... Во всей массе людей, заинтересованных образованием, существует, как и прежде существовало, величайшее разноречие. В то время, как и теперь, одни, отвечая на вопрос: чему надо учить?—говорили, что, кроме грамоты, самые полезные для первоначальной школы знания суть знания естественные; другие, как и теперь, говорили, что это не нужно и даже вредно; так же, как и теперь, одни предлагали историю, географию, другие отрицали их необходимость, одни предлагали славянский язык и грамматику, закон Божий, другие находили и это излишним и приписывали главную важность развитию. По вопросу: как учить?—было и есть еще большее разногласие. Предлагались и предлагаются самые противоположные один другому приемы обучения грамоте и арифметике.

Встретившись с этими вопросами и не найдя на них никакого ответа в русской литературе, я обратился к европейской. Прочтя то, что было писано об этом предмете, познакомившись лично с так называемыми лучшими представителями педагогической науки в Европе, я нигде не только не нашел какого-нибудь ответа на занимавший меня вопрос, но убедился, что вопроса этого для педагогии как науки даже не существует, что каждый педагог известной школы твердо верит, что те приемы, которые он употребляет, суть наилучшие, потому что они основаны на абсолютной истине, и что относиться к ним критически было бы бесполезно. Между прочим, потому ли, что, как я сказал, я взялся за дело народного образования без всяких предвзятых теорий, или потому, что я взялся за это дело, не издалека предписывая законы, как надо учить, а сам стал школьным учителем в глухой деревенской народной школе,—я не мог отказаться от мысли, что необходимо должен существовать критериум, по которому решается вопрос, *чему и как лучше учить:* учить ли наизусть псалтирь или классификацию организмов, учить ли по звуковой, переведенной с немецкого азбуке, или по часовнику? В решении этих вопросов мне помогли: некоторый педагогический такт, которым я одарен, и в особенности то близкое и страстное отношение, в которое я стал к делу. Вступив сразу в самые близкие непосредственные отношения с теми 40 маленькими мужичками, которые составляли мою школу (я их называю маленькими мужичками потому, что я нашел в них те самые черты сметливости, огромного запаса сведений из практической жизни, шутливости, простоты, отвращения от всего фальшивого, которыми вообще отличается русский мужик), увидав эту восприимчивость, открытость к приобретению тех знаний, в которых они нуждались, я тотчас же почувствовал, что старинный, церковный способ обучения уже отжил свой век и не годится для них. И я стал испытывать другие предлагаемые методы обучения; но так как принуждение при обучении, и по убеждению моему и по характеру, мне противно, я не принуждал и, как скоро замечал, что что-нибудь неохотно принимается, я не насиловал и отыскивал другое. Из этих опытов оказалось для меня и тех учителей, которые вместе со мною в Ясной Поляне и других школах, на тех же основаниях свободы, занимались преподаванием, что почти все то, что пишется в педагогическом мире для школ, отделяется неизмеримою пучиною от действительности и что из предлагаемых методов многие приемы, как, например, наглядное обучение, естественные науки, звуковые приемы и другие, вызывают отвращение и насмешку и не принимаются учениками. Мы стали отыскивать то содержание и те приемы, которые охотно воспринимались учениками, и напали на то, что составляет мой метод обучения. Но этот метод становился на ряду со всеми другими методами, и вопрос о том, почему он лучше других, оставался точно так же нерешенным.

... В то время я не нашел в педагогической литературе не только сочувствия, не нашел даже и противоречий, но совершеннейшее равнодушие к поставленному мною вопросу. Были нападки на некоторые подробности, мелочи, но самый вопрос, очевидно, никого не интересовал. Я тогда был молод, и это равнодушие огорчало меня. Я не понимал, что я с своим вопросом: почем вы знаете, чему и как учить?—был подобен тому человеку, который бы, положим, хоть бы в собрании турецких на-

шей, обсуждающих вопрос о том, как бы побольше с народа собрать податей, предложил бы им следующее: гг., чтобы знать, с кого сколько податей, надо разобрать вопрос, на чем основано наше право взимания? Очевидно, все наши продолжали бы свое обсуждение о мерах взыскания и только молчанием отозвались бы на неуместный вопрос» [1]).

В 1860 г. Л. Н-ч задумывал основать общество народного образования. Мысли свои по поводу этого он изложил в своем письме к Егору Петровичу Ковалевскому, брату тогдашнего министра народного просвещения, своему севастопольскому сослуживцу и, очевидно, близкому ему по душе человеку. Приводим здесь целиком это интересное письмо:

«Вы, может-быть, помните, любезный Егор Петрович, что я уж 3-й год живу в деревне и занимаюсь хозяйством. Нынешний год (с осени), кроме хозяйства, я занимаюсь еще школой для мальчиков, девочек и больших, которую я завел для всех желающих. У меня набралось около 50 учеников, и все прибавляются. Успехи учеников и успех школы в мнении народа неожиданны. Но всего не расскажешь, как и почему; надо или книгу написать или самому посмотреть. Дело вот в чем. Мудрость во всех житейских делах, мне кажется, состоит не в том, чтобы узнать, что нужно делать, а в том, чтобы знать, что делать прежде, а что после. В деле прогресса России, мне кажется, что, как ни полезны телеграфы, дороги, пароходы, штуцера, литература (со всем своим фондом), театры, академии художеств и т. д., а все это преждевременно и напрасно до тех пор, пока из календаря будет видно, что в России, включая всех будто-бы учащихся, учится $^1/_{100}$ доля всего народонаселения. Все это полезно (академии и т. д.), но полезно так, как полезен обед Английского клуба, который весь с'ест экономом и повар. Все эти вещи производятся всеми 70.000.000 русских, а потребляются тысячами. Как ни смешны славянофилы с своей народностью и оторванностью et tout le tremblement, они только не умеют называть вещи по имени, а они, нечаянно, правы. Не только нам, русским, но каждому иностранцу, проехавшему 20 верст по русской земле, должна в глаза кинуться численная непропорциональность образованных и необразованных или, вернее, дурных и грамотных. А нечего и говорить, ежели сравнить отчеты разных европейских государств. Впрочем, ежели бы в Англии приходился 1 дикий на сто, и тогда, наверно, общественное зло происходило бы только от этого процента диких. Общественное зло, которое у нас в привычку вошло сознавать и называть разными именами, большею частью—насилием, деспотизмом, что это такое, как не насилие преобладающего невежества? Насилие не может быть сделано одним человеком над многими, а только преобладающим большинством, единомышленным в невежестве. Только кажется, что Наполеон III заключил Виллафранкский мир и запрещает журналы и хочет захватить Савойю, а все это делают Феликсы и Викторы, которые не умеют читать газеты. Однако мои педагогические привычки увлекли меня, и мне самому смешно, что я *вам* пресерьезно доказываю, что 2×2=4, т.-е. что насущнейшая потребность русского народа есть народное образование. Образования этого *нет*. Оно еще не начиналось и никогда не начнется, ежели правительство будет заведывать им. Что его нет, этого доказывать нельзя, а ежели бы вы были здесь, то мы бы сейчас обошли всю деревню, и посмотрели бы и послушали. Чтобы доказать, что оно не начиналось, мы бы тоже сейчас прошли в школу и я бы вам показал грамотных, учившихся прежде у попов и дьяконов. Это одни ученики, которые совершенно безнадежны. Над спорами: полезна ли грамотность или нет, не следует смеяться. Это очень серьезный и грустный спор, и я прямо беру сторону отрицательную. *Грамота*, процесс чтения и писания, вредна. Первое, что они читают,—славянский символ веры, псалтырь, заповеди (славянские), второе—гадательную книгу и т. п. Не проверив на деле, трудно себе представить ужасные опустошения, которые это производит в умственных способностях, и разрушения в

---

[1]) „О народном образовании“ 1875 г. Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого. Т. IV, стр. 416. Изд. 10-е. Москва. 1897 год.

нравственном складе учеников. Надо побывать в сельских школах и в семинариях, (я исследовал это дело), в семинариях, которые доставляют педагогов в училища от правительства, чтобы понять, отчего ученики этих школ выходят глупее и безнравственнее не-учеников. Чтобы народное образование пошло, нужно, чтобы оно было передано в руки общества. Не стану приводить пример Англии, самой образованной страны,—самая сущность дела говорит за себя. Ежели бы правительство бросило все дела, закрыло бы все департаменты и комиссии (и прекрасно бы сделало) и занялось бы одним народным воспитанием, и тогда едва ли бы оно успело,—потому что механизм, усвоенный правительством, помешал бы ему, и, главное, потому, что интересы его кажутся отдаленными (в сущности, это один его интерес) от народного образования. Общество же должно успеть, потому что интересы его непосредственно связаны с степенью образования народа, потому что, лишенные всех насильственных средств, действия общества будут сообразоваться только с потребностью народа, которая выразится в филантропическом или денежном успехе предприятия, в степени удовлетворения народной потребности будут постоянно иметь поверку своих действий. Но я опять, кажется, доказываю дважды два. Вопрос может быть только в том, существует ли потребность образовывать и образовываться. Для меня этот вопрос решенный. Полгода моей школы породили три таких же в околотке, и везде успех был одинаковый. Дело вот в чем: что скажет правительство, ежели ему представить следующий проект:

«Общество народного образования (или более скромное название) имеет целью распространение образования в народе.

«Средства Общества будут состоять из взноса членов по 100 или 50 рублей, из платы учеников (где это возможно), из выручки за издания Общества и из пожертвований.

«Действия Общества будут состоять:

«1) В издании журнала, состоящего из отдела собственно педагогического (о законах и способах первоначального преподавания), отдела первоначальных руководств для учителей и чтений для учеников и отдела сведений о действиях Общества.

«2) В учреждении школ в тех местах, где их нет и где чувствуется в них потребность.

«3) В составлении курса преподавания, в назначении учителей, в надзоре за преподаванием, за хозяйственным учетом, вообще за управлением таких школ.

«4) В надзоре за преподаванием в тех школах, где учредители того пожелают.

«До сих пор Общество это составляю я один. Но говорю вам без фразы, что, возможно будет или нет такое Общество, я положу все, что могу, и все свои силы на исполнение этой программы. Нечего говорить, что наверно мои мысли односторонни и что общество, занявшись им, многое изменит и прибавит, но ежели бы это могло только собрать силы многих к одной цели. Вы-то помогите мне, любезный друг, Егор Петрович. Я на дурном счету у правительства. От меня это никак не должно итти, а поговорите или составьте из этого получше записку и покажите Евграфу Петровичу. (Я вам прямо задаю дело, потому что знаю вперед, что не можете всей душой не сочувствовать этому). Ежели бы я узнал наверно, что правительство разрешит это Общество, то я бы поработал серьезнее над составлением самого проекта и подал бы его от другого лица. Есть в Туле директор гимназии Гаярин (ваш брат его знает), замечательный человек, которому я вчера сказал о моем намерении. Я надеюсь, что он не отказался бы подать от себя. Во всяком случае, у вас дело в хороших руках. Подайте ли прямо, переписав и переделав эту записку (об Обществе), или позондируйте, где следует, и напишите мне, рассказав, как надо поступать; одно только, на обыкновенную удочку правительства, заставить подробно изложить проект, курс преподавания и т. д. и потом сказать—нельзя, я на эту удочку не поддамся. Мне мое время дорого (и с гордостью могу сказать, дорого и для 100 мальчиков). Кроме школы у себя, у брата, я готовлю большую статью о педагогии, которая не будет годиться в проект для правительства. По-

зволят или нет, а я хоть один, а все буду составлять тайное общество народного образования. Нет, без шуток, ежели бы Общество оказалось невозможным, то я все-таки намерен издавать журнал, о котором пишу в проекте Общества. Позондируйте почву и об этом напишите, пожалуйста: разрешат ли журнал с моим именем как редактора. И как, в какой форме, кому нужно подать об этом, и что такое. Как мне ни нужно быть здесь, я бы приехал в Петербург, ежели для успеха дела мое присутствие могло бы быть необходимым. И как подумаешь, что почти наверно вы мне ответите: «видно, что вы, Лев Николаевич, сидите в деревне, что с такими проектами суетесь». Как подумаешь, отчаяние находит. И чего может бояться правительство? Разве можно в свободной школе учить тому, чего не следует знать? У меня бы ни одного человека не было в школе, ежели бы я заикнулся о том, что мощи не есть такая же святыня, как сам Бог. Но это не мешает им знать, что земля—шар и что 2×2=4. Ну, что будет, то будет; только поскорее, как можно поскорее известите меня. Будьте здоровы, не грустите и дай бог вам всего лучшего. От души жму вашу руку.

Адрес мой: в Тулу. Ваш Л. Толстой».

12 марта 1860 г. Ясная Поляна [1]).

К сожалению, нам не удалось найти ответ Ковалевского на это письмо. По всей вероятности, он был таким, каким и предполагал его Л. Н-ч, т.-е. отрицательным, так как Общества этого Л. Н-ч не основал. Кроме того, вторая заграничная поездка, вызванная болезнью брата, прервала его школьные занятия.

Мы видим из заграничных писем Льва Николаевича, как он заботится о состоянии своей школы в его отсутствие. За все это время занятия в школе не прекращались. С большой правильностью они начались по его возвращении в Ясную Поляну весной 1861 года, а в 1862 году, как говорит Лев Николаевич в той же статье: «в участке в 10.000 душ, когда я был посредником, было уже открыто 14 школ; кроме того, существовало школ 10 в том же участке у причетников и в дворах между дворниками. В других трех участках уезда, сколько мне известно, существовало школ 15 больших и 30 мелких у причетников и дворников.

«... Школы все тогда, за самым малым исключением, были основаны на свободном договоре учителя или с родителями учеников, платившими помесячно за учение, или на уговоре учителя со всем обществом крестьян, платившим огульно за всех... Всякий согласится, что, оставив в стороне вопрос о качестве учения, такое отношение учителя к родителям и крестьянам есть самое справедливое, натуральное и желательное» [2]).

Здесь кстати сообщить дошедшие до нас имена учителей десяти подведомственных Льву Николаевичу школ, в которых более или менее проводились взгляды Льва Николаевича на народное образование: в Головеньковском уч-ще учителем был воспитанник казанской гимназии Александр Сердобольский, в Трасненском—воспитанник пензенской гимназии Иван Аксентьев, в Ломинцевском—воспитанник калужской гимназии Алексей Шумилин, в Богучаровском—воспитанник тульской духовной семинарии Петр Морозов, в Кобелевском—воспитанник тульской духовной семинарии Борис Головин, в Бабуринском—воспитанник кишиневской гимназии Альфонс Эрленвейн, в Ясенском—воспитанник кишиневской гимназии Митрофан Бутович, в Колпенском—окончивший курс в саратовской гимназии Анатолий Томашевский, в Городненском—окончивший курс в пензенской гимназии Владимир Токашевич, в Плехановском—окончивший курс в пензенском дворянском институте Николай Петерсон; Богучаровское же сельское общество в свое училище, вместо прежнего учителя Морозова, приняло бывшего студента Казанского университета Сергея Гудима [3]).

[1]) Рукописное отделение Гос. Публ. Библиотеки.

[2]) „О народном образовании“ 1875 г. Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого. Т. IV, стр. 431. Изд. 10-е. Москва. 1897 г.

[3]) Д. И. Успенский. Архивные материалы к биографии Л. Н. Толстого. „Русская Мысль“. 1903 года, кн. IX.

Быть-может, кому-нибудь из этих людей попадет в руки составленная нами биография, и чтение ее вызовет в них желание записать свои воспоминания об их сотрудничестве великому педагогу.

Об устройстве своей яснополянской школы Лев Николаевич сам подробно рассказывает в одной из педагогических статей:

«Школа помещается в двухэтажном каменном доме. Две комнаты заняты школой, одна—кабинетом, две—учителями. На крыльце, под навесом, висит колокольчик с привешенною за язычек веревочкою, в сенях внизу стоят бары и рек (гимнастика), наверху—в сенях—верстак. Лестница и сени истоптаны снегом или грязью; тут же висит расписание. Порядок учения следующий: часов в восемь учитель, живущий в школе, любитель внешнего порядка и администратор школы, посылает одного из мальчиков, которые почти всегда ночуют у него, звонить.

«На деревне встают с огнем. Уже давно виднеются из школы огни в окнах, и через полчаса после звонка, в тумане, в дожде или в косых лучах осеннего солнца, появляются на буграх (деревня отделена от школы оврагом) темные фигурки по две, по три и по одиночке. Табунное чувство уже давно исчезло в учениках. Уже нет необходимости ему дожидаться и кричать: «эй, ребята, в училищу!» Он уже знает, что училище среднего рода, многое кое-чего другого знает и, странно, вследствие этого не нуждается в толпе. С собой никто ничего не несет—ни книг, ни тетрадок. Уроков на дом не задают.

«Мало того, что в руках ничего не несут, им нечего и в голове нести. Никакого урока, ничего, сделанного вчера, он не обязан помнить нынче. Его не мучает мысль о предстоящем уроке. Он несет только себя, свою восприимчивую натуру и уверенность в том, что в школе нынче будет весело так же, как вчера. Он не думает о классе до тех пор, пока класс не начался. Никогда никому не делают выговоров за опоздание, и никогда не опаздывают, нешто старшие, которых отцы другой раз задержат дома какой-нибудь работой. И тогда этот большой, рысью, запыхавшись, прибегает в школу. Пока учитель еще не пришел, они собираются кто около крыльца, толкаясь со ступенек или катаясь на ногах по ледочку раскатанной дорожки, кто в школьных комнатах. Когда холодно, ожидая учителя, читают, пишут или возятся. Девочки не мешаются с ребятами. Когда ребята затевают что-нибудь с девочками, то никогда не обращаются к одной из них, а всегда ко всем вместе: «эй, девки, что не катаетесь?» или: «девки-то, вишь, замерзли», или: «ну, девки, выходи все на меня одного». Только одна из девочек, дворовая, с огромными и всесторонними способностями, лет десяти, начинает выходить из табуна девок. И с этою только ученики обращаются, как с равною, как с мальчиком, только с тонким оттенком учтивости, снисходительности и сдержанности» [1]).

В своих педагогических статьях практического характера Лев Николаевич дает художественное изображение нескольких моментов школьной жизни, в которой он принимал такое искреннее и горячее участие, не как строгий учитель-педант, требующий себе повиновения, а как большое дитя, жившее одними радостями и горестями со своими товарищами-школьниками, отдавая им всю свою душу и делясь с ними всем своим несметным духовным богатством.

Если сопоставить эти несколько изображенных им моментов, то гигантская фигура гениального педагога предстанет пред нами во всем своем величии.

1. Вечерняя прогулка.

«На дворе было не холодно—зимняя безмесячная ночь с тучами на небе. На перекрестке мы остановились; старшие, трехлетние школьники остановились около меня, приглашая проводить их еще; маленькие поглядели и закатились под гору. Младшие начали учиться при новом учителе, и между мной и ими уже нет того дове-

---

[1]) „Яснополянск. шк. за ноябрь и декабрь 1861 г.“. Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого, т. IV, стр. 239.

рия, как между мной и старшими. «Ну, так пойдем в Заказ» (небольшой лес, шагах в 200 от жилья), сказал один из них. Больше всех просил Федька, мальчик лет 10, нежная, восприимчивая, поэтическая и лихая натура. Опасность для него составляет, кажется, самое главное условие удовольствия. Теперь он знал, что в лесу есть волки, поэтому ему хотелось в Заказ. Все подхватили, и мы вчетвером пошли в лес. Другой—я назову его Семка—здоровенный и физически и морально, малый лет 12, прозванный Вавило, шел впереди и все кричал и аукался с кем-то заливистым голосом. Пронька—болезненный, кроткий и чрезвычайно даровитый мальчик, сын бедной семьи, болезненный, кажется, больше всего от недостатка пищи—шел рядом со мной. Федька шел между мной и Семкой и все заговаривал особенно мягким голосом, то рассказывая, как он летом стерег здесь лошадей, то говоря, что ничего не страшно, а то спрашивая: «что, ежели какой-нибудь выскочит?» и непременно требуя, чтоб я что-нибудь сказал на это. Мы не вошли в средину леса: это было бы уж слишком страшно, но и около леса стало темнее: дорожка чуть виднелась, огни деревни скрылись из виду. Семка остановился и стал прислушиваться.—«Стой, ребята! Что такое?»—вдруг сказал он. Мы замолкли, но ничего не было слышно; все-таки страху еще прибавилось.—«Ну, что же мы станем делать, как он выскочит... да за нами?»—спросил Федька. Мы разговорились о кавказских разбойниках. Они вспомнили кавказскую историю, которую я им рассказывал давно, и я стал опять рассказывать об абреках, о казаках, о Хаджи-Мурате. Семка шел впереди, широко ступая своими большими сапогами и мерно раскачивая здоровой спиной. Пронька попытался-было итти рядом со мной, но Федька сбил его с дорожки, и Пронька, должно быть по своей бедности, всегда всем покоряющийся, только в самых интересных местах забегал сбоку, хотя и по колено утопая в снегу.

Всякий замечал, кто немного знает крестьянских детей, что они не привыкли и терпеть не могут всяких ласк—нежных слов, поцелуев, трогания рукой и т. п. Потому-то меня особенно поразило, когда Федька, шедший рядом со мной, в самом страшном месте рассказа, вдруг дотронулся до меня слегка рукавом, потом всею рукою ухватил меня за два пальца и уже не выпускал их. Только-что я замолкал, Федька уже требовал, чтоб я говорил еще, и таким умоляющим, взволнованным голосом, что нельзя было не исполнить его желания.—«Ну, ты, суйся под ноги!»—сказал он раз сердито Проньке, забежавшему вперед; он был увлечен до жестокости, ему было так жутко и хорошо, держась за мой палец, и никто не должен был сметь нарушать его удовольствие.—«Ну, еще, еще! Вот хорошо-то!». Мы прошли лес и стали с другого конца подходить к деревне.—«Пойдем еще,—заговорили все, когда уже стали видны огни,—еще пройдемся». Мы молча шли, кое-где проваливаясь по рыхлой, плохо наезженной дорожке; белая темнота как будто качалась перед глазами; тучи были низкие, как будто на нас что-то наваливало их; конца не было этому *белому*, в котором только мы одни хрустели по снегу; ветер шумел по голым макушкам осин, а нам было тихо за лесом. Я кончил рассказ тем, как окруженный абрек запел песню и потом сам бросился на кинжал. Все молчали.—«Зачем же он песню запел, когда его окружили?»—спросил Семка.—«Ведь тебе сказывали, умирать собрался!»—отвечал огорченно Федька.—«Я думаю, что молитву он запел!»—прибавил Пронька. Все согласились. Мы остановились в роще за гумнами, под самым краем деревни. Семка поднял хворостинку из снега и бил ею по морозному стволу липы. Иней сыпался с сучьев на шапку, и звук одиноко раздавался по лесу.—«Лев Николаевич,—сказал Федька,—для чего учиться пению? Я часто думаю, право, зачем петь?»...

... Мне страшно повторить, что мы говорили тогда, но я помню, мы переговорили, как мне кажется, все, что сказать можно о пользе, о красоте пластической и нравственной» [1]).

Пишущему эти строки выпало на долю редкое счастье. Подобно Федьке, дер-

---

[1]) „Яснополянская школа за ноябрь и декабрь". Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого, т. IV, стр. 259. Изд. 10 с. Москва. 1897 года.

жавшемуся за пальцы Льва Николаевича и замиравшему от восторга, приходилось и мне не раз гулять со Львом Николаевичем по этому самому «Заказу». Слушая его рассказы, я испытывал чувство, которое нельзя выразить лучше, чем его выразил Федька словами: «Ну, еще, еще, вот хорошо-то!».

2. *Урок сочинительства.*

«Один раз, прошлою зимою, я зачитался после обеда книгой Снегирева (сборник пословиц) и с книгой же пришел в школу. Был класс русского языка.

— Ну-ка, напишите кто на пословицу,—сказал я.

Лучшие ученики—Федька, Семка и другие—навострили уши.

— Как на пословицу: что такое, скажите нам?—посыпались вопросы.

Открылась пословица: *ложкой кормит, стеблем глаз колет.*

— Вот вообрази себе,—сказал я,—что мужик взял к себе какого-нибудь нищего, а потом, за свое добро, его попрекать стал, и выйдет к тому, что «ложкой кормит, стеблем глаза колет».

— Да как ее напишешь?—сказал Федька и все другие, навострившие-было уши, но вдруг отшатнулись, убедившись, что это дело не по их силам, и принялись за свои, прежде начатые работы.

— Ты сам напиши,—сказал мне кто-то.

Все были заняты делом; я взял перо и чернильницу и стал писать.

— Ну,—сказал я,—кто лучше напишет? и я с вами.

Я начал повесть, напечатанную в 4-й книжке «Ясной Поляны», и написал первую страницу. Всякий, не предупрежденный человек, имеющий чувство художественности и народности, прочтя эту первую, писанную мною, и следующие страницы повести, писанные самими учениками, отличит эту страницу от других, как муху в молоке,—так она фальшива, искусственна и написана таким плохим языком. Надо заметить, что в первоначальном виде она была еще уродливее и много исправлена, благодаря указанию учеников.

Федька из-за своей тетрадки все поглядывал на меня и, встретившись с моими глазами, улыбаясь, подмигивал и говорил: «пиши, пиши, я те задам». Его, видимо, занимало, как большой тоже сочиняет. Кончив свое писание хуже и скорее обыкновенного, он взлез на спинку моего кресла и стал читать из-за плеча. Я не мог уже продолжать. Другие подошли к нам, и я прочел им вслух написанное: им не понравилось, никто не похвалил. Мне было совестно и, чтобы успокоить свое литературное самолюбие, я стал рассказывать им свой план последующего. По мере того, как я рассказывал, я увлекался, поправлялся, и они стали подсказывать мне: кто говорил, что старик этот будет колдун; кто говорил: нет, не надо, он будет просто солдат; нет, лучше пускай он их обокрадет; нет, это будет не к пословице и т. п., говорили они.

Все были чрезвычайно заинтересованы. Для них, видимо, было ново и увлекательно присутствовать при процессе сочинительства и участвовать в нем. Суждения их были большей частью одинаковы и верны, как в самой постройке повести, так и в самых подробностях и характеристиках лиц. Все принимали участие в сочинительстве; но с самого начала в особенности резко выделились положительный Семка—резкою художественностью описания, и Федька — верностью поэтических представлений и в особенности пылкостью и поспешностью воображения. Требования их были до такой степени неслучайны и определенны, что не раз я начинал с ними спорить и должен был уступать. У меня крепко сидели в голове требования правильности постройки и верности отношения мысли пословицы к повести; у них, напротив, были только требования художественной правды. Я хотел, например, чтобы мужик, взявший в дом старика, сам бы раскаялся в своем добром деле,—они считали это невозможным и создали сварливую бабу. Я говорил: мужику стало сначала жалко старика, а потом хлеба жалко стало. Федька отвечал, что это будет нескладно: «он с первого начала бабы не послушался, и

после уж не покорится». Да какой он по-твоему человек?—спросил я.—Он как дядя Тимофей,—сказал Федька, улыбаясь,—так, бородка реденькая, в церковь ходит и пчелы у него есть.—Добрый, но упрямый,—сказал я.—Да,—сказал Федька,—уж он не станет бабы слушать.—С того места, как старика внесли в избу, началась одушевленная работа. Тут, очевидно, они в первый раз почувствовали прелесть запечатления словом художественной подробности. В этом отношении особенно отличался Семка: подробности самые верные сыпались одна за другою. Единственный упрек, который можно было ему сделать, был тот, что подробности эти обрисовывали только минуту настоящего без связи к общему чувству повести. Я не успевал записывать и только просил их подождать и не забывать сказанного. Семка, казалось, видел и описывал находящееся перед его глазами: закочепелые, замерзлые лапти и грязь, которая стекла с них, когда они растаяли, и сухари, в которые они превратились, когда баба бросила их в печку; Федька, напротив, видел только те подробности, которые вызывали в нем то чувство, с которым он смотрел на известное лицо. Федька видел снег, засыпавшийся старику за опучи, чувство сожаления, с которым мужик сказал:—Господи, как он шел! (Федька даже в лицах представил, как это сказал мужик, размахнувши руками и покачавши головой.) Он видел из лоскутьев собранную шинелишку и прорванную рубашку, из-под которой виднелось худое, омоченное растаявшим снегом тело старика; он придумал бабу, которая ворчливо, по приказанию мужа, сняла с него лапти, и жалобный стон старика, сквозь зубы говорящего:—тише, матушка, у меня тут раны. Семке нужны были преимущественно об'ективные образы: лапти, шинелишка, старик, баба, почти без связи между собой. Федьке нужно было вызвать чувство жалости, которым он сам был проникнут.

Он забегал вперед, говоря о том: как будут кормить старика, как он упадет ночью, как будет потом в поле учить грамоте мальчика, так что я должен был просить его не торопиться и не забывать того, что он сказал. Глаза у него блестели почти слезами; черные, худенькие ручки судорожно корчились; он сердился на меня и беспрестанно понукал:—написал, написал?—все спрашивал он меня. Он деспотически-сердито обращался со всеми другими, ему хотелось говорить только одному, и не говорить, как рассказывают, а говорить, как пишут, т.-е. художественно запечатлевать словом образы чувства; он не позволял, например, переставливать слова,—скажет: *у меня на ногах раны*, то уж не позволить сказать: *у меня раны на ногах*. Размягченная и раздраженная его в это время душа чувством жалости, т.-е. любви, облекала всякий образ в художественную форму и отрицала все, что не соответствовало идее вечной красоты и гармонии. Как только Семка увлекался высказыванием непропорциональных подробностей об ягнятах в конике и т. п., Федька сердился и говорил:—Ну тебя, уж наладил. Стоило мне только намекнуть о том, например, что делал мужик, когда жена убежала к куму, и в воображении Федьки тотчас же возникала картина с ягнятами, бякующими в конике, со вздохами старика и бредом мальчика Сережки; стоило мне только намекнуть на картину искусственную и ложную, как он тотчас же сердито говорил, что этого не надо. Я предложил, например, описать наружность мужика,—он согласился; но на предложение описать то, что думал мужик, когда жена бегала к куму, ему тотчас же представился оборот мысли: «эх, напала бы ты на Савоську-покойника, тот бы те космы-то повыдергал». И он сказал это таким усталым и спокойно привычно-серьезным и вместе добродушным тоном, облокотив голову на руку, что ребята покатились со смеху. Главное свойство во всяком искусстве—чувство меры—было развито в нем необычайно. Его коробило от всякой лишней черты, подсказываемой кем-нибудь из мальчиков. Он так деспотически и с правом на этот деспотизм распоряжался постройкою повести, что скоро мальчики ушли домой, и остался только он с Семкою, который не уступал ему, хотя и работал в другом роде. Мы работали с 7 до 11 часов; они не чувствовали ни голода, ни усталости, и еще рассердились на меня, когда я перестал писать; взялись сами писать по переменкам, но скоро бросили; дело не пошло. Тут только Федька спросил у меня, как

Л. Н-ч Толстой—жених в 1862 году.

меня звать. Мы засмеялись, что он не знает.—Я знаю,—сказал он,—как вас звать, да двор-то ваш как зовут? Вот у нас Фоканычевы, Зябревы, Ермилины. Я сказал ему.—А печатывать будем?—спросил он.—Да.—Так и напечатывать надо: сочинения Макарова, Морозова и Толстого. Он долго был в волнении и не мог заснуть, и я не могу передать того чувства волнения, радости, страха и почти раскаяния, которые я испытывал в продолжение этого вечера. Я чувствовал, что с этого дня для него раскрылся целый мир наслаждений и страданий—мир искусства; мне казалось, что я подсмотрел то, что никто никогда не имеет право видеть,—зарождение таинственного цветка поэзии. Мне и страшно и радостно было, как искателю клада, который увидал бы цвет папортника,—радостно мне было потому, что вдруг, совершенно неожиданно, открылся тот философский камень, которого я тщетно искал два года,—искусство учить выражению мыслей; страшно потому, что это искусство вызывало новые требования, целый мир желаний, несоответственный среде, в которой жили ученики, как мне казалось в первую минуту. Ошибиться нельзя было. Это была не случайность, но сознательное творчество.

... Я оставил урок, потому что был сильно взволнован.

— Что с вами, отчего вы так бледны, вы, верно, нездоровы?—спросил меня мой товарищ. Действительно, я два-три раза в жизни испытывал столь сильное впечатление, как в этот вечер, и долго не мог дать себе отчета в том, что́ я испытывал. Мне смутно казалось, что я преступно подсмотрел в стеклянный улей работу пчел, закрытую для взора смертного; мне казалось, что я развратил чистую, первобытную душу крестьянского ребенка. Я смутно чувствовал в себе раскаяние в каком-то святотатстве... и вместе с тем мне было радостно, как радостно должно быть человеку, увидавшему то, чего никто не видал прежде его» [1]).

5. Первый урок истории.

«Я имел намерение в первом уроке об'яснить, чем Россия отличается от других земель, ее границы, характеристику государственного устройства, сказать, кто царствует теперь, как и когда император взошел на престол.

Учитель. Где мы живем, в какой земле?

Один ученик. В Ясной Поляне.

Другой ученик. В поле.

Учитель. Нет, в какой земле и Ясная Поляна, и Тульская губерния?

Ученик. Тульская губерния на 17 верст от нас; где же она губерния—губерния и есть.

Учитель. Нет. Это город губернский, а губерния другое. Ну, какая же земля?

Ученик (слушавший прежде географию). Земля круглая, как шар.

Посредством вопросов о том, в какой земле прежде жил знакомый их немец, и о том, что ежели ехать все в одну сторону, куда приедешь?—ученики были наведены на ответ, что они живут в России. Некоторые сказали, однако, на вопрос, что ежели ехать все вперед, в одну сторону, то куда приедешь?—никуда не приедешь. Другие сказали, что приедешь на конец света.

Учитель (повторяя ответ ученика). Ты сказал, что приедешь в другие земли; когда же кончится Россия и начнутся другие земли?

Ученик. Когда немцы пойдут.

Учитель. Что ж, ежели ты встретишь в Туле Густава Ивановича и Карла Федоровича, ты скажешь, что пошли немцы и, стало-быть, другая земля?

Ученик. Нет, когда сплошные немцы пойдут.

Учитель. Нет, и в России есть такие земли, где сплошные немцы. Вот Иван Фомич оттуда, а земли эти все-таки Россия. Отчего же так?

(Молчание.)

---

[1]) „Кому у кого учиться писать?“ Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого, т. IV, стр. 204. Изд. 10-е. Москва. 1897 года.

Учитель. Оттого, что они одного закона с русскими слушаются.

Ученик. Как же одного закона? Немцы в нашу церковь не ходят и скоромное едят.

Учитель. Не того закона, а одного царя слушаются.

Ученик (скептик Семка). Чудно!.. Отчего ж они другого закона, а нашего царя слушаются?

Учитель чувствует необходимость об'яснить, что такое закон, и спрашивает, что такое значит: закона слушаться, быть под одним законом?

Ученица (самостоятельная дворовая девочка, торопливо и робко). Закон принять—значит, *жениться.*

Ученики вопросительно смотрят на учителя: так ли?

Учитель начинает об'яснять, что закон в том, что ежели кто украдет или убьет, так его сажают в острог и наказывают.

Скептик Семка. А разве у немцев этого нет?

Учитель. Закон в том еще состоит, что у нас есть дворяне, мужики, купцы, духовенство (слово «духовенство» порождает недоумение).

Скептик Семка. А там нету?

Учитель. В иных землях есть, а в иных нет. У нас русский царь, а в немецких землях другой—немецкий царь.

Ответ этот удовлетворяет всех учеников и даже скептика Семку.

Учитель, видя необходимость перейти к об'яснению сословий, спрашивает, какие они знают сословия. Ученики начинают пересчитывать: дворяне, мужики, попы, солдаты.—Еще?—спрашивает учитель.—Дворовые, казюки [1]), самоварщики.

Учитель спрашивает о различии этих сословий.

Ученики. Крестьяне пашут, дворовые господам служат, купцы торгуют, солдаты служат, самоварщики самовары делают, попы обедни служат, дворяне ничего не делают.

Затем таким же порядком и с такими же затруднениями следует об'яснение понятий *сословие, границы* и других государственных терминов.

Урок продолжается часа два; учитель уверен, что дети удержали много из сказанного, и в таком же роде продолжает в следующие уроки, но только впоследствии убеждается, что приемы эти были неверны и что все, что он делал, был совершенный вздор».

4. Второй урок истории.

«Этот класс остался памятным часом в нашей жизни. Я никогда не забуду его. Давно было обещано детям, что я буду им рассказывать с конца, а другой учитель с начала, что так мы и сойдемся. Мои вечерние ученики разбрелись; я пришел в класс русской истории, где рассказывалось о Святославе. Им было скучно. На высокой лавке, как всегда, рядом сидели три крестьянские девочки, обвязанные платками. Одна заснула. Мишка толкнул меня:—Глянь-ка, кукушки наши сидят, одна заснула.—И точно, кукушка. Расскажи лучше с конца,—сказал кто-то, и все привстали.

Я сел и стал рассказывать. Как всегда, минуты две продолжалась возня, стоны, толкотня. Кто лез под стол, кто на стол, кто под лавки, кто на плечи и на колени другому, и все затихло. Я начал с Александра I, рассказал о французской революции, об успехах Наполеона, о завладении им властью и о войне, окончившейся Тильзитским миром. Как только дело дошло до нас, со всех сторон послышались звуки и слова живого участия:—Что ж, он и нас завоюет?—Небось, Александр ему задаст,—сказал кто-то, знавший про Александра, но я должен был их разочаровать—не пришло еще время—и их очень обидело то, что хотели за него отдать царскую сестру и что с ним, как с равным, Александр говорил на мосту.—По-

[1]) Там же, стр. 335. Казюками называются тульские мещане—оружейники, самоварщики и т. п.

годи же ты!—проговорил Петька с угрожающим жестом.—Ну, ну, рассказывай!—Когда не покорился ему Александр, т.-е. об'явил войну, все выразили одобрение. Когда Наполеон с двенадцатью языками пошел на нас, взбунтовал немцев, Польшу—все замерли от волнения.

Немец, мой товарищ, стоял в комнате.—А, и вы на нас!—сказал ему Петька (лучший рассказчик).—Ну, молчи!—закричали другие. Отступление наших войск мучило слушателей так, что со всех сторон спрашивали об'яснений: зачем? и ругали Кутузова и Барклая.—Плох твой Кутузов.—Ты погоди,—говорил другой.—Да что ж он сдался?—спрашивал третий. Когда пришла Бородинская битва и когда в конце ее я должен был сказать, что мы все-таки не победили, мне жалко было их; видно было, что я страшный удар наношу всем.—Хоть и не наша, да и не ихняя взяла! Как пришел Наполеон в Москву и ждал ключей и поклонов, все загрохотало от сознания непокоримости. Пожар Москвы, разумеется, одобрен. Наконец, наступило торжество—отступление.—Как он вышел из Москвы, тут Кутузов погнал его и пошел бить,—сказал я.—Окарячил его! — поправил меня Федька, который, весь красный, сидел против меня и от волнения корчил свои тоненькие черные пальцы. Это его привычка. Как только он сказал это, так вся комната застонала от гордого восторга. Какого-то маленького придушили сзади, и никто этого не замечал.—Так-то лучше! Вот-те и ключи! и т. п. Потом я продолжал, как мы погнали француза. Больно было ученикам слышать, что кто-то опоздал на Березине и мы упустили его. Петька даже крикнул:—Я бы его расстрелял зачем он опоздал! Потом немножко мы пожалели даже мерзлых французов. Потом, как перешли мы границу, и немцы, что против нас были, повернули за нас, кто-то вспомнил немца, стоявшего в комнате.—А, вы так-то: то на нас, а как сила не берет, так с нами?—и вдруг все поднялись и начали ухать на немца, так что гул на улице был слышен. Когда они успокоились, я продолжал, как мы проводили Наполеона до Парижа, посадили настоящего короля, торжествовали, пировали, только воспоминание крымской войны испортило нам все дело.—Погоди же ты!—проговорил Петька, потрясая кулаками:—дай, я вырасту, я же им задам. Попался бы нам теперь Шевардинский редут или Малахов курган, мы бы его отбили.

Уж было поздно, когда я кончил. Обыкновенно дети спят в это время. Никто не спал, даже у кукушек глазенки горели. Только-что я встал, из-под моего кресла, к величайшему удивлению, вылез Тараска и оживленно и вместе серьезно посмотрел на меня.—Как ты сюда залез?—Он с самого начала,—сказал кто-то. Нечего было и спрашивать, понял ли он,—видно было по лицу.—Что ты расскажешь?—спросил я. — Я-то? — он подумал: — всю расскажу. — Я дома расскажу. — И я тоже.—И я.—Больше не будет?—Нет. И все полетели под лестницу, кто обещаясь задать французу, кто укоряя немца, кто повторяя, как Кутузов его окарячил. Sie haben ganz russisch erzählt (вы совершенно по-русски рассказывали),—сказал мне вечером немец, на которого ухали. Вы бы послушали, как у нас рассказывают эту историю. Вы ничего не сказали о немецких битвах за свободу. Sie haben nichts gesagt von den deutschen Freiheitskämpfen.

Я совершенно согласился с ним, что мой рассказ—не была история, а сказка, возбуждающая народное чувство.

Стало-быть, *как преподавание истории*, и эта попытка была неудачна еще более, чем первые» [1]).

Прибавим теперь для полноты педагогической картины мнение Льва Николаевича о преподавании музыки. Он резюмирует свои выводы в 5 пунктах:

«Из того небольшого опыта,—говорит он,—который я имел в преподавании музыки народу, я убедился в следующем:

1) что способ писания звуков цифрами есть самый удобный способ;

---

[1]) Там же, стр. 340.

2) что преподавание такта отдельно от звуков есть самый удобный способ;

3) что для того, чтобы преподавание музыки оставило следы и воспринималось охотно, необходимо учить с первого начала искусству, а не уменью петь или играть. Барышень можно учить играть экзерсизы Бургмюллера, но народных детей лучше не учить вовсе, чем учить механически;

4) что ничто так не вредно в преподавании музыки, как то, что похоже на знание музыки,—исполнение хоров на экзаменах, актах и в церквах;

5) что цель преподавания музыки народу должна состоять только в том, чтобы передать ему те знания об общих законах музыки, которые мы имеем, но отнюдь не в передаче ему того ложного вкуса, который развит в нас».

Рисованию также отводилось не мало места, но этим занимался не сам Лев Николаевич, не чувствовавший в себе достаточной подготовки к этому и уменья, а его товарищ-учитель.

Весной 1862 года Лев Николаевич, утомленный усиленной деятельностью по посредничеству и по школам, почувствовал серьезное нездоровье и, опасаясь чахотки, решил отправиться лечиться на кумыс.

Он взял с собою слугу своего Алексея и двух школьников и отправился в Самарскую губернию в половине мая.

Из Москвы он писал тетушке Татьяне Александровне, извещая ее, что все едущие здоровы, и давал некоторые советы и поручения по управлению школой.

Они поехали по железной дороге до Твери и там сели на пароход, чтобы спуститься вниз по Волге до Самары.

Вероятно, на пароходе Льва Николаевича охватило то радостное настроение, которое знакомо каждому путешественнику по Волге. Великая река в весеннем разливе, плавный шум парохода, чудные весенние ночи с опрокинутым звездным небом в зеркальной реке и с береговыми и пароходными огнями, на пароходе пестрые толпы рабочих, странников, татар, монахов и других пассажиров, несмотря на все разнообразие типов, сословий, национальностей и исповеданий—носящая особый, чисто великорусский отпечаток, быть-может, мысли об историческом прошлом этой реки и орошаемых ею местностей—все это производит неописуемое, радостное, умилительное впечатление и наводит на многие мысли и грезы.

Вероятно, нечто подобное испытал и Лев Николаевич, потому что 20 мая записал в своем дневнике:

«На пароходе. Как будто опять возрождаюсь к жизни и к знанию ее. Мысль о нелепости прогресса преследует. С умным и глупым, с стариком и ребенком—беседую об одном».

По дороге Лев Николаевич остановился в Казани у своего родственника, Владимира Ивановича Юшкова.

Затем уже из Самары он пишет тетке:

27 мая 1862.

«Я нынче еду из Самары за 130 верст в Каралык, Николаевского уезда. Адрес мой: в Самару, Юрию Федоровичу Самарину для передачи Л. Н. Т.

«Путешествие я сделал прекрасное, место мне очень нравится, здоровье лучше, т.-е. меньше кашляю. Алексей и ребята живы и здоровы, что можете сообщить их родным. Пожалуйста, напишите мне о Сереже или он сам. Всем дорогим товарищам поклон и прошу их писать мне, что и как у них делается и живется. Влад. Ив. Юшков молодцом еще. С места напишу подробнее. Целую ваши руки».

Затем он пишет уже с места своего лечения:

28 июня 1862.

«Вот уже месяц, как я без всяких сведений о вас и из дома, пожалуйста, напишите мне о всех, во-1) родных, во-2) студентах и т. д. Мы с Алексеем потолстели, в особенности он, но кашляем немного, тоже в особенности он. Живем мы в кибитке, погода прекрасная, я нашел приятеля Столыпина—атаманом в Уральске и

ездил к нему и привез оттуда писаря, но диктую и пишу мало. Лень одолевает при кумысе. Через две недели я намерен отсюда выехать и потому к Ильину дню думаю быть дома. Меня мучает неизвестность в этой глуши и еще мысль о том, что я безобразно отстал в издании журнала. Целую ваши ручки. Пожалуйста, напишите подробно о Сереже, Маше, студентах, которым кланяюсь.

При сем письма ребят родителям».

Между тем во время его столь благодушного пребывания на кумысе в башкирских степях, в ясно-полянской школе произошло неожиданное событие.

Весьма понятно, что сильная проповедь свободы словом и делом в школьных занятиях не могла не обратить внимания подлежащего начальства, и на Ясную Поляну было кому следует указано как на источник преступной пропаганды. И летом 1862 года туда нагрянули жандармы с обыском.

Подробный рассказ об этом мы находим в воспоминаниях Евг. Маркова, в его статье, напечатанной в «Вестнике Европы».

«Не могу не привести,—говорит Марков, — здесь кстати характерного эпизода, который очень мало кому известен, но который послужил причиною прекращения педагогической деятельности гр. Л. Н. Толстого. Как мировой посредник первого призыва, горячо сочувствовавший делу освобождения крестьян, гр. Л. Толстой действовал, разумеется, в таком духе, который страшно ожесточил против него огромное большинство помещиков. Он получал множество писем с угрозами всякого рода: его собирались и побить и застрелить на дуэли; на него писали доносы. Как нарочно, в то самое время, когда он стал издавать журнал «Ясная Поляна», в Петербурге появились прокламации разных тайных противогосударственных партий, и тогдашняя полиция деятельно разыскивала, где скрывается печатающая их типография. Кто-то из озлобленных на Толстого местных обывателей тонко сообразил, что где же и печататься тайным листкам и подметным воззваниям, как не в типографии журнала, издаваемого—horribile dictu! — не в городе, как у всех честных людей, а в деревне, позабыв однако взглянуть на обертку журнала, где достаточно четким шрифтом было изображено, что журнал печатается вовсе не в деревне, а в самой благонамеренной типографии М. Н. Каткова в Москве. Тем не менее донос произвел целую бурю.

В отсутствие Льва Николаевича в доме его проживала хозяйкой старушка тетка, да гостила с детьми родная сестра графа, Мария Николаевна, по мужу тоже графиня Толстая. Я и наш общий приятель, Г. А. Ауэрбах, проводили это лето с своими семьями в верстах пяти от Ясной Поляны, сняв вчаймы дом одного помещика в той же Малиновой Засеке, среди которой была и Ясная Поляна. Вдруг рано утром к нам верховой из Ясной Поляны. Нас просят поскорее приехать по важному делу. Мы с Ауэрбахом садимся в шарабан и катим, что есть духу. Въезжаем на двор, смотрим—там целое нашествие! Почтовые тройки с колокольчиками, обывательские подводы, исправник, становые, сотские, понятые и в довершение всего—жандармы. Жандармский полковник во главе этой грозной экспедиции, со звоном, шумом и треском подкатившей вдруг к мирному дому Льва Николаевича, к бесконечному изумлению деревенского люда. Нас едва пропустили в дом. Бедные дамы лежат чуть не в обмороке. Везде кругом сторожа, все разрыто, раскрыто, перевернуто, ящики столов, шканы, комоды, сундуки, шкатулки. В конюшне поднимают ломом полы; в прудках парка стараются выловить сетью преступный типографский станок, вместо которого попадаются только одни невинные караси да раки. Понятно, что злополучную школу и подавно вывернули вверх дном, но, не найдя ничего, отправились таким же людным и шумным свадебным поездом, гремя колоколами и гремушками, по всем, кажется, 17-ти школам мирового участка, перевертывая столы и шканы, забирая тетради и книги, арестовывая учителей и поселяя, конечно, в темной мужицкой толпе, без того не особенно дружелюбной к школе и учению, самые нелепые предположения» [1]).

[1]) Евг. Марков. „Живая душа в школе". Мысли и воспоминания стараго педагога. „Вестник Европы". Февраль, 1900 года. Стр. 584.

Об этом эпизоде вспоминает также в своих записках кн. Д. Д. Оболенский, дополняя некоторыми интересными подробностями:

«Яснополянская школа шла великолепно. Но так как в ней учили все студенты, то свыше не особенно благоприятно смотрели на нее и полагали, что непременно есть что-нибудь политически-неблагонадежное в Ясной Поляне. Туда являлся даже жандармский офицер, но, конечно, ничего не нашел, так как ничего и не было. Только в одной из комнат яснополянского дома, обращенного в школу, внимание жандармского офицера остановилось на фотографическом аппарате. В 1862 году это было еще редкостью, особенно в провинции, в деревне.—Что это такое?—строго спросил офицер,—кого тут снимают? Студенты, конечно, не были довольны незванному гостю, и один шутник быстро отвечал:—Герцена в натуре.—Как Герцена?..—переспросил офицер. Но смех об'яснил ему шутку, и, кусая губы, офицер уехал» [1]).

Захарьин-Якунин в своих воспоминаниях о графине А. А. Толстой рассказывает еще следующее:

«Передавая об этом оскорбительном событии графине А. А. Толстой, Лев Николаевич добавлял:—Я часто говорю себе: какое огромное счастье, что меня не было дома! Ежели бы я был, то теперь, наверно бы, уж судился как убийца.—Эту резкую фразу Льва Николаевича, сказанную 42 года тому назад, легко об'яснить себе, если припомнить все оскорбительные перипетии, которым подверглись самые близкие к нему в то время лица—его тетушка и родная сестра. Достаточно сказать, что частный пристав города Тулы Кобеляцкий позволил выйти из кабинета в гостиную и позволил лечь спать сестре Льва Николаевича только тогда, когда перечитал вслух, в ее и двух жандармов присутствии, *все* те интимные письма, о которых упоминалось выше, а также дневник и все то, что писал—и тщательно хранил от всех—сам Лев Николаевич с 16-летнего своего возраста...

«Яснополянский хозяин не пожелал оставить безнаказанным такое тяжкое, нанесенное ему без всякого повода, оскорбление, эту ненужную относительно него жестокость, заставившую его уехать с кумыса, не долечившись до конца. Он обратился тотчас же по получении известия о бывшем у него в доме погроме к покойной графине А. А. и просил ее сообщить все обстоятельства дела тем лицам, власть имущим, которые хорошо его знали и на заступничество которых он мог рассчитывать,—графу В. А. Перовскому, гр. А. Д. Блудовой и др.; главное—Лев Николаевич просил не о наказании своих оскорбителей, а лишь о восстановлении своего доброго имени в глазах окружающих его крестьян и об ограждении себя от подобных событий на будущее время. «Дела этого оставить я никак не хочу и *не могу*,—писал он.—Вся моя деятельность, в которой я нашел счастье и успокоение, испорчена. Тетенька от испуга так больна, что, вероятно, не встанет. Народ смотрит на меня уже не как на честного человека—мнение, которое я заслуживал годами,—а как на преступника, поджигателя или делателя фальшивой монеты, который только по плутоватости увернулся...

«— Что, брат, попался!.. Будет тебе толковать нам о честности, справедливости,—самого чуть не заковали.

«О помещиках что и говорить: это стон восторга. Напишите мне, пожалуйста, поскорее, посоветовавшись с Перовским и Алексеем Толстым, или с кем хотите, как мне написать и как передать письмо государю? Выхода мне нет другого—как получить такое же гласное удовлетворение, как и оскорбление (поправить дело уже невозможно), или экспатрироваться, на что я твердо решился. К Герцену я не поеду; Герцен сам по себе—и я сам по себе. Я и прятаться не стану, а громко об'явлю, что продаю имение, чтобы ехать из России, где нельзя узнать минутой вперед, что тебя ожидает»...

Письмо это очень длинно, на восьми больших страницах. В конце, сообщая о том, что жандармский полковник, уезжая, пригрозил новым обыском, пока не най-

[1]) Наброски и воспоминания кн. Д. Д. Оболенского. „Русский Архив", кн. 10. 1894 года.

дут, «ежели что спрятано», Лев Николаевич добавляет:—«У меня в комнате заряжены пистолеты, и я жду, чем все это разрешится»... [1]).

Мне помнится также, Лев Николаевич рассказывал мне, что он чувствовал себя чрезвычайно оскорбленным этим вмешательством полиции в его дела, тем более, что это посещение полиции и обыск, который она произвела, были сделаны в его отсутствие. Лев Николаевич решил жаловаться, и в Москве во время приезда туда государя Александра II лично подал ему просьбу об удовлетворении, встретив его гуляющим в Александровском саду. Государь принял просьбу и потом, кажется, прислал ко Льву Николаевичу флигель-ад'ютанта с извинением.

Но власти не успокоились, и вот осенью того же года возникает комичная переписка между двумя министерствами, внутренних дел и народного просвещения, о журнале «Ясная Поляна». Приводим выдержки из этой переписки, напечатанной в воспоминаниях профессора Усова.

«Министр внутренних дел сообщил министру народного просвещения 3 октября 1862 года:

«Внимательное чтение педагогического журнала «Ясная Поляна», издаваемого графом Толстым, приводит к убеждению, что этот журнал, проповедующий совершенно новые приемы преподавания и основные начала народных школ, нередко распространяет такие идеи, которые, независимо от их неправильности, по самому направлению своему оказываются вредными. Не входя в подробный разбор доктрины этого журнала и не указывая на отдельные статьи и выражения, что, впрочем, не представило бы затруднений, я считаю нужным обратить внимание вашего превосходительства на общее направление и дух этого журнала, нередко низвергающие основные правила религии и нравственности. Продолжение журнала в том же духе, по моему мнению, должно быть признано тем более вредным, что издатель, обладая замечательным и, можно сказать, увлекательным литературным дарованием, не может быть заподозрен ни в злоумышленности, ни в недобросовестности своих убеждений. Зло заключается именно в ложности и, так сказать, в эксцентричности этих убеждений, которые, будучи изложены с особенным красноречием, могут увлечь на этот путь неопытных педагогов и сообщить неправильное направление делу народного образования. Имею честь сообщить о сем вам, милостивый государь, в том предположении, что не изволите ли вы признать полезным обратить особое внимание цензора на это издание».

Получив это отношение, министр народного просвещения поручил рассмотреть все вышедшие книги журнала «Ясная Поляна» и сообщил министру внутренних дел от 24 октября того же года, что как по собственному наблюдению министерства, так и по содержанию представленного ему, министру, отчета о «Ясной Поляне» в направлении помянутого журнала нет ничего вредного и противного религии, но встречаются крайности педагогических воззрений, которые подлежат критике в ученых педагогических журналах, а никак не запрещению со стороны цензуры.

«Вообще,—писал далее министр народного просвещения,—я должен сказать, что деятельность графа Толстого по педагогической части заслуживает полного уважения, и министерство народного просвещения обязано помогать ему и оказывать содействие, хотя не может разделить всех его мыслей, от которых, после многостороннего обсуждения, он и сам, вероятно, откажется» [2]).

Но либеральное министерство народного просвещения ошиблось,—Толстой не отказался от своих мыслей, хотя все эти нападки и остановили дальнейшее развитие школьного дела в Ясной Поляне.

---

[1]) Ив. Захарьин-Якунин. „Воспоминания о гр. А. А. Толстой“ „Вестник Европы“. Июнь 1904 года. Стр. 458.

[2]) П. Усов. „Из моих воспоминаний“. „Исторический Вестник“. 1884. III.

ГЛАВА XVI.

Женитьба. Краткий обзор произведений.

Несмотря на видимый успех своего педагогического дела, Лев Николаевич не мог быть вполне удовлетворен им; несмотря на величественность здания, столь искусно построенного, он не был уверен в прочности его основания. Для него этого основания вовсе не существовало. Его аналитический ум не позволял ему успокоиться на основаниях эфемерных, а прочного он не находил.

И вот это-то неудовлетворение он и выразил в словах своей «Исповеди», относящихся к этому периоду:

Мне казалось, что я этому выучился за границей, и, вооруженный всей этой премудростью, я в год освобождения крестьян вернулся в Россию и, заняв место посредника, стал учить и необразованный народ в школах и образованных людей в журнале, который я начал издавать. Дело, казалось, шло хорошо, но я чувствовал, что я не совсем умственно здоров и долго это не может продолжаться. И я бы тогда, может-быть, пришел к тому отчаянию, к которому я пришел через пятнадцать лет, если бы у меня не было еще одной стороны жизни, неизведанной еще мною и обещавшей мне спасение,—это была семейная жизнь.

В продолжение года я занимался посредничеством, школами и журналом и так измучился, от того особенно, что запутался, так мне тяжела стала борьба по посредничеству, так смутно проявлялась моя деятельность в школах, так противно стало мое виляние в журнале, состоящее все в одном и том же—в желании учить всех и скрыть то, что я не знаю, чему учить, что я заболел более духовно, чем физически,—бросил все и поехал в степь к башкирам—дышать воздухом, пить кумыс и жить животною жизнью.

Вернувшись оттуда, я женился» [1]).

К этому же времени относится следующее происшествие в жизни Льва Николаевича.

Все еще страстный игрок, он часто делался жертвой своего увлечения; и вот, в начале 1862 года Лев Николаевич проиграл на китайском бильярде какому-то пехотному капитану 1000 рублей.

Он не мог заплатить этого долга и в уплату его продал известному публицисту Каткову для напечатания в издаваемом им «Русском Вестнике» свою неоконченную повесть «Казаки». Она появилась в январе 1863 года в неоконченном виде и после, вследствие неприятного воспоминания, связанного с нею, Лев Николаевич бросил ее и больше не писал.

Тургенев, сообщая об этом событии Фету, со слов Боткина, писал:

«Толстой написал Боткину, что он в Москве проигрался и взял у Каткова 1000 р. в задаток своего кавказского романа. Дай-то Бог, чтобы он хоть этаким путем возвратился к своему настоящему делу. Его «Детство и юность» появились в английском переводе и, сколько слышно, нравятся. Я попросил одного знакомого написать об этом статью для «Revue des deux Mondes». Знаться с народом необходимо, но истерически льнуть к нему, как беременная женщина, бессмысленно».

В это время Лев Николаевич усердно посещал семейство доктора Берса, с которым вскоре пришлось ему соединиться семейными узами.

«Мы были еще девочками,—рассказывала графиня Толстая биографу Лёвенфельду,—когда Толстой стал бывать в нашем доме. Он был уже известным писателем и вел в Москве веселый, шумный образ жизни. Однажды Лев Николаевич вбежал в нашу комнату и радостно сообщил нам, что только-что продал Каткову своих «Казаков» за тысячу рублей. Мы нашли цену очень низкой. Тогда он об'явил нам, что его заставила нужда; он накануне проиграл как раз эту сумму в «китайский

[1]) „Исповедь". Изд. Черткова.

Софья Андреевна Берс, невеста Л. Н-ча Толстого.

бильярд», и для него было делом чести немедленно же погасить этот долг. Он намеревался написать вторую часть «Казаков», но никогда не выполнил этого. Его сообщение так расстроило нас, девочек, что мы ходили по комнате и плакали».

К этому времени Лев Николаевич снова сошелся с Фетом, размолвка с которым была уже следствием ссоры с Тургеневым. О возобновлении с ним дружеских отношений Фет рассказывает так:

«Если память моя, так верно хранящая не только события, важные по отношению к дальнейшему течению моей жизни, но даже те или другие слова, в данное время сказанные, тем не менее не удержала обстоятельств, возобновивших мои дружеские с Толстым отношения после его раздражительной приписки, то это только доказывает, что его гнев по отношению ко мне явился крупной градиной в июле, которая должна была сама растаять, хотя предполагаю, что дело произошло не без помощи Борисова. Как бы то ни было, но Лев Николаевич снова появился на нашем горизонте и со свойственным ему увлечением стал говорить мне о своем знакомстве в доме доктора Берса.

«Воспользовавшись предложением графа представить меня семейству Берса, я нашел любезного и светски обходительного старика-доктора и красивую, величавую брюнетку, жену его, которая, очевидно, главенствовала в доме. Воздерживаюсь от описания трех молодых девушек, из которых младшая обладала прекрасным контральто. Все они, несмотря на бдительный надзор матери и безукоризненную скромность, обладали тем привлекательным оттенком, который французы обозначают словом «du chien». Сервировка стола и самый обед повелительной хозяйки дома были безукоризненны» [1]).

Об отношении Льва Николаевича к семейству Берс и о постепенном подготовлении его к женитьбе мы приводим рассказ свояченицы Льва Николаевича, сообщенный нам в частном письме.

«Его отношения к нашему дому идут издавна: дед наш Исленев и отец Льва Николаевича были соседи по имению и дружны. Семьи их постоянно виделись, и потому мать моя со Львом Николаевичем в детстве была на «ты». Он ездил к нам, еще бывши офицером. Мать моя была уже замужем и дружна очень с Марией Николаевной, сестрой Льва Николаевича, и у Марии Николаевны я, бывши ребенком, видала часто Льва Николаевича. Он затевал всякие игры с племянницами и со мною. Мне было лет 10, и я его мало помню. Затем несколько лет он не бывал у нас и, возвратившись из-за границы и приехавши к нам на дачу в Покровское (под Москвою), он нашел двух старших сестер моих взрослыми. Из-за границы он привез учителя Келлера и призывал еще других в Москве для своей школы, которой он очень увлекался.

«В Покровское он ходил к нам всегда почти пешком (12 верст). Мы делали с ним большие прогулки. Он очень вникал в нашу жизнь и стал нам близким человеком. Затем мы в августе поехали в Тульскую губернию, в имение деда, на две недели,—мать и мы, три сестры, на лошадях, конечно. Он тоже поехал с нами. Мы заехали дорогою в Ясную Поляну. Жил он со своей тетушкой, Татьяной Александровной Ергольской, и с сестрой, Марией Николаевной. И вот к ним-то и заехала моя мать. В Ясной Поляне устроили на другой день пикник в Засеку с семьею Ауэрбах и Марковым. В Засеке убирали сено, и мы влезли все на стог. Затем он вслед за нами отправился в Пирцы, имение деда, и там произошло об'яснение за ломберным столом первоначальными буквами, как описано в «Анне Карениной». В сентябре мы переехали в Москву, куда и он приехал, и 17-го сентября 1862 г. об'явили его свадьбу в Москве. Во все время его пребывания в Москве, где бы он ни был, он бывал оживлен, весел, остроумен—от него, как от вулкана, летели во все стороны Божии искры и исходил священный огонь. Помню его часто за роялью. Он привозил нам ноты, разучивал «Херувимскую» Бортнянского с нами и многое другое, аккомпанировал мне ежедневно и называл «мадам Виардо», заставляя петь без конца».

---

[1]) А. Фет. „Мои воспоминания", т. I.

А вот как рассказывает об этом событии сама графиня Толстая в разговоре с Лёвенфельдом,—мы дополняем и исправляем этот рассказ, лично слышанный от графини:

«Граф тогда постоянно бывал в нашем доме. Мы думали, что он интересовался нашей старшей сестрой, и отец мой был в этом вполне уверен до самой той минуты, когда Лев Николаевич попросил у него моей руки. Это было в 1862 году. Мы поехали с матерью в августе месяце через Ясную Поляну к нашему деду. Мать наша хотела навестить сестру графа, и поэтому мы, три сестры, и наш меньшой брат, пробыли несколько дней здесь. Никого не удивило, что граф был необыкновенно приветлив с нами; наше знакомство, как я вам уже сказала, было очень старое, и граф всегда был чрезвычайно мил с нами. Ивицы, имение нашего деда, отстояло в 50 верстах от Ясной Поляны. Через несколько дней туда приехал вслед за нами и Лев Николаевич, и одним словом, здесь разыгралась сцена, подобная той, которая описана в «Анне Карениной», когда Левин пишет на столе свое об'яснение в любви одними только начальными буквами, и Китти сразу угадывает его.—И до сих пор еще,—заметила графиня с улыбкой, из которой можно было видеть, что одно только воспоминание об этом доставляло ей искреннее удовольствие,—я не могу понять, как я разобрала тогда эти буквы. Должно быть, правда, что одинаково настроенные души дают один и тот же тон, подобно одинаково настроенным струнам» [1]).

Фразы, которыми обменялись Лев Николаевич и Софья Андреевна и которые были написаны одними начальными буквами, были следующие:

«В. В. с. с. л. в. н. м. и н. В. с. Л. р. е. В. с. Т.».

Это означало: «В Вашем семействе существует ложный взгляд на меня и на вашу сестру Лизу; разрушьте его Вы с Таничкой».

Софья Андреевна отгадала эту фразу и дала утвердительный знак.

Тогда он написал еще:

«В. м. и н. с. с. ж. н. н. м. м. с. и н. с.».

Что означало: «Ваша молодость и потребность счастья слишком живо напоминают нынче мне мою старость и невозможность счастья».

Больше между ними ничего не было сказано, они понимали и были уверены друг в друге.

Берсы поехали в Москву, Лев Николаевич и туда приехал вместе с ними. Он жил в городе, а Берсы проводили время на даче, в Покровском-Глебове, в 12-ти верстах от Москвы. Семья их уж 20 лет жила там каждое лето. Лев Николаевич был ежедневно их гостем. Все в доме были твердо уверены, что он в самое короткое время посватается к старшей дочери.

Но вот 17-го сентября, в день именин Софьи Андреевны, Лев Николаевич передал ей письмо, в котором делал ей предложение. Конечно, в ней он встретил только радостное согласие; но старик отец был недоволен,—ему, по старым обычаям, не хотелось отдавать младшую дочь раньше старшей, и сначала он отказал. Но настойчивость Льва Николаевича и твердость Софьи Андреевны заставили старика согласиться.

В дневнике Льва Николаевича мы находим такое яркое отражение этих событий.

После одного из посещений Берсов, 23 августа, он записал:

«Я боюсь себя; что ежели и это *желание* любви, а не любовь? Я стараюсь глядеть только на ее слабые стороны и все-таки люблю».

В то же время он чувствует одиночество в общественной жизни.

«Встал здоров, с особенно светлой головой, писалось хорошо, но содержание бедно. Потом так грустно, как давно не было. Нет у меня друзей, нет. Я один. Были друзья, когда я служил Мамону, и нет, когда я служу правде».

Наконец, 26-го августа он пишет:

---

[1]) R. Loewenfeld. Gespräche mit und über Tolstoi. Leipzig.

«Пошел к Берсам в Покровское пешком. Покойно, уютно. Соня дала прочесть повесть. Что за энергия правды и простоты! Ее мучает неясность. Все я читал без замирания, без признаков ревности или зависти, но «необычайно непривлекательной наружности и переменчивость суждений» задели славно. Я успокоился; все это не про меня».

К сожалению, эта повесть не дошла до нас: она уничтожена была самой С. А-ной.

28-го августа, в день своего рождения, когда ему минуло 34 года, в его записи видно снова колебание—самоосуждение и борьба; он пишет:

«Встал с привычной грустью. Придумал общество для учеников мастерских. Сладкая, успокоительная ночь. Скверная рожа, не думай о браке, твое призвание другое и дано зато много».

Но потребность семейного счастья взяла вверх, и *желание* любви перешло наконец в настоящую, страстную любовь, которая уже не знала никаких преград. И все-таки, несмотря на силу этой страсти, Лев Николаевич и тут сумел проявить свою честность, свою любовь к правде. Уже сделав предложение и получив согласие, он дал своей невесте прочесть свои дневники холостой жизни, в которых с самообличением и голою искренностью описаны были все увлечения молодости, все падения и все душевные бури, пережитые Львом Николаевичем.

Чтение этого дневника было ударом и невыразимым страданием для молодой девушки, видевшей в своем герое идеал всех добродетелей. Страдание это было так сильно и борьба пережитая была так трудна, что она минутами колебалась, не порвать ли уже установившуюся связь. Но любовь разрушила все эти колебания, и она, выплакав ночами свои страдания, отдала Льву Николаевичу дневник, и он прочел в ее взоре прощение и еще более сильную, уже закаленную любовь.

Свадьба была назначена очень скоро, через неделю после формального предложения, 23-го сентября.

Венчались в Кремле, в придворной церкви, а после венца на лошадях в дормезе уехали в Ясную Поляну, где их встретил брат, Сергей Николаевич, и тетка, Татьяна Александровна.

Брат графини Толстой, С. А. Берс, в своих воспоминаниях так характеризует свою сестру:

«Мой покойный отец отрицал воспитание в женских учебных заведениях; поэтому жена Льва Николаевича получила воспитание и образование дома, по подвергалась экзамену и удостоена диплома, дающего право домашней учительницы. В девушках она вела дневник, пыталась писать повести и обнаруживала способность к живописи» [1]).

Вскоре после женитьбы Лев Николаевич писал Фету:

«Фетушка, дяденька и просто милый друг Афанасий Афанасьевич! Я две недели женат и счастлив, и новый, совсем новый человек. Хотел я сам быть у вас, но не удастся. Когда я вас увижу? Опомнившись, я дорожу вами очень и очень, и между нами слишком много близкого, незабываемого—Николенька, да и кроме того. Заезжайте познакомиться со мной. Целую руку Марьи Петровны. Прощайте, милый друг. Обнимаю вас от души» [2]).

Женившись, Лев Николаевич вступил в новый фазис жизни, семейный, «еще им неизведанный и обещавший спасение», как говорит он в «Исповеди». Мы увидим из дальнейшего изложения, насколько ожидания Льва Николаевича оправдались. Дух анализа не пощадил и этой спасительной пристани, разрушил и эту иллюзию. А всесильный разум поднял его на высшую ступень. Мы надеемся заглянуть в этот таинственный процесс, насколько он нам доступен, в следующем томе нашего изложения.

---

[1]) С. А. Берс. „Воспоминания о гр. Л. Н. Толстом". Стр. 13.
[2]) „Мои воспоминания", А. Фета, ч. I, стр. 405.

За этот период, кроме упомянутых в своем месте, были написаны Львом Николаевичем следующие произведения:

«Метель», «Записки маркера», «Два гусара», «Семейное счастие», «Поликушка», и начата повесть: «Холстомер».

«Метель»—это зимний пейзаж; читая его, вы не только видите самую метель, занесенную дорогу, заблудившихся ямщиков, со своими тройками, но слышите все звуки этой метели и чувствуете какую-то тихую, замирающую стихийную жизнь...

В «Записках маркера» изображена погибающая в городском разврате чистая, кроткая человеческая душа.

В «Двух гусарах» изображены два поколения: старое, кутящее напропалую, но цельное, искреннее и потому живое и стихийно гармоничное, и рядом поколение молодое—развратное в своей сдержанности, расчетливости и лицемерии. Стихийная гармония нарушена, а гармония сознательная еще не найдена, и звучит страшный диссонанс души, испорченной пороком.

«Семейное счастие» это тихая, грациозная история любви, отражение пережитого автором романа.

«Поликушка»—трагедия крепостного права, издевательство чувствительного барства над мужицкой душой, скрывающей под грубой оболочкой самые тонкие нравственные черты, ломающиеся при одном прикосновении к ним изуродованного, изолгавшегося барства.

Критики 60-х годов мало занимались этими замечательными произведениями.

Они искали шаблонной общественности и не были достаточно чутки к высшей, нравственной красоте, которой проникнуты эти произведения.

Это молчание критиков заставило одного из них написать статью, озаглавленную так: «Явления современной литературы, пропущенные нашей критикой. Граф Лев Толстой и его сочинения».

Мы не считаем уместным вдаваться в подробную критическую оценку этих произведений и говорим о них только как о жизненных фактах, свидетельствующих о неустанной внутренней и творческой работе Толстого.

Заключение к 1-му тому биографии Льва Николаевича Толстого.

Перед нами в этом беглом описании прошла почти половина жизни Льва Николаевича Толстого.

Опасаясь неумелою рукой исказить оригинальные мысли и свидетельства, мы старались везде, где только возможно, дать слово самому Льву Николаевичу или его близким, родным и друзьям, знакомым и товарищам, излагать эти мысли и свидетельства, ограничивая свою роль лишь показыванием этого интересного ряда картин.

Тем не менее, несмотря на сырость этого материала, мы полагаем, что характер личности Льва Николаевича за эту половину его жизни должен ярко выступить перед глазами читателя. И мы намерены указать здесь, в заключении, на некоторые выдающиеся черты этого характера, которые бросились нам в глаза и которые, по нашему мнению, обусловили его дальнейшее развитие.

Одна из таких выдающихся черт есть необыкновенно страстное увлечение всяким предметом, который попадал в область его влияния. Было ли то псовая охота, или картежная игра, музыка, чтение, педагогика, хозяйство—он исчерпывал до конца каждый взятый сосуд новых впечатлений, перерабатывал его в своей художественной лаборатории и давал его миру в прекрасных формах, проникнутых высоким морально-философским смыслом.

С тою же страстностью он шел и в искании истины, смысла человеческой жизни, и с тою же силой своего гения переработал и дал миру в прекраснейшей форме добытый им результат.

Старинная липовая аллея в Яснополянском саду.

Другой чертой его характера была правдивость, искренность, ничего не боящаяся, часто приводившая его в неприятные столкновения, но еще чаще приводившая и окончательно приведшая его к тому Богу Истины, которому он служил, часто бессознательно для себя, затемняя его разными временными увлечениями.

Наконец, третьей чертой характера была любовь добра, наслаждение им и неустанная работа над собой с целью расширения этой области добра, завлечения других на путь добра, стремление показать другим красоту его.

Мы видим, что уже этих трех указанных черт, при его природных дарованиях, вполне достаточно для достижения того мирового влияния, которое ему свойственно теперь.

Но, обозревая первую половину жизни, мы замечаем еще одну замечательную черту—это постоянное неудовлетворение самим собой, своей деятельностью, своей литературной работой. Эта неудовлетворенность поддерживалась в нем постоянным самоанализом, не дававшим ему успокоиться ни на одной из представляющихся ему красивых иллюзий.

И эта неудовлетворенность не была болезненным, беспричинным нытьем. У нее были глубокие реальные причины. При всех огромных средствах его духовного развития, ему не хватало прочного основания, синтеза всех волновавших его идей. Часто он близко подходил к решению великой задачи, но не мог ухватить ее, проходил мимо и снова глубоко и сильно страдал.

Эти колебания его около одного, единственно возможного, необходимого и достаточного (как говорят математики) решения об'ясняют все кажущиеся противоречия его суждений и самоосуждений.

В следующем томе мы надемся изложить ход событий в жизни Льва Николаевича, приведший его к тому моменту, когда жажда истины и страдания от ненахождения ее достигли высшей степени и в силу неизбежности привели его к единому решению, к единой основе жизни и к единому руководству в дальнейшей деятельности, к *религии*.

Конец первого тома.

Алфавитный указатель фамилий лиц, упоминаемых в первом томе.

(Сост. библиограф *Д. П. Сильчевский.*)

Агафья Михайловна (Гаша), горничная 5, 40, 90, 91.
Аким, садовник. 28.
Аксаков, Сергей Тимоф., писатель. 169.
Аксентьев, Ив., учитель. 220.
Александра Федоровна, императрица, вдова Николая I. 118.
Александр Гессенский, принц. 187.
Александр I, импер. 15, 226.
Александр II, император. 76, 114, 118, 139, 231, 435.
Алексеев, Никита Петр., офицер. 76, 77, 84, 103.
Алексей Петрович, царевич. 3, 4.
Алексей, слуга Л. Н-ча. 228.
Анна Ивановна, приживалка в семье Толстых. 30.
Анненков, Пав. Вас., писат. 129, 135.
Аннушка, няня. 30.
Аносов, Ив. Вас., офицер. 118, 119.
Аристотель. 209.
Арсеньева, Валерия. 139, 142—144—157.
Арсеньева, Женичка. 139.
Арсеньева, Ольга. 139, 157.
Артюхова, помещица. 204, 205, 206.
Асташев, моск. домовлад. 47.
Ауэрбах Бертольд, нем. писат. 179, 184, 185, 187, 197.
Ауэрбах, Г. А., тульск. помещик. 185, 229, 233.
Б.—офицер. 76.
Бакунин, офицер. 115.
Балюзек, подполк. 119.
Банкрофт, америк. посланник. 184.
Барклай-де-Толли, Мих. Богдан, кн. фельдмаршал. 227.
Барятинский, Ал-др Иванович, кн., 76, 82.
Барятинский, кн., офицер. 84.
Бейль, Анри. См. Стендаль.
Бекок, полицеймейстер. 118.
Березин, Илья Ник., проф. 135.
Берс, доктор. 135, 232—235.
Берс, Лиза, сестра гр. С. А. Толстой. 234.
Берс, С. А., шурин Л. Н-ча. XV, 48, 101, 235.
Бетховен. 42.
Билковский, капитан, 76.
Битовт, Юрий. XVI.
Благовещенский, Ник. Мих. проф., 135.
Блудова, Антонина Дмитр., графиня. 230.
Богословский, Евг. XVI.
Боде, Вильг. XII, 195, 197.
Больс-Марконэ, гофмаршал. 195.
Борисов, П. Н. тульск помещик. 200.
Борисов, Ив. Петр., знакомый Л. Н-ча. 168, 173, 181, 233.
Бортнянский, Дм. Ст., композитор. 233.
Борхунов, тульск. купец. 206.
Боткин, Вас. Петр., писат. 123, 129, 130, 131, 137, 161, 162, 169, 179, 232.
Брандт, тульск. помещ. 206.
Бреневский, офицер. 114.
Брокгауз и Ефрон. XVI. 7.
Буайэ, Поль., франц професс. XI, 124
Булгарин, Фед. Венедикт., писат. 178.
Бутков, статс-секретарь. 116.
Бутович, Митрофан, учитель. 220.
Бутурлин, деятель времени Петра В. 3.
Белинский, Виссар. Григ., критик. 123, 124, 129, 130.
Белосельская-Белозерская (Б-я-Б-я), княг. 126.
Бэкон, 185, 209.
Бюфон, франц. петуралист. 15.
Валуев, Петр. Ал-др., министр внутр. дел. 204.
Ванюша, камердинер Л. Н-ча. 41; 57, 79, 80
Варгин, хозяин меблир. комнат. 168.
Варенька, племянница Л. Н-ча 113, 130, 185, 192.
Василий Темный, вел. кн. моск. 3.
Венюков, Мих. Ив., писат. XVI, 118, 119.

Вергани, француженка-компаньонка. 139.
Виардо, Полина. 162.
Водовозов, Вас. Ив., педагог. 135.
Воейков, опекун Толстых. 133.
Волков, А. С. 76, 77.
Волконская, княжна, двоюр. сестра матери Л. Н-ча. 168.
Волконская, Варвара Александр., кн. 9, 12.
Волконская, Е. Г., кн. XVI.
Волконская, (урожд. Трубецкая), Екат. Дм. 8.
Волконская (урожд. Чаадаева), Мар. Дм. 8.
Волконская, Мар. Ник., кн. 40, 10.
Волконские, князья, предки по матери Л. Н-ча. 7, 8, 9.
Волконский, знакомый Л. Н-ча. 56.
Волконский, двоюрод. дядя Л. Н-ча. 34.
Волконский, Ал-др. Серг. 9, 12.
Волконский, Ив. Юр. 7.
Волконский, Мих. Ал-др. 12.
Волконский, Ник. Серг., дед по матери Л. Н-ча. 8, 9, 10, 12, 14, 15, 22, 34.
Волконский, Семен. Федор. 10.
Волконский, Серг. Григ., декабрист. XVI, 9, 10.
Волконский, Серг. Федор., прадед по матери Л. Н-ча. 7, 8, 10.
Волконский, кн., совр. писат. 12.
Волконский, Фед. Ив. 7
Волоцкой, тульск. помещ. 208.
Вольтер, 63.
Волынский, Аким Льв., писат. XVI.
Вревский, П. А., барон, генерал. 118.
Гаршин, Евг. Мих., писат. XVI, 127, 180, 203.
Гафиз, персидск. поэт. 173.
Гагарин, директор тульск. гимназии 219.
Гебель, нем. писат. 185.
Генрих IV, франц. король. 193.
Гераклий II, царь грузинский. 75.
Герцен, Алекс. Ив., писат. 119, 127, 136, 194, 485,
Герцен, Наталья Ал-дровна. 194.
Гёте, 124, 179, 195, 197, 199, 211.
Глебов, тульск. помещ. 15, 29.
Гоголь, Н. В. 60, 117, 132, 178.
Голицына, кн., знакомая Л. Н-ча. 188.
Голицын, Лев, кн. 9.
Голицин, Серг. Фед., кн. 9.
Головачева-Панаева, Авд. Як., писат. XV, 97, 121, 128.
Головин, Борис, учитель. 220.
Гомер, 167.
Гончаров, Ив. Ал-др., писат. 96, 123, 127, 135.
Горбунов, Ив. Фед., XII, 121.
Горбунов-Посадов, Ив. Ив., XV.
Горлов, Ив. Як., професс. 135.
Горохов, тул. помещик. 21.
Горчаковы, князья, родственники Толстых. 28, 105.
Горчаков, Ал-ей Ив., кн., воен. министр. 4, 14, 47.
Горчаков, Андрей Ив., кн 4, 14.
Горчаков, Дмитр. Петрович, кн. 4.
Горчаков, Мих. Дмитр., кн. 4, 105, 114, 115, 118, 121.
Горчаков, Ник. Ив., кн. 4
Горчаков, Петр Дм., кн. 4.
Горчаков, Серг. Дм., кн. 4, 102, 106.
Григорий, дворовый, старик. 30.
Григорович, Дм. Вас., писат. XV, 60, 123, 125, 127, 135.
Григорьев, Марк, дворовый. 204, 205.
Данилевский, Григ. Петр., писат. XV, 127.
Григорьев, Федор, пономарь. 22.
Громека, Степ. Степ., писат. 174.
Г. Т., управляющий. 207.
Гудима, Серг, учитель. 220.
Густав Иванович. 225.
Гюго, Виктор. 124.
Давыдов, книгопродавец. 202, 203.
Данненберг, генерал. 120.
Дараган, ген.-лейт., тульск. губернатор (1861 г.). 204.
Диккенс, Чарльз. 60, 102, 194.
Дистервег, нем. педаг. 197.
Дмитрий Ростовский, св. 11.
Дондукова-Корсакова, кн. 192.
Достоевский, Фед. Мих. 224.
Драганов, П. Д. XVI.
Дройзен, нем. историк. 184.
Дружинин, Ал-др Вас., писат. XV, 60, 96, 123,127, 130, 131, 134, 137, 161, 162, 181, 183.
Думшин, Георгий Данил, писат. 135.
Дунечка, горничная. 170.
Дьякова, Дарья Александровна. 186.
Дьяков, Дм. Ал-еевич, друг молодости Л. Н-ча. 45, 170, 186, 187, 188.
Дюбуа-Реймон, физиолог. 184, 186.
Дюма-отец, франц. писат. 194.
Евдокимушка, юродивый. 28.
Евпраксия, няня. 80.
Евфросинья, подруга царевича Алексея Петровича. 3.
Екатерина I, императрица. 3, 4.
Екатерина II, императрица. 4, 53, 61, 62.
Ергольская, Татьяна Александр., родственница Л. Н-ча («тетенька»). 11, 13, 15, 17, 24, 27, 35, 38, 40, 41, 57, 65, 69, 73, 83, 96, 98, 102, 105, 106, 113, 134, 151, 156, 162, 164, 169—173, 188, 197, 228, 233, 235.
«Еремеевна». 23.
Ермин, писат. 135.
Ес., инженер. 58.
Ефрон см. Брокгауз и Ефрон.
Жуковский, Вас. Андр., поэт. 58.
Загоскина, Е. Д. начальн. Казан. института. 52, 73, 74.
Загоскин, Н. П., проф. XV, 6, 17, 22, 50, 52, 55.
Занд, Жорж. 126.
Заслонина, помещица. 205, 206.
Захар, слуга. 125.
Захарьин (Якунин), И. XV, 169, 187, 230, 231.
Здекауэр, Ник. Фед. професс. 183.
Зелинский, В. XVI, 97, 167, 215.

Зернин, писат. 135.
Иванов, Архип, диакон. 22
Иванов, проф. Казан. универс. 53.
Иван, слуга Толстых. 42.
Иван Фомич. 225.
Игорь, князь. 53.
Ильин, Андрей, управляющий отца Л. Н-ча. 15.
Илья Митрофанович, крепостн. 33.
Индрис, предок-родоначальник Толстых. 3, 6.
Ислявина (в замужестве Берс), подруга детства Л. Н-ча. 135.
Исленевы, семья, знакомые Толстых. 30, 133, 233.
Исленев, Ал-др Мих., тульск. помещ. 15, 19, 29, 30, 48, 68.
Иисус Христос. 64, 114, 129, 189.
Иоанн Васильевич Грозный. 53.
Иосиф II, импер. австр. 8.
Калошина, Сонечка, подруга детства Л. Н-ча. 138.
Кант, Эммануил. 209.
Карамзин, Никол. Михайл. 53.
Карамзины, знаком. Л. Н-ча. 163.
Кареевская, г-жа. 169.
Карл-Александр., вел. герцог саксен-веймарский. 195.
Карл Федорович. 225.
Катков, Мих. Никиф., писат. 123, 229, 232.
Келлер, нем. математик. 197, 233.
Коневич, В. Ф., писатель. 135.
Кетчер, Ник. Христофор., писат. 136.
Киреевский, тульск. помещик. 15.
Киселевский, казан. домовладелец. 58.
Клаузер, пастор. 197.
Кнорринг. 88.
Кобеляцкий, частн. пристав. 230.
Ковалевский, Евгр. Петр., министр народн. просв. 219.
Ковалевский, Ег. Петр., писат. 218, 219, 220.
Козляников 2-й, Н. Ф., улан. офицер. 119.
Кок, Поль, де, франц. писат 194.
Колбасин, Елисей Як. 121, 161.
Колтовская, Анна Алексеевна, 4-я жена Иоанна Грозного. 53.
Кольцов, Ал-ей Вас., поэт. 124.
Коля, племянник Л. Н-ча, сын гр. Марьи Ник. Толстой. 192.
Кони, Анат. Федор. XVI. 122.
Константинов, генерал. 122, 136.
Константинов, писатель. 112.
Копытов, Дмитрий, кучер. 46.
Кореницкий, шт.-капитан. 136.
Корнилов, Владимир Ал-еевич, вице-адмирал 111.
Костомаров, тульск. помещик. 206.
Краснокутский. 116.
Крыжановский, генерал. 119, 122.
Крылов, офицер. 122.
Кузьма Кривой, помощник кучера. 36.
Кутузов, Мих Илларион., кн., фельдмаршал. 227.
Кювье, франц. натуралист. 15.
Лавров, Петр Лавр, писат. 135.
Лазаревичи, помещики. 146.
Левенфельд, Р., биограф Л. Н-ча. XV, 55, 61, 65, 123, 184, 207, 232, 234.
Левин, бригадн. командир. 103.
Левицкий, фотограф. 127.
Лев Степанович, сказочник. 6.
Лейхтенбергский, Максимилиан, герцог. 53.
Лелевель, Иоахим, польск. историк. 195.
Леонид, старец — монах Оптиной Пустыни. 40.
Лермонтов, Мих. Юр., поэт. 53. 60.
Лиза, бонна. 191.
Лизанька, дочь гр. М. Ник. Толстой, плем-ца Л. Н-ча. 191.
Липранди, Пав. Петр. генерал. 118, 120.
Лобачевский, Ник. Ив., ректор и проф. Казан. ун-та. 51.
Лодыженский, подпоручик. 99.
Лучинин, Влад. Фед. 119.
Лука, странник. 133.
Льховский, писат. 135.
Любовь Сергеевна, воспитанница Толстых. 58.
Лютер, Мартин. 185, 186, 209.
Лясковский, В. Н. XVI. 178.
М. М. 98.
Майков, Аполон Ник., поэт. 135.
Макалинский, поручик. 99.
Мальтиц, фон, рус. посланник в Веймаре. 195.
Марков, Евг. Льв., писат. XV, 215, 229, 233.
Марк-Аврелий, римск. импер.. 27.
Мартенау, генерал. 118.
Мартынов, Н. Г., издат.
Марья Герасимовна, юродивая. 27, 40, 41.
Марфуша, крепостная девушка. 28.
Матрена, скотница 35.
Матюша, дворов. камердинер Толстых. 5, 15.
Маша, побочн. жена гр. Д. Н. Толстого. 133.
Мезьер, Августа Вильгельмовна. XVI.
Мейендорф, бар. 74.
Мейер, проф. Каз. ун-та. 13, 53.
Меньшиков, Ал-др Данил., кн. 4.
Меньшиков, Ал-др Серг., генерал. 121.
Меньшиков, Мих. Осип., писат. XV.
Мериме, Проспер, франц. писат. 137.
Мещерские, знакомые Л. Н-ча. 163.
Милютин, Владим. (Володенька М.). 38. 45.
Милютин, Дм. Ал-ев. 116.
Минин, В. П. тульск. губ. предв. дворянства. 204.
Михаил Ник., вел. кн. 136.
Михаил, св., кн. Черниговский. 7.
Михайловский, Ник. Конст., писат. XVI.
Михайловский, тул. помещ. 205.
Михайловский-Данилевский, Ал-др Ив., воен. историк. 10.
Михайлов, Мих. Ларион., писатель. 126, 135.
Мишенька, побочный сын Ник. Ил Толстого, отца Л. Н-ча. 14.
Мишка, мальчик. 477.

Можайский, Вас., священник. 21.
Молоствова, Зинаида Модест. 74, 138.
Молоствов, Н. Г., биограф Л. Н-ча. IV, XVI, 14.
Молчанова, родственница Толстых. 40.
Мольер. 38.
Монгаунт, нем. педагог. 196.
Монтескье. 53. 61. 62.
Морозов, Петр, учитель. 220.
Мортье, учитель музыки. 141, 142, 143, 169.
Моцарт, 42.
Мусин-Пушкин, гусар. офицер. 119.
Мусин-Пушкин, попечит. казанск. уч. округа. 50, 63, 116.
Мустафа-паша. 106, 108.
Муций Сцевола. 25.
Назарьев, Валер. Ник. писат. XVI. 53, 54, 117.
Наполеон I Бонапарт. 10, 16, 46, 227.
Наполеон III, импер. 218.
Наталья Петровна. 170, 171.
Нахимов, Пав. Степ., адмирал. 104.
Некрасов, Ник. Ал-ч, поэт. XVI, 10, 95, 96, 97, 115, 116, 123, 126, 129, 130, 161, 167.
Никифоров, Л. П. XVI.
Николай Дмитр., дядька Л. Н-ча. 35.
Николай I, имп. 15, 104.
Николай Филиппович, куч. 30, 35.
Оболенский, Д. А., кн. 133.
Оболенский, Дм. Дм., кн. XVI, 55, 207, 208, 230.
Овидий, 4.
Огарев, Ник. Плат., поэт. 36.
Огаревы, знакомые семьи Толстых. 12, 28.
Оголин, казанский прокурор. 74.
Олег, князь. 53.
Осипович, тульск. помещик. 206.
Осташков, охотник. 174, 175.
Остен-Сакен, граф, муж тетки Л. Н-ча. 38, 39.
Остен-Сакен (урожд. Толстая), Александра Ильин., графиня. 4, 6, 12, 37, 38—41, 57.
Островский, Ал-др Ник., писат. 123, 127, 135, 178.
Павел I, импер. 8.
Павленков, Флорент. Федор., издат. XVI.
Павлов, генерал. 120.
Пальмерстон, лорд, англ. министр. 195.
Панаев, Ив. Ив., писат. XVI, 96, 97, 115, 116, 117, 121, 123, 128, 130, 132, 136, 137.
Пашенька, воспитанн. гр. А. И. Остен-Сакен. 12, 39, 46, 56.
Перелыгина. А. В. XII.
Перовская, помещица. 30, 33.
Перовский, В. А., гр. 330.
Перфильев, друг Л. Н-ча. 104, 169.
Петерсон, Николай, учитель. 220.
Петонди, казан. домовладелец. 54, 55.
Петруша, дворов., камерд. Толстых. 5, 15, 76, 77.
Петр II, импер. 4.
Петька, мальчик. 227.
Пимен Тимофеич, дворов., старик. 49.
Писемский, Ал-ей Феофилакт., писатель. 122.
Пистолькорс, офицер. 100.
Плаксин, Серг. XVI, 191, 192.
Планьи, де, А. А. 52.
Платон, греч. филос. 209.
Плетнев, Петр. Ал.-др. профес. 123
Погорельский, Ант., писат. 46.
Полторацкий, В. А. I. 99, 101.
Полторацкий, Павел. 100, 101.
Полубояринов, студ. Каз. ун-та. 58.
Поляков, моск. домовладелец. 47.
Поплонский, студ., учитель Л. Н-ча 56.
Потемкин, Григ. Ал-др., кн. 8.
Прасковья Исаевна, экономка. 29, 56, 90.
Прескотт, америк. историк. 60.
Прокофий, доезжачий. 173.
Прометей, 173.
Пронька, мальчик. 222.
Протасов, помещик. 58.
Прудон, Пьер-Жозеф, франц. писат 195.
Пугачев. 30.
Пушкин, Ал-др граф. 44.
Пушкин, Ал. Серг., поэт. XVII, 16, 46, 60, 128, 137.
Пущины, знакомые Л. Н-ча. 163.

Раевский, Н. А., тульский помещ. 208.
Реад, Ник. Андр., генерал. 118.
Рессель, Фед. Ив,. немец, гувернер Л. Н-ча. 5, 23, 24, 27, 29, 33, 35, 41.
Риль, нем. писат. 185, 186.
Розен, барон, офицер. 99, 100, 162, 163, 209.
Ростовцев, офицер, 112, 115,
Рудольф, музыкант. 67.
Румянцев, А. XVI, 1.
Румянцев, А. П., деятель времени Петра В. 3.
Руссо. XII, 13, 60, 63, 124.
Репнин (Волконский), Никол. Григ. 10.
Рэдклиф, англ. писат. 31.
Рюрик. 7.
С. 156.
Савоська, крестьянин. 224.
Садлер. 102.
Садо, чеченец. 86, 88, 100, 101.
Сакен, Дм. Ероф., 115, 119.
Самарин, Петр Федор. 208.
Самарин, Юрий Федор. 228.
Самойлов, помещик. 133.
Саша, мальчик. 163, 164.
Святослав, кн. 226.
Севинье, франц. писательница. 68.
Семка, мальчик. 222, 223, 224—226.
Сент-Арно, франц. маршал. 120.
Сен-Тома (S. Thomas), Проспер, гувернер Л. Н-ча. 38, 47.
Серве, скрипач. 52.
Сергеенко, П. А. XVI.
Сердобольский, Ал-др, учитель. 220.
Сережка, мальчик. 224.
Сержпутовский, генерал. 105.
Сержпутовский, шт.-капит. 119.

Симонов, Ив. Мих,. ректор Казан. ун-та. 54.
Скайлер Евг., XVI, 42, 43, 184, 194.
Скуратова, Тат. Семен. 25.
Сленцов, генерал. 84.
Снегирев, писат. 223.
Соймонов, генерал. 120.
Соллогуб, Влад. Ал-др. гр., писат. 123.
Соловьев, Евг. Андр., писат. XVI.
Софья Алексеевна, царевна. 3.
Стасюлевич, изд. XV.
Стендаль (псевдоним франц. писат. Анри Бейля). 124.
Стерн, англ. писат. XIX, 60, 70.
Стефен, ген-м. воен. цензор. 116.
Сток, издатель. I.
Столыпин, офицер, приятель Л. Н-ча. 112, 115, 228.
Страхов, Николай Никол., писат. XV.
Сулимовский, подпоручик. 99.
Сушковы, знакомые Л. Н-ча. 126.
Сытин, И. Д. изд. XVI.
Таничка. 234.
Танеев, статс-секретарь. 132, 133.
Тараска, мальчик. 227.
Татьяна Филипповна, няня. 30.
Темрюк. 53.
Темяшева, Верочка. 28.
Темяшева, Дунечка. 28, 30.
Темяшев, тульск. помещик. 28, 33, 37.
Тенеромо,биограф Л. Н-ча. IV, IX.XVI.
Тенфер, франц. писат. XIX.
Тетеревкин, генерал. 119.
Тимофей, крестьянин. 224.
Титов, Д. И. XVI, 3.
Тихон, официант, 16, 35.
Токашевич, Владимир, учитель. 220
Толстая, Александр. Андр., тетка Л. Н-ча. 168, 169, 175, 187, 230, 231.
Толстая, Елизав. Александр (урожд. Ергольская). 24, 26, 41.
Толстая, Мария Никол., мать Л. Н-ча. 8, 10—14, 34.
Толстая, Мария Никол. граф., сестра Л. Н-ча. 6, 13, 17, 23, 30, 38, 39, 40, 47, 75, 90, 94, 97, 113, 114, 135, 155, 167, 168, 170, 171, 179, 183, 185, 189, 192, 229, 233.
Толстая, Пелагея Никол. (урожденн. княг. Горчакова), бабушка Л. Н-ча. 4, 14, 16, 22, 37.
Толстая, Софья Андреевна, графиня. VIII, X, XV, 38, 48, 63, 70, 98, 202, 232, 234.
Толстой, Ал-ей Конст, поэт. 7, 230.
Толстой Ф. И. (американец), гр. 7, 34.
Толстой, Андрей Ив., гр. предок Л. Н-ча. 4, 6.
Толстой, Андрей Харитон, предок Л. Н-ча. 3.
Толстой, Валериан Петр. 34, 73, 112, 113.
Толстой, Дм. Андр., гр., министр. 7.
Толстой, Дм. Ник., брат Л. Н-ча. 6, 13, 17, 29, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 50, 54—59, 63, 132—134, 188.
Толстой, Иван Петр., гр., предок Л. Н-ча. 4, 6, 7.
Толстой, Илья Андр, гр., дед Л. Н-ча. 4, 6, 17.
Толстой, Илья, родственник Л. Н-ча. 82, 84.
Толстой, Илья Ильич, гр., дядя Л. Н-ча. 6, 14.
Толстой, Конст, Петров., гр. 7.
Толстой, Ник. Ильич, граф, отец Л. Н-ча. 5, 6, 14—17, 22, 30, 34, 37, 48.
Толстой, Ник. Ник., брат Л. Н-ча. 6, 12, 17, 31—34, 35, 36, 37, 40, 41, 50, 56, 57, 69, 73—79, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 96, 97, 102, 106, 107, 112, 113, 134. 167, 168, 170, 172, 174—176, 179—181, 185—191.
Толстой, Петр Андреевич, гр., предок Л. Н-ча. 3, 4, 6, 7.
Толстой, Петр Иванович, гр. 24, 34.
Толстой, Серг. Льв., сын Л. Н-ча. 119.
Толстой, Серг. Ник., брат Л. Н—ча. 6, 13, 17, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 50, 52, 54, 55—58, 66, 68, 75, 84, 88, 93, 98, 99, 111, 113, 132, 135, 136, 170, 171, 180, 186, 187, 188, 228, 235.
Толстой, Фед. Петр., гр., вице-през. Акад. Худож. 7.
Томашевский, Анатолий, учитель. 220.
Траубе, доктор. 185.
Требст, нем. педагог. 126.
Трубецкой, Василий, буфетчик. 30, 31, 56,.
Тургенев, Ив. Серг., писат. XVI, 11, 31, 60, 97, 113, 116, 117, 121, 123, 125—126, 127, 128—131, 134—138, 161, 162, 172, 176, 178—180, 182, 186, 194—203, 232.
Тургенев, Ник. Никол. 202.
Тур, Евгения, писательница. 182.
Тучкова-Огарева. 194.
Тютчев, Фед. Ив., поэт. 124.
Усов, П., проф. 231.
Устрялов, проф. 303.
Успенский, Д. И. XVI, 207, 220.
Ушаков, деятель времени Петра В. 3.

Ферзен. 84.
Фет, Афанас. Афанас., поэт. XV, 123, 124, 125, 126, 136, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 186, 189, 199—203, 232, 233, 235.
Фет, Марья Петр. 173, 179, 181, 183, 199, 235.
Фирдуси, персид. поэт. 179.
Фогель, проф. Казанск. ун-та. 53.
Фребель, Фридрих, нем. педагог. 185, 186, 195.
Фребель, Юлий, нем. социалог, 185, 186.
Фриде, Ал-ей Як., капитан. 119.
Фролов, капитан. 103.
Федоров, Ал—др., дьячок. 22.
Федька, мальчик. 222, 223.
Хомяков, Алексей Степ., писат. XVI, 176, 177.
Хрулев, генерал. 115, 120.
Черкасский, кн., тульск. помещик. 208.
Чернышевский, Ник. Гаврил., писат. 129.